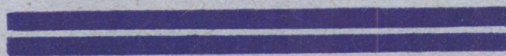


НОВЫЙ
МИР

НОВЫЙ МИР

8



1977

1977



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 8

Август, 1977 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Гимн Союза Советских Социалистических Республик	3
Б. ВАСИЛЬЕВ — Были и небыли, роман	4
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Из новой книги, стихи	118
ВИТАУТАС БУНИС — Цветение несеяной ржи, роман. Окончание. Перевел с литовского Виргилиус Чепайтис	127
АЛЕКСАНДР ЧЕЛНОКОВ — Матери, стихи	155
ЮРИЙ БОНДАРЕВ — Мгновения	157
АЛЕКСЕЙ МАРКОВ — Три стихотворения	171
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ — Из книги «Незванная сила», стихи	172
ПУБЛИЦИСТИКА	
И. КОН — Открытие «я». Историко-психологический этюд	176
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ГЕННАДИЙ ГЕРОДНИК — Восточные университеты. Окончание	196
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
М. ПАРХОМЕНКО — Магистраль поисков. Эстетический идеал и нравственный пафос современного советского романа	224
ВАДИМ БАРАНОВ — Жизненные корни. О труде современного литератора	240
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
В. Турбин. За други своя. — Наталья Капиева. Верен пути. — Л. Авниевский. Цена синтеза	250
<i>Политика и наука</i>	
Н. Мор. Девять месяцев одного года. — Г. Федоров. Лампа Аладдина.	259

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ: Г. Койранская.—Ольга Гуссаковская. Незабудки на скалах. Повести и рассказы. ♦ Марк Соболев.—Юрий Каменецкий. Возвращаюсь к тебе. Стихи. ♦ Н. Макарова.—Савва Кожевников. Статьи, воспоминания, письма. ♦ Вик. Ерофеев.—Ю. Карякин. Самообман Раскольников. Роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание». ♦ А. Василевский.—Анат. Горелов. Три судьбы. Ф. Тютчев. А. Сухово-Кобылин. И. Бунин. ♦ Анна Илупина.—В. Громов. Софья Гиацинтова. ♦ С. Овчинникова.—Н. Смирнов-Сокольский. Сорок пять лет на эстраде. Фельетоны, статьи, выступления. Леонид Утесов. Спасибо, сердце! Воспоминания, встречи, раздумья. ♦ Владимир Ломейко.—В. П. Мошняга. Всемирная федерация демократической молодежи. ♦ Я. Поварков, А. Бурсов.—Л. Е. Этинген. Человек будущего: облик, структура, форма. ♦ П. Черкасов.—Н. А. Ерофеев. Что такое история. ♦ Вал. Кирсанов.—Г. Максимович. Беседы с академиком В. Глушковым. ♦ О. Грудцова.—О. Резник. Встреча прошлого с будущим. Воспоминания и статьи	275
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286
ПРОСПЕКТ	287

Утвержден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 мая 1977 года

ГИМН СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Текст С. МИХАЛКОВА и Г. ЭЛЬ-РЕГИСТАНА

Музыка А. В. АЛЕКСАНДРОВА

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

БОРИС ВАСИЛЬЕВ



БЫЛИ И НЕБЫЛИ

Роман

КНИГА ПЕРВАЯ. 1876-й.

Действие романа Бориса Васильева «Были и небыли» происходит в сложной исторической обстановке.

Середина 70-х годов прошлого века в России — это время широкого общественного движения: распространения революционно-народнической пропаганды, начавшейся консолидации российского либерализма, время поисков путей и средств освободительного движения. Наряду с этим 1876 год — преддверие русско-турецкой войны, войны, в которой царизм благодаря сложному переплетению различных обстоятельств выступил в несвойственной ему роли освободителя славянских народов от османского владычества.

В середине 70-х годов вспыхнуло антитурецкое восстание в Боснии и Герцеговине, перекинувшееся затем и в Сербию и вызвавшее горячий отклик в России. Причем если в правящих сферах судьбы славян были ставкой в дипломатической игре, то в обществе освобождение Россией братских народов от турецкого ига воспринималось как реальная возможность участия в освободительном движении вообще. Деятельность славянских комитетов, выражавшаяся в потоке пожертвований, с одной стороны, и в добровольческом движении для участия в военных действиях на стороне сербов — с другой, захватывает самые различные слои русского общества.

Наряду с крупными суммами, вносимыми представителями привилегированных классов, в общем итоге преобладают копеечные взносы, собиравшиеся среди трудового люда. И в добровольческом движении наряду с различными группами офицерства, стремившегося на войну, исходя из самых разнообразных интересов, принимали участие и передовая, демократическая интеллигенция (стоит только вспомнить В. Гаршина), и студенческая молодежь, и представители рабочего класса — члены Южнороссийского союза рабочих.

Правительство выжидало, лавировало и вынашивало мечту о проливах, а русское общество, которому вдруг разрешили говорить, писать и действовать в пользу хотя бы чужой свободы, формировало свое самосознание в благородных и самоотверженных порывах.

Это сложное время и нашло свое отражение в первой части романа «Были и небыли». Через жизнь большой и разветвленной дворянской семьи Олексиных (ее прототип семья Алексеевых действительно существовала и действовала в то время, оставив известный след в общественной истории) мы знакомимся с нравственными исканиями русской интеллигенции 70-х годов, касаемся сложнейших политических вопросов эпохи, видим пестрое переплетение балканских проблем, с героизмом, высокой нравственностью и самоотверженностью повстанцев и добровольцев, с одной стороны, а с другой — с разрозненностью и неподготовленностью их действий, внутренними раздорами, приводившими подчас к тяжелым поражениям.

Первая часть романа обрывается на пороге русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Закончившаяся Сан-Стефанским миром, эта война имела огромное положительное

значение для судеб народов Юго-Восточной Европы. Военный разгром Османской империи привел к ликвидации турецкого ига в Болгарии и созданию самостоятельного Болгарского государства, освободил Румынию от вассальной зависимости, привел к ослаблению турецкого влияния на всем Балканском полуострове и к окончательному признанию независимости Сербии и Черногории. И главная заслуга в этом не столько русского правительства, сколько русской общественности, русской армии, и прежде всего ее солдат и офицеров низшего звена. Их отвага и упорство, их преданность долгу сыграли основную роль в разгроме турецкой армии. И эти качества уже в полной мере проявились в героях первой части романа «Были и небыли».

Думаю, что это произведение, содержащее помимо художественных достоинств большую историческую информацию, привлечет внимание читающей публики.

П. ЗАЙОНЧКОВСКИЙ,
профессор,
доктор исторических наук.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

— Господа, прошу не задерживаться, отец Никандр уже прибыл. Господа, прошу не задерживаться, отец Никандр... — Худощавый, болезненно бледный офицер монотонно повторял одну и ту же фразу, стоя у лестницы, ведущей в зал Благородного собрания.

Публики было много, и не только дворянской, ибо в широко разосланных Славянским комитетом билетах особо указывалось на возможное присутствие самого генерал-губернатора, а появление его личного адъютанта подчеркивало серьезность предстоящего события. И шли разодетые мамыши с засидевшимися дочками, отставные полковники, рогожские миллиончики, чиновники и коммерсанты, корреспонденты московских и петербургских газет, студенческая и офицерская молодежь. Гвоздем программы был отец Никандр, только что возвратившийся из Болгарии, свидетель турецких зверств, о которых русские газеты писали из номера в номер со ссылками то на английские, то на австрийские, то еще на какие-то источники. Сегодня выступал очевидец, и подогретая газетной шумихой Москва валом валила в Большой белый зал.

— Господа, прошу не задерживаться...

— Господин капитан, а танцы будут? — бойко спросила хорошенькая барышня, тронув веером порядком уставшего адъютанта.

— О, мадемуазель Лора! — Штабс-капитан поклонился, не забывая при этом со служебной цепкостью оглядывать вестибюль. — Как всегда, в одиночестве гордом? Бросаете вызов московскому обществу? Приветствую вашу решимость в суровой борьбе за эмансипацию и ангажирую вас на весь вечер.

— А что скажет ваша очаровательная жена?

— Она так любит вас, Лора, что будет только счастлива.

— Я подумаю, Истомин. Здесь, случаем, не появлялся высший шатен...?

— С туркестанским загаром? — улыбнулся Истомин. — Увы, пока нет.

— Скажите ему, что у нас места в третьем ряду слева.

— Непременно, мадемуазель... Господа, очень прошу не задерживаться!

Девушка убежала, прошуршав платьем по мраморным ступеням. К зданию подъезжали и подъезжали экипажи, двери беспрерывно хлопали, пропуская новые группы москвичей; входя, все непременно

задерживались в вестибюле, ища знакомых или начиная обстоятельные московские беседы.

— Господа, прошу... — Среди цивильных костюмов мелькнул офицерский мундир, и адъютант прервал привычную фразу.— Олексин! Пожалуйте сюда!

Молодой армейский поручик с надменно прямой спиной вынырнул из-за рыхлых сюртуков.

— Рад вас видеть, Истомин. Дежурите?

— Изображаю глас вопиющего в пустыне. О, поздравляю с производством, поручик. Говорят, вы недавно совершили приятный вояж?

— Не шутите, Истомин, я чудом не помер от жажды в Кизилкумах.

— Но зато удостоились поцелуя в уста от самого Скобелева. Правда это или легкая зависть преувеличивает ваши успехи?

— Если бы я вам привез именной его величества указ о зачислении в свиту, вы бы тоже расцеловали меня. А именно такой подарок я и доставил Михаилу Дмитриевичу на позиции.

— От души поздравляю.— Адъютант пожал руку поручику.— А награда ждет вас в третьем ряду слева.

— Здравствуйте, господа. Кто ждет в третьем ряду?

К ним подошел рыжий, весь в веснушках подпоручик гвардейской артиллерии. Коротко, как добрым знакомым, кивнул и тут же картинно прикрыл рукой явно искусственный зевок.

— Не вас, Тюрберт, не вас,— сказал Истомин.— Ждут нашего среднеазиатского героя. Он умирал от жажды, когда вы опивались шампанским, и теперь его час. Ступайте, господа, мне необходимо очистить вестибюль к приезду его превосходительства.

— Мне чертовски скучно в Москве, Олексин.— Тюрберт опять зевнул.— Я устал от отпуска, ей-богу. Вы всплыли наверх, а наверху всегда ветерок славы, хотя бы и чужой. И вы уже, вероятно, не понимаете меня, господин счастливец.

Олексин и вправду ощущал дуновение чужой славы, которую по молодости склонен был разделять, искренне считал себя счастливым, был влюблен и любим и поэтому великодушно и необдуманно щедр. Он не только проводил подпоручика в третий ряд, не только представил его мадемуазель Лоре как своего ближайшего друга, но и уступил свое место, а сам отошел к колонне, гордо поглядывая на рыжего артиллериста, неприятно удивленную девушку, а заодно и на весь переполненный зал. Он был чрезвычайно, до легкого головокружения доволен собой, своим великодушием, фигурой, мундиром, молодостью — словом, всем миром, лежащим сейчас у его ног. «Смотрите, смотрите!— слышалось ему в нестройном шуме зала.— Видите у колонны молодого поручика? Это же Олексин! Да, да, тот самый Гавриил Иванович Олексин, личный курьер его величества, который с риском для жизни доставил Скобелеву именной указ прямо на поле боя!..» Никто, естественно, не обращал никакого внимания на офицера, никто не говорил о нем, да и говорить, собственно, было нечего, поскольку невероятные трудности, пески, перестрелки, жажда и само поле боя существовали только в воображении молодого человека. Он и в самом деле доставил указ, но ни в делах, ни в походах участия не принимал, так как на следующий же день был с эстафетой отправлен в Петербург. Однако он исполнил оба поручения быстро и четко, был тут же произведен в поручики и теперь, вернувшись в Москву, чувствовал себя если не на вершине, то на подъеме к вершине славы, успехов и карьеры. И, пребывая в молодом ослеплении, слышал то, чего не было, и не замечал того, что было.

На сцене появились члены Славянского комитета, в зале наступила выжидательная тишина, и председательствующий объявил о выходе отца Никандра.

Отец Никандр был весьма пожилым, но далеко еще не старым человеком. Он много ездил и по поручениям церкви и по своим надобностям, много видел, часто выступал с просветительскими и благотворительными целями, писал статьи и заметки, состоял членом многочисленных комиссий и комитетов. Его хорошо знала московская публика всех сословий как страстного поборника православия и христианской морали, любила слушать, привыкла к нему, но сейчас по залу пробежал легкий ропот: всегда строго и тщательно одетый священнослужитель вышел на сцену в пропыленной, покрытой странными ржавыми пятнами простой дорожной рясе, с почерневшим и погнутым медным крестом на груди.

— Актерствует отец,— насмешливо сказал студент рядом с Олексиним.

Отец Никандр начал говорить, и на студента зашикали. Гавриил посмотрел в третий ряд, где рыжая голова артиллериста почти нависла над худеньким плечиком мадемуазель Лоры, нахмурился и как-то пропустил гладкое и неторопливое начало выступления. Он видел лишь шевелящийся, как у kota, ус над розовым ушком, чувствовал досадную тревогу и словно вдруг оглох.

— ...я ехал по выжженной, вытопанной и напоенной кровью стране,— донеслось до него наконец.— И если бы не заброшенные кукурузные нивы, если бы не изломанные виноградники, я мог бы подумать, что господь перенес меня через столетия и я еду по родной Руси после нашествия Батыя. Увы, я был не в средневековье, я путешествовал по европейской и христианской — услышьте же это слово, господа! — христианской стране в конце просвещенного девятнадцатого столетия!

Шепот прошелестел по залу, и опытный оратор сделал паузу. Его сдержанный, спокойный и полный горечи пафос отвлек Гавриила от досадных дум и подозрений; он не смотрел более в третий ряд, он слушал.

— Мы ехали медленно, очень медленно, потому что на дороге то и дело попадались неубранные, уже тронутые тлением трупы. Лошади останавливались сами не в силах сделать шаг через то, что некогда было венцом божьего творения; мы выходили из кареты, мы рыли ямы близ дорог, и я совершал последний обряд, не зная даже, как назвать душу, что давно уже предстала пред богом. «Господи,— зывал я,— прими душу в муках почившего раба твоего, а имя ему — человек».

Он снова сделал паузу, и в мертвой тишине отчетливо было слышно, как судорожно всхлинула женщина.

— Воздух пропах тлением, смрадом пожарищ, кровью и страданием. Великое безлюдье и великая тишина сопровождали нас, и лишь бездомные псы выли в отдалении да воронье кружилось над полями. Цветущая земля Болгарии была превращена в ад, и я не просто ехал по этому аду, я спускался в него, как Данте, с той лишь разницей, что это была не литературная «Божественная комедия», а реальная трагедия болгарского народа. Я потерял счет замученным, коих отпевал, я потерял счет уничтоженным жилищам, я потерял счет кострам и виллицам на этой земле. Я думал, что достиг дна человеческой жестокости и человеческих страданий, но я ошибся: бог послал мне страшные испытания, ибо человеческая жестокость воистину есть прорва бездонная.

Вечерело, когда смрад стал ужасным. Кучер погонял лошадей, но они лишь испуганно прядали ушами, а потом и вовсе остановились, точно не в силах идти дальше. Мы вышли из кареты. Левее нас на возвышенности еще дымилось, еще догорало огромное село. Клубы смрадного дыма сползали к дороге, окутывая ее точно саваном. Нечем было дышать от пропитанного миазмами разложения липкого, жирного дыма. Там, наверху, находилось нечто ужасное, распространявшее на всю округу тяжкий дух смерти, и я не мог не увидеть этого воочию. Прочитав молитву, я медленно тронулся в догоравшее селение. Я шел один, вооруженный лишь божьим именем и человеческим состраданием, я шел не из праздного любопытства, а в слабой надежде найти хоть единое живое существо и вырвать его из лап смерти. Я пробирался через горящие обломки зданий по улицам села, и смрад усиливался с каждым моим шагом. Я задыхался, я хрипел, весь покрывшись потом, но шел и шел, направляясь к церкви и надеясь, что там, в доме молитвы, может быть, найду кого-либо из тех, кто еще нуждается в помощи. Но вскоре я замер не в силах сделать ни шагу: я наткнулся на труп. Жалкий, сморщенный, полуобгоревший трупик ребенка валялся посреди бывшей улицы — той улицы, на которой совсем недавно протекала вся его веселая детская жизнь, где он играл и дружил, откуда вечерами его никак не могла дозваться мать. Я подумал о его матери и не ошибся: я увидел ее рядом, в двух шагах, с черепом, раскroенным зверским и неумелым ударом ятагана. Она тянула руки к своему ребенку, она и мертвая звала его к себе. В ужасе оглянулся я окрест и всюду, куда только достигал мой взгляд, — под тлевшими остатками домов, во дворах, на обочинах и просто среди дороги — всюду видел трупы. Трупы детей и женщин, девушек и юношей, мужчин и старцев. Трупы росли, трупы вздымались горами, трупы тянули ко мне мертвые синие руки. Я шел как в страшном сне, вцепившись в крест и творя молитву.

Так, обходя трупы или просто перешагивая через них, когда обойти было невозможно, продолжал я свой страшный путь. Я не задохнулся от смрада, не захлебнулся от рыданий, не потерял сознание от ужаса: я выдержал испытание, я уверовал в свои силы. Но когда я вошел на церковный двор, я понял, что никаких человеческих сил не хватит, чтобы вынести то, что мне предстало: весь двор был завален человеческими телами. Весь двор, от стены до стены, от церкви до ворот в несколько слоев! Четвергованные обрубки, бывшие некогда мужчинами, девичьи головы с заплетенными косичками, изрубленные женские тела, иссеченные младенцы, седые головы старцев, проломленные дубинками, — все это со всех сторон окружало меня, все это давило и теснило меня, и я не мог сделать ни шагу. Я был в самом центре царства мертвых. И тогда я возопил. «Господи! — кричал я, и слезы текли по моим щекам. — За что ты столь страшно испытываешь смирение мое, господи? Вложи меч в руки мои, и я воздам зверям в обличье чело-веков. Вручи мне меч, господи, ибо силы мои на исходе от испытания твоего! Вручи мне меч!..» Так кричал я над телами моих братьев и сестер, принявших лютую смерть от рук башибузуков. Кричал, пока не истощились силы мои и не рухнул я на колени в запекшуюся кровь. Я рыдал и молился и встал, осознав долг свой. Долг этот придал мне сил: я не только дошел до кареты, но и еще раз проделал весь путь от дороги до церкви, захватив с собой все необходимое для требы. Когда мы вернулись на церковный двор, уже стемнело и взошла луна. Кучер-болгарин рыдал, упав ниц и грызя окровавленную землю, а я отслужил панихиду по невинным страдальцам, земно поклонился им и покаялся, пока жив, рассказывать миру, что творится в несчастной Болгарии.

Мы не спали ночь, притомились и потому остановились на отдых в полдень недалеко от места чудовищной гекатомбы. Это был небольшой постоялый двор на перекрестке, принадлежащий испуганному, тихому и немолодому болгарину. В доме находились жена хозяина, исплаканная и почерневшая от горя, и их дочери десяти и шестнадцати лет. Я спросил о стертом с лика земли селении; хозяйка, а вслед и дочери начали рыдать, а хозяин тихо и горестно поведал мне, что селенье то называлось Батак, что жители его восстали против произвола османов и были поголовно вырезаны в страшную ночь и еще более страшный день. Хозяева и сами были родом из Батака, но находились здесь и потому уцелели, а все их имущество было разграблено, предано огню, все их родственники и единственный сын, по их словам, погибли в резне, учиненной озверелой толпой башибузуков. Это случилось совсем недавно, всего несколько дней назад, но окрестные жители боялись приблизиться к селению, страшась мести башибузуков, и я был первым, кто взошел на эшафот после ухода палачей. Я мог бы многое поведать вам с его слов. Я мог бы рассказать, как ятаганами рубили материнские руки, чтобы вырвать из них младенцев и бросить их в огонь. Я мог бы рассказать, как стреляли в набитую людьми церковь, набитую настолько, что пули пронзали по нескольку человек кряду, а убитые оставались стоять, ибо пасть им было некуда. Я мог бы рассказать, как зверски, на глазах у отцов и матерей насиловали девочек прямо на окровавленной земле, а утолив животную похоть, отводили их на мост, где и отрубали им головы, соревнуясь в лихости удара. Я многое мог бы рассказать, но я пощажу ваши чувства.

Я не помню, кто первым крикнул знакомое нам, но — увы! — страшное в Болгарии слово «черкесы». Я ничего еще не успел понять, как мать бросилась предо мною на колени, умоляя спасти ее старшую дочь. Спасти не от смерти, нет — кажется, они уже не боялись смерти! — спасти от неминуемого и мучительного позора. «У меня в доме есть тайник, но в нем не поместятся двое. Умоляю вас, господин, спасите мое дитя! Заклинаю вас именем бога и матери вашей, спасите!» Я сам отвел дрожавшую от страха старшую девочку в свою карету, уложил ее на пол, накрыл ковром, а поверх навалил багаж. И вовремя: к дому со всех сторон уже неслись с гиканьем всадники. Они мгновенно окружили дом, вытолкали всех во двор и поставили у стены. Все делалось молча и дружно; лишь один — очень молодой, в простой черкесе, но с богатым оружием — стоял в стороне, не вмешиваясь в суету и не отдавая никаких распоряжений, хотя был их вождем, что я понял сразу.

Пока черкесы грабили дом, вынося все, что представляло хоть какую-то ценность, или попросту круша и ломая, если вынести было невозможно, этот последний через суетливого переводчика-болгарина приступил к допросу хозяина: «Где твой сын?» «Не знаю», — сказал старик. «Он врет, эфенди! — закричал переводчик. — Его сын сражался в Батаке!» «Стыдно врать такому почтенному человеку», — сказал черкес. — А где твои дочери?» «Не знаю», — тихо, но с непоколебимым упорством повторил отец. Двое услужливых арнаутов взмахнули нагайками. Они хлестали старика по лицу, плечам, голове. Он не защищался, только прикрыл глаза. На седой щетине его исхудалого лица показалась кровь. «В чем вина этого человека, бек?» Я сознательно крикнул по-русски. И по-русски получил ответ: «Его вина понятна каждому: не надо было рождаться болгариним. А ты кто? Поп?» «Я представитель русской православной церкви и сейчас возвращаюсь в Россию из Константинополя», — сказал я. — Фирман султана разрешает мне беспрепятственный проезд». В это время его воины подошли к моей карете с намерением обшарить и ограбить ее, как ограбили дом.

Еще мгновение — и они открыли бы дверцы. «Назад! — закричал я. — Мое имущество неприкосновенно! Я повелеваю именем его величества султана!» «Оставьте его карету, — приказал бек. — К сожалению, мы еще не воюем с Россией. Но берегись, монах, попасть ко мне в руки, когда это случится!» Я мысленно возблагодарил господа, увидев, что черкесы отходят от кареты. А допрос тем временем продолжался. «Как зовут твоего сына, старик?» Старик молчал. «Это он, он! — суеливо кричал переводчик. — Его сына зовут Стойчо, я знаю эту семью!» «Зато эта семья не знает тебя, иуда», — сказал старик и плюнул под ноги переводчику. Над ним вновь взвились нагайки, но бек остановил арнаутов. «Мы ищем убийцу, которого зовут Стойчо. У него рассечена голова, за что его уже прозвали Меченым. Три дня назад он зарубил турецкий патруль в горах. Я спрашиваю тебя, старик, что ты знаешь о Стойчо Меченом? Подумай, прежде чем солгать. А пока мои люди поищут твоих дочерей, может быть, это развяжет твой поганый язык. Где твои дочери, старуха?» «Они ушли, они далеко отсюда. — Мать пала в ноги, ползла по пыли, пытаясь поцеловать сапог черкеса. — Эфенди, пощади нашу старость! Мы смиренные люди, эфенди, мы ни в чем не виноваты!» «Болгары не бывают невиновными, — сказал бек. — Лучше добровольно покажи, где прячешь дочерей, старая ведьма!» «Их нет здесь, нет, эфенди!» «Тогда мы найдем их сами». Бек подал знак, и дом вспыхнул, подожженный со всех сторон. Онемев от ужаса, отец и мать смотрели, как пламя пожирает их жилище, а заодно и дочь, спрятанную в нем. «Молись! — властно крикнула мать, заметив, как вздрогнул и шагнул к дому старик. — На колени!» Она рухнула на колени и начала горячо, неистово горячо молиться... за упокой сгоравшей заживо дочери. Старик дрожал крупной дрожью, а черкесы с живейшим любопытством смотрели на бушующее пламя. Из дома раздался душераздирающий крик ребенка. Черкесы засмеялись, а мать продолжала молиться: она предпочитала мученическую смерть дочери ее бесчестью. Но отец не выдержал. Пользуясь тем, что на него не обращали внимания, он схватил тяжелую дубину и занес ее над головой. Черкес, над которым взметнулась она, успел вырвать из ножен шашку, но шашка разлетелась пополам, и узловатая дубина обрушилась на его голову. Черкес упал, и в тот же миг поддюжины шашек блеснули в воздухе. Они со свистом и яростью полосовали упавшего наземь старика, кровь брызгала во все стороны, трещало пламя, все еще нечеловечески кричала сгоравшая заживо девочка, а старуха... Нет, она уже не молилась. Поднявшись на ноги, она извергала проклятья! Блеснула шашка, седая голова старухи покатилась с плеч, и это было последним, что я увидел. Я потерял сознание и упал в лужу крови рядом с в куски изрубленным отцом.

Когда я очнулся, черкесы уже ушли, захватив с собой раненого сообщника. Дом догорал, криков оттуда уже не слышалось. Я поднялся и только тогда увидел, что рядом с обезглавленной матерью молча стоит на коленях старшая дочь, распустив по плечам длинные черные волосы. Я сказал ей, что мы возьмем ее с собой, но она отвела руку, которой я коснулся ее плеча, подняла с земли обломок черкесской шашки и коротко обрезала свои роскошные косы. «Я буду мстить, — сказала она. — Клянусь тебе, мать, тебе, отец, тебе, сестра. Я буду мстить за вас и за Болгарию, пока не отрастут мои волосы». И ушла в горы. Мы кое-как разворошили догоравший дом, извлекли оттуда останки несчастного ребенка и с честью похоронили трех мучеников в одной могиле. На пожарище я нашел этот крест и тогда же надел на себя. А в этой рясе я был там, на постоялом дворе, пятна на ней — это кровь болгарских мучеников, наших братьев и сестер!..

Отец Никандр замолчал, но в зале уже не было тишины. Рыдали

женщины, хмуро, скрывая волнение, покашливали мужчины, и глухой гул перекатывался из конца в конец. Выждав длинную паузу, священник снова поднял руку:

— Трагедия Батака и безымянного постоянного двора, быть свидетелем которой меня поставил господь, неожиданно вновь всплыла передо мной на страницах одной из румынских газет. Вот что там говорилось.— Он достал газету и начал читать: — «По сообщениям осведомленных турецких источников, подтвержденным болгарскими беженцами, в Болгарии на территории горного массива Стара Планина действуют хорошо организованные отряды инсургентов. Особую популярность среди болгарского населения завоевал некий Стойчо Меченый, ярость и отвага которого наводят ужас на местные турецкие власти». Слава тебе, мститель за муки Болгарии Стойчо Меченый! Молю господа бога нашего, чтобы продлил он дни твои на земле и вложил в твое сердце еще более яростную ненависть к палачам твоего народа. Знай же, что мы, твои русские братья, будем не только молиться, но и готовиться. Готовиться к тому знаменательному дню, когда великая Россия придет на помощь православной Болгарии, изнемогающей под гнетом мусульманской Порты! Да будет так!

Отец Никандр осенил себя широким крестным знаменем и торжественно поцеловал тусклый наперсный крест. И зал точно взорвался. Вскрикивали с мест, кричали, плакали, потрясали кулаками. Это было бы похоже на массовое сумасшествие, если бы не та искренность, с которой выражала взбудораженная публика свои чувства.

— Мщения! — кричал багровый полковник, потрясая кулаком.— Мщения!

— Жертвую! — басом вторил дородный купчина, и слезы текли по окладистой ухоженной бороде.— Капиталы жертвую на святое дело! Жертвую, православные!

— Подписку! Организовать подписку! Всенародно!

— Петицию государю! — кричали молодые офицеры.— Петицию с просьбой о добровольческом корпусе!

— Все пойдем! Все как один!

Гавриил кричал со всеми вместе. Он вдруг позабыл и о мадемуазель Лоре и о рыжеусом артиллеристе-сопернике, он был весь во власти высокого и прекрасного вдохновения. Протолкавшись сквозь ряды кричавших мужчин и рыдавших дам, он пробрался к сцене, решительно отодвинул шагнувших к нему членов Комитета и опустился на колени перед отцом Никандром.

— Отче! — громко и четко сказал он, перекрыв шум, и зал невольно примолк.— Благословите первого русского волонтера, отче!

Патетический жест офицера неожиданно для него получил широкую известность. Проталкиваясь к сцене, Олексин и не думал о последствиях: его захватил всеобщий порыв, восторженный пафос публики. Его обнимали, благодарили, целовали, ему жали руки — и все это прилюдно, все это в напряженном поле человеческих чувств, единых и искренних, по крайней мере в данный момент. Он был тут же введен в члены Славянского комитета, корреспонденты наперебой расспрашивали его о том, что было и чего не было, что будет и чего не может быть; он стал вдруг центром кристаллизации уже подготовленного, уже перенасыщенного раствора. Он собственной волей взлетел на орбиту, но взлетел так точно, так вовремя, что был тут же подхвачен сторонними силами, направлен и раскручен ими в соответствии с внутренними законами общественного движения и теперь уже не мог

самостоятельно вернуться в прежнее приземленное состояние, даже если бы и захотел этого.

И Олексин увлекся. Шли бесконечные заседания, собрания, совещания, рауты и вечера, и начальство безропотно отпускало ставшего вдруг знаменитым поручика по первой его просьбе. Даже публикация в газетах, в самых восторженных тонах освещающая его «святой порыв», не вызвала неудовольствия командования, хотя армия терпеть не могла газетных сообщений о тех или иных поступках офицеров. Олексин ожидал бури, и тучи в лице посыльного от самого полкового командира не замедлили показаться на горизонте. Поручик тут же явился и отпрапортовал.

Командир полка, седой и кряжистый, как заиндеветший дуб, неохотно сдвинул косматые брови и дважды разгладил усы — признак, не предвещавший ничего хорошего.

— В газетки попали? И полк упомянут полностью. Извольте объяснить, чем обязаны такой славе?

Гавриил коротко обрисовал ситуацию и в двух словах — свои чувства. Он сознательно о чувствах говорил мало, надеясь развить эту тему впоследствии, если старик начнет разнос. Командир молча выслушал, снова дважды провел по усам.

— Не одобряю, — пробасил он. — В наше время эдакого не случилось. А уж коли случилось бы — адью! Скатертью дорога. Однако в искренности не сомневаюсь, за сдержанность хвалю. Только уж коли назвались груздем, так первым в кузовок полезайте, первым, поручик. Как только получим высочайшее соизволение, в списках волонтеров означитесь под номером один. А вообще — молодец, сообразил. Армия всегда и во всем должна быть первой. Ступай, поручик. Еще раз — молодец.

Общественная деятельность настолько поглотила Олексина, что все его личные дела вынужденно отошли на второй план. Конечно, он не забывал о мадемуазель Лоре, в которую, как казалось ему, был влюблен страстно и искренне, но с молодым максимализмом считал, что дело, которым он занимается, и есть самое главное, а посему Лора должна терпеливо ждать, когда придет ее черед. Но Лора ждать не желала, справедливо полагая, что на свете нет дел, мешающих влюбленному проявить внимание. Сначала это была обида, незаметно подогреваемая намеками и шутками Тюрберта, потом... потом — женская месть, избравшая своим орудием все того же рыжего артиллериста: Лора постоянно бывала с ним в тех местах, где знали и Гавриила, отчаянно веселилась и отчаянно кокетничала, ожидая, что ревность образумит новоявленного общественного деятеля. Однако Олексин то ли не замечал ее контрмаршей, то ли терпеливо сносил их. Лора встревожилась не на шутку и стала избегать рыжего подпоручика. Но Тюрберт к тому времени уже основательно увлекся ею — кстати, и партия была вполне подходящая, — а потому и решил действовать сам и выбить соперника из седла. Этим пресловутым седлом для Гавриила была служба; рыжий подпоручик правильно понял это и повел огонь по всем канонам артиллерийской науки.

Да, Гавриил очень гордился службой в привилегированном московском полку. Ему нравилась форма, он любил строй, разводы и учения и искренне плакал от восторга и умиления, впервые присутствуя на высочайшем смотре. Он мечтал о карьере и славе, о чинах и наградах, о благосклонности государя и любви товарищей по полку. Он свято верил, что добьется того положения, которого не добился его отец, скандально уволенный в отставку по строптивости характера, и уже преуспел по службе, исполнив почетное поручение и получив чин поручика. Он был хорошим товарищем и примерным офицером,

офицером на виду, с множеством полезных знакомств, несмотря на просчеты домашнего воспитания, отсутствие связей и тощей кошелек. И даже разовый, позорный, по сути мальчишеский проигрыш в карты в самом начале карьеры, о котором он всегда вспоминал с приливами запоздалого стыда, оказался плюсом в его офицерской биографии, укрепив за ним славу беспутного малого, для которого деньги существуют постольку, поскольку их можно проиграть. Он изо всех сил тянулся за родовитыми офицерами, хватая на лету их словечки и привычки, манеру говорить, походку, даже клички лошадей. Временами казалось, что у него уже ничего не осталось своего, что он словно бы растворился в среде, которую имел все основания считать своей, которой поклонялся и которой восхищался. Ему почудилось, что после удачной командировки и внезапного общественного взлета он уже стал равным им — им, швыряющим десятки тысяч на любовниц и кутежи, проигрывающим состояния в карты и покупающим лошадей за баснословную цену только для того, чтобы завтра же загнать их на первой же скачке. Так чудилось ему, чудилось, пока...

— Господа, я вычитал любопытнейшую штучку. Оказывается, помесь жеребца с ослицей — кровного, заметьте, жеребца с робкой рабочей скотинкой — называется лошаком! Смешное словечко, господа, не правда ли? Ло-шак! Он наследует жеребьячью силу и ослиную тупость, а посему абсолютно незаменим в обозе. Но не в армии, господа, отнюдь не в армии!

Это было в офицерской компании, шумно обсуждавшей только что вспыхнувшее восстание в Сербии. Опоздавший Тюрберт, наплевав на сербские дела, прямо с порога громко выложил почерпнутые из словаря сведения, в упор глядя на Гавриила. Все почему-то начали смеяться и острить, и Олексин смеялся и острил, хотя сразу понял, в чей огород полетел камешек, и лицо его запылало помимо воли. Но он изо всех сил смеялся и изо всех сил острил, стараясь не встретиться с Тюрбертом взглядом и все время ощущая, что рыжий подпоручик в упор смотрит на него, насмешливо улыбаясь. Тогда у него хватило выдержки не понять, и Тюрберт отложил второй залп. Он произвел его через три дня — уже в другом доме, в присутствии мадемуазель Лоры.

В этот вечер Лора упорно не замечала Тюрберта, отдав все свое обаяние, внимание и кокетство Гавриилу, специально ради нее пришедшему сюда. Жертва была велика, Лора оценила ее и пыталась не просто отблагодарить, но и закрепить свой первый успех в борьбе с общественной деятельностью потенциального жениха. Тюрберт учел ситуацию и решил идти ва-банк.

— Пахнет лошаком, господа, неужели не ощущаете? Странно. Этакий специфический запах: смесь навоза, щец и сивухи. Кстати, Олексин, отчего бы вам не сволонтерить в Сербию?

Если бы Гавриил сумел не расслышать этих слов или, на худой конец, дал бы подпоручику пощечину! Но он не сделал ни того, ни другого. Он растерялся, покраснел и тут же ушел, ничего никому не объяснив. И лишь на другой день прислал Тюрберту форменный вызов.

— Я бы подстрелил Олексина не без удовольствия, но боюсь, господа, что может пострадать честь дамы. — сказал Тюрберт присланным секундантам. — А своему другу порекомендуйте послужить в обозе на благо отечества: на лошаках хорошо пушки возить.

При первом же намеке на Лору Гавриил отказался от вызова, и после этого оставалось лишь уйти в отставку: кодекс чести не прощал офицеру, ставшему мишенью острот, если офицер этот не находил приличного предлога для дуэли. Олексин его не нашел, получил афронт и покрыл себя позором. Оставался последний выход: Сербия;

он подготовил этот выход публичными заверениями и общественной суетой. Поставить крест на военной карьере во имя спасения братьев-славян от османского ига — выход, не требовавший объяснений, а их-то Гавриил и боялся пуще всего.

Объяснений и впрямь не потребовалось, но отставки ему не дали. Пришлось переписать рапорт и вместо отставки получить годичный отпуск «по семейным обстоятельствам». Он согласился на него, втайне решив через год все же настоять на окончательной отставке.

А поездка в Сербию все откладывалась и откладывалась. И вместо того чтобы ехать самому, Олексин встречал, провожал, поздравлял и напутствовал тысячи русских волонтеров, сплошным потоком ринувшихся в далекую и незнакомую Сербию. Ехали офицеры и студенты, рядовые казаки и отставные полковники, мещане и земские деятели, купеческие сынки и крестьянские дети. Ехали «мстить нехристям» и с оружием в руках отстаивать чужую свободу; ехали за крестами и карьерой; ехали из любознательности и из равнодушия; ехали посмотреть мир или просто хоть на время удрать из родного отчества, чтобы полной грудью вдохнуть свежий ветер борьбы вдали от голубых мундиров. Ехали все, кто хотел и кто мог,— не ехал лишь поручик Гавриил Олексин. Волонтер номер один.

3

В эту ночь в последний раз пели соловьи. По смоленской традиции девушки выходили в сады и слушали последние песни, млея от восторга и ожидания. В полночь бдительные мамы отправляли их спать, но девушки все равно не спали, слушая соловьев в постелях и до утра мечтая о женихах. Непременно статных, красивых, удачливых и добрых.

Варе Олексиной некому было приказывать идти спать: в их городском доме она оставалась единственной хозяйкой. И недавно представленному ей молоденькому прапорщику, стоявшему на квартире в пустующем купеческом доме, тоже некому было приказывать. Молодые люди долго слушали соловьиные переливы, перебрасываясь восторгами через забор, разделявший сады, а потом слово за слово разговорились, соловьи отошли на второй план, и офицер перепрыгнул через ограду.

— Варвара Ивановна, умоляю вас, не пугайтесь. Позвольте мне постоять подле вас и, если не возражаете, выкурить две папиросы.

Варя испугалась, но не подала виду, решив, что всегда успеет убежать, если молодой человек вздумает вести себя непочтительно. Но прапорщик был вполне корректен, даже застенчив, говорил тихо и интересно, держал себя на расстоянии, и Варя вскоре забыла о своих девичьих страхах. Прапорщик рассказывал о Кавказе, откуда только что приехал, о мирных и немирных горцах, о тоскливой службе в крохотном гарнизоне, куда ему предстояло вернуться всего через несколько дней. Соловьи звенели восторженно и любовно, ночь была нежной и таинственной, а их возраст—возрастом бессонниц, смутных тревог и отважного желания идти навстречу друг другу. И вскоре они уже сидели рядом, и стук их сердец давно уже заглушил все соловьиные трели.

Очнулась она внезапно, как со сна, от далекого тележного грохота, что отчетливо слышался в тихом рассветном воздухе. Оттолкнула прапорщика, вскочила со скамьи, на которой забылась в объятиях, и опрометью бросилась в дом, лихорадочно застегивая кнопки на распахнутом воротах блузки.

— Варя! Варенька, подождите! Два слова, Варенька, умоляю, два слова!

Она не оглянулась, влетела в дом, захлопнула за собой дверь и всем телом привалилась к ней, точно боялась, что прапорщик ворвется следом. И почему-то все время слышала нарастающий и тревожный тележный грохот.

С этим грохотом с Киевского шоссе влетела в Смоленск легкая таратайка. Промчалась по пустынной, усыпанной сеной трухой площади, миновала Молоховские ворота, мелькнула на Благовещенской и остановилась у одноэтажного особняка на чинной Кадетской улице. Возница — крепкий мужик с косматой гривой, но аккуратно подстриженной бородой — ударил кулаком в загудевшие ворота:

— Семен!

Неистово залаяли собаки, где-то хлопнула дверь. К воротам степенно шел заспанный дворник. Почесывался, зевал, крестил заросший рот, важно гремел ключами.

— Кого надо?

— Отчиняй, Семен!

— Захар Тимофеич?— Дворник, забыв и сон и степенность, засеменял к воротам.— Счас, счас. Спозаранку прибыли, Захар Тимофеич, ночью, стало быть, из Высокого-то выехали. Ай, лошадушку загнали, ай! Дело, стало быть, срочное? А барышня спит и не чаёт...

Без умолку говоря и не заботясь при этом, слушают его или нет, Семен открыл наконец огромный ржавый замок, сдвинул засовы, распахнул заскрипевшие ворота.

— Здравствуйте вам, Захар Тимофеич!

— Аня померла.— Захар снял картуз, вытер изнанкой мокрое лицо.— Аня наша померла вчера, Семен.

— Господи!..— Крупное заросшее лицо дворника задрожало, и чтобы скрыть эту дрожь, он по-бабьи прижал ладонь ко рту.— Анна Тимофеевна? Господи, боже ты мой, господи! Упокой душу рабы твоея.

— Отмучилась заступница наша,— дрогнувшим голосом сказал Захар и тут же, словно залься на себя за секундную слабость, крикнул сердито:— Ну, чего рассоплился? Коня прими, выводи да не напои с похмелья-то! Смотри у меня!

Крупно, по-хозяйски зашагал к крыльцу. Не доходя швырнул кнут в клумбу с отцветающими пионами, взошел по ступеням и скрылся за тяжелой дверью, держа в кулаке смятый картуз.

В доме уже проснулись. Полная экономка в капоте и старинном чепце, услышав новость, затряслась, замахала руками.

— Полно, Марфа Прокофьевна, не вернешь.— Захар помолчал, теребя картуз.— Буди барышню.

Барышня вышла сама. Остановилась в дверях, вцепившись в косяки:

— С мамой?

— Нету маменьки, Варвара Ивановна,— глухо сказал Захар.— Нету больше сестрицы моей Анны Тимофеевны.

И тяжело, грузно опустился на стул, чего никогда не делал в присутствии барышни Варвары Ивановны Олексиной.

Варя не закричала, не вздрогнула, только лицо ее, став белее блузки, словно опустилось, поехало вниз, к закушенной губе и отяжелевшему вдруг подбородку. Она ни о чем не спрашивала, пристально, не моргая глядя на Захара огромными материнскими глазами.

— Вчера еще песни играла. Потом полоть пошла. Знаешь, там, у пруда, где огороды заложили.

— Полоть! — неожиданно громко и резко сказала Варя. — Ей ведь нельзя полоть, нельзя работать.

— Да нешто это работа, — вздохнул Захар: ему не дышалось, и он все время вздыхал. — Это ж так, в потеху. Разве ж мы дали бы ей? А тут только нагнулась — и в ботву.

Дом уже полностью проснулся: хлопали двери, шуршали юбки, скрипели половицы. В задних комнатах кто-то плакал, все говорили шепотом, и только резкий голос Вари звучал громко и отрывисто.

— Врача догадались?

— Сразу же за лекарем послали: у господ Семичёвых лекарь из Петербурга гостит. Приехал вскорости, да не помог: к вечеру преставилась.

Захар замолчал, ожидая вопросов, но Варя больше ни о чем не спрашивала, все так же пристально глядя на него. Из всех дверей выглядывали женские лица.

— К полудню привезут, — сказал он, поняв ее молчание. — Подготовить все надо.

— Телеграммы, — опять перебила Варя. — Батюшке и Гавриилу в Москву, Феде в Петербург, Васе в Америку. В Америку телеграммы принимают?

— Не знаю, барышня.

— Узнаешь на телеграфе. Со станции отправляй, оттуда скорее доходят. Идем, я запишу адреса.

Варя оторвалась от косяков, качнулась. Захар вскочил, чтобы поддержать ее, но она отстранилась и пошла вперед, чуть откинув голову над прямой, как струна, спиной.

Они прошли в тесный кабинетик, где стояли старинное бюро, шкафы с книгами и уютное кресло, в котором лежал раскрытый журнал. Варя сразу начала писать, а Захар остановился в дверях.

— Прими журнал и садись, — сказала она не оглядываясь. — Как написать, когда будем...? — Она замолчала.

— Хоронить-то? — Он подумал. — Раньше субботы не получится. Из Москвы сутки езды, а из Петербурга да с пересадкой еле-еле в трое суток Федя управится.

— Я пишу всем одно. В четыре адреса: два в Москву, один в Петербург и один Северо-Американские Соединенные Штаты.

— А зачем в Штаты телеграмму? Вася все одно к похоронам не поспеет, для чего же пугать? Может, письмо? Письмо спокойнее.

— Письмо? — Варя по привычке покусала нижнюю губу. — Пожалуй, ты прав, письмо лучше. Я напишу, а ты ступай на телеграф. Коня сильно загал?

— Это есть.

— Возьмешь мою пару. Распорядись там. — Она протянула синеватый листок дорогой глянцевой бумаги. — Отправишь со станции.

Он покивал, соглашаясь. Первые распоряжения были отданы, и вместе с ними словно бы закончились и их деловые отношения. Они оба почувствовали это, вновь ощутили утрату и пустоту, ту страшную пустоту, что рождает такие утраты. Хотелось что-то сказать, утешить, одобрить или просто поплакаться, но это было и невозможно и ненужно, и они молчали, стоя друг перед другом.

— Ну, ступай, — тихо и мягко сказала Варя. — Ступай, мне одеться надо.

— Поплачь, Варя, — вдруг глухо сказал он, опустив кудлатую голову. — Поплачь и за упокой помолись. Полегчает.

— Хорошо, — сказала она, словно не слыша его. — Месяц до сорока не дожила. Как странно все.

Захар вздохнул, покивал горестно и пошел через залу к выходу, стуча подковками новых сапог по натертому паркету.

Варя прошла к себе, в смежную с кабинетом комнату. Остановилась в дверях, крепко обняв плечи скрещенными руками и незряче глядя на несмятую постель. На этой постели всегда спала мама в редкие приезды из усадьбы. Тогда Варя стелила себе на диване, что стоял тут же, у противоположной стены, и они говорили с мамой до глубокой ночи.

Мама не любила город, терялась в нем и даже не ездила за самыми необходимыми покупками. Дети унаследовали от нее эту сковывающую застенчивость, но Варя пошла в отца, только глаза были маминны. Она единолично распорядилась домом с той поры, как кончила пансион: вела хозяйство, делала покупки для усадьбы в Высоком, следила за учебем младших братьев и сестер, регулярно писала старшим и отцу, хотя отец никогда не отвечал на письма, ограничиваясь скупыми поздравлениями на пасху и рождество.

Варя была центром их огромной разбросанной семьи, но душой этой семьи всегда оставалась мама, маленькая тихая женщина, до самой смерти не разучившаяся краснеть в присутствии посторонних. Мама безошибочно находила самые простые и теплые слова, самые неопровержимые аргументы, а советовать умела так, что совет этот воспринимался как вдруг возникшее собственное решение. Так было с Гавриилом, проигравшим в карты довольно кругленькую сумму, так было с Василием, попавшим под надзор III отделения, так было и с самой Варей, еще девчонкой безоглядно влюбившейся в залетного офицера. Долгую зимнюю ночь они проплакали тогда с мамой на этой постели, а утром Варя уехала в Псков к тетке, оставив офицера в растерянности крутить лихие гусарские усы.

Отец никогда не принимал участия в жизни семьи. Прожив с ними бок о бок до рождения младшего — десятого по счету — ребенка, он так и остался чужим: Варя помнила только его бесконечные отъезды, приезды и снова отъезды. У него была своя половина в доме, свои слуги, свои лошади, собаки, и даже обед ему готовил специально выпитанный повар, а не их добрая, толстая, мало что умеющая кухарка. С детьми — а он занимался с детьми, когда был дома, два часа утром и час перед ужином, — с детьми он держался всегда ровно, спокойно и строго. Одинаково ровно и одинаково строго со всеми, никого не выделяя: у него не было ни любимчиков, ни любимых, хотя как-то по-своему он их, конечно, любил, и дети чувствовали это и тоже относились к нему ровно и спокойно. Впрочем, он никогда не отказывал им в тех просьбах, которые считал разумными: в книгах, игрушках, детских балах или нарядах. Но любая личная просьба всегда превращалась им в общую потребность: если Гавриил просил ружье, то ружье получал не только он, но и не просивший этого Василий; если Варе хотелось щенка, то и щенков оказывалось два, а то и три — и Варе, и Феде, и Володе, хотя Федя и Володя об этом и не думали. И эта причуда не только лишала подарок индивидуальности и неповторимости, но заодно и радости, и дети как-то сами собой очень скоро отучились просить подарки у никогда не отказывавшего отца.

Если у отца была редкая способность превращать подарки в ординарную вещь, то мама самые обычные вещи умела делать подарками, будь то крестьянские бабки или первый цветок, бантик на платье или горстка земляники. Даже сказки на ночь она рассказывала, никогда не повторяясь, интуитивно чувствуя настроение маленького слушателя. И одна и та же сказка выходила у нее то грустной, то радостной, то страшной, то веселой и поэтому всегда неожиданной. И если у каждо-

го в детстве были свои радости, свои сказки и свои подарки, то были они только потому, что была мама.

Отец был общим для всех; мама для каждого была своя. Неповторимая и единственная мама.

И вот мамы не стало. Не стало самого незаметного, самого тихого члена семьи и, как ощутила сейчас Варя, самого главного ее члена. В каждой семье есть этот главный, есть ось, вокруг которой вращаются все, со смертью которого неминуемо разлетается самая крепкая и дружная семья. И Варя, еще ничего не осознав, уже предчувствовала этот неудержимый разлет. Предчувствовала грядущую пустоту гнезда, хранить которое отныне предстояло ей. И ужас перед этой сегодняшней утратой и завтрашней пустотой был столь ошеломляющ, что она рухнула ничком на постель, захлебываясь от рыданий.

Выплакавшись, Варя немного успокоилась. Оделась в темное, застелила постель — они всегда сами ухаживали за собой, и не только мама, но и отец следил за этим, — распахнула окно, но тут же закрыла его: в дворницкой по-старинному, по-псковски выла Агафья. Варя хотела было послать туда горничную с приказом замолчать, но вовремя одумалась: дворня была вся вывезена с Псковщины, из маминой крохотной деревеньки, где все были родственниками. И оплакивали они сегодня не просто добрую и тихую барыню, а свою родную деревенскую девчонку, ставшую госпожой по прихоти опального гвардейского офицера.

Варя вышла распорядиться, но в доме уже и так готовились к приему покойницы. Занавешивали зеркала в зале, зажигали лампы, застилали паркет половиками. Дворник Семен привез еловые ветки и охапки вереска, и Варя вместе с девушками усыпала вереском полы.

Занимаясь этими простыми делами, Варя все время прислушивалась, не скрипят ли ворота, и по привычке поглядывала на часы, но часы в зале были остановлены, а возвращаться в свою комнату ей не хотелось. Она ощущала движение времени, и приближающаяся встреча с тем, что когда-то было ее матерью, все больше и больше пугала ее. Страх копился, нарастал, и в конце концов она уже ничего не могла делать, а только ходила по комнатам, напряженно прислушиваясь ко всем шумам.

Но раньше вернулся Захар. Он не только отправил телеграммы, а и договорился в соборе о панихиде, в Троицком монастыре — о чтицах и в ресторации Мачульского — о деликатесах и винах к поминкам. Он был толковым и грамотным мужиком, никогда не забывал о мелочах и слыл крепким управляющим. И даже смерть единственной и любимой сестры не нарушила его привычной хозяйской деловитости. Это обстоятельство вызвало у Вари досаду.

— Хорошо, хорошо, — перебила она его недослушав. — Только бы Гавриил приехал поскорее.

Она говорила о Гаврииле, а думала о Василии, который никак не мог приехать из далекой Америки и долго еще не узнает, что семья их внезапно осиротела. Думала не потому, что Василий был всего на год старше ее, а потому что дружила с ним и знала как никто, как, может быть, знала только мама, его обостренное, болезненное чувство справедливости, даже и не чувство, а чутье. Для всех остальных он был немного чудаковатым, непрактичным и увлекающимся юнцом, предметом язвительных насмешек старшего брата, и только. И даже его торопливый отъезд за границу всеми воспринимался как побег, и лишь она одна знала, что дело здесь не в страхе перед III отделением, а в высших идеалах добра и справедливости. Она не очень понимала и потому не разделяла эти идеалы («Да ведь разворуют эту вашу

комму, Вася!»), но твердо была убеждена, что ее брат не способен ни на трусость, ни на подлость. Не способен физически, под страхом лютых мучений и самой смерти.

Иное дело Гавриил. Варя всегда считала, что она в отца, что от матери у нее только глаза, но отцовской копией в семье был старший. Сейчас, без толку блуждая по комнатам, прислушиваясь к шумам во дворе и сравнивая братьев, Варя понимала, что ее сходство с отцом только внешнее, кажущееся. И именно поэтому с тоской вспоминала далекого Василия и страшилась предстоящего свидания с Гавриилом. Слишком уж он казался ей сухим, надменным и язвительным.

Захар уговорил ее поехать, и Варя нехотя, через силу села выпить чаю. Но тут закричали ворота, заголосила Агафья, и Варя кинулась к дверям со стаканом, лишь на крыльце отдав его Дуняше.

Первой во двор въехала широкая крестьянская телега. Подле с вожжами шел староста Лукьян, а на телеге рядом с гробом сидели, держа на коленях фуражки, почерневшие то ли от загара, то ли от горя и бессонной ночи Володя и Ваня. А из коляски, что остановилась у ворот, уже спешили к крыльцу Маша и Георгий; младших, как видно, не взяли.

Телега остановилась, братья спрыгнули с нее, и все вокруг молчало, потому что молчала Варя, все еще неподвижно стоя на крыльце. Лукьян шагнул к ней, оглянулся растерянно на тихо плакавшую дворню и спросил:

— Прикажете вносить, барышня?

— Как же... Как же могли на телеге? — задыхаясь от слез, тихо спросила Варя. — Как же могли, как смели...

— Ну, полно, Варенька, полно, — сказала Маша, поднявшись на крыльцо и обнимая сестру. — Не влезает он в карету, пробовали.

«Он» был гроб, в котором под глухой крышкой лежала мама. И Варя сразу все поняла и сошла с крыльца.

— Вносите.

И вновь запрочитала Агафья, словно только и ждала, когда Варя скажет это слово. Захар, Лукьян и Семен направились к телеге, братья, сунув фуражки Маше, пошли им помогать, а Георгий прижался к Варе, уткнувшись ей в колени.

— Мамочку жалко...

— Взяли! — коротко выдохнул Захар.

Гроб взмыл вверх, качнулся и поплыл к крыльцу, невесомо лежа на крутых мужицких плечах: Владимир и Иван лишь держались за него, идя впереди. Семена и толкаясь, мужики поднялись на крыльцо, перехватили гроб с плеч на руки и, теснясь, боком миновали дверь. Следом молча шли Маша, Варя и маленький зареванный Георгий.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Гавриил получил телеграмму перед обедом; по счастью, догадались переслать из полка, куда она была адресована. Трижды перечитал: «Мама скончалась похороны субботу», поднял растерянные глаза на хозяйку, что торчала в дверях, сторяя от любопытства. Поймав его взгляд — вдовушка была молода и взгляды ловила жадно и преданно, — качнулась полным станом:

— Подавать, Гавриил Иванович?

— Что? — Он аккуратно сложил телеграмму, пытаясь собраться с мыслями. — Мне в полк надо. Вызывают.

Он боялся ее жалости, чувствуя, что может не выдержать. Прошел к себе, торопливо переоделся, прицепил саблю. И тут же сел и закурил, рассеянно уставившись в одну точку.

Ему казалось, что он думает о матери, но он ни о чем не думал. В голове, сменяя друг друга, мелькали какие-то случайные разрозненные воспоминания. То он видел себя совсем еще маленьким на мосту, с корзиночкой для ягод. Он замахивался на огромную, какие бывают только во сне и в детстве, бабочку, и корзиночка падала в воду и плыла, и кто-то во всем светлом, добрый и ласковый, доставал эту корзиночку. То он видел себя на качелях и взлетал ввысь, к самой перекладине, и вдруг сорвался, и кто-то в светлом, добрый и ласковый, поднимал его, испуганного, с земли. То он видел бабки — простые, ничего не стоящие косточки, игра крестьянских ребятишек — и кто-то в светлом, добрый и ласковый, протягивал ему их.

Этим светлым чудом, добрым и ласковым, была мама. Он знал, что это мама, но почему-то именно сейчас ему никак не удавалось увидеть ее лицо. Он лихорадочно ворошил вдруг нахлынувшие детские воспоминания, но там, где он искал, мама была без лица. Это было просто нечто очень доброе и очень ласковое, само воплощение доброты и ласки, но лица у нее не было. Вероятно, оно появилось бы в других воспоминаниях, более поздних, когда он уже подросток и научился видеть, а не только смотреть. Но эти иные картинки сейчас не хотели возникать в его памяти, мама не приходила, и двадцатичетырехлетний офицер чувствовал себя совсем маленьким и совсем забытым.

За дверью вздохнули робко, но томно и многозначительно, и этот рассчитанный женский вздох вернул Гавриила к действительности. Он погасил папиросу и встал. Он уже решил не только ехать к отцу с этим известием, но заодно и выдержать бурю.

Сказав хозяйке, что придет за вещами, Гавриил вышел на улицу. Отец жил довольно далеко, на Пречистенском бульваре, но Олексин у Спасской взял лихача.

Дверь открыл не Игнат, старый камердинер отца, а лакей Петр, важный, толстый, ленивый и слушавший только самого барина. Гавриил молча отдал ему саблю и перчатки, прошел в столовую и так же молча поклонился отцу, уже сидевшему за прибором.

— Обедать? Нет? Садись.— Отец говорил отрывисто и глядел в сторону, сдвинув седые брови.— Хочешь рябиновой? Я что-то пристрастился. Вино дрянь стало. Кислятина.

— Мама умерла,— сказал Гавриил, помолчав.— Я депешу получил от Вари.

— Кислятина,— строго повторил старик.— Налей барину рябиновой, Петр. У меня раковый суп. Пющусь. Удивлен? Впрочем, если хочешь бульону...

Он вдруг замолчал. Чисто выбритый кадык его круто пошел вверх, странно задергался, и старик торопливо стал гладить седые усы, чтобы скрыть это судорожное движение. Потом сердито махнул рукой и, когда Петр вышел, поднял рюмку чуть приметно вздрогнувшей рукой.

— Помянем, поклонимся и господа помолим мысленно.— Он большими глотками осушил рюмку.— Удивительно. И несуразно. Несуразно, Гавриил.

Он торопливо, расплескивая на скатерть, налил себе еще, выпил, пожевал корочку и откинулся к спинке стула, прикрыв старческие дряблые веки.

— А вы получили?.. — начал было Гавриил.

— Хорошо! — вдруг крикнул старик.— В эпоху всеславянского единения и православных идей пить рябиновую весьма патриотично. Знаменует русский дух. При выдохе особливо. Петр! Подавай.

Он в упор глянул на Гавриила странными отсутствующими глазами. Словно тяжело и упорно думал о чем-то совсем ином, мучительном и сладком одновременно, а шумел и ерничал просто так, для прикрытия собственных дум. Он никогда не допускал никого в царство своих размышлений и переживаний, думал не то, что говорил, и говорил не то, что думал.

— Ты почему здесь? Ах да, отпуск. Надолго испросил?

— Надолго, — сказал Гавриил.

— А Черняев-то бежит! Бежит от нечестивых аскеров султана! — с какой-то злой радостью неожиданно сказал старик, и Гавриил испугался, не читает ли отец его мысли на расстоянии. — Мальбрук в поход собрался. Тебе, связанному с Комитетом, поди, вдвойне обидно, а?

— Генерал Черняев самоотверженно служит великой идее, — нехотя сказал Гавриил: не хватало еще спорить о политике в этот день. — Он рыцарь.

— Он легкомысленный искатель лавров, — перебил отец. — Ему наплевать и на ваши идеи, и на султана, и на Сербию, ему наплевать на все и на вся. Ему нужны лавры Цезаря: лучше быть первым в Сербии, чем вторым в Петербурге.

— И все же он был единственным, кто не бросил несчастную Сербию на произвол судьбы. Согласитесь, что одно это достойно уважения.

— Не соглашусь. Нет, не соглашусь! Не бросил по расчету и бросит тоже по расчету. У господ новоявленных крестоносцев сначала расчет, а уж потом вера. Как сухарный запас: на всякий случай. А что до идеи, то идея — плод размышлений, а не моды. На нее надо право иметь, ее надо выстрадать, а уж коли идея не вами высижена, то хоть время-то для приличия соблюдайте, господа! Хоть вид сделайте, что мучились ею, что сомнения преодолевали, что сравнивали ее и выбирали путем умственной деятельности, а не одних ушей. Я сейчас уже не о Цезаре российском говорю, не о господине Черняеве: бог с ним, с Черняевым! Я о брате твоём говорю, об американце нашем. Добро бы хоть в Америку за барышом поехал — говорят, ловкачи наживаются и даже якобы состояния составляют. Это бы понятно было, хоть и противно: дворянское занятие — шпага, крест да книга, так в старину-то считалось. В служении отечеству одним из трех этих путей шел русский дворянин, не пачкая рук торговлишкой и душу оборотливостью не смущая. А ныне посмотришь: господа, дивны дела твои! Рюриковичи с мужиками об отрезках рядятся, Гедиминовичи заводишкой обзавелись! А купчина не воин, из торгаша офицера не сделаете. Нет-с, не сделаете!..

Старик говорил без умолку, путано и непоследовательно, а глаза оставались все теми же мучительно напряженными, ловящими что-то ушедшее. И поэтому Гавриил не спорил, хотя его так и подмывало поспорить и надо было поспорить, чтобы выговорить наконец свое и утвердиться в этом окончательно. Но сейчас было не время.

Обед закончился, и поручик встал, намереваясь откланяться, так как отец обычно отдыхал после трапез с возлиянием. Надо было еще послать за вещами, но главным сегодня было, пожалуй, то, что не в меру и не к месту разболтавшийся отец раздражал как никогда прежде.

— Кури здесь, — сказал старик. — А лучше пойдём ко мне.

— Вам следует отдохнуть...

«Следует» было ошибочным словом: старик сдвинул седые брови. Он не терпел советов, а тем паче указаний и умел усматривать их и в более безобидных фразах.

— Следует не давать рекомендаций, если их не просят. Эту бесцеремонность оставьте приказчикам. — Он шел впереди, и толстый Петр

еле поспевал открывать ему двери.— Любое благое намерение останется сотрясением воздуха, ежели не будет высказано в приличной форме. Сожалею, что ваше воспитание не принесло плодов, на кои смел рассчитывать.

Идя следом, Гавриил с тоской думал, что вряд ли успеет обернуться: видимо, старик намеревался скрипеть до позднего вечера. Он жил одиноко, не поддерживая знакомств и не признавая вежливых визитов, много молчал, но иногда говорил без остановки.

Им с детства внушали преклонение перед отцом. Не любовь, не уважение, а почти рабскую покорность, точно они были не законными его детьми, а тайно прижитыми. И отец воспринимал это как должное, не снисходя даже до гнева. Гавриил думал об этом, сидя в кабинете, где каждая книга знала свое место и по прочтении тут же возвращалась на него, где ни один журнал не смел остаться раскрытым даже ненадолго, а газеты всегда выглядели так, будто их никто никогда не читал. От этого кабинет казался скучным и казенным.

— Я не люблю споров, а особливо с женщиной.— Отец не сказал «с дамой», и Гавриил с болью понял, что он говорит о матери.— В спорах с женщиной истина умирает, запомни это и никогда ничего не пытайся доказывать прекрасному полу. У них своя логика и свои аргументы, совершенно непостижимые для нас. Вот почему я устранился от вашего воспитания. Я стремился лишь образовать вас, полагая, что воспитание вам сумеют обеспечить если не по велению ума, то по зову сердца. Однако встречаясь с тобой, Варварой и Василием, я с горечью убедился, что зараза сильнее лекарств. Да, да, сильнее! От вас прямо-таки разит кислыми щами, господа!

Поручик встал, сознательно с грохотом отбросив тяжелое кресло. Слова путались в голове, он не решался сказать того, что думает, а старик молчал, глядя на него с откровенным любопытством. Пауза затянулась, и, чтобы оборвать ее, Гавриил пошел к дверям, так ничего и не сказав.

— Я не отпускал тебя,— негромко сказал отец.

Гавриил медленно повернулся к нему:

— Та, от кого всю жизнь пахло кислыми щами, моя мать и ваша жена. Она мертва, пусть хоть это заставит вас замолчать. А сейчас разрешите откланяться: я уезжаю сегодня в Смоленск и...

— Вторым классом,— вдруг перебил старик.— Вы едете вторым классом согласно чина и состояния, сударь. Полагаю, что билеты уже взяты.

— И все же я бы хотел...

— Что же касается твоей матери, то ты превратно понял меня. Я не обижал ее живой, не обижу и мертвой. Мертвой... — Он медленно, словно вслушиваясь, повторил это слово.— Если хочешь, буду молчать. Только вернись и сядь. Сядь, Гавриил. Прошу тебя. Мне... мне трудно почему-то.— Он растерянно улыбнулся и развел руками.— Я думал, что смогу... преодолеть смогу. И вот не получилось. Начал болтать, глупый старик. А тут ведь... — он пальцами, осторожно потрогал грудь,— тут ведь боль, сын. Такая боль...

— Батюшка! — Гавриил шагнул к отцу и, опустившись на колени, обнял его.— Простите меня, батюшка.

— Ну, ну.— Старик неуверенно и неумело погладил сына по голове.— Только не реветь. Не реветь, Гавриил, ты офицер. Оставим слезы слабым и помолчим. Помолчим.

Ни сын, ни тем более отец никогда не проявляли чувств, которые старик презрительно именовал кисейными. Но порыв был искренен, и они надолго замерли в неудобных и одинаково непривычных позах, и оба чувствовали и это неудобство и эту непривычность. Чувствовали,

но не шевелились, хотя порыв давно прошел и осталось одно неудобство, выйти из которого было трудно именно потому, что оба одинаково ощущали это.

— Сядь, — сказал наконец старик и покашлял, скрывая смущение. — У меня скверный характер, слава богу, что вы не унаследовали его.

Минута внезапной близости прошла; отец стеснялся ее, хотел забыть и потому снова возвращался на столь привычную интонацию иронических сентенций. Гавриила эта минутная близость смущала тоже, но он дорожил ею как завоеванным плацдармом; надо было решаться: то, что уже было сделано, не получив огласки, оставалось как бы сделанным не до конца.

— Я взял годичный отпуск, батюшка. — сказал он. — Пока. А затем подам в отставку.

Он ожидал бурной вспышки, вопросов, но отец молчал. Молча придвинул к себе ящичек с табаком, начал набивать трубку. Табак просыпался, но отец упорно запихивал его, изредка посасывая чубук. Набив, отложил в сторону, побарабанил сухими пальцами по крышке ящичка.

— Объясни, сделай милость.

— Вы сами дали это объяснение, когда упомянули, что от ваших детей разит кислыми щами. Нет, я не упрекаю: просто так сложилось. Вероятно, в вашей оценке есть доля истины.

— Оставь, Гавриил, я не это имел в виду.

— Но они имеют в виду именно это! — резко сказал поручик. — Извините, но мне надоели шуточки господ гвардейских офицеров.

— Почему не ходатайствовал о переводе?

— Потому что вызвал гвардии подпоручика Тюрберта. А он отказался драться со мной именно в связи со щами.

Старик снова взял трубку, внимательно осмотрел ее и опять отложил. Встал и, заложив руки за прямую, как трость, спину, долго ходил по кабинету. Гавриил смотрел на эту несгибаемую, вызывающе высокомерную спину и жалел, что сказал о дуэли: уход из армии можно было бы объяснить, не вдаваясь в подробности. Но подробности стали известны, и, судя по напряженно выпрямленной спине, отец воспринял их как личное оскорбление.

— Пять веков Олексины служат отечеству мечом, — надменно сказал старик. — Во всех войнах, во всех походах и ни в одном из заговоров. Не чинов мы искали, но чести, и нас скорее уважали, чем любили. Никогда — слышишь? — никогда не ищи любви у сильных мира сего, но требуй уважения, завоеванного тобой. Требуй, но не проси, мы не просили милостей у государей. Ни милости, ни снисхождения, помни об этом.

— Да, батюшка.

— Собираешься за границу?

— Да. Уже выправил бумаги.

— За Василием в Америку?

— Нет. Воевать.

— Ах, в Сербию! — Старик рассмеялся. — Мода на идеи? Ну-ну, проверь. Идею нужно проверить, в этом нет ничего дурного. Дурно следовать идее без проверки. Даже не дурно, а глупо. Тебе двадцать четыре минуло?

— Минуло, батюшка.

— Двадцать четыре — и еще не воевал? Непростительная оплошность для российского офицера. Ну что же, благословляю. Себя проверишь, идею свою проверишь. Только обид не забывай.

— Не забуду.

— И голову под турецкую пулю не подставь.
 — Как повезет.
 — Глупо. Офицер, принимающий в расчет везенье,— плохой офицер.

— Да ведь пуля-то дура,— улыбнулся Гавриил.
 — Именно это я и имел в виду. Именно-с. Поди узнай, вернулся ли Игнат, да вели чай подать.

Поручик поклонился и вышел из кабинета. Вопрос, которого он боялся, разрешился проще, чем он предполагал. Конечно, можно было бы уехать без отцовского согласия, и это было бы куда как современно, но Гавриил не любил современности.

Игнат давно прибыл, но сразу же уехал опять — за багажом Гавриила. Поручик сказал, чтоб подавали чай, и вернулся в кабинет. И только сел, как дверь приотворилась и в комнату осторожно заглянул Игнат:

— Ваше благородие, Гаврила Иванович.
 — Все сделал? — спросил отец, не поворачивая головы.
 — Все исполнил, что приказать изволили. И билеты и багаж.
 — Чай?
 — Сей момент: Петр самовар раздувает.
 — Хорошо, ступай.

Седая голова Игната втянулась в дверную щель. Потом высунулась рука и таинственно поманила Гавриила.

— Извините, батюшка,— сказал поручик, вставая.

Старик важно кивнул: любил почтение и порядок. И снова окутался дымом сладковатого голландского табака.

Гавриил вышел, прикрыл дверь; в коридоре ждал Игнат.

— Братец ваш приехали. В буфетной ожидают-с.

— Кто? — Гавриил сразу подумал о Василии: американский беглец если бы и рискнул зайти к старику, то искал бы убежища только на лакейской половине.— Василий?

— Никак нет-с, Федор Иванович. Из Петербурга прямо. Без вещей и даже без шляпы. Прямо в чем стоят-с.

Все это старый камердинер докладывал уже на ходу, с трудом поспешая за шагавшим через две ступеньки поручиком.

— О маме знает?
 — Не могу сказать. Я не докладывал.

В буфетной худой, заросший Федор жадно ел холодный бульон. Рядом презрительно грохотал посудой Петр: подчеркивал неуважение.

— Здравствуй, студент!

— Брат! — Федор вскочил, торопливо рукой отер редкую бородку, заулыбался.— Я сразу к тебе, хозяйка сказала, что ты в полку, а тут, на счастье, Игнат.

Он все-таки поцеловал Гавриила, хотя тот не любил этого и еще издали протягивал руку.

— Как славно получилось, что Игнат! — восторженно продолжал Федор, держа брата за руку и ласково сияя голубыми глазами.— Знаешь, я ночь не спал и сутки не ел ни крошечки, только кипяток пил на станциях. А как Игната увидел, так очень обрадовался.

— Что же ты Федору Ивановичу холодный бульон подал? — строго спросил Гавриил.— Дал бы жаркое или хотя бы бульон подогрел.

— Они чего-нибудь-с просили,— недовольно сказал Петр.— А чего-нибудь-с это по-ихнему бульон называется.

— Да славно и так, Гавриил, славно,— еще шире заулыбался Федор, и поручик понял, что никакой телеграммы он не получал и о смерти матери не знает.— Мне ведь голод унять важно, а самое главное — поговорить. Я ведь ехал, чтоб поговорить.

— Ступай отсюда,— сказал Гавриил Петру: он раздражал его, нарочно медленно перегирая посуду.— Ступай, говорю.

— А чай как же? — нахально улыбнулся Петр.— Батюшка ваш чаю велел.

— Ступай, ступай! — замахал руками Игнат.— Велено тебе, так исполняй, ишь какой! Я и посуду сам и Федору Ивановичу закусочек.

— Не надо.— Федор торопливо допил холодный бульон.— Я сыт уже, благодарствую. Батюшка наверху? Где бы поговорить нам, брат?

— В малую гостиную идите, в малую, — заговорщически прошептал Игнат.— Я позову, коль востребует.

Он любил Федора, как, впрочем, и все: Федор был удивительно добр, мягок и ласков. Он был словно влюблен во всех людей, знакомых и незнакомых, радовался им, слушался их и верил безоглядно. Эта вера пугала Гавриила: у Федора с детства словно не было своих личных желаний. То он намеревался стать офицером, с энтузиазмом занимаясь верховой ездой, стрельбой и фехтованием, мечтая о военном училище, славе и подвигах. То вдруг, прожив месяц в Высоком с Василием, не только изменил первоначальным намерениям, но и решительно отказался от всякой родительской помощи, торжественно заявив, что каждый человек обязан сам зарабатывать себе на жизнь и ученье. С этой благородной идеей он и поехал в Петербург, бегал по урокам, жил впроголодь, но жизнью был доволен и писал восторженные письма Варе. И — опять вдруг! — бросил все уроки и приехал в Москву без вещей, без денег и даже без шапки.

Братья прошли в малую гостиную и сели друг против друга. Гавриил думал, как бы помягче сказать о смерти матери, а Федор, улыбаясь, нервно потирал пальцы, не решаясь начать.

— Ты от Вари не получал известия? — спросил Гавриил больше для начала, чем в ожидании ответа.

— Нет,— рассеянно, думая о своем, сказал Федор.— Видишь ли, Гавриил, я вынужден был уехать вот так, как сижу перед тобой: денег еле на билет хватило, а шляпу кондуктору за хлеб отдал. Он, правда, брат не хотел, сердился даже, но я все-таки отдал, потому что нищенствовать не могу. Вася бы сказал — «не поднялся до нищенствования», правда? Но что же делать, у меня еще много пороков, я знаю. А уехал так срочно потому... Только обещай, что не будешь сердиться, а? Я бы не хотел расстраивать тебя, но надо же говорить сущую правду, иначе жить невозможно... Ты знаешь, как рабочие живут? В казармах на нарах, даже семейные. Вши, голод, грязь ужасная. Я видел все это, я сам с ними три дня прожил, чтобы понять, что невозможно так жить, невозможно!

— Просвещал? — насмешливо спросил Гавриил.

— Нет, что ты, какое там... Евангелие читал, только одно святое Евангелие. Объяснял, правда, что бог не таким мир земной видел. Да, труд, тяжкий труд, но — равный. Каждый равно обязан трудом, понимаешь? Это же действительно проклятье господне, это же действительно во спасение наше! Но ведь если люди равны перед этим проклятьем, то должно же быть равенство во всем, потому что бог не делал различия между людьми, проклятие это налагая. Тогда почему же одним — проклятие, а другим — плоды этого проклятия? Разве это справедливо? И не надо улыбаться, Гавриил, не надо: каждый человек имеет право веровать, каждый!

— Не побили?

— Побили. Но это не важно. Важно, что следить начали. Ходил за мной круглолицый господин в котелке, я его сразу заметил, но виду не подавал. Зачем же мне пугаться, что он ходит? Пускай себе ходит, я ничего дурного не делаю, пусть убедится, что не делаю. Я Евангелие

неграмотным, темным людям читаю: разве ж это преступление? А третьего дня возвращаюсь с фабрики и у ворот встречаю дочку соседскую, Глашеньку: у вас, говорит, Федор Иванович, обыск был, перерыли все, вещи все перетрясли и бумаги ваши арестовали. А там среди бумаг...

— Герцен.

— Да, «Колокол», один номер. И две брошюры на немецком, я у товарища почитать взял.

— Что же дальше, господин пропагатор?

— Вот, брат, ты уж и сердисься. Не надо, а?

— Я спрашиваю, что было дальше?

— Я к товарищу побежал. Не тотчас, конечно, потому что позади господин этот. Но повезло, что ли: конка последняя шла, на ходу вскочил да на ходу же и выскочил. Господин этот мимо меня и пробежал. Пришел к товарищу, а он, оказывается, уже арестован. Вот тогда я на вокзал и... Как стоял, так и приехал.

— Что же думаешь делать?

— Я у тебя денег хочу попросить. В долг. Уехать хочу.

— К Василию?

— Я еще не решил. Мне все равно, лишь бы маменьку не волновать.

— Маменьку... — Гавриил вздохнул. — Мама скончалась, Федя.

Узкое, неряшливо заросшее лицо Федора дрогнуло, замерло на мгновение и тут же осветилось мягкой белозубой улыбкой.

— Нехорошо, брат! Шутишь ты...

Гавриил молча протянул телеграмму. Федор читал долго, чуть шевеля губами, и чем дальше читал, тем все ниже сгибалась, сутулилась его узкая неокрепшая спина. Он уронил на колени руки с телеграммой, поднял лицо: по мягкой юношеской бороде текли слезы.

— Как же так?

— Вот... — Гавриил почувствовал, как поднимаются и в его груди слезы, как захватывают они его все выше и выше, сжимая горло, и торопливо закурил. — Осиротели мы, Федя. Одна мама умерла, а осиротели все десять. Даже одиннадцать...

Выехали втроем; отец ни о чем не спрашивал и появление Федора встретил как нечто само собой разумеющееся. И больше не разговаривал, словно выговорился, устал и говорил теперь молча то ли сам с собой, то ли с кем-то невидимым. Шевелил изредка губами, несогласно вздергивал седой головой. Братья тоже молчали. Они ехали во втором классе, сидели рядом и думали об одном. О матери.

А поезд тащился медленно, подолгу отдуваясь на станциях. Выходили в буфет, пили невкусный чай, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами.

С каждым часом приближался Смоленск, а значит, и последнее свидание с той, которую так по-разному любили все трое. И свидание это пугало, отнимая последнее желание говорить, спать или пить в буфете чай.

С каждым часом приближался Смоленск...

2

Встречал один Захар. Это не понравилось отцу, он хмуро кивнул и руки не подал.

— А Варвара что ж?

— Ночь не спала, только задремала, Иван Гаврилович. Не решился будить, — сказал Захар, укладывая багаж. — Все ведь на ней тут.

Он хотел помочь барину сесть в коляску, но старик поднялся сам, указал Гавриилу место подле. Федор устроился на козлах возле Захара. Сытые, отдохнувшие кони играючи рысили по крупному булыжнику; Захар сдерживал их, чтоб поменьше качало.

— Погоняй,— сквозь зубы сказал старик.

— Подъем долгий, Иван Гаврилович. Запарятся.

Старик не стал настаивать, братья подавленно молчали. От моста за крепостным проломом начиналась крутая и длинная Соборная гора, и Захар перевел упряжку на шаг.

— С местом решили? — отрывисто спросил старик.

— Выбрали,— сказал Захар.— Вон, в Успенском. Хорошее место, веселое. Не знаю, правда, сколько святые отцы запросят: земляца уж очень древняя. Легкая земляца, праху много.

Федор, съездившись, с невольным упреком глянул на него: уж очень буднично звучал голос. Будто шла речь о постройке беседки, где вечерами станут пить чай и любоваться закатом. Это было неприятно и несправедливо по отношению к той, которая сама ни на что уже не могла любоваться и ничего не могла выбирать.

— Покажешь.

— За поворотом остановимся. И лошадки отдохнут.

За коленом Благовещенской Захар свернул налево. Здесь начиналась плотно застроенная вершина Соборной горы, на верхнюю площадку вела крутая лестница. Отец, Гавриил и Захар стали подниматься по ней, а Федор остался: не хотел смотреть, куда завтра зароят мать. Забьют гвоздями крышку, опустят в яму и навсегда засыплют землей. И она неподвижно будет лежать в узком темном ящике, навеки отрезанная от всего живого. От радостей и несчастий, забот и тревог...

— Здесь,— сказал Захар, когда они поднялись и обогнули белую громаду собора.— Место выморочное, я узнавал.

В соборе шла служба, сквозь толстые стены чуть доносилось хорошее пение, но слов разобрать было невозможно. А здесь, на маленьком кладбище для избранных, чуть шелестел ветер.

— Сыро,— сказал старик.— Тени много.

— В полдень солнце аккурат сюда выйдет. И уж до заката. И службу слышно.

— Да, службу слышно,— сказал Гавриил.— Хорошо.

Отец сердито фыркнул в усы, но промолчал. Ему самому не хотелось лежать здесь, а о себе он сейчас думал больше, чем о покойнице. Они вместе прожили жизнь и вместе должны были лечь в землю, но ей уже было все равно, а ему почему-то тут не нравилось. Но он никак не мог определить, что же именно ему не нравится, и поэтому сердито фыркал.

А не нравилось ему не место, а сама мысль о месте. Он не боялся смерти не философски, а возрастно, уже шагнув за рубеж, не часто, но все же думал о ней, причем думал спокойно и, как казалось ему, до конца. Но то были отвлеченные, а потому кокетливые мысли: до самого конца он никогда не добирался. А сейчас мысли эти вдруг обрели грубую, осязаемую реальность: да, вот оно, то место, где он, недвижимый, безгласный и равнодушный ко всему земному будет лежать и медленно тлеть, сливаясь с землей и растворяясь с ней. Он словно увидел себя в гробу — не в пышно изукрашенном, а в сыром, смрадном, источенном червями. И это было мучительно.

Ничего более не сказав, он повернулся и пошел, еще старательнее выпрямив спину, словно бросая вызов тому неизбежному, во что вдруг заглянул и чего вдруг испугался. То, что испугался, он понимал, и от этого еще больше раздражался и жмурился.

Гавриил и Захар слегка отстали; старик шагал крупно, будто убегал. Захар понял это, усмехнулся:

— Не глянулось тут барину.

— Это так, нервы. Ты был, когда матушка умерла?

— Глазыньки ей закрыл,— вздохнул Захар.— Не думай об этом, Гаврила Иванович: бог ей хорошую смерть послал, тихую. Да и так, если поглядеть, за что ей плохую? Бог, он награждает смертью, так-то. Вот батюшка ваш тяжело помирать будет и знает, что тяжело, потому и страшится.

— Страшится,— повторил Гавриил.— А кто не страшится, Захар?

Сам он тоже боялся, но не смерти, о которой ничего не знал и никогда не думал, а свидания со смертью. Первого в своей жизни свидания. И поэтому замешкался на крыльце, старательно пропуская братьев и сестер. И Федор тоже замешкался и все уступал ему дорогу, и вошли они в залу последними. Вошли и сразу, еще в дверях увидели мать, потому что гроб стоял высоко и одиноко в самом центре на широком обеденном столе. И внутри его уютно и просто лежала мать, скрестив на груди тяжелые крестьянские руки, и образок в них казался совсем маленьким и — ненужным.

— Ты зачем тут? — неприятно громко спросил отец, увидев Захара, стоявшего у стены поодаль от всех.

— Помилуйте, барин, Иван Гаврилович, это же сестра моя,— тихо сказал Захар.— Сестра единственная, родная.

— То барыня твоя, не забывайся! Ступай вон, вместе с дворней прощаться будешь.

— Опомнись, барин.— Голос Захара задрожал.— Над гробом ведь кричишь, опомнись.

— Вон, холоп!

Низко опустив голову, Захар быстро вышел. Всем было стыдно и неудобно, но никто не вмешался, привычно подчиняясь крутому нраву капризного и свсевольного старика.

Дети стояли вокруг, не решаясь приблизиться, и только отец, выпрямившись, как на высочайшем смотру, положил пальцы на край гроба; пальцы эти все время шевелились, словно он поглаживал гроб, но он не поглаживал, а просто скрывал дрожь. Потом обвел всех сухими строгими глазами и глухо сказал:

— Уйдите все.

Все, теснясь, пошли к выходу, стараясь идти медленно и уступая друг другу дорогу. Варя задержалась:

— Подать вам стул, батюшка?

Он молча кивнул. Она принесла стул, поставила у изголовья, постояла немного и пошла к дверям. Отец сказал в спину:

— Дверь закрой и не вли входите.

Подождал, пока она выйдет, пока осторожно, боясь скрипнуть, прикроет дверь, и только после этого тяжело опустился на стул.

— Здравствуй, Аня...

Он пристально вглядывался в окостеневшее, почти чужое лицо единственного на всем свете существа, которое любил жадной, эгоистической, слепой любовью. Он только вчера понял, что любил, когда прочитал телеграмму. Понял не по боли, ударившей вдруг в сердце,— понял по пустоте, которую ощутил. Он всегда жил одиноко, даже тогда, когда рядом была она, он привык к этому одиночеству, ценил его и гордился им, но при этом знал, что одиночество это — его каприз, а не его судьба. Что есть на свете человек, к которому он в любой миг может приехать просто так, со скуки, или умирать, есть плечо, к которому можно припасть, есть сердце, которое всегда поймет, есть руки, которые в последний раз закроют его глаза. Теперь все исчезло. Пле-

чо было чужим и холодным, руки — неподвижными, а сердце, перестав биться, уже не принадлежало ни ей, ни ему. И по ту сторону гроба сейчас стояла не боль, не тоска: по ту сторону стояло отчаяние глухой одинокой старости. Одиночество стало судьбой.

— Поторопилась ты, Аня. Поторопилась...

Он впервые встретил ее четырнадцатилетней, двадцать шесть лет назад. Он был тогда отставным офицером с седыми висками и обидой, от которой, казалось, не было ни лекарств, ни спасения. Она, простая и ясная крестьянская девочка, дала ему и лекарство и спасение, и он воспрял, и стал смеяться, и стал жить — правда, по-своему, особливо, но жить и радоваться жизни. Чувствовать вкус, цвет, запах, ощущать тепло и потребность в ласке.

К чьим ногам сложу обиды,
Кому повею печаль мою?..

Он не помнил ни начала, ни конца этих стихов, не помнил, откуда они, кому принадлежат. Он просто мысленно твердил эти две строчки, словно корил судьбу за великую ее несправедливость.

«ОСТАВИТЬ БЕЗ МИЛОСТИ».

Эти три слова начертал собственной рукой государь Николай Павлович на его нижайшем прошении. Он гнал вчера Гавриилу, утверждая, что никогда Олесьины не просили милостей: просили! Он сам просил. Правда, один-единственный раз, правда, в отчаянии, правда, почти не помня себя. Оставили без милости, запретив появляться в Петербурге и указав покидать те города, где остановится его величество хотя бы проездом. И с той поры он не был более в Петербурге и уехал из Москвы во время коронации Александра II, хотя получил именное приглашение присутствовать в Успенском соборе. Сын прощал, но он не считал себя виноватым перед отцом и потому не принял прощения сына.

...Он влюбился в жеманную пустышку; потом-то он понял, что она пустышка. Но тогда ему было всего двадцать пять, жизнь была ослепительна, и он жил в ослеплении. Девушка отчаянно кокетничала, но держала его про запас: офицер был незнатен, но состоятелен, без связей, но при дворе, дурно воспитан, но красив, строен и высок. Но все же он добился позднего свидания в беседке, пришел много раньше срока, увидел, как проشمыгнула она, замешкался — и к счастью: было бы во сто крат хуже. Кто-то высокий в темной накидке быстро прошел следом. От ревности темнело в глазах, он до ломоты стискивал челюсти, но выждал и вошел в беседку неожиданно. Девушка вскрикнула, но из объятий не упорхнула.

— Ты весьма кстати, любезный, принеси-ка вина.

Он уже понял, кто его опередил: этот надменный голос знали все. Но он не поклонился, не побегал за вином, не отступил в темноту.

— Сударь, — сказал он, — дама тяготится вашим присутствием.

Пауза была короткой, но он запомнил ее, потому что сердце отсчитывало эту паузу.

— Ступай вон, болван.

Опять ему давали шанс, и опять он не воспользовался им.

— Завтра в это время я буду ждать вас здесь, сударь. Соблаговолите не опаздывать, в противном случае я останусь болваном, но получу право считать вас трусом.

Всю ночь он метался по парку, приходил в караулку, падал на койку, но не было ни сна, ни покоя, и он снова убежал в парк. Утром была смена, но он не успел уйти:

— Олесьина — к государю! Срочно!

Государь завтракал, когда он вошел и громко — государь любил ясность — отрапортовал, что прибыл по повелению. Николай медленно поднял голову, вперил в него немигающий взгляд, медленно вытер губы салфеткой. Он не отвел глаз, собрав все свое мужество.

— Тебе известно, что дуэли запрещены?

— Так точно, ваше величество.

— Однако ты ослушался моего повеления.

— Я был в ослеплении, ваше величество.

— В ослеплении? — Глаза по-прежнему не мигая, без выражения изучали его. — Значит, ты сожалеешь о том, что произошло?

— Никак нет, ваше величество. Я сожалею лишь о том, что никогда не смогу узнать, из-за кого нарушил ваше повеление.

— Почему?

— Я был в ослеплении.

— Ты не так глуп, как кажешься. Но мне не нужны караульные офицеры, способные впасть в ослепление. Я принимаю твою отставку с условием, что ты покинешь Петербург до захода солнца и никогда более не появишься в нем.

— Я не просил об отставке, ваше величество.

— Вот как? В таком случае я угадал твоё желание. Ступай и никогда не попадайся мне на глаза.

Он все же подал прошение. Он униженно просил прощения, но царская рука собственноручно начертила: «ОСТАВИТЬ БЕЗ МИЛОСТИ». И как было приказано, еще до захода солнца он покинул Петербург.

Он уехал на Псковщину, в родовое гнездо, когда-то, еще при Иване III, подаренное его предку за отвагу и испытанную верность московским великим князьям. Ни темная пора опричнины, ни Смутное время, ни стрелецкие бунты, ни сложная цепь дворцовых заговоров прошлого века не поколебали этой верности: в интриги предки не ввязывались, предпочитая служить отечеству подальше от двора. Он был первым, кто нарушил этот фамильный закон, первым и последним: Романовы не поощряли строптивых дворян. Быстро начавшаяся карьера так же быстро и рухнула, и гвардеец в отставке возвращался к разбитому корыту в смятении и обиде.

Несмотря на опалу, о которой быстро дозналось местное общество, Ивана Олексина приняли с почетом и подчеркнутым вниманием: молодец был холост, а в провинции всегда имелся переизбыток заневестившихся красавиц. Двери всех домов и самого губернатора широко распахнулись, но Иван Гаврилович редко пользовался гостеприимством провинциальной знати, предпочитая мужское общество, карты и охоту. Три года вел он гвардейско-холостяцкий образ жизни, а потом не то чтобы остепенился, а устал. Придворная ветреница была забыта; следовало если не влюбиться, то хотя бы задуматься о женитьбе. Он стал появляться в обществе, наносил визиты, посещал балы, и местные мамы воспряли духом. Гвардии холостяк сам шел в сети, дело завертелось, и вскоре Иван Гаврилович решительно отдал предпочтение племяннице губернатора, девице худосочной, но знатной и вполне светской. На пасху должна была состояться официальная помолвка, родственники барышни да и она сама уж считали дни, но никто не мог предположить, что в марте случится оттепель и тронутся льды.

Эта оттепель остановила Ивана Гавриловича на пути к невесте в глухой, позабытой богом и кредиторами деревеньке на тринадцать дворов вкуче с барским домом, куда, непривычно согнувшись, и вошел Олексин. Дом был дряхл и беден, хозяин радушен и болтлив, а в обратном направлении кинулись полые воды, мосты снесло, и лед трещал на реках. Прихо-

дилось скрепя сердце ждать то ли возврата зимы, то ли наступления лета.

— Межзимье — тяжкая пора! Я, извольте видеть, выезжаю редко, но страшусь этого безвременья. Страшусь!

Хозяин развлекал гостя в маленькой душной комнатке. За перегородкой звякали посудой, тихо переговаривались женские голоса.

— Я, извольте видеть, тоже лицо неугодное. Давно в отставке и, как и вы, без пенсиона. Отзвуки Сенатской площади, грехи молодости.

— М-да,— вяло поддакивал Олексин.

Вскоре пригласили к столу, где разговор взяла в свои руки хозяйка. Она не касалась политики, гость мило скучал и много пил, и все сошло благополучно. После ужина мужчины вернулись покурить в клетушку.

— Чай нам сюда подадут. Нюра, неси!

Отворилась дверь, и вошла девочка лет четырнадцати. Собственно, уже не девочка, но и не девушка, полуженщина-полуребенок, маленькая и крепенькая, как репка. Вошла и остановилась, просто и ясно глядя на незнакомого барина чистыми синими глазами.

— Поклонись же их благородию, Нюра. Ты молчишь неучтиво.

Девочка молча поклонилась. Она стояла свободно, как-то удивительно естественно, легко и, чуть склонив голову к плечу, спокойно разглядывала Ивана Гавриловича. И взгляд этот и полуоткрытые губки были совсем еще детскими, доверчивыми и беззащитными; встретившись с ней глазами, Олексин вдруг точно оглох и слышал уже не голос хозяина, а глухие удары собственного сердца.

— Ваша воспитанница? — спросил он, как только девочка вышла.

— Жена ее балует,— сказал хозяин.— Девочка славная, довольно знает грамоте, читает барыне перед сном.

Больше о ней не говорили. Девочка появлялась каждый день: подавала чай, что-то ловко и неслышно убирала, всегда серьезно, открыто встречая его взгляды. Иван Гаврилович заговаривал, она отвечала коротко, не смущаясь, но и не болтая попусту. И он начал улыбаться ей, и она в ответ улыбалась радостно и доверчиво, улыбалась всем существом: сияющими синими глазами, которых не опускала при этом, ямочками на тугих, покрытых золотистым пушком щеках, колючими аккуратными бровками, тотчас же весело прыгавшими куда-то вверх. И тогда Олексин крутил ус и принимался напевать что-то бравурное, отстукивая ритм ногой.

Через пять дней, когда хозяин с гостем сидели за шахматами, вошел мужик и доложил, что дорога на Псков открылась.

— Вот и кончилось ваше заточение,— сказал хозяин.— Завтра, даст бог, еще и подморозит, и утречком можете ехать. А мне, признаться, жаль: рад нашему знакомству, любезный Иван Гаврилович, весьма рад. Буду вспоминать да судьбу благодарить...

Что-то он еще говорил. Олексин не слушал. Нелепо и быстро проиграл партию, походил по комнате, нещадно дымя трубкой, и сказал вдруг:

— Продайте мне эту Нюру. Да, да, продайте, что вы смотрите на меня? Дам, сколько запросите.

— Я не торгую людьми, милостивый государь,— тихо сказал хозяин.

— Ну подарите, обменяйте, проиграйте в карты, наконец!

— Я не торгую людьми,— повторил хозяин.— И оставим этот разговор, Иван Гаврилович.

Олексин уехал через час, кое-как собравшись и почти не простившись с гостеприимными хозяевами. Но поехал он не к невесте, что с нетерпением ждала его, а в Псков. Там узнал, что деревенька, при-

ютившая его, заложена-перезаложена, и через подставных лиц купил ее на корню, велел старым хозяевам убираться на все четыре стороны.

Общество изумилось, губернатор настоятельно просил в гости, но он нигде не появился, а сразу же после всех сделок, подкупов, взяток и расчетов вернулся к себе. В огромное поместье с многочисленной дворней, конюшнями, псарнями и любовницами. Любовниц он разогнал, кого тут же выдав замуж, а кого просто отправив подальше, и стал ждать со странным ощущением, что так он не ждал никого.

Через три дня привезли Ньюру.

Ритуал был продуман до мелочей. Новую пассию встречали, переодевали и наставляли особо доверенные лица. Они же и ввели ее к нему в спальню, как было приказано. Ввели и исчезли, сдернув с нее платок, в который она куталась по-девчоночьи старательно.

Он развалился на пышной, разобранной ко сну постели. А она стояла перед ним в короткой батистовой рубашке, надетой на голое тело, плотно поставив рядышком маленькие ступни; помпоны на туфельках были синими, под цвет глаз, он сам купил эти туфельки в городе. Стояла молча, со странной взрослой грустью глядя на него.

— Здравствуй, Аня,— сказал он ненатурально бодрим голосом.— Подойди и поцелуй меня.

Она не тронулась с места, а из глаз вдруг полились слезы. И это было очень странно, потому что глаза ее по-прежнему смотрели на него не моргая, а слезы все текли и текли по крутым щекам, оставляя бороздки в пушке. Текли и капали со щек на грудь, и тонкий батист намокал и начинал уже просвечивать там, где намокал, и он видел крохотные темные соски, то ли от холода, то ли от волнения вынырнувшие как пуговицы.

— Не бойся, глупенькая,— сказал он.— Этого не избежать, и будет лучше, если ты подойдешь сама. Ну же. Не заставляй меня ждать, а тем паче прибегать к силе.

Она молчала и не двигалась, а слезы продолжали капать. Тогда он встал, уже злясь, прошелся по комнате, покашлял внушительно.

— Если бы я не любила,— вдруг сказала она.— Господи, если бы я не любила вас...

И опустив голову, покорно пошла к кровати. Он растерянно посмотрел на нее и неожиданно для себя крикнул:

— Эй, кто там! Накрыть в столовой ужин! — И добавил не глядя: — Поди оденься и жди в столовой. Я сейчас спущусь.

Он оделся к ужину как на бал. Спустился вниз; девочка уже ждала его, одетая во все новое, купленное на глаз, но старательно подогнанное. Подошел.

— Прости меня, Аня.— Взял за руку, подвел к столу.— Вот твое место. Отныне и навсегда.

Он сказал эти слова не готовясь, не думая, что скажет именно их, и всю жизнь потом втайне гордился, что сказал именно так.

Он хотел, чтобы она улыбалась как там, у болтливых уютных стариков, и чтобы так же, как там, смотрела на него с открытой детской влюбленностью. Хотел куда больше, чем чего бы то ни было иного, и сам удивлялся этому странному желанию. Но глядела она пока настороженно и серьезно, отвечала односложно и совсем не улыбалась, хотя он шутил и легко рассказывал забавные истории. И все равно ему было приятно угощать ее, смотреть на нее и чувствовать ее рядом.

После ужина он сам проводил девочку в отведенную для нее комнату, сказал, что ждет к завтраку, и пожелал спокойной ночи. Она поклонилась:

— Спокойной ночи, барин.

— Ты забыла, как меня зовут?

— Спокойной ночи, барин Иван Гаврилович,— покорно поправилась она.

Он ласково погладил ее по голове и ушел. И был чрезвычайно доволен, что не тронул, не обидел, не сломал эту девочку. Полночи бродил по дому, улыбался в зеркала, выходил во двор и подолгу смотрел в ее темное окно.

Он думал, как странно обернулась его прихоть и как радостно ему сейчас именно потому, что прихоть эта обернулась странно. Нет, не вождение руководило им, не вдруг вспыхнувшая страсть к чистой и очень юной девочке: в его жизни бывали и чистые и юные, но такой пронзительно искренней еще не было, и эта наивная святая искренность и приводила его в восторг. Впервые в жизни он поверил, что его любит женщина, поверил сразу, ни секунды не колеблясь и не требуя доказательств. Поверил всем сердцем, без остатка, поверил до потрясения и сохранил эту веру и это потрясение на всю жизнь вплоть до сегодняшнего дня.

А тогда... Тогда он все же раздул этот почти угасший огонек влюбленности осторожной лаской, заботливостью, подчеркнутым вниманием, проявив совершенно не свойственное ему терпение. Это была игра, игра азартная, новая, невероятно увлекавшая его. В этом увлечении он сначала перенес помолвку, сославшись на недомогание, а потом и вовсе забыл о ней и уже летом был неприятно удивлен личным визитом губернатора.

Говорили о Кавказской войне, о политике Англии, о последних петербургских сплетнях. Губернатор привез с собой свежие газеты и журналы, ни родственников, ни отложенной помолвки в разговорах не касался, и Иван Гаврилович немного успокоился и даже стал намекать, что собирается за границу на воды для окончательной поправки здоровья. Губернатор поддержал его намерение, выразил надежду, что Олексин возвратится полностью выздоровевшим, и беседа покатила совсем уж легко и просто.

И тут из сада выбежала Аня («Нюру» Иван Гаврилович решительно приказал забыть). Она всегда вбегала без доклада, уже привыкнув к своему особому положению в доме, любила появляться вдруг, выпалить что-нибудь, подставить лоб для поцелуя и так же неожиданно убежать.

— Пионы расцвели! Те, махровые, у беседки...

Тут она увидела, что барин не один, и замолчала. А Олексин спокойно смотрел на нее и улыбался, да и трудно было не улыбнуться внезапно влетевшей в чинную тишину крепкой девчужке в розовом нарядном платье, с цветами в руках.

— Позвольте представить вам, ваше превосходительство, мою воспитанницу Анну Тимофеевну. Анечку.

Губернатор, выждав паузу, неуверенно кивнул. Аня сделала книксен, подошла и протянула гостю цветы.

— Это самые первые. Посмотрите, как хороши.

Ей было трудно сказать эти слова, а уж для того, чтобы протянуть так легко и свободно цветы, понадобились все силы. Она была очень застенчива, даже диковата, всегда помнила о том, кто она и где кончатся ее права, но сейчас боролась за свое счастье и шла на дерзость с отчаянной решимостью, точно бросалась в омут.

— Так вот какова она, ваша Психея, о которой идет столько разговоров,— по-французски сказал губернатор.— Мила, очень мила, но дерзка. Весьма.

— Его превосходительство говорит, Анечка, что ты очень хороша,— невозмутимо перевел Олексин.— Буду весьма обязан, ваше превосходительство, если вы избавите меня от обязанностей толмача.

— Как мужчина мужчине я вас понимаю,— все так же продолжал губернатор.— Однако позволю себе надеяться, что, утолив пыл и охладив страсть на водах, вы вспомните как джентльмен о некоторых обязательствах если не перед моей племянницей, так хотя бы перед обществом.

— Анечка, его превосходительство благодарит тебя за цветы и желает обедать с нами,— с улыбкой пояснил Иван Гаврилович.— Распорядись, душенька, чтоб накрыли на террасе.

Аня положила цветы перед губернатором, мило улыбнулась и убежала. Его превосходительство проводил ее взглядом и недовольно вздохнул.

— Вы слишком балуете эту девчонку, сударь. Надеюсь, она не восприняла буквально ваш вольный перевод и я не увижу ее за обедом.

— Напротив, ваше превосходительство. Хорошенькие лица способствуют аппетиту.

— Для меня это очень сильное средство,— сухо сказал губернатор, вставая.— Кроме того, я спешу. На прощанье позволю себе дать вам совет: одумайтесь, Олексин.

— Как мужчина мужчине признаюсь вам, что я не принимаю советов ни от кого, исключая управляющего, за что и плачу ему деньги. Это гарантирует меня от слепого подчинения чужим, а следовательно, и не вполне искренним желаниям.

— Вы, кажется, забываетесь, милостивый государь!

— Простите, но это вы забываетесь, повышая голос на хозяина дома. Не сюда, ваше превосходительство: эта дверь сократит вам путь к вашей карете. Эй, кто там! Карету его превосходительства!

Он не вышел проводить губернатора. Не в гневе — он был абсолютно спокоен,— а чтобы раз и навсегда поставить точки над «и». Глядел через окно, как подсаживали в карету смертельно обиженного старика, как тронулась карета. Потом оглянулся — в дверях стояла Аня.

— Старый пень отбыл, и мы обедаем вдвоем! — весело сказал он.— Ты довольна?

Она серьезно смотрела на него.

— Его племянница и есть ваша кзвеста?

— Почему ты так решила?

— Он говорил о ваших обязательствах.

— Аня,— он опустился на стул, поманил ее,— ну-ка поди сюда.

Она подошла, и он обнял ее за талию.

— Кажется, я напрасно переводил?

— Меня барыня, та, прежняя, учила французскому, я и читать умею.— Она не удержалась и немножко похвасталась.

— Ах умница моя...

— А переводили вы не напрасно.— Аня вдруг начала неудержимо краснеть.— Совсем даже не напрасно.

И, гибко изогнувшись, впервые крепко и благодарно поцеловала его в губы. Тут же выскользнула из объятий и выбежала. Только платье взметнулось.

За границу он поехал вместе с Аней, правда не на воды, а в Париж. Он ехал летом, в мертвый сезон, не столько по прихоти, а для того, чтобы девочка спокойно привыкала к незнакомой жизни. Поэтому и вернулись поздно, к началу зимы, и под первые морозы обвенчались в скромной сельской церкви, в которую вошла крестьянская девочка Нюра, а вышла барыня Анна Тимофеевна.

А гости на свадьбу не пожаловали, хотя приглашения были разосланы широко и заранее: даже единственная сестра Софья Гавриловна

сказалась больной. И войдя в зал, где ломились столы и никого не было, Иван Гаврилович затрясся и закричал:

— Все отдать свиньям! Все!..

Он крушил мебель, переворачивал столы, бил посуду. К нему боялись подступиться, и только молодая жена отважно бросалась под тяжелые кулаки; утром он виновато целовал ее кровоподтеки.

Это был первый приступ слепой ярости, ворвавшийся в день свадьбы как знамение: Иван Гаврилович трудно переживал обиды. Он никуда более не выезжал и никого не принимал у себя ни под каким видом, сделав исключение только для сестры по слезной просьбе Анны Тимофеевны. Он никогда не забывал оскорблений, он сладострастно берег их в памяти, холил и нежил, и они обрастали наслоениями, непомерно раздуваясь, теряя причинные связи, отрываясь от действительности и угнетая его размерами. Все это зрело в нем как нарыв, иногда прорываясь в припадках безудержного гнева. Тогда он ломал все вокруг, беспощадно сек людей за малейшую провинность, а опомнившись, уезжал подальше от немого укора терпеливых глаз жены. Переселился из Псковщины на Смоленщину, подарив Анне Тимофеевне Высокое, и окончательно устранился от всего. Не интересовался ни делами, ни хозяйством, пристрастился к охоте, случайным трактирным знакомствам и — постепенно, как-то исподволь — к одиночеству.

Первый ребенок родился мертвым: Анна Тимофеевна была еще слаба, еще не созрела и не могла давать плодов. Несмотря на отчаяние, она не потеряла головы; свято выполняла указания врача, выписанного из Германии, год всеми правдами и неправдами береглась и хитрила и в шестнадцать родила крепкого и здорового мальчишку. И уже больше не береглась и не боялась, хотела детей и рожала их еще девять раз...

А теперь лежала перед ним тихая и покойная. И он не отрываясь все смотрел на нее и смотрел, а в голове тяжело и упорно ворочалась одна мысль: «Что же ты меня-то обогнала, Аня? Что же ты бросила-то меня, одного бросила?» Это была новая обида. Самая горькая из всех обид, что с таким сладострастием коллекционировал он в себе.

3

— Ну вот мы все в сборе,— сказала Варя, выходя на террасу.

— Почти все,— поправила Маша: она любила точность.

До прихода Вари все молчали. Младшие теснились вокруг Ивана — он всегда возился с ними,— старшие разбрелись по террасе, не решаясь ни присесть, ни заговорить. И Варя подумала, что эти-то уже расстались с гнездом, уже разлетелись, а теперь и вообще не появятся более. До очередного несчастья. От этой мысли ей стало еще горше, и она твердо решила сделать все, чтобы не допустить распада семьи. Сохранить клан, растерявший сословные связи, знакомства и поддержку.

— Ваня, погуляй с детьми.

Иван тотчас увел младших; они были такими потерянными, такими непривычно тихими и послушными в эти дни. А ведь их предстояло вырастить, выучить и направить в жизнь, и все эти заботы грозили свалиться на нее одну.

— Садитесь,— сказала Варя.— Нам надо поговорить.

Все расселись. Она осталась стоять, вглядываясь в такие родные, такие знакомые и такие похожие друг на друга лица. Все они сейчас почему-то избегали ее взгляда; только небрежно обросший юношеской клочковатой бороденкой Федор смотрел на нее, но думал о чем-то ином: глаза были пустыми, отсутствующими. Видно, опять был в плену

какого-то вдруг принятого решения и уже предвкушал результат, еще не начав действовать. «Наш Феденька из неубитого медведя уже по себе шубу кроит»,— говорила в таких случаях мама.

— Кажется, мы наконец-то становимся взрослыми,— неуверенно нащупывая подходы, начала Варя.— Вернее, должны стать взрослыми, если способны оценить мамину... — Она не решилась произнести слово «смерть».— Оценить, что мамы больше нет. Мы сироты, да, да, крутые сироты, поскольку батюшка наш отцом нам так и не стал.

— Варя, так не следует говорить,— строго сказала Маша.— Это и несправедливо и непочтительно.

— Несправедливо, непочтительно, но верно,— сказал Гавриил.— Варя права: пора научиться смотреть правде в глаза.

— Несправедливо, но — правда?— Маша возмущенно тряхнула тяжелой косой.— Разве может существовать несправедливая правда? Это же иезуитство какое-то: неправедная правда! Может быть, это исповедуют в полках, но исповедовать это в жизни...

— Оставь, Маша,— ломающимся баском прервал Владимир.— Нашла время для споров. И кстати, именно офицерский корпус с его особым, я бы сказал, рафинированным отношением к личной чести не заслужил твоих оскорбительных намеков.

— Не надо спорить,— примирительно сказала Варя.— Вероятно, я неточно выразилась, но суть в том, что мы — семья, понимаете? Мы — семья,— твердо, как закливание, повторила она,— единая семья, одно целое. Конечно, мы разъедемся, разлетимся, у каждого будут свои заботы, а потом и своя семья, но где бы мы ни были, куда бы ни забросила нас судьба, мы должны помнить, что мы — одно целое, что нет крепче уз, чем те, которыми мы связаны. Мы — мамыны дети, помните это всегда.

— Мужички дети, это ты хотела сказать? — с усмешкой спросил Гавриил.— Не стоит, Варвара. Не стоит наступать на мозоль. И забыть нам о ней не дадут, даже если бы мы сами хотели этого. Не дадут, господа лошаки, не дадут-с!

Он замолчал, с излишней торопливостью прикуривая новую папиросу. Все смотрели на него и тоже молчали, и в этом молчании было не столько удивление, сколько стыд за него, будто он, старший, сделал сейчас нечто глубоко безнравственное.

— Ты это скверно сказал, Гавриил,— вздохнул Федор.— Очень скверно, прости уж, пожалуйста.

— Подло! — крикнула Маша, и в глазах ее показались слезы.— Это подло, низко и гадко! Зачем ты приехал сюда? Зачем? Чтобы плюнуть на гроб?

— Успокойся, Маша.— Варя обняла сестру за вздрагивающие плечи.— Володя, принеси воды. Успокойся, Гавриил не то имел в виду.

— Нет то! То самое!

— Сожалею, что был превратно понят,— деревянным голосом сказал Гавриил и встал.— Здесь достаточно причин для иных слез, не стоит лить их по этому поводу. Полагаю, что конференция окончена.

Спустился в сад, постоял немного и пошел подальше от детских голосов, в глушь, к беседке.

— Пожалуйста, Федя, верни его, если сможешь,— сказала Варя.— Ах, ну почему, почему нет Васи!

— Пей.— Владимир принес воду.— И бога ради, перестань реветь.

— Тебе не обидно за маму? — спросила Маша, залпом выпив воду.— А мне очень обидно, очень,

— Он не так выразился, уверен, что не так,— вздохнул Владимир.— Всем нам трудно, все мы как потерянные, почему же ты счи-

таешь, что ему все трын-трава? Нельзя же быть такой непримиримой, Маша, нельзя.

— Только бы Федя вернул его,— вздохнула Варя.

Федор нагнал брата скоро, но долго шел молча: ждал, пока оба успокоятся. Он не любил столкновений и ссор, терялся в них и потому всегда старался свести дело к мирному концу. Но пока он выжидал и подыскивал слова, заговорил поручик.

— Нас прекрасно воспитывали, ты не находишь? Мы говорим на трех языках, довольно слышаны о новой философии и модных идеях, знаем, почему Сократ выпил чашу с ядом и за что Иоанн Креститель расстался со своей головой..

— Мне кажется, ты говоришь о другом,— нерешительно перебил Федор.— Ты говоришь о наших знаниях, а не о наших принципах. Можно знать очень много, очень, можно быть великим ученым и не иметь никаких принципов. Ты согласен?

— Кто это тебя научил?— с усмешкой спросил Гавриил.— Скажешь, что сам додумался? Не поверю, Федька: ты ленив и мягок.

— Конечно, не сам,— тотчас же согласился брат.— Это все Вася. Он будто сеятель среди нас, правда. Разбросал семена, щедро разбросал, не задумываясь и не скупясь, и уехал в Америку. Может быть, тоже сеять? А зерна его в нас прорастают, я чувствую, как они прорастают, хоть и многого не понимаю еще.

— Болтуны вы, что ты, что Васька,— проворчал поручик.— Перебил меня, а я в мыслях запутался. Обидно, брат, когда в лицо смеются, а крыть тебе нечем, очень обидно.— Он помолчал.— Так что там Василий говорил насчет принципов?

— Он считает, что принципы— единственное мерло личности. Именно по ним мы уже давно бессознательно делим людей на добрых и злых, на плохих и хороших. Мы знаем, допустим, что господин N, пусть он хоть трижды легкомыслен, не солжет и не предаст, ибо у него в душе воспитаны принципы, посеяны и выращены. А вот господин NN, с пафосом воздающий хвалу своему учителю, завтра же отречется от него и с тем же пафосом будет проклинать, с каким хвалил. И пусть он хоть семи пядей во лбу, пусть он хоть все знания мира вобрал в себя— грош ему цена, ибо он беспринципен. Разве не так? Разве ты сам не делишь людей, исходя из их порядочности?

— Я делю людей на счастливых и несчастных, вот и вся философия,— сказал Гавриил.— Это деление точное и правильное, а все остальное— от лукавого, Феденька. От безделья, господа студенты, только от безделья.

— Ты упрощаешь, брат. Упрощаешь неосознанно, потому что боишься...

— Боюсь?— Поручик громко, нарочито расхохотался.— Ты говоришь это офицеру, побывавшему в Хиве?

— Извини, я не имел в виду храбрость, я имел в виду понимание жизни. Большинство, огромное большинство людей поступают так, как ты, то есть разлагая жизнь на две субстанции: на счастье и несчастье. Это примитивное представление..

— Да брось ты эту галиматью, Федор!— неожиданно грубо оборвал Гавриил.— Плевать людям на все ваши философские доктрины, им счастье подавай. Да, да, примитивное, обывательское, насущное и реальное счастье. И они стремятся к нему всеми силами и всеми мерами, ибо в противном случае будет несчастье. Так вот счастье и несчастье— это альфа и омега жизни, господа теоретики. Альфа и омега, от и до, два полюса, меж которыми и мечется людское стадо, сопя, толкаясь и беспощадно давя друг друга.

— Зачем ты такой злой, Гавриил?— вздохнул Федор.— Злость сушит ум. Сушит.

— Злой, говоришь?

Гавриил замолчал. Они поравнялись с беседкой, и из этой заросшей хмелем беседки вдруг донесся глухой, сдавленный стон. Гавриил раздвинул колючие плети: за врытым в землю столом, низко согнувшись и закрыв лицо смятым картузом, сидел Захар. Широкая спина его судорожно вздрагивала, и зажатые рыдания были похожи на странный рыкающий кашель.

— Вот почему я злой,— тихо сказал Гавриил.— Я тоже хотел бы зарыдать в шапку, но не могу. Не могу, и ты не можешь, и нам во сто крат горше, чем ему.

— Захар?— Федор вошел в беседку и, сев рядом, положил Захару руку на плечо.— Что ты, Захар, что ты?

— Эх, Феденька!— Захар тяжело вздохнул и отер лицо картузом.— Тяжко, когда и смерть не равняет. Не мне, а ей тяжко, сестрице моей.

— Батюшка сгоряча сказал так, от боли,— сказал Федор.— Он и нас выгнал потом, один остался. Может, рыдает там сейчас, как ты здесь.

— Зарыдает он, как же.— Захар поднял голову, увидел стоявшего в дверях Гавриила, хотел было встать, но не встал, а только качнулся.— Не будет ли папиросочки, Гавриил Иванович? Табак свой позабыл где-то.

Гавриил, помедлив, протянул портсигар. Сел рядом, усмехнулся:

— Слезами печаль мерить проще простого. И стоит недорого, и видно всем.

— Ах, брат, брат!— Федор укоризненно покачал головой.

— Сухая душа быстро черствеет, барин,— сказал Захар.— А с сухарем вместо сердца жить тяжело. Сами знаете: было на кого глядеть.

— Грех на старика злобу копить,— примирительно сказал Гавриил.— Бог велел прощать ближним, да и уедет он скоро. Залезет опять в свою раковину, и до смерти ты его не увидишь.

— Уйду я,— сказал Захар, словно не расслышав.— В Сибирь уйду, в Малороссию или еще куда. Человек я вольный, и бумаги при мне. Не могу я тут, тошно мне, и душа моя словно с места сдвинута.

— Уйдешь?— Федор весь подался к Захару.— Вправду уйдешь?

— Вот крест святой.— Захар перекрестился.— Корень мой зачах тут, не хочу более в Высоком.

— Тогда, знаешь...— Федор задохнулся словами.— Возьми меня с собой, а? Возьми, пожалуйста, возьми! Я работать хочу научиться, я пользу хочу приносить и понять все, я...

Гавриил громко засмеялся, но Федор уже не обращал на него внимания. Он был весь во власти идеи, он уже жил ею, он уже шел куда-то, уже пахал, ловил рыбу или рубил избу: привычно и восторженно кроил шубу из неубитого медведя.

— Да что ты, Феденька,— улыбнулся Захар.— Душа у тебя добрая, это конечно, только шкворень бы ей выковать...

— Вот вы где,— сказал Иван, заглядывая в беседку.— Идемте же к Варе, она по всему саду гонцов разослала.

— Идем с нами, Захар,— сказал Федор.— Мы как раз семейные дела решаем.

— Нечего там Захару делать.— прервал Гавриил, выходя.— Мы и сами-то толком не знаем, что решать да о чем говорить.

Однако Варя знала, чего хотела. Высокое было собственностью мамы только при жизни, после смерти оно отходило к отцу. Конечно, он никогда бы не оставил младших без средств, но по капризу или в

порыве отчаяния мог, никого ни о чем не спрашивая, продать имение и предложить всем перебраться на Псковщину. Вот этого Варя и не хотела и боялась и поэтому заранее решила условиться, чтобы в случае необходимости прозвучало хотя бы всеобщее неудовольствие.

— Послушает он нас, держи карман шире!— сказал Владимир.

— Оставь юнкерские прибаутки для казарм,— нахмурилась Варя.

— Господи, о чем вы, о чем?— вздохнул Иван: с младшими его заменила Маша, не желавшая более видеть Гавриила.— Можно же и потом об этом, после всего.

Он не сказал «после похорон», не смог выговорить.

— После всего он уедет.

— И я уеду,— вдруг сказал Гавриил.

— Знаете, я, пожалуй, тоже...— начал было Федор, но замолчал, потому что все сейчас смотрели на Гавриила.

— Торопишься в полк?— спросил Владимир.

— Нет, я в длительном отпуску.— Гавриил говорил отрывисто, словно нехотя.— Я еду в Сербию.

— В Сербию?— недоверчиво переспросил Иван.

— Да. К генералу Черняеву.

— Это прекрасно!— восторженно воскликнул Федор.— Это замечательное, благородное решение, я... Я завидую и от всего сердца благословляю тебя.

— А как же «не убий»?— усмехнулся Гавриил.— Я ведь убивать собираюсь, Феденька.

— Счастливец!— заулыбался Владимир.— Если бы я мог...

— Как глупо!— резко сказала Варя.— Как оскорбительно глупо все, о чем вы говорите! Все ваши восторги, планы, шуточки над маминим гробом.

Все примолкли. Федор виновато развел руками и сел. Владимир перестал улыбаться.

— Ну, давайте скорбеть,— сказал Гавриил.— Хором или по очереди?

— Нет, это, право же, нехорошо как-то,— вздохнул Иван.— Мы забываемся, а это нехорошо.

— Нехорошо то, что фальшиво,— сказал Гавриил.— А если мы искренне улыбаемся, то ничего плохого в этом нет. И это никак не может оскорбить ни наши чувства, ни мамину память.

Варя не успела возразить: из зала вышел отец. Все встали, глядя на его осунувшееся, окаменевшее лицо с остановившимися, невидящими глазами. Он медленно подошел, остановился перед Варей, хотел что-то сказать, но губы запрыгали, и он прикрыл их рукой, разглаживая усы.

— Что с вами, батюшка?— тихо спросил Федор.

— Почему у нее,— старик дрожащими пальцами потыкал щеку,— пятнышки? Здесь пятнышки?

— Она полола,— сказала Варя.— Полола и упала в землю лицом.

— Последняя боль...— Старик покивал головой.— Кто решил здесь хоронить? Кто сюда везти приказал, я спрашиваю?

— Мы,— растерянно сказал Владимир.— Я, Маша, Ваня, Захар...

— Захар!— Отец яростно отмахнулся.— Что он понимает, ваш Захар! Там ее земля, в Высоком, неужели не ясно? Там, где полола, во что лицом, лицом уткнулась в последний раз. Назад! Запрягать! Немедля!

Все молчали, переглядываясь в замешательстве.

— Батюшка, это не очень удобно,— отважился Гавриил.— Везти тело тридцать верст в такую жару. И так уже...— Он замолчал.

— Пахнет, да?— выкрикнул старик.— Чего же недоговариваешь, чего мямлишь, офицер?— Он обвел всех суровым взглядом.— Здесь простимся. Сейчас, пока закладывают. Здесь простимся, а там, в Высоком — ее Высоком! — похороним. И меня тоже там. Рядом, гроб к гробу, слышите? Гроб к гробу!

И зашагал к дверям, откинув седую голову к прямой, как древко, спине.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Василий Иванович Олексин так и не получил Вариного письма, адресованного в далекий американский городишко. Письмо медленно ехало по Европе, медленно плыло по океану, подолгу залеживалось в почтовых мешках, а когда в конце концов достигло назначения, адресат уже пересекал Атлантику в обратном направлении, перебирая в памяти осколки разбитых вдребезги иллюзий.

Правда, мечты превратились в иллюзии недавно. А до этого еще со студенческих сходов они являлись смыслом жизни, самой возвышенной, самой святой идеей века. Даже тогда, в самом начале пути, при первых встречах с Марком Натансоном и его супругой Ольгой Александровной, когда идея только как бы парила в воздухе, уже родившись, но еще не одевшись в слова, даже тогда она не казалась иллюзорной. Она была истиной, и ее воспринимали как истину, как единственную, равную откровению формулу, уравнивавшую счастье народа с подвигом во имя этого счастья. Осознание своего долга перед большинством, поработанным государством, церковью и вековым невежеством, делало их бесстрашными, сильными и гордыми не перед людьми, а перед судьбой. Прежние представления о жертве во имя прогресса, о миссионерско-просветительской деятельности, о благородном порыве, сострадании, милости и прочем были отброшены: они изначально разводили народ и тех, кто хотел служить этому народу, на неравноправные, заведомо противопоставленные друг другу позиции благодетелей и просителей. Нарушалось не просто равенство, его не могло быть,— нарушалась взаимосвязь целого, называемого народом, нацией, родиной. Мозаика не складывалась, картины не возникало; темная, непонятная масса шла своим, особым путем, а те, кто хотел служить этой безликой массе,— своим, и пути эти никогда не пересекались, как рельсы Николаевской дороги.

— Парадокс в том, что мы, дети народа, его плоть и кровь, настолько оторвались от него, настолько обособились, что цветом на его теле чуждым, непонятым и пугающим его цветом, источая раздражающий аромат роскоши и тунеядства,— говорил Красовский, их трибун и идеолог, по имени которого и называли их кружок.— Нам необходимо вернуться в материнское лоно не для того, чтобы раствориться в нем, а для того, чтобы всеми силами, знаниями, талантом облегчить ему жизнь и страдания. Будущее России в единстве народа и интеллигенции. Служить народу значит вернуть ему наш непоплатный долг, постараться возместить то, что господин Лавров так блестяще определил как цена прогресса.

Однако уплатить эту «цену прогресса» оказалось непросто: во-первых, сам кредитор не желал принимать долга, с привычной недоверчивостью встречая очередное господское начинание; во-вторых, правительство немедленно усмотрело в этом противозаконие, и наиболее активные пропагандисты и ходоки в народ вскоре очутились за решеткой. Петербург и Москва готовились к небывалым по количест-

ву обвиняемых политическим процессам. Непонятое и непринятое снизу течение оказалось разгромленным сверху; сотни арестованных ожидали своей участи в камерах, остальные разбежались, затаились, ушли за границу.

Василий Иванович был арестован, но до суда отпущен на поруки с высылкой под надзор по месту жительства. В Высоком тогда, два года назад, вместе с мамой жили Варвара и Федор; никто ни о чем не расспрашивал, никто не упрекал, никто не жалел, и Василий Иванович вскоре оправился от потрясения, вызванного первым знакомством с голубыми мундирами. Поехал в Смоленск, привез две телеги книг, много читал, много думал. Когда Федор или Варвара приставали с вопросами, виновато улыбался, бормотал и старался уйти к себе. А мама укоризненно говорила:

— Васенька торбочку примеряет, а вы мешааете.

— Какую торбочку, маменька?

— Собственную. У каждого своя торбочка, и как наденешь ее, так и до смерти не скинешь. Поэтому ошибиться нельзя: надо по плечам брать, по силам мерить.

Вскоре Василий Иванович, отложив книги, стал частым гостем в деревне, с наслаждением принимал участие в общинных работах: косил, жал, возил с поля снопы. Говорил о чем-то с мужиками, особенно со старостой Лукьяном и Захаром. Федор преданно сопровождал его, но был еще молод, многого не понимал, зато запоминал все. Путался, страдал и наконец не выдержал:

— Что тебе в них, в мужиках, Вася? Экают, мекают, ничего толком объяснить не могут. Тупы, как верблюды загнанные, а ты время тратишь.

— Тупы?— Василий Иванович улыбнулся.— Очень уж себя мы любим, Федя. А это самое легкое: себя-то любить. Нет, ты вот такого полюби, потного да нечесаного, в лаптях да сермяге. Тогда прозреешь. И все разглядишь: и сердце доброе, и совесть, и справедливость, и ум, которому любой позавидовать может. Только в коросте пока все это. Триста лет коросте той, Федор Иванович, брат мой любезный. Пока мы французские глаголы да английские времена учили, кормилец наш пот со лба смахивать не поспевал. Высыхал тот пот на нем, слой за слоем в коросту превращался, и мы уж своего же брата-русика узнавать перестали. А ведь мы должны ему.

— Должны?— Федор недоверчиво усмехнулся.— Это он нам должен.

— Он нам рубли должен, а мы ему — миллиарды. Мы в кабальном долгу перед ним, Федор, запомни это, пожалуйста. На всю жизнь запомни.

Федор запомнил, память была блестящая. И о долге запомнил, и о тех трех мешках, о которых Василий Иванович толковал с Варей. Федор и тогда мало что понял, по правде говоря, но запомнил.

— Деревня живет по закону трех мешков, Варенька. Глупо? Чрезвычайно глупо, а попробуй переубеди их, попробуй уговори.

— Каких трех мешков?

— Роковых, на этих трех мешках русская деревня стоит, как земля на трех китах. Вот считай: одна треть мужицкого урожая — долг, недоимки, общинная доля и прочая и прочая; вторая треть — хлеб насущный на круглый год до новой страды; а третья — семена, то, что весной в оборот уйдет, чтобы снова те же три мешка породить. Скажешь, простое, мол, воспроизводство? И ошибешься. Нет никакого воспроизводства. Есть рабская традиция, привычный страх, что излишек все равно отберут, как отбирали доселе. Есть поразительная готовность к худшему. Не к лучшему, заметь, а к плохому, к невыно-

симуму, к чему-то настолько тяжкому, что и говорить-то об этом не хочется. А раз так, раз все равно плохое впереди, так зачем же четвертый мешок? Знаменитый четвертый мешок, который лежит в основе всех богатств, оказывается ненужным русскому мужику — вот в чем парадокс, Варя.

Варя слушала затаив дыхание. Она не просто любила старшего брата — она восторженно поклонялась ему и слушала так, как слушают влюбленные женщины, не столько вникая в смысл, сколько чувствуя интонацию, стук сердца, волнение и страсть. Ее пансионное образование было далеким от жизни, и сейчас она жадно, до самозабвения училась, слушала, читала, стремясь как можно скорее постичь тот мир, который так горячо принимал к сердцу ее идол. Она читала по ночам привезенные им книги, старательно выписывая целые страницы и выучивая наизусть то, в чем не могла разобраться.

Потом в Высокое приехал сам Красовский и с ним восторженная, непородисто громкая и вызывающе аппетитная курсистка Градова. Таких девиц всегда хочется тискать, и Варя сразу же люто невзлюбила ее именно за это качество.

— Маменька, она неприлично кокетничает с Васей. По-моему, решается его судьба...

Пугая маму, Варя и не подозревала, как близка была к истине: судьба Василия Ивановича действительно решалась в эти дни.

— Вы абсолютно правы, Василий Иванович, — как всегда тихо сказал Красовский. — Ломать традиции можно только примером, даже если дело касается трех мешков. Всякая иная ломка чревата подрывом нравственного фундамента народа. А пример вполне реален: наш друг Градова согласна пожертвовать своим наследством.

— Эти миллионы жгут мне руки! — с пафосом воскликнула курсистка.

— Значит, земледельческая коммуна? — с замиранием сердца спросил Василий Иванович. — Боюсь верить в это, господа: такое счастье бывает только в сказках.

— В Новый Свет! — Градова стремилась к возвышенным чувствам, яростно отрицая этот погрязший в сытости мир. — Мы привезем туда новую религию!

— Это прекрасно, — улыбнулся Красовский. — Но наша основная задача — создать образец самокупаемой, мало того, рентабельной ячейки общества, основанной на принципах равенства. Создать не для себя, не для внутреннего потребления, а в качестве примера для всех свободных тружеников. Мы должны агитировать не столько словом, не столько нравственной чистотой своего бытия, сколько результатами своего труда. Мы должны добиться права гордо сказать всему миру: смотрите, на что способен истинно свободный, гордый и прекрасный человек. Смотрите не для того, чтобы удивляться, а для того, чтобы самим стать лучше. Я свято убежден, что пример свободного труда способен сотворить чудо и сотворит его!

Он сказал это тихо, без всякой аффектации, а словно прислушиваясь к своим мыслям и в то же время критически проверяя их. Это был верный способ привлечь внимание в самых громких спорах: Красовский недаром слыл признанным вожаком их кружка.

Их было десять, рискнувших создать модель нового общества: семеро мужчин и три женщины, и среди них Екатерина Малахова, единственная мать. Одиннадцатый член будущей коммуны отправился за океан еще два месяца тому назад.

Этим одиннадцатым был Вильям Крейн — в прошлом офицер Генерального штаба, человек выдающихся способностей, увлекающийся и нетерпеливый. Крейн ожидал их в Нью-Йорке, уже имея в кар-

мане документы на право владения фермой в далеком западном штате.

Они с энтузиазмом взялись за дело, но первый урожай сторел на корню: год выдался засушливым. Пришлось начать все сначала, но энтузиазма хватило и на это: они были молоды, отважны и верили в свою великую цель. Однако то ли сеяли они слишком поздно для этих широт, то ли купленные второпях семена были никуда не годными, а только и второй урожай не внушал особых надежд: колос был полупустым, стебель чахлым и тощим, посевы редкими, с многочисленными огрехами. Василий Иванович целыми днями бродил по полям, высчитывая зерна в колосках, и лишь одно поле — то ли потому, что он сам его обрабатывал, то ли по счастливой случайности — обещало хоть что-то весомое.

— Озабочены, Василий Иванович? — спросила Малахова, встретив его за этим занятием: она гуляла с сыном.

— Озабочен, Екатерина Павловна, — вздохнул Олексин. — И признаться, не понимаю, почему здесь недород, а на том клину полный колос. Может быть, близко грунтовые воды?

— Какие там воды, — усмехнулась она. — Руки у вас золотые, вот и вся причина. А мы тят да ляп.

— Ну что вы, столько труда... — Он замолчал, потому что лгать не умел да и не хотел: труда было много, но бестолкового. — А Коля ваш младцом стал. И окреп, и вырос.

— Скучно здесь, — невпопад сказала Малахова. — И небо то же, и хлеба, а — не Россия. И поговорить не с кем: ни людей вокруг, ни соседей. Если бы не вы, взяла бы я Колецьку — и куда глаза глядят. Ей-богу, куда глаза глядят...

Смахнула слезинку, взяла сына за руку и пошла к их большому и уютному дому, где было много жильцов, но ни одной подружки, где был муж, но не было друга. А хотелось тихих вечеров с самоваром и вареньями, уютных разговоров ни о чем, спокойной уверенности в завтрашнем дне. Но вместо этого каждый вечер ее ожидали бесконечные жалобы мужа, раздражающая неряшливость Градовой и тоскливый, как в казарме, стол на двенадцать персон.

«Если бы не вы...» Голос ее словно остался тут, с ним. До сих пор он боролся со своей влюбчивостью, всячески сторонился женщин, соблюдал строгий режим и обливался по утрам звонкой колодезной водой. Но с каждым днем он все отчетливее слышал шелест юбок, а по ночам просыпался от одних и тех же снов и в одной рубашке выходил остывать во двор.

Он думал, что теперь ему обязательно приснится Малахова, и даже хотел этого. Но приснилась не она, грустная и тихая, а разбитная петербургская девица без имени, этакое пышущее бесстыдством создание в одних черных чулках. Создание наваливалось горячим телом, душило и требовало, и Василий Иванович счастлив был проснуться на узком топчане в собственной темной камерке. Встал, отер взмокший лоб и вышел во двор. По привычке он направился к конюшне: он всегда навещал лошадей во время своих остываний. Створки оказались полуотворенными, но он не обратил на это внимания и вошел. И замер в дверях: против входа лежал кто-то на охапке сена. Он не понял, кто это: в конюшне стоял предрассветный полумрак. Шагнул: на сене, вольно раскинувшись, сладко спала Градова. А рядом похрапывал еще кто-то, и рука этого неизвестного небрежно покоилась на круглом женском колене. Олексин тихо попятился, но уйти не успел.

— Кто тут? — сонно спросил мужчина.

Василий Иванович выбежал, неуклюже ударившись о створку приоткрытых ворот. Хотел тут же скрыться в доме, но передумал, боясь, что заподозрят в подглядывании. Пошел не спеша, но сзади окликнули.

— Олексин, вы?— Деланно позевывая, подходил Крейн.— Не спится? Да, душно тут ночи. А вы все насчет урожая беспокоитесь?

Василий Иванович покивал. Ему было неудобно и неуютно разговаривать с этим человеком после того, что он увидел, но извиниться и уйти он почему-то не мог, хотя Крейн явно ждал этого.

— Интересно, а что творится у соседей? Может быть, съездим завтра с вами, Олексин? С познавательной целью, а?

— Можно,— с трудом выдавил Василий Иванович.

— Так и порешим. А пока воздержимся от суждений, правда? Наши склонны к преувеличениям.

И торопливо пошел к конюшне, где на душистом сене сладко спала женщина.

На следующий день они предприняли объезд соседей, и вечером Крейн лично доложил результаты рекогносцировки:

— Мы скверно работаем, друзья. Мы царапаем землю, вместо того чтобы ее пахать. Мы причесываем, а не бороним. Мы непозволительно запаздываем со сроками и сеем кое-как, лишь бы избавиться от зерна.

— Какой же выход? Что скажет заведующий хозяйством?

— Выхода я вижу два,— сказал Василий Иванович.— Первый — нанять рабочую силу, пока мы не встанем на ноги.

— Но это же абсурд: коммуна, пользующаяся наемными рабочими! Мы рубим сук, на котором сидим!

— Второй выход: переход от зернового хозяйства к смешанному. Купить скот, откормить его, продать и тем покрыть дефицит.

После долгих споров предложение было принято, и Василий Иванович собрался за бычками в ближайший городишко: он лучше остальных говорил по-английски. Крейн вызвался проводить.

— Старайтесь не пользоваться наличностью,— говорил он, придерживая лошадь, чтобы ехать рядом.— Чеки и только чеки: Америка — особая страна.

— Да, да, я вас понимаю.

— Настаивайте, чтобы продавец сам обеспечил доставку гурта. Скажите, что окончательный расчет будет на месте.

— Конечно, конечно. Я один просто не справлюсь.

— И вот вам на всякий случай.— Крейн протянул кольт.— С ним, знаете, спокойнее, но не проговоритесь нашим дамам.

— Благодарю вас, Крейн, только мне как-то спокойнее без оружия. Я человек мирный.

— В Америке нет европейского деления на мирных и военных. Здесь люди делают на вооруженных и безоружных.

— И все же...

— Вы мне симпатичны, Олексин, и я вам дарю этот револьвер на память. Счастливого пути.

Крейн хлестнул лошадь, и Василий Иванович остался один. И проводы и особенно подарок были похожи на плату за молчание, и на душе у Олексина остался неприятный осадок.

В ближайшем городишке продажного скота не оказалось, и Олексин, переночевав и наведя справки, двинулся дальше на Запад. Здесь уже совсем пошли места незнакомые, обжитые районы попадались редко, а вскоре и они кончились. Василий Иванович часто привставал на стремянах и оглядывался, надеясь увидеть хоть какое-нибудь жилье, но вокруг было по-прежнему пустынно, дико и неприветливо.

Вечерело, когда он заметил дымок. Подхлестнул усталого коня, миновал низинку и за гребнем холма увидел костер. Двое мужчин сидели подле огня, а невдалеке паслось стадо, что очень обрадовало Олексина: он достаточно слышался рассказов и о воинственных индейцах и о шайках бродяг и чувствовал себя уютно. Подъехав, спешился, сказал, кто он, откуда и зачем едет.

— Тебе повезло, приятель,— сказал сидевший у костра.— Я гоню бычков на продажу.

О цене столковались быстро, но продавец требовал наличные. Олексин все же уломал его, пообещав треть в звонкой монете по доставке гурта на место. Уже в темноте они выборочно осмотрели бычков. Василий Иванович передал чек, попросил документы. }

— Документы при расчете,— сказал продавец, седлая коня.— Я поеду вперед, а мои парни помогут тебе управиться. Не давай им спуску, приятель: они полукровки и унаследовали от матерей только индейскую лень.

Продавец ускакал, а Василий Иванович, переночевав у костра с молчаливыми ковбоями, на рассвете тронулся в обратный путь. Бычки были рослыми и упитанными, достались дешево, и Олексин ощущал полное довольство собой, немного гордясь собственной хозяйской сметкой, позволившей так легко и просто поддержать пошатнувшийся баланс коммуны.

В полдень остановились в низинке пообедать, подкормить скотину и передохнуть. Пока ковбой разжигали костер, Василий Иванович прилег, положив голову на седло, и неожиданно уснул: сказала усталость и почти бессонная ночь.

Проснулся он от выстрелов. Решив со сна, что напали индейцы, вскочил и стал поспешно вытаскивать кольт. Делал он это неумело и не очень уверенно, револьвер зацепился курком за пояс, а еще через мгновение поддюжины стволов уперлось в его грудь.

— Задери-ка руки, парень,— сказал грубый, прокуренный голос.— Пошарьте у него в карманах, ребята.

Перед Олексиным стояло с десяток всадников на взмыленных, с проваленными боками лошадей: видно, скакали они издалика и не жалели коней. Распоряжался кряжистый мужчина в широкополой шляпе, с кольтом на поясе и винчестером за плечами. Его приказание было исполнено тотчас: двое спешили, бесцеремонно обыскали Олексина, отобрав револьвер и документы.

— У него неплохая игрушка для скотовода,— сказал один из них, передавая вещи предводителю.

— Я не понимаю...— начал было Василий Иванович.

— Молчи, пока не спрашивают!— грубо перебил старший.— Вопросы задаю я. Чей это скот?

— Мой.

Всадники зашумели. Предводитель поднял руку.

— Допустим. Почему же твои погонщики бросили его и ускакали, увидев нас?

— Не знаю. Я купил этих бычков сегодня утром.

— Он купил их сегодня утром, сэр!— громко сказал главарь.

Из-за его плеча выдвинулся прилично одетый господин с озабоченным и, как показалось Олексину, интеллигентным лицом, украшенным аккуратной черной бородкой.

— У кого вы купили бычков?

— Не знаю. Я...

— Какое на них тавро?

— Не знаю.

— Он ничего не знает, сэр! — весело перебил предводитель. — Встряхните ему мозги, ребята.

Василия Ивановича с силой ударили в лицо, в живот, снова в лицо и снова в живот. Он упал на колени, оглушенный болью и ощущением полнейшего бессилия.

— За что? — крикнул он, размазывая кровь. — Я действительно ничего не знаю! Даже собака должна знать, за что ее бьют!

— На этих бычках мое тавро, — негромко сказал господин с бородкой. — Стрела с поперечиной. Вы утверждаете, что купили их?

— Клянусь вам. Я купил их вчера вечером по тридцать семь долларов за голову с уплатой двух третей чеком на предъявителя и одной трети золотом по доставке гурта на место.

— Складно врет! — крикнул какой-то парень. — Чек на предъявителя!

Старшие совещались. Потом господин с бородкой спешился, подошел к все еще стоявшему на коленях Олексину и достал карманную Библию.

— Поклянитесь на святом писании, что говорите правду.

— Я даю вам честное слово.

— Поклянитесь именем господина.

Василий Иванович молчал, сосредоточенно счищая кровь с клочковатой и реденькой русой бородки.

— Клянись, парень, — сказал главарь. — Если это так, ты виноват только в скупке краденого. Мы сдадим тебя шерифу — и дело с концом. Чего ты ждешь?

— Я не могу, — тихо сказал Олексин. — Поверьте, я говорю правду и только правду, но я не стану клясться на Библии. Я не верю в бога и не могу пойти против собственных убеждений.

— Не веришь в бога? А кто же после этого будет верить тебе?

— Люди.

— Люди чтут закон и не воруют скот. Ты нарушил людской закон и будешь вздернут. Ребята, веревку!

— Господа! — Василий Иванович попытался встать, но дюжие парни прижали его к земле. — Господа, я ни в чем не виноват! Поверьте же мне, поверьте! Я не знал, чье это тавро, я не знал, чей это скот, я ничего не знал, господа!

— Либо ты поклянешься на Библии, либо будешь болтаться на суку. Думай, пока тебя не вздернули, мы ждать не любим.

— Но, господа, это же невозможно, это же бесчеловечно, господа! Нет, вы не сделаете этого, не сделаете. Я знаю, что вы хорошие люди, я верю в ваши добрые сердца: ведь у каждого из вас есть мать. И у меня тоже есть мать, господа, есть мать в далекой России.

Тонкая ременная петля захлестнула горло, сдавила его. Олексин дико рванулся, но его крепко держали за плечи.

— Что вы делаете, люди! Ведь люди же вы! Люди, люди...

— Клянись на священном писании, грешник.

Слюна заливала глотку, текла по бороде, по груди. Василий Иванович мучительно глотал ее сдавленным петлей горлом, давясь и задыхаясь. Он был весь в омерзительном липком поту, но дрожал как в ознобе.

— Господа, я умоляю... Я клянусь своей честью...

— Клясться можно только именем господина нашего. Не хочешь?

Корчась в сильных руках, Олексин судорожно глотал. Глаза вылезали из орбит, сердце отбивало бешеный ритм, мучительно хотелось вздохнуть, вздохнуть хоть раз, но воздуху не было: петлю подтянули до предела.

— Господа, я прошу-у...

Он уже хрипел. Язык словно распух и теперь занимал весь рот, мешая дышать, мешая глотать и мешая говорить. Перед глазами уже плыли не лица, а цветные пятна, они медленно двигались, сталкиваясь друг с другом. На миг мелькнуло острое желание поклясться на этой книге, сделать так, как хотели эти люди, купить себе глоток воздуха и, может быть, жизнь. Но это трусливое желание только мелькнуло, и он тут же загасил, запрятал, задавил его, понимая, что если сдастся, если покорится и солжет, сказав, что уверовал, то солжет не им, солжет не богу — солжет самому себе. И предаст самого себя.

Он уже ничего не видел и ничего не слышал, он уже не хотел ни видеть, ни слышать, он хотел только одного: не позволить себе унижаться, солгать, смалодушничать. А сил оставалось так мало, что он отверг все, все чувства, сосредоточившись на одном, самом простом и самом страшном: молчать. Заставить себя молчать. И последнее, что он почувствовал, — его куда-то поволокли, поволокли на этой удавке, и острая пропотевшая петля с невероятной силой сдавила горло...

Очнулся он от воды, что лилась на лицо. И от хохота:

— Ты счастливчик, парень: мои ребята не нашли дерева, на котором можно было бы тебя вздернуть!

Отряд уходил, гоня перед собой бычков. Олексин сел, осторожно потрогал шею и тут же отдернул руки: петли не было, но содранная ремненным арканом кожа горела словно после ожога. Хотелось пить, он попытался встать, не смог и остался сидеть, закрыв глаза и равнодушно осознавая, что остался жив. Сзади послышался топот. Шея не поворачивалась, и Василий Иванович терпеливо ждал, когда всадник окажется перед ним.

— Мы не бандиты, мы честные скотоводы, — сказал, подъехав, господин с бородкой. — Частная собственность неприкосновенна, и вашу лошадь мы взяли в качестве законного штрафа за убытки, которые мы понесли, это справедливо. — Он бросил на песок документы Олексина, его нож и револьвер. — Частная собственность неприкосновенна, и пусть этот урок заставит вас подумать о боге.

Всадник ускакал. Затих топот, рев стада, а Василий Иванович долго еще неподвижно сидел на песке, закрыв глаза и ни о чем не думая.

На пятый день голодный, полуживой, оборванный добрался он до дома. Без денег, без бычков и без чего-то в душе; он сам не понимал, без чего именно, но что-то покинуло его, и на место покинутого вселилась пустота. Он ощущал эту вселившуюся пустоту как тяжесть.

Скупое, избегая подробностей, он рассказал о своем приключении. Его никто ни о чем не спрашивал: умыли, накормили, перевязали, уложили в постель. Он лежал в своей келье, глядел в дощатый потолок, понимал, что хорошо бы уснуть, и почему-то боялся снов.

Для кого они бросили семьи, дома, родину, отечество? Для кого ехали за тридевять земель, трудились до седьмого пота, отказывали себе во всем, ведя почти иноческий образ жизни? Для кого они еще до плавания за океан рисковали своим будущим, своей судьбой, а зачастую и жизнями, расшатывая устои могучего государства почти в одиночку, силами собственных умов и талантов? Для народа? А что такое народ? Тот, кто трудится? Но те, кто издевался над ним, кто затягивал ремненное лассо на шее, были самыми что ни на есть рабочими и затягивали петлю грубыми руками по одному лишь подозрению, что он купщик краденого скота. Даже и не по подозрению, а так, из слепой жажды мести, из темной злобы против чужих, а тем паче не верящих в бога. Почему же они поступали так? Что двигало ими, что делало их жестокими и злыми? Частная собственность? Значит, если не будет ее, этой проклятой частной собственности, люди

изменяться, станут добрыми и чуткими, покончат с жестокостью, ненавистью и несправедливостью раз и навсегда?

Стояла глубокая ночь, и во всем доме не спали только два человека. Не спали по разным причинам и думали каждый о своем.

Святая и неприкосновенная частная собственность, забота о личной сытости и личном благополучии есть питательная среда жестокости, злобы и несправедливости. Но так ли уж справедлив этот набивший оскомину постулат? Разве те, кто не обладает никакой собственностью, менее жестоки, злобны и несправедливы? Разве жестокость и злоба вольны приходить или не приходить в зависимости от благосостояния? Разве человечество не было жестоким еще до того, как стало обладать собственностью? Разве дикари, не имеющие никакого представления о собственности, не поджаривали нищих миссионеров на медленном огне? А может быть, жестокость есть чувство изначальное, свойственное животной сущности человека и лишь задавленное в нем цивилизацией, образованием, воспитанием, наконец? Да, да, просто воспитанием, терпеливым, вдумчивым примером и добрым словом. Примером и добрым словом...

Но этот вывод, пожалуй, не для него, уже зараженного обидой, уже оплеванного и опозоренного, уже сломленного, уже увидевшего в людях страшные бездны безотчетной злобы и ненависти, уже усомнившегося в них. Нет, это не для него. И подвижничество не для него и проповеди не для него. Сомневающийся проповедник — может ли быть что либо более лживое на свете? Нет, ему не преодолеть себя, не воскреснуть вновь, не улыбаться так, как он улыбался всегда. Эта петля, оставив его в живых, что-то навеки задушила в нем. А стоит ли жить полузадушенному и потрясенному? Не проще ли воспользоваться подарком Крейна: он не защитил его жизнь, так, может, он оборвет ее?

Он не успел дотянуться до револьвера, как скрипнула дверь. Кто-то в белом скользнул в комнату, тихо щелкнул задвижкой. Сердце его вдруг забилося нетерпеливо и оглушительно; он все понял, но все-таки спросил:

— Кто здесь?

Белая фигура шагнула к топчану, и тихий знакомый голос прошептал, чуть задыхаясь:

— Я больше не могу без вас. Не могу, понимаете?..

2

После похорон матери — в Высоком, на холме подле церкви — Гавриил сразу же вернулся в Москву. Комитет задерживал отъезд, но сдобная хозяйка напрасно наряжалась и румянилась: постоялец возвращался поздно, дома не ужинал и до утра засиживался над книгами. Она томно вздыхала, часто роняла что-нибудь звонкое, призывно вскрикивая при этом, и старательно забывала закрывать дверь в собственную спальню, но ничего не помогало. Усатый — ах, эти пшеничные усы! — офицер учил сербский язык.

В Москве шли бесконечные собрания, заседания Славянского комитета и самых разнообразных благотворительных обществ. Толковали об историческом праве славян, о зверствах турок, о доблести черногорцев, о происках Англии, о единой славянской семье, о... О чем только не говорилось на этих собраниях, и говорилось главным образом потому, что говорить-то позволялось и собираться позволялось, и господи боже ты мой, наконец-то и на святой Руси повеяло чем-то, похожим на свободу. И — говорили. Вслась говорили, точно хотели вдруг наговориться в полный голос за многие-многие годы

шепотков с оглядкой. И в восторге от дозволенной свободы уже не жалели ни времени, ни сил, ни денег.

Побывав в двух-трех домах и потеряв полдня на одном из собраний, Гавриил старался нигде более не появляться. Он был человеком военным и понимал, что Сербии нужны офицеры, а не разговоры. К этому прибавлялся и страх встречи с прошлым — с офицерами полка, с рыжим артиллеристом или, упаси бог, с самой мадемуазель Лорой. Он не забывал о ней, но не забывал, как не забывают ушедших в небытие, — памятью без надежды.

Но выдержать затвор надолго не удалось: из Сербии приехал полковник Измайлов, правая рука Черняева, герой первых победоносных и легких боев. Он горячо и напористо говорил о часе избавления, который пробил, о святом долге, который движет историей, об узах крови и веры, о кресте и полумесяце, о прародине, справедливости, избавлении.

— Мечи обнажены, господа! — зывал он на обеде в его честь. — Мечи обнажены, и слава волонтерам!

Восторженно аплодировали, восторженно пили, но с ответным тостом никто не спешил. А Измайлов явно ждал этого тоста и уже начал проявлять признаки некоторого недоумения, когда председательствующий предложил слово первому русскому волонтеру.

Для Алексина столь высокая честь была полной неожиданностью, и сначала он говорил путано и длинно, долго пробираясь к тому, чего, как он чувствовал, от него ждали.

— Нет, не заветный Олегов щит зовет нас на поле брани. Не лазурь Мраморного моря, не тучные поля Забалканья и не красоты Адриатики. Нет, не ради наград и славы лучшие сыны отечества нашего оставляют сегодня отчий кров и рыдающих матерей. Нет, нет и еще раз нет! «Свободу братьям!» — написали мы на наших знаменах и боль за их муки вложили в наши сердца. Чаша великого терпения России переполнилась, боль хлынула через край, и нет в мире сил, которые могли бы воспрепятствовать нам в нашем святом порыве. Свободу угнетенным братьям! Свободу, свободу, свободу!

Гавриилу долго аплодировали и долго улыбались. Растроганные дамы утирали слезы, убежденные старцы прочувствованно жали руку. Полковник Измайлов лично пожелал чокнуться и поблагодарить, и весь остаток обеда Олексин ощущал себя в центре внимания, разделяя славу с тем, ради которого и затеяли весь этот обед.

Как только встали из-за столов, Гавриила отозвала хозяйка:

— С вами жаждут познакомиться.

Олексин покорно двинулся за хозяйкой, плавно плывущей мимо гостей, расточая на ходу улыбки. Они прошли в маленькую гостиную, где одиноко сидел рано полысевший худощавый мужчина лет тридцати со странным немигающим взглядом бесцветных и равнодушных глаз.

— Рекомендую, господа: поручик Олексин Гавриил Иванович — наш гость из Петербурга князь Насекин. А меня извините: святые муки хозяйки.

Хозяйка выплыла. Олексин сел, с трудом выдерживая остановившийся на нем взгляд.

— Приятно познакомиться с идейной жертвой массового национального помешательства. — Голос у князя был под стать взгляду: без цвета и глубины.

— Да, я стремлюсь в Сербию, — с некоторым вызовом сказал Гавриил.

— Позвольте поинтересоваться причиной?

— Полагаю, что Сербия нуждается в офицерах.

— Добавьте: в русских офицерах. А в идеальном случае — в русских солдатах под командованием русских офицеров.

— Что же, защита угнетенного народа есть благороднейший долг каждого честного человека.

Князь чуть заметно улыбнулся:

— Отчего же вы не стремитесь на Кавказ или к киргизам? Поднимайте восстание во имя свободы горцев или номадов — честь вам и хвала. Какая, в сущности, разница между деяниями генерала Кауфмана и деяниями Мегмета-паши? Нет, вы почему-то скачете именно в Сербию, потрясая мечом, как архангел Гавриил... Извините за каламбур, не хотел вас обидеть.

— Мне нет дела до горцев, номадов и прочих инородцев, — чувствуя, что начинает злиться, и злясь от этого еще больше, сказал Гавриил. — Иное дело Сербия, Черногория или Болгария: это наши братья и по крови и по вере. Таков наш долг перед лицом Европы, наконец.

— О, Россия, Россия, влюбленный паж Европы! — тихо и зло рассмехался князь. — Вероятно, мы чудовищно юны и не желаем замечать, что предмет нашего восторга стар и безобразен. Что у него вставные зубы Бисмарка и накладной лондонский парик. Что Европа давно уже прибеливается новейшей философией и румянится площадными революциями темпераментных галлов. А мы смотрим на эту хитрую, поднаторевшую в плутнях старуху восторженными глазами, почитаем за великое счастье всякое небрежное ее одобрение и ради этого готовы подставить свой славянский лоб под любую пулю.

— Не понимаю вашего сарказма, князь, — сдержанно сказал Олексин. — Мы такие же дети Европы, как и все прочие европейские народы.

— Вы заблуждаетесь, Олексин; исторический парадокс заключается в том, что о нас вспоминают тогда, когда начинают печь каштаны. Так что не обожгите руки, друг мой. А пуще того, не подпалийте крылья своей благородной идее.

Разговор этот весьма не понравился Гавриилу. Он хотел бы забыть его, изгладить из памяти, но забыть князя так просто не удавалось. Всю дорогу домой он внутренне спорил с ним, искал злые и убедительные аргументы и никак не мог избавиться от цепкого взгляда пустых немигающих глаз.

— Вас ждут, Гавриил Иванович.

Олексин, как всегда, пришел поздно и не хотел встречаться с хозяйкой, но она бежала к дверям на всякий стук.

— Кто?

— Не знаю, только давно ждут. Они там, в гостиной, чай пьют.

В гостиной у самовара сидел Захар. Увидев Гавриила, торопливо поставил чашку, вскочил и вытянулся во фронт, хотя в армии никогда не служил и фронту не обучался.

— Здравия желаю, Гавриил Иванович!

— Здравствуй, Захар. Случилось что-нибудь?

— Никак нет.

— Ты из Смоленска или из Высокого?

— Ах, про дом вы. — Захар усмехнулся. — Так ведь ушел я, Гавриил Иванович. Как говорил вам тогда, так и ушел. И сороковин не дождался, господи, спаси и помилуй!

— Да ты садись. — Гавриил сел напротив, и обрадованная хозяйка тут же поставила перед ним чашку. — И где же ты теперь? Помнится, в Малороссию собирался или даже в Сибирь.

— До Сибири далеко, а в Малороссии пыльно, — улыбнулся Захар. — Решил было в Москве счастья попытать, извозом заняться. Дело знакомое и в лошадях понимаю. Да только... — Он усмехнулся, покру-

тив кудлатой головой.— Народ московский — не приведи бог ночевать по соседству. Тому дай, этого приласкай, того обмани, а иного и во двор не пускай — вот какая тут карусель. Не умею я так-то, да и не по мне все это, Гаврила Иванович.

— Привыкнешь. Мужик ты оборотистый и грамотный.

— Да, газетки читаем,— не без самодовольства подтвердил Захар.— Как турка-то злобствует, Гаврила Иванович!

— Делом, делом надо заниматься, Захар! — резко сказал Олексин: ему не хотелось поддерживать эту тему.

— Так ведь о том-то и речь, для того-то и жду,— понизив голос, сказал Захар.— Не может терпеть душа православная, Гаврила Иванович, не может и не должна. С тем и побеспокоил вас, и если бы разговор мне уделили, премного бы вам благодарен был.

— Пойдем ко мне,— Гавриил встал.— Спасибо за чай.

Они прошли в комнату, сели и закурили. Гавриил ждал, но Захар, как видно, еще собирался если не с мыслями, то с духом. Похмурил брови, колупнул в пышной, под купца, бороде, откашлялся:

— Был я, значит, в Комитете, когда вас искал. Расспросил все, порядок узнал и написал прошение, поскольку бумаги при мне.

— Какое прошение?

— Касательно Сербии,— важно пояснил Захар.— Послужить хочю святому православному делу.

— Воевать, что ли, собрался?

— Воевать — это как придется. Трудов не боюсь, сами знаете. Стрелять умею — вас же учил. Вилами ворочал, думаю, и штыком управлюсь. Одобряете?

— Нет,— решительно сказал Гавриил.

— Правильно,— неожиданно улыбнулся Захар.— Затем и пришел.

— Сербии нужны офицеры. Солдат у нее хватает.

— Ну, офицер без денщика тоже немного навоюет,— несокрушимо улыбался Захар.— Вы-то едете? Или передумали?

— Еду. И, вероятно, скоро.

— Значит, денщик понадобится? — Захар вдруг встал и старательно вытянулся.— Рад стараться, ваше благородие! Бери ты меня, Гаврила Иванович, бери, право. А то ведь один уеду — себе на неудобство да и тебе без пользы. Ну, по рукам, что ли, ваше благородие?

3

Варя жила теперь в Высоком. По ее распоряжению мамину спальню закрыли на замок, ключ она взяла себе и заботливо следила, чтобы все, вся жизнь дома была как прежде. Бродила по дому, отыскивала любимые мамины вещи и, как сорока в гнездо, сносила их в мамину комнату. И даже завела дневник: «Десять дней без мамы. Уехал Гавриил... Двенадцать дней без мамы. У Наденьки жар, болит животик. Наверно, обжелась пенок: весь день варили варенье...»

Она боялась возвращения в Смоленск не потому, что мамы больше не было,— она привыкла жить одна и ценила свою независимость. В Смоленске она позволила себе забыться. Она с ужасом, до жара ощущала тот вечер: жесткие усики, что касались ее щеки, руки, скользившие по ее платью, порывистое мужское дыхание на своей шее, которую она — она сама! — потеряв голову, оголила и подставила ему! Варя до сих пор слышала треск кнопок, что медленно одну за другой расстегивала тогда, вспоминала свое постыдное тайное желание, чтобы он коснулся ее груди, представляла, как изворачивалась в его объятиях, чтобы случилось это, и задышалась от мучительного стыда. Но самым горьким, самым ужасным было сознание, что именно в то вре-

мя, когда она, забыв о девичьей скромности, таяла в руках мужчины, мама уже лежала безгласная и недвижимая. Этого Варя не могла себе простить, этого нельзя было прощать. Это не было ни грехом, ни проступком: это ощущалось как преступление и как преступление ожидало не покаяния, а возмездия.

Отец жил здесь же, но, как всегда, на своей половине, и Варя его почти не видела. В сумерки он гулял по саду, чай пил с детьми, но завтракал и обедал один. Каждое утро ему седлали лошадь: старик выезжал на прогулку в полном одиночестве, окончательно став нелюдимом.

После завтрака Варя с младшими ходила в церковь: семья не была религиозной, но церковь посещала. Теперь к этому прибавилось кладбище: после службы они шли к могилке, клали свежие цветы, поливали дерн. Памятник — отец приказал, чтобы был простой мраморный крест — еще не привезли, могилка выглядела совсем деревенской: цветы да зелень. Ограду не ставили, только Иван врыл скамьи по обе стороны холмика.

Хлопот у Вари хватало: Захар ушел и все свалилось на ее плечи. Еще при маме начали перестраивать флигель, завезли железо, и теперь вновь началась работа, и громкий перестук молотков будил их по утрам. Неожиданно привезли дрова — еще Захарово распоряжение, — Варя осталась присмотреть и в церковь запоздала. Пошла не в церковь, так как служба кончилась, а к маме. Дети уже возвращались — Варя встретила их на мостике через речку, — и на холм к сельскому кладбищу ей пришлось подниматься одной. Шла она не дорогой — вокруг, — а напрямик, через кусты, минуя старую ограду, петляя среди бедных, на отшибе, могил. Поднялась наверх, вышла из-за кустов и остановилась: у могилы сидел отец.

Он сидел согнувшись, уперев локти в колени и закрыв лицо руками. Варя хотела тихо уйти и уже начала отступать к кустам, но плечи старика жалко, потерянно задрожали, и Варя, поняв, что он одиноко и покинуто плачет, ощутила вдруг такую взрослую жалость, что бросилась к нему, обняла и прижалась.

— Кто? — Отец торопливо отер слезы, и в этой торопливости тоже была какая-то жалкая и беспомощная старческая суета. — Ты? Зачем тут? Зачем?

— Батюшка, милый мой батюшка! — всхлипнув, зашептала Варя. — Поговорите со мной, откройтесь, поплачьте — вам же легче будет, проще будет, батюшка!

— Это дурно, сударыня, дурно! Подглядывать, шпионить! — Старик сделал попытку подняться, но Варя его удержала. — Каждый имеет право на печаль, каждый. Но не смейте ее навязывать, слышите, не смейте! Это кощунство, да-с!

— Батюшка, я не нарочно. Я шла от речки..

— Вы дворянка, сударыня! — Отец встал, выпрямившись и привычно откинув голову. — Кликушество нам не к лицу. Извольте носить свое горе втайне. Извольте!

На следующий день он уехал в Москву, скупое — сдержанное обычного — распрощавшись с детьми. И Варе добавился новый грех, а если и не грех, то сладостный повод для искупления. «Что же еще впереди? — горестно вопрошала она саму себя. — Чем ты еще покараешь меня, господи?» Странное чувство неминуемого возмездия росло и от ощущения некоторой избранности, которую не без гордости чувствовала она. Ее горе было непереносимым, а вот горе остальных довольно быстро отступило на второй план. Младшие тут в расчет не шли, но и старшие уже оправались, вернулись к привычным занятиям и даже позволяли себе смеяться, правда не при ней. Люби-

мейшая Маша, верный и преданный друг, начала музицировать, а порой и петь; Владимир целыми днями бродил с ружьем; Иван с увлечением занимался химией, переселился в садовую сторожку, ставил опыты и являлся к столу с какими-то пятнами на руках; Федор зачастил в деревню, где часами что-то читал терпеливым мужикам, разъяснял прочитанное и в конце концов сам запутался окончательно. Гавриил уехал, а Василий был далеко, в Америке, и она очень жалела, что не может с ним поговорить. Уж он-то, чуткий, как мама, наверное понял бы ее, уговорил, утешил, убедил, что она ни в чем ни перед кем не виновата, что нет никакого предначертанного свыше возмездия, а есть лишь закономерное стечение обстоятельств. Но поговорить Варя было не с кем, и она молчаливо громоздила в своей душе обвинения против самой себя.

Вечерами они пили чай на террасе за огромным круглым столом. Так было заведено мамой, но сейчас от прежнего веселого чаепития осталась одна ферма. Шутить было еще неприлично, шалить младшие не решались, а разговоры плелись плохо, и все скорее отбывали некий ритуал, чем наслаждались семейным общением. Да и неулыбчивая Варя у самовара, сама того не желая, гасила слабые отблески былой непринужденности.

— В город никто не собирается? Мне нужно азотно-кислородное серебро.

— Зачем тебе серебро? — спросила Маша.

— Хочу вырастить кристалл. Если получится, подарю тебе.

— Лучше бы ты порох выдумал, — съязвил Владимир.

— Это верно: судя по трофеям, тебе нужен собственный пороховой завод.

— Что ты понимаешь в охоте, алхимик!

— Что за тон, Владимир, — нахмурилась Варя. — Иван просто пошутил.

— Мне надоели его ежевечерние шутки.

— Попробуй за озером, — примирительно сказал Федор. — Прошлым летом мы охотились там с Гавриилом.

— А Федя бороду накормил! — радостно засмеялась Наденька.

— Вытри рот, Федор, — строго сказала Варя. — А смеяться над старшими грешно.

— Знаете, а ведь мужики осуждают Захара, — сказал Федор, стряхнув застрявшие в жиденькой бороде крошки печенья. — И все не потому, что он бросил хозяйство. Нет! Они его за то укоряют, что он мир оставил, общину сельскую, вот что любопытно. Добро бы, говорят, шустряк какой в город бежал или бобыль бобылем, а нет, основательные уходят, крепкие. Скудеет мир, говорит Лукьян, скудеет. Очень любопытная мысль, очень! Ладно, наш Захар не пример, он человек вольный, но если действительно лучшие элементы сельской общины потянутся в город, деревня пропала. Естественный отбор, господа, что же вы хотите?

Федор витийствовал с наслаждением, но его никто не слушал. Иван давно уже играл с младшими, Маша отсутствующе уставилась в сад, Владимир сердито думал, что завтра же непременно докажет, какой он охотник, а Варя привычно ушла в себя. Семья еще не разлетелась, но единство ее уже треснуло и таинственные центробежные силы уже подспудно скапливались в каждом ее члене. А Варя, предчувствовавшая и так боявшаяся этого разлета, сейчас позабыла о нем, занимаясь только своей изнурительной внутренней борьбой.

Наутро Владимир ушел задолго до завтрака. Свою собаку, глупую и ленивую, он оставил дома, а взял злую отцовскую Шельму. Он был очень самолюбив и по-юношески обидчив и твердо решил умереть, но

без трофеев не появляться. До озера было недалеко, а охотничье раздолье лежало и того дальше: за самим озером, среди бесчисленных проток, заливчиков, озер и стариц. Поэтому по дороге Владимир не отвлекался, а шел напрямик, и собака с недовольным видом трусила сзади.

Еще на подходе он спугнул с озера стайку уток: взлетев, они сели на глубокую воду. Рассчитывая, что утки вернутся в тихую, заросшую белыми кувшинками заводь, Владимир осторожно залез в кусты и притаился, уложив собаку и изготовив ружье. Добыча была рядом, улетать не собиралась и, значит, должна была перебраться на привычное кормное место.

Топот послышался раньше, чем глупые птицы подплыли на выстрел. Владимир выглянул: по заросшей прибрежной дороге неспешно рысала легкая рессорная коляска, за кучером виднелись раскрытые зонтики.

— Тетушка, это здесь! Я узнала место!

Кучер придержал, женщина соскочила с коляски и, подобрав платье, легко побежала к берегу. Собака тихо заворчала, но Владимир положил руку ей на голову и пригнулся сам, уходя за куст.

Молодая женщина в соломенной шляпке с откинутой на тулью вуалеткой стояла у воды, кокетливо подобрав подол; кувшинки были совсем рядом, она, изгибаясь, тянулась к ним, но не доставала. «Видит око, да зуб неймет», — улыбаясь, подумал юнкер. Женщина вдруг быстро сбросила туфли и, подхватив подол, решительно шагнула в воду. Она шла осторожно, гибко балансируя телом, и очень боялась замочить платье, поднимая его все выше и выше. Владимир судорожно глотнул, во все глаза глядя на белые ноги...

— Лизонька! — раздельно, почти по слогам прокричала дама из коляски. — Где ты, душенька?

Лизонька не отвечала. Она тянулась к кувшинке, поддерживая платье одной рукой, но широкий подол свисал, касался воды, и она неспешно подхватывала его обеими руками. И снова тянулась и снова отдергивала руку, подхватывая непокорное платье.

— Лизонька!

— О господи, — сердитым шепотом сказала Лизонька. — И непременно ведь под руку.

С шумом раздвинув кусты, Владимир бросился в воду. Лизонька ахнула, но платье не уронила. Владимир шел к ней напрямик, срывая по пути кувшинки. Вода доходила ему до груди, но он не обращал на это внимания и стеснялся смотреть на женщину; так и подошел, свернув голову на сторону. И протянул цветы.

— Благодарю, — медленно сказала Лизонька, по-прежнему держа подол в обеих руках. — Вам придется донести ваш подарок до экипажа. Идите вперед.

В голосе ее было что-то такое, чему Владимир подчинился с восторженной готовностью, и шел к коляске, не замечая ни мокрого шелеста собственной одежды, ни удивленно вытянувшегося лица пожилой дамы. Впрочем, Лизонька предупредила расспросы:

— Тетушка, это мой юный спаситель! Представьте, я тонула, меня тащила трясина, и если бы не этот доблестный рыцарь...

Она замолчала, выжидательно глядя на мокрого Олексина; в шоколадных глазах метались два бесенка, и Владимир окончательно потерял голову. Неуклюже щелкнув всхлипнувшими сапогами, представился.

— Как же, как же, мы наслышаны, очень приятно познакомиться, — закудахтала тетушка. — Но боже, мальчик мой, вы же совсем мокрый! Вылейте из сапог воду и немедленно едем переодеваться.

Владимир покорно вылил воду, сбегал за ружьем, свистнул Шельму и уселся рядом с кучером.

Так случилось познакомиться с Елизаветой Антоновной и ее те-тушкой Поиной Никитичной Дурасовой, а позднее, в доме, и с дядюшкой Сергеем Петровичем, таким же полным, медлительным и восторженным. Дурасовы жили в маленьком поместье одни и чрезвычайно, до хлопотливого восторга обрадовались ему: тут же отправили переодеваться в необъятные дядюшкины одежды, отдали его вещи сушить и гладить, накормили собаку и приказали ставить самовар. И весь дом бегал, хлопал дверями, о чем-то спрашивал и радушно суетился.

Кое-как подвязав, подколол и подвернув дядюшкины панталоны, Владимир завернулся в широчайший халат и прошел в гостиную. Лизонька всплеснула руками и звонко раскохоталась:

— Вы прелесть, Володя! Можно мне называть вас так? Ведь вы спасли мне жизнь и, стало быть, отныне почти мой брат.

В шоколадных глазах опять заискрились бесенята. Владимир нахмурился:

— Мне очень приятно, только зачем вы сказали, будто я спасаю вас?

— А если это моя мечта?

— Какая мечта?

— Мечта о том, чтобы меня кто-нибудь спас. Взял бы на руки и вытащил из трясины.

— Елизавета Антоновна...— У Владимира опять пересохло в горле как тогда, когда он смотрел из-за кустов на белые ноги.— Поверьте, я бы за вас жизнь отдал...

— Уже? — рассмеялась Лизонька.— Володя, вы прелесть!

Вошел дядюшка. Осмотрел Владимира, остался доволен, похлопал по спине.

— Значит, в юнкерах изволите?

— Да.

— По какой же части?

— Буду командовать стрелками.— Владимир искоса глянул на Лизоньку.

— Замечательно, замечательно! — сказал дядюшка.— Ну-с, к самоварчику, к самоварчику!

За уютным домашним завтраком Полина Никитична прочно взяла разговор в свои пухлые ручки. Мягко расспрашивала Владимира о доме и семье, и Владимир слово за слово рассказал все: о Василии, уехавшем в далекую Америку, и о Варе, ставшей вдруг суровой; об Иване, который — конечно же! — пороха не выдумает, и о Федоре, бесспорно самом умном, но пока непонятом; об отце, что сам себе выдумал одиночество, и о маме. О том, как неожиданно и несправедливо она умерла и как мучительно долго длились ее похороны.

— Бедный, бедный мальчик! — всплакнула чувствительная Полина Никитична.— Нет, нет, мы никуда вас не отпустим. Мы пошлем человека предупредить, что вы у нас гостите.

А Лизонька улыбалась при этом, да так улыбалась, что Владимир уже ничего не слышал и почти ничего не соображал.

Второй раз при ежевечерних беседах Федора с мужиками присутствовал посторонний. Беседы эти происходили в сумеречные часы, когда дневная работа заканчивалась, а до сна еще оставался час-полтора. Тогда мужики собирались на одном краю села, бабы на другом,

а молодежь на третьем: так повелось с тех времен, когда на эти посиделки захаживала Анна Тимофеевна. Барыню любили и уважали: она была своя, родни не чуралась, работы тоже; эти отношения сельский мир перенес и на детей, о родстве, правда, уже не упоминая. Маша и Иван любили ходить к молодежи, Варя иногда навещала баб, а Федор регулярно появлялся у мужиков, но в отличие от матери слушать не умел, а говорил сам, немилосердно путаясь и запутывая слушателей. Однако мир к нему относился снисходительно и любовно: считали, что барчук малость с придурью.

Посторонний был не из деревни и одет в полугородскую-полугосподскую одежду, носил аккуратную бородку, садился в сторонке, строгал палочки и молчал. Напуганный петербургскими филерами, Федор заметил его сразу, но из конспирации справок наводить не решился. Беседы свои он считал вполне дозволенными, но все же старался думать, что говорит. Да и тему избрал нейтральную — о совести.

— Когда Адам пахал, а Ева прядла, совести не было, — втолковывал он. — Когда двое во всем мире кормятся от трудов своих, им нет нужды лгать, красть или обманывать. Этих грехов нет, а раз их нет, то нет нужды и в совести как понятии. Совесть возникает тогда, когда появляется грех. Конечно, я не имею в виду грех первородный, но парадокс первородного греха как раз и заключается в том, что обманутой была божественная сила, а не человек, вот почему грехопадение и не могло разбудить совести ни в Адаме, ни в Еве. Но вот родились люди, отделились друг от друга, сказали — это мое, а это твое, и человечество сразу же было поставлено перед необходимостью создания внутреннего запрета в душе своей. Поступать по совести стало означать соблюдение законов общежития, придуманных специально для того, чтобы четко обозначить границы дозволенного.

Мужики слушали, ухмылялись, но вопросов не задавали. Но Федора это не огорчало: он получал удовольствие от самого процесса говорения, не думая, зачем, почему и для кого витийствует.

— Какие же это законы, соблюдение которых негласно должна регулировать наша совесть? Если мы рассмотрим их, то увидим, что все они направлены на защиту интересов семьи и основываются на охране частной собственности...

— Завечерело, — перебил староста Лукьян. — Ты уж прости нас, Федор Иванович, а только до дому пора. Заутра до свету в поле.

— Пожалуйста, пожалуйста, — поспешно согласился Федор. — Конечно, конечно.

Мужики расходились, степенно кланяясь. Федор тоже кланялся: ритуал нарушить было неудобно и он всегда уходил последним. Вчера неизвестный ушел раньше, но сегодня продолжал сидеть, невозмутимо строгая палочку, и это несколько настораживало Олексина.

— Вы очень хорошо говорите, — сказал неизвестный, подходя. — Горячо, увлеченно.

— Не смейтесь надо мной, — вздохнул Федор. — Я жалкий недоучка.

— Ну зачем же? Вы весьма убедительно доказали, что совесть возникла на классовой основе. Не ново, конечно — а что ново в нашем мире? — но вполне своевременное. Разрешите представиться: Беневоленский Аверьян Леонидович, из породы вечных студентов. Вас, Федор Иванович, помню еще мальчиком, поскольку вырос по соседству, в сельце Борок, там приход моего отца.

Знакомство состоялось. Аверьян Леонидович был собеседником терпеливым — качество, которое Федор неосознанно ставил превыше всего. Днем они бродили по полям, вечером неизменно появлялись на

мужицких посиделках: Федор говорил, а Беневоленский помалкивал, строгая палочки перочинным ножом. Спросил, когда возвращались:

— Почему мужики никогда не задают вопросов, Федор Иванович?

— Вопросов? — Федор пожал плечами. — Вопросы возникают тогда, когда появляется своя точка зрения, Аверьян Леонидович. А для этого нужно время. И терпение.

— Возможно, возможно, — Беневоленский забросил палочку в кусты, чтобы завтра сделать новую: он строгал их постоянно. — Но возможно и иное: у них нет интереса к тому, о чем вы толкуете.

— Но они же слушают.

— А у них нет иного развлечения, только и всего. Предложите им что-либо другое, скажем лекцию о началах геометрии, — они будут слушать и это с теми же ухмылками. А вот если вы коснетесь, допустим, землепользования или налоговой системы...

— Извините, я не занимаюсь политикой.

— Занимаетесь, Федор Иванович, занимаетесь, только — в дозволенных пределах. Мы чрезвычайно любим толковать о политике от сих до сих, будто штудлируем учебник.

Федор был слегка уязвлен, но счел за благо перевести разговор. Расстались, уговорившись встретиться, но на другой день с утра зарядил дождь, и Федор пригласил Беневоленского к себе.

— Нас свел случай, которому я чрезвычайно признателен, — напыщенно сказал он, представляя нового друга Варя и Маше.

Федор немного волновался по поводу этого знакомства и поэтому утратил вдруг живость и непосредственность. Ему казалось, что Варя будет недовольна, что Маша непременно скажет какую-либо бестактность, а сам Аверьян Леонидович обязательно растеряется, попав в чужую его взглядам и воспитанию дворянскую гостиную, и сделается либо развязным, либо робким. Однако страхи его оказались напрасными: Беневоленский вошел в их дом столь же спокойно, как вошел бы в любой иной. Это был его принцип, его стиль, о чем Федор, естественно, не догадывался.

— Случай есть пересечение двух причинных рядов, — улыбнулся Аверьян Леонидович. — И одним из этих причинных рядов было мое огромное желание быть в числе ваших знакомых.

— Это правда или комплимент? — строго спросила Варя.

— Я всегда говорю правду. На худой конец — молчу.

— И часто вам приходится молчать?

— Увы, мир так несовершенен, Варвара Ивановна.

— И что же вы собираетесь предпринять для его усовершенствования?

— Вопрос настолько русский, что мне хочется расхохотаться. Ни в одной европейской стране он не прозвучит даже в шутку: там заботятся прежде всего о себе, потом о семье и никогда — о мире.

— Вы часто бывали в Европе? — Варя не поддерживала разговор, а словно вела допрос.

— Я год прожил в Швейцарии, в Женеве.

— Целый год! — вздохнула Маша. — А почти совсем не старый.

Невозмутимо отошла к окну и уселась там с книгой. Это прозвучало так по-детски, что даже Варя улыбнулась:

— Прошу вас чувствовать себя как дома и не обращать внимания на детей.

Маша на это никак не отозвалась. Она всегда была склонна к созерцанию, любила прислушиваться к своим неторопливым, покойным мыслям. За обедом вдруг каменела, не донеся ложку до рта. Мама в таких случаях говорила: «Машенька слушает, как травка растет». После похорон эта привычка вернулась к ней с новой силой. Маша

часами могла стоять у окна, глядя в одну точку; обрывала на полуноте игру, замирая с поднятыми для аккорда руками; долго не шевелясь лежала в постели, разглядывая, как медленно светлеет потолок, как нехотя ползет в углы тьма. Маша словно всматривалась в себя, внимательно и сосредоточенно наблюдая, как растет и наливаются ее тело, как из глубин выплывают темные силы и смутные желания. Она совсем не боялась ни этих сил, ни этих желаний, она верила, что они прекрасны, и берегла их для чего-то очень важного и ответственного, что непременно должно было войти в ее жизнь.

Федор и Беневоленский играли в шахматы, а Маша по-прежнему сидела у окна, иногда отрываясь от книги и слушая то ли их разговор, то ли саму себя. Беневоленский часто поглядывал на нее: ему нравилась эта задумчивая, по-крестьянски крепенькая — копия мамы — девушка с детскими губами.

— Что вы читаете, Мария Ивановна?

Маша медленно повернула голову, долгим взглядом посмотрела прямо в глаза и не ответила. Федор улыбнулся:

— Ее надо спрашивать три раза кряду. Что ты читаешь, Маша? Что ты читаешь, Маша? Маша, ответ же наконец, что ты читаешь?

— Я читаю книгу, а ты играешь в шахматы, — со спокойным резоном ответила Маша.

Дождь зарядил на неделю. Беневоленский приходил каждый день и скоро подружился со всеми, кроме Владимира, который все еще где-то гостил. Даже Варя начала улыбаться и слушать рассказы о Швейцарии, а Иван доверил ему свои опыты, и они вместе оглушительно взорвались. В сторожке вылетели рамы, собаки подняли лай. Химиков дружно ругали, и это окончательно сблизило Беневоленского с осиротевшим полудетским семейством Олексиных.

Владимир приехал, когда вся семья азартно заделывала прорехи в сторожке, даже Варя стояла тут же.

— Я познакомился с чудными людьми! — выпалил Владимир, едва соскочив с чужой коляски. — С изумительными, прекрасными людьми! Послезавтра они приедут к нам с визитом! Алхимик взорвался?

— Где твои трофеи, Соколиный Глаз? — весело спросил Иван.

— Будут трофеи, Иван Иванович, все будет! — прокричал Владимир и убежал переодеваться.

Вернулся он в прекрасном настроении: беспричинно смеялся, пел, перестал обижаться и стремился всем помочь. И очень беспокоился о достойном приеме гостей:

— А что на обед, Варя? А ром у нас есть? Сергей Петрович любит после обеда скушать рюмочку рома.

— Ром не кушают, — привычно поправила Варя. — И вообще избегай этого слова — оно шипит.

— Ну, видела бы ты, как он смакует! — с восторгом воскликнул юнкер. — Ну именно — кушает, понимаешь?

— Вкушает.

— Господи, а вина-то хватит? Вдруг Федя все выпил с этим поповичем?

— Как ты сказал? — нахмурилась Маша. — Ты очень гадко сказал.

— Сорвалось, Машенька, просто сорвалось!

— Влюбился, — сказала Варя, когда Владимир убежал. — Нет, Маша, он определенно влюбился там.

— Ну и прекрасно. Влюбиться — это прекрасно.

— Только не нам, — вздохнула Варя. — Мы, Олексины, влюбляемся очертя голову и на всю жизнь.

Гости приехали к обеду. Варя беспокоилась за этот обед, потому что впервые принимала и боялась что-либо упустить. Кроме того, она

подозревала, что ей не удастся занять гостей умным разговором, и ради этого пригласила Аверьяна Леонидовича.

— Варя, милая, ты все испортила! — в отчаянии кричал Владимир. — Он же вести себя не умеет, он же из сельских попиков!

Однако Беневоленский вел себя безукоризненно, чего никак нельзя было сказать о самом Владимире. И куда девалась его обычная непосредственность: он то мрачно молчал, уныло глядя в тарелку, то начинал говорить и говорил слишком долго и громко. При этом он много пил, а Варя не решалась остановить его, страдала и с огромным облегчением встала из-за стола.

Дамы пили кофе в гостиной, детей отправили гулять, а мужчин Владимир увел курить на отцовскую половину: там был неплохой погребец, про который Варя запомнила. Гремел бутылками и восторженно кричал:

— Сергей Петрович, дорогой, вот настоящая ямайка! Господа, р-рекомендую!

Крохотная чашечка пряталась в пухлой ручке Полины Никитичны, и Маша очень внимательно следила, удастся ли почтенной даме дотянуться до кофе. Любопытство было безгрешным: польщенная приглашением разделить дамское общество, Маша пребывала в отменном расположении, и гости ей нравились. Особенно Елизавета Антоновна, ее Маша разглядывала осторожно, но внимательно и нашла, что в такую можно влюбиться именно очертя голову, по-олексински.

— Как же вы справляетесь одна? — поражалась Полина Никитична. — Господи, такая семья!

— У меня хорошие дети, — улыбалась Варя.

— Нет, это настоящий подвиг любви и преданности! Подвиг!

— Владимир много рассказывал о вас, — сказала Елизавета Антоновна. — И о вашем американском миссионере и о сербском подвижнике...

— О Гаврииле, — подсказала Варя, уловив легкую заминку.

— Да, да. Он прелесть, наш юнкер. Скажите, а этот молодой человек — Аверьян Леонидович, кажется? Извините, я скверно запоминаю имена. Вероятно, ваш старый друг?

— Напротив, мы познакомились всего неделю назад. Он прямо из Швейцарии, здесь отдыхает.

Варя сознательно выложила Швейцарию: кокетливая Лизонька чем-то настораживала ее и связи их семьи должны были быть безупречными. Кроме того, она сразу поняла, что Володину влюбленность приняли как сельское развлечение, и это было неприятно.

— Он что же, учился там?

— Кажется, по медицине.

— Он очень умен и образован, — сказала вдруг Маша. — И это очень важно, потому что он сын сельского священника.

— Как интересно! — Лизонька с любопытством посмотрела на Машу. — Следует признать, что его способности превосходно подмечены вами.

— Знаете, я лишена сословных предрассудков, — решительно объявила Полина Никитична. — В наше время следует отдавать предпочтение уму и таланту.

— Совершенно согласна с вами, — сказала Варя. — Еще чашечку?

— Благодарствую. Говорят, Бальзак умер от кофе.

— Бальзак умер от гениальности, — улыбнулась Лизонька. — Я где-то читала, что гениальность сжигает человека и все гении умирают молодыми.

— Вероятно, они просто умирают раньше времени,— сказала Варя.— Но нам это, кажется, не грозит? Если не возражаете, я покажу вам ваши комнаты. Чай мы пьем в шесть часов.

Проводив дам, Варя вернулась в гостиную. Маша сидела на прежнем месте, мечтательно уставившись в противоположную стену.

— Зачем ты бахнула про Аверьяна Леонидовича? — недовольно сказала Варя.— Очень им надо знать, кто чей сын.

— Надо всегда говорить правду,— отрезала Маша.— В мире и так слишком много лжи.

— Или молчать. Особенно когда разговаривают старшие.

Маша недовольно повела плечиком, перебросила косу на грудь, потербила ее и надулась.

— Прости,— улыбнулась Варя.— Просто мне не нравится эта Елизавета. По-моему, она злючка. Пойду-ка я посмотрю, что там подельывают мужчины.

Она пришла вовремя: мама недаром говорила, что женское сердце — вещь. Красный, взлохмаченный Владимир покачивался перед Беневоленским и кричал:

— Вы забываетесь, милостивый государь! Да! Забываетесь!

— Я не дам вам больше ни глотка,— негромко говорил Аверьян Леонидович.— Вы непозволительно пьяны.

— А как вы смеете? Да! Как вы смеете мне указывать? Кто вы такой? Вы штафирка! Шпак! А я — военный!

— Пусть пьет,— благодушно улыбался тоже изрядно хвативший Федор.— Напьется — уснет, а мы будем говорить. С Елизаветой...

— Не смей о благородной женщине! — кричал юнкер.

В кресле уютно спал Сергей Петрович, изредка морщась от громких воплей. Варя сразу поняла, что уговорами действовать бесполезно.

— Федор и Владимир — в баню! — резким, как у отца, голосом скомандовала она.— Чтоб к чаю были трезвыми! Позор! Федор, выведи его, или я кликну людей.

— Идем, возлюбленный брат мой,— сказал Федор.— Идем, идем.

— Я — офицер! — объявил Владимир в дверях.— Я презираю шпаков.

Братья вышли, с грохотом скатившись по лестнице. Варя робко глянула на невозмутимого Беневоленского и почувствовала, что краснеет.

— Бога ради, извините его, Аверьян Леонидович. Он не ведает, что творит.

— Господь с вами, Варвара Ивановна,— улыбнулся Беневоленский.— Молодо-зелено. Что нам со старичком делать? Оставить в кресле?

— Я пришлю их кучера, пусть отведет в спальню.

Они спустились с лестницы и, минуя комнаты, сразу вышли в сад. Пройдя немного, Варя вдруг остановилась и взяла Беневоленского за руку.

— Это возмездие, Аверьян Леонидович.

— Что? — не понял он.

— Это возмездие,— убежденно повторила она, глядя на него странными расширенными глазами.— Вы верите в возмездие?

— Не стоит принимать близко к сердцу обычную юношескую глупость,— сказал он, помолчав.— Все естественно, все закономерно и все очень просто. Не ищите предопределений там, где их нет.

— Да, да.— Она грустно вздохнула.— Первый причинный ряд, второй причинный ряд. Все можно объяснить логически в наш просвещенный век, только — зачем? Ах, как было бы покойно и просто жить, если бы все действительно поддавалось объяснению.

— Вас тревожит что-то определенное или некий мираж?

— А ведь все мы, в сущности, жертвы слепого случая,— не слушая, продолжала Варя.— Кто рождается, когда, зачем — все до нелепости случайно. Если бы мой отец не встретил мою маму, я бы не родилась вообще, никогда бы не родилась. А ведь могла бы родиться не я, а какая-либо другая девочка или мальчик, даже если предположить закономерность во встрече моих родителей, потому что ...— Она запнулась, но мужественно продолжала: — Потому что все решает одна ночь. Понимаете, одна ночь — это же какая-то сплошная нелепица, изначальное отсутствие какой бы то ни было закономерности, игра. Но если это так, если бездушной природе все равно, то зачем тогда я? Почему я — именно Я и для чего Я — это я? Но раз нет на свете ответа, раз «я» — элемент стихийной бестолковой случайности, тогда я свободна перед любыми законами, потому что и законы-то приняты не для меня, я же волею стихий оказалась в сфере их действия. Значит, каждый — за себя и ради себя? Значит, все мы кирпичики, из которых ничего не сложишь?

Варя говорила быстро, не подыскивая слов, а будто вставляя в речь уже готовые словесные сочетания. Беневоленский сразу уловил это, тут же про себя нарек ее начетчицей и сказал, пряча насмешку:

— Однако складывают, Варвара Ивановна. И семьи, и народы, и государства.

— Да, вы правы, складывают. Складывают, следовательно, есть состав, скрепляющий нас. И состав этот — высшая идея, предопределяющая жизнь каждого и регулирующая, осмысленно направляющая ее по каким-то непреложным и непостижимым для человека законам.

— Вы имеете в виду бога?

— Бог — это форма, то есть доступный нам способ объяснения непонятого. Сегодня это бог, завтра еще что-то: формы могут меняться. А я говорю о существе, которое измениться не может, ибо это и есть данность.

«Нет, она не начетчица,— подумал он.— Просто в этой головке все перемешалось, а потом подошло на женских дрожжах и теперь лезет через край, как опара из горшка. И смех и грех...»

— И у вас есть доказательства этой данности? — вежливо поинтересовался он.

— Не у меня, Аверьян Леонидович, у жизни. Например, любовь. Почему вдруг мужчина, ничего еще не осознав, начинает испытывать страстное, непреодолимое влечение именно к этой женщине, хотя рядом подчас и лучше, и красивее, и умнее, и изящнее? Почему женщина, скромная, нравственная, внезапно влюбляется в весьма ординарного мужчину, который зачастую не только не лучше, но и просто намного хуже окружающих? Причем влюбляется настолько, что готова забыть и скромность и нравственность — все готова забыть! У вас есть объяснение этому? Нет, а у меня есть: предопределение. Но предопределение немислимо без возмездия, Аверьян Леонидович, немислимо, ибо предопределение и возмездие суть две стороны одной медали. Я нарушаю нечто непонятное мне, нарушаю неосознанно, не ведая, что творю, но наказание наступает неотвратимо и последовательно, причем в формах самых нелогичных и незакономерных, как кажется нам, неразумным муравьям вселенской великой идеи. Разве вы сами не можете привести подобных примеров? Разве понятие несчастной любви не есть следствие прегрешения и наказания? Разве...

— О любви говорите, а там чай стынет,— недовольно сказала Маша.

Она стояла на повороте садовой дорожки, теребя переброшенную на грудь косу. Беневоленский рассмеялся.

— Маша, вы — чудо! Извините, что я так запросто, но вы такое прекрасное доказательство абсурдности всяческих мрачных догм, что по-иному вас и не назовешь.

Подхватив юбку, Варя быстро пошла к дому. Напряженно выпрямленная спина ее выражала глубочайшее презрение и, как вдруг показалось Аверьяну Леонидовичу, глубокую женскую обиду. Он смущенно покашлял и двинулся следом, а Маша, серьезно глядя на него, ждала, пока он подойдет. А когда он поравнялся с нею, сказала очень решительно:

— О любви не смейте говорить, слышите? Ни с кем!

И опротясь бросилась в дом, высоко, по-детски взбивая коленками подол легкого платья.

За чаем все весело подтрунивали над Федором: после бани он постриг бороденку и клинышек ее торчал как запятая. Дети прыскали в ладошки, да и взрослые с трудом сдерживали смех, а Федор сиделся.

Владимир к столу не вышел, сочтя за благо отоспаться. А слегка помятый Сергей Петрович пришел, чуточку запоздав, и благодушно додремывал в кресле.

— У вас чудно, чудно! — восторгалась Полина Никитична. — Удивительно ароматное варенье и покоряющая непринужденность.

— Ваши комплименты, тетюшка, несколько напоминают перевод с иностранного, — улыбнулась Лизонька.

— Я от чистого сердца, голубушка Варвара Ивановна. От чистого сердца!

— Я так и поняла, Полина Никитична, — серьезно сказала Варя. — У нас сегодня день открытых сердец.

— Прекрасная мысль, — подхватила Лизонька. — Открытые сердца — редкость, не правда ли, Аверьян Леонидович? Что это вы при молкли, как побритый... О, простите, Федор Иванович, я оговорилась. Я хотела сказать — как прибитый.

— Я понимаю, это тоже перевод, — проворчал Федор, покраснев.

Он побаивался смотреть на Лизоньку, а если и поглядывал, то тогда лишь, когда был уверен, что она этого не заметит. А так как смотреть на нее ему очень хотелось, то он все время боролся с собой и мрачнел еще больше.

— Ваше сердце не пытались сегодня открыть, Аверьян Леонидович?

— Оно у меня всегда открыто, Елизавета Антоновна, — нехотя отшутился Беневоленский. — Причем настезь: там всегда сквозняк.

— Смотрите же не застудите его, ветренный мужчина.

— А я забыла во дворе книгу. — Маша внезапно вскочила.

— Успеешь взять потом, — сказала Варя.

— Успею, но она отсыреет, — резонно пояснила Маша и вышла.

— Очень славная девочка, — заметила Полина Никитична. — Такая непосредственность — просто прелесть! Она где-нибудь училась?

— Машенька закончила Мариинскую гимназию. Я предпочла бы пансион, но она мечтает о Курсах.

— Фи! Эти современные Курсы..

— ...готовят синих чулков, — подхватила Лизонька.

— Курсистки курят, — сказал проснувшийся Сергей Петрович. — Это мило, но как-то не очень привычно.

— Тянет похлопать по плечу и сказать: «Нет ли у вас папиросочки, любезная?», — снова добавила Елизавета Антоновна. — Некоторые женщины ценят и такой знак внимания, дядюшка, так что хлопайте смело!

После чая хозяева предложили осмотреть датских гусей, заведенных еще при маме: просто пришло к слову. Варя, призвав на помощь Ивана, давала пояснения, гости вежливо восторгались, скрывая зевоту, и Беневоленский постарался поскорее отстать. В одиночестве бродил по саду, не желая признаваться даже в мыслях, что ищет Машу. Но Маши нигде не было. Аверьян Леонидович загрустил и направился в свой Борок.

— Вот вы где, оказывается!

Беневоленский нехотя приладил улыбку, узнав Лизоньку.

— Размышляете в уединении?

— Просто иду домой. В соседнее село.

— А я рассчитывала, что именно вы покажете мне сад.

На «вы» был сделан нажим. Аверьян Леонидович встретился с шоколадными глазами, отвел взгляд. В конце аллеи мелькнула фигура. Он не узнал, но догадался:

— Федор Иванович, пожалуйста сюда!

Федор, помедлив, вылез из-за куста, как-то боком подошел.

— Думается, Елизавета Антоновна, что Федор Иванович куда полнее ознакомит вас с садом, нежели я. Честь имею.

Поклонился и быстро пошел к воротам. Лизонька прикусила губку, глазки ее сразу растеряли ласковую лукавость, но рядом вздыхал Федор, и Елизавета Антоновна постаралась вернуть на место и лукавость, и улыбку, и завораживающий шоколадный блеск.

— Ваш друг попросту скучен, Федор Иванович.

— Скучен? — Федор не отрываясь смотрел на нее, соглашаясь с каждым ее словом и глупел на глазах. — Да, да, конечно!

— Ведите меня в самое таинственное место. Ну?

Тревожно ощущая близость красивой женщины, Олексин шел напряженно, пребывая в состоянии непривычного блаженства. Он всегда сторонился женского общества, не имел опыта в обращении с дамами и готов был лишь с восторгом исполнять любые капризы. Лизонька сразу поняла это и уже плохо скрывала досаду: она не любила легких побед.

Беневоленский миновал ворота и остановился: по тропинке вдоль ограды шла Маша. Он заулыбался — не ей, а самому себе, своему вдруг засиявшему настроению, — но Маша нахмурилась и сказала:

— Долго же вы прощались.

— Значит, вы ждали меня?

— Конечно, — очень серьезно подтвердила Маша. — Сначала я сердилась, а потом мне надоело сердиться, вот и все. Долго сердиться, оказывается, скучно.

— На что же вы сердились?

— Знаете, Аверьян Леонидович, мне она сначала очень понравилась, а потом сразу разонравилась. Может быть, я непостоянная?

— Просто вы умная девочка и разбираетесь в людях куда лучше, чем ваши братья.

— Девочка, — недовольно повторила Маша. — Интересно, до какого возраста человека будут называть девочкой? Пока он не состарится?

— Если позволите, я буду называть вас так... ну, скажем, до вашего замужества.

— Это уже срок, — сказала Маша. — Потерплю. Но за это вы придете к нам завтра, да? И не будете больше флиртовать с этой кокеткой. До свидания.

— До свидания, Машенька. До завтра!

Он смотрел, как она быстро идет по тропинке, ждал, что оглянется, но Маша не оглянулась. Но Беневоленский не перестал улыбаться,

шел через поле, сшибал тросточкой головки чертополоха и радостно думал, что готов влюбиться без памяти. Без всяких желаний, без планов на будущее, без каких бы то ни было расчетов на настоящее — просто влюбиться, как влюбляются только в детстве. И знал, что так и будет, что он непременно влюбится, и от этого хотелось петь.

Федор вообще был склонен воспринимать все буквально, а в состоянии восторженности и подавно, и поэтому повел Лизоньку в старый сад — место, с детства считавшееся таинственным. Сад этот начинался за цветниками на пологом спуске к реке, зарос и одичал, и под старыми грушами росли грибы. Мама любила его и не велела рубить: здесь рассказывались сказки, здесь ловили стрекоз и ежей, здесь проходило самое первое детство. Корявые старые деревья были полны воспоминаний, но на Лизоньку произвели впечатление удручающее.

— Не сад, а декорация к Вагнеру.

— Да, да, прекрасно! — опять невпопад сказал Федор. — Здесь много груш. Они одичали, но в детстве были вкусными.

Он не знал, о чем говорить, и говорил о том, что Лизоньке было неинтересно: о детстве, о маме, о том, как однажды забрался на грушу, не мог слезть и как Захар снимал его оттуда. Рассеянно слушая, Лизонька присела на рухнувший ствол, почти с раздражением думая, что темпераментный юнкер забавнее этого заучившегося говоруна, хотя тоже провинциален и неуклюж, как, вероятно, и вся олексинская семья.

— Мне холодно, — резко сказала она, бесцеремонно перебив тягучие воспоминания.

— Холодно? Да, да, сыро. Знаете, неделю шли дожди..

— Так принесите же мне что-нибудь!

— Да, конечно, конечно! — Федор метнулся к дому, но остановился. — А что принести?

— Боже правый, ну хотя бы мою шаль, — вздохнула Лизонька. — Кажется, я оставила ее в гостиной.

В доме уже зажгли огни. Федор, запыхавшись, ворвался в гостиную; здесь сидели старшие и позевывающий, слегка опухший от сна Владимир.

— Шаль! — объявил Федор. — Елизавета Антоновна просила шаль.

— А где же она сама? — спросила Полина Никитична. — Приведите ее. Федор Иванович.

Федор, схватив шаль, молча выбежал. Владимир нагнал его уже в саду, схватил за плечо:

— Отдай. Я отнесу.

— Пусти! — Федор тянул шаль к себе. — Сейчас же пусти, она меня просила, меня..

Владимир был сильнее и имел опыт юнкерских драк. Резко ударив Федора по рукам, вырвал шаль и кинулся в садовые сумерки.

— Елизавета Антоновна! Елизавета Антоновна, где вы?

— Отдай! — Федор немного пробежал и остановился, растирая отбитые руки. — Ну и черт с вами. Глупость какая-то, глупость! — Схватился за голову, пошел назад, бормоча: — Глупость. Какая глупость!

По сумеречному саду, то затихая, то усиливаясь, метался призывный крик Владимира. Из сторожки вышел Иван, увидел бредущего без цели Федора, спросил:

— Что случилось?

— Мы дураки, — сказал Федор. — Не знаю, от природы или вдруг.

— Делом надо заниматься,— назидательно сказал Иван.— Вот я занимаюсь делом, и мне наплевать на заезжих красавиц.

— Он ударил меня.— Федор сел на ступеньку и вздохнул.— Ударить брата — и из-за чего? Господи...

— Володька — бурбон. Он будет бить своих солдат, вот увидишь.

— Елизавета Антоновна-а! — донесся далекий крик.

— Ну зачем же кричать? — недовольно сказала Лизонька, выходя к задохнувшемуся от криков и беготни юнкеру.

— Елизавета Антоновна! — Владимир бросился к ней.— Я ищу вас, я... Вот ваша шаль.

— Благодарю.— Она набросила шаль на плечи.— Впрочем, хорошо, что вы кричали: я вышла на крики из той мрачной декорации.

— Елизавета Антоновна...— Владимир теребил конец шали.— Я... Я люблю вас, Елизавета Антоновна.

— Так быстро? — улыбнулась она.— Очаровательно.

— Я люблю вас,— зло повторил он.— Я прошу вас быть моей женой. Нет, не сейчас, конечно, сейчас мне не разрешат, а когда закончу училище и стану офицером.

— Боюсь, что к тому времени я состарюсь.

— Я быстро стану офицером, Елизавета Антоновна. Я попрошусь в действующие отряды на Кавказ или в Туркестан, я не пощажу себя, но сделаю карьеру и приеду к вам в чинах и лентах. Только ждите меня. Ждите, умоляю вас.

— Уговорили,— улыбнулась она.— Авось к тому времени, как вы станете героем вроде Скобелева, умрет мой муж и я обрету свободу.

— Муж? — растерянно переспросил Владимир, выпуская шаль.— Чей муж?

— Мой, я уже год замужем. Вы поражены? Увы, дорогой мальчик, у меня есть старый, знатный и богатый повелитель. А сейчас дайте мне руку и идем. Уже поздно.

Владимир машинально подал ей руку, молча повел к дому. Лизонька поглядывала на его застывшее лицо и улыбалась. Потом взяла обеими руками за голову и поцеловала в губы. И отстранилась: он не обнял ее, не ответил на поцелуй.

— Не отчаивайтесь, милый мой мальчик,— шепнула она.— У нас еще месяц впереди, мы можем быть счастливы...

— Что? — напряженно переспросил он.— Все равно. Все равно, слышите? Я клянусь вам, клянусь..

Голос его задрожал, он вырвался и бросился в дом, чувствуя, что может разреветься. Елизавета Антоновна вздохнула, оправила шаль и пошла следом. На душе у нее почему-то стало смутно и беспокойно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Группа русских волонтеров пятый день жила в Будапеште: австрийские власти задерживали пароход, ссылаясь на близкие военные действия. Добровольцы ругались с невозмутимыми чиновниками, шатались по городу, пили, играли в карты да судачили о знакомых: развлечений больше не было.

Гавриил еще в поезде резко обособился от своих, приметив знакомого по полку: не хотел воспоминаний и боялся, что воспоминания эти уже стали достоянием скучающих офицеров. Он ехал отдельно, вторым классом, да и в Будапеште постарался снять номер для себя и Захара в неказистой гостинице неподалеку от порта. В город почти не ходил, на пристань посылал Захара, обедал один в маленьком соседнем

ресторанчике: соотечественники здесь не появлялись и это устраивало Олексина.

— Месье говорит по-французски?

Около столика стоял худощавый господин. Светлая полоска над верхней губой подчеркивала, что усы были сбриты совсем недавно.

— Да.

— Несколько слов, месье.

— Прошу.— Гавриил указал на стул.

— Благодарю.— Француз сел напротив, изредка внимательно поглядывая на Олексина.— Направляетесь в Сербию?

— Да.

— Сражаться за свободу или бить турок?

— Это одно и то же.

— Не совсем.

— Возможно. Меня интересует результат.

— И что же в результате: победа народа или победа креста над полумесяцем?

— При любом результате я вернусь домой, если останусь цел.

— Домой — в порабощенную Польшу?

— Домой — значит, в Россию.

— Месье русский? — Собеседник, казалось, был неприятно поражен этим открытием.— Прошу извинить.

— Вы затеяли этот разговор, чтобы выяснить мою национальность?

Француз уже собирался встать, но вопрос удержал его. Некоторое время он молчал, размышляя, как поступить.

— Вы избегаете своих соотечественников. Могу я спросить, почему?

— Спросить можете,— сказал Гавриил.— Но ведь не ради этого вы подошли к моему столику?

Француз снова помолчал, несколько раз испытующе глянув на поручика.

— Я тоже еду в Сербию. Со мною трое товарищей: два француза и итальянец. И мы очень хотим уехать отсюда поскорее. Скажу больше: нам необходимо уехать как можно скорее.

— И поэтому вы утром сбрили усы?

Француз машинально погладил верхнюю губу и улыбнулся:

— Вы опасно наблюдательны, месье.

— Пусть это вас не беспокоит: я не шпик. Я обыкновенный русский офицер.

— Благодарю.

— Итак, вы хотите уехать как можно скорее. Я тоже. Что же дальше? Насколько я понимаю, вы не прочь объединить наши желания. Тогда давайте говорить откровенно.

Француз улыбался очень вежливо и непроницаемо. Гавриил выждал немного и сухо кивнул:

— В таком случае всего доброго. Как видно, русские вас не устраивают. Желаю удачи в поисках поляка.

— Не возражаете, если я переговорю с друзьями? Пять минут: они сидят за вашей спиной.

— Это ваше право.

Француз вернулся раньше.

— Не откажетесь пересесть за наш столик?

Вслед за ним Гавриил подошел к незнакомцам, молча поклонился. Все трое испытующе смотрели на него, чуть кивнув в ответ. На столике стояла бутылка дешевого вина, сыр и хлеб. Старший, кряжистый блондин, невозмутимо попыхивал короткой трубкой; итальянец, отки-

нувшись к спинке стула, играл большим складным ножом; третий, самый молодой, сидел, широко расставив локти, навалившись грудью на стол, и смотрел на Олексина исподлобья настороженно и недружелюбно. Молчание затягивалось, но Гавриил терпеливо ждал, чем все это кончится.

— Кто вы? — спросил старший, не вынимая трубки изо рта.

— Русский офицер.

— Этого мало.

Олексин молча пожал плечами.

— Я не доверяю аристократам, — резко сказал молодой парень.

— погоди, сынок, — сказал старший. — Сдается мне, что Этьен и так наболтал много лишнего. Мы спрашиваем вас, сударь, потому, что у нас четыре судьбы, а у вас одна. Право на нашей стороне.

— Поручик Гавриил Олексин. Направляюсь в Сербию и хотел бы добраться до нее как можно скорее. Насколько я понял вашего товарища, наши желания совпадают. Если у вас есть какие-то планы, готов их выслушать.

— Русские волонтеры живут в отелях побогаче. Вам это не по карману?

— Это мое личное дело.

— Наше общее дело зависит от вашего личного.

— Я не знаю ваших дел, но полагаю, что мои дела — это мои дела.

— Он не тот, за кого ты его принимаешь, Этьен, — сказал старший, вздохнув.

— Вы свободны, месье, — сказал парень. — Извините.

— погоди, Лео, — поморщился старший. — Как знать, может, мы и испечем с вами пирог, а? Предложи офицеру стул, Этьен.

— Прошу вас, господин Олексин. — Этьен усадил Гавриила, сел рядом. — Извините за допрос, но мы рискуем жизнями, а вы — только временем.

Итальянец со стуком захлопнул нож, по-прежнему не спуская с поручика настороженных темных глаз. Старший сосредоточенно копался в трубке, Лео глядел исподлобья, и, кажется, уже с ненавистью.

— Похоже, что я не понравился вашему другу, — сказал Олексин старшему.

— Если вас треснут по башке прикладом только за то, что вы не успели снять шапку, вы тоже станете глядеть на мир недоверчиво.

— Полагаю, что его треснули пруссаки, а не...

— Не совсем так. — Старший раскурил трубку и удовлетворенно затянулся. — Нам бы не хотелось, чтобы о нашем плане знал кто-либо еще.

— Я ни с кем не встречаюсь.

— Сегодня не встречаетесь, завтра захотите встретиться. Нам нужны гарантии.

— Например?

— Слова чести было бы достаточно, я думаю.

Старший посмотрел на товарищей. Итальянец важно кивнул, Лео недоверчиво усмехнулся, но промолчал.

— Достаточно, — сказал Этьен. — Я знаю русских.

— Значит, вы просите в поруку мою честь? Однако она у меня одна, и я хотел бы знать, кому ее доверяю.

— Ишь чего захотел! — сказал Лео. — Нет, я не люблю аристократов.

— Мы не бандиты, — с легким акцентом сказал итальянец. — Не бандиты и не преступники, хотя за нами гоняются по всей Европе. Не знаю почему, но я вам верю так же, как Этьен. Мы парижане, господин офицер.

— Вы парижанин?

— Бои на баррикадах делали парижан даже из поляков. А уж из итальянцев тем более.

— Коммунары? — тихо спросил Гавриил.

Никто ему не ответил. Он понял, что вопрос прозвучал бестактно, но не попросил извинения. Достал папиросы, закурил.

— Вы направляетесь в Сербию? Или дальше?

— В Сербию.

— Сражаться против турок?

— Сражаться за свободу, — поправил Этьен. — В данном случае против турок.

— Доверие за доверие, — сказал, помолчав, Гавриил. — Слово офицера, что о нашем разговоре не узнает никто и никогда.

— Благодарю. — Старший впервые улыбнулся и протянул Олексину тяжелую ладонь. — Миллье. Сынок, попроси еще бутылочку: всякую сделку необходимо спрыснуть, не так ли?

Лео принес бутылку и стакан. Миллье не торопясь разлил вино, поднял стакан:

— Здоровье, друзья. — Привычно отер усы, придвинулся ближе. — Не скрою, сударь, наше положение не из блестящих. Вчера Этьена узнали, подняли шум, он еле улизнул.

— И расстался с усами, — рассмеялся Лео. — Ах, какие были усы! Любое девичье сердце они пронзали насквозь.

— У Этьена было еще кое-что, — сказал Миллье. — Настоящие бумаги. Прекрасные бумаги, подтверждающие не только его усы, но и его кредит.

— И все полетело в огонь, — вздохнул итальянец.

— Есть частное судно, — сказал Этьен. — Хозяин согласен доставить нас в Сербию за определенное вознаграждение, но нужен официальный фрахт и гарантии оплаты в случае захвата или потопления. Коротко говоря, необходимы документы.

— Русский паспорт устроит?

— Лучше, чем какой-либо иной. Необходимо оформить фрахт.

— И оплатить проезд?

— Только за вас двоих, — сказал Миллье. — Свой проезд мы оплатим сами.

— Десять дней мы жрем один сыр ради этого, — проворчал Лео. — Меня уже мутит от него.

— И это все? — спросил Гавриил.

— Все, — подтвердил старший, вновь не торопясь, аккуратно разливая вино. — Если вы согласны помочь нам выбраться отсюда, чокнемся и пожелаем друг другу удачи. Этьен вам все растолкует и покажет нужного человека.

— Только издалека, — уточнил итальянец.

— Да, действовать вам придется самому, — сказал Миллье, чокаясь с Олексиним. — Здоровье, друзья. Не проговоритесь, что мы из Парижа, это осложнит дело.

— Зачем же? Я фрахтую судно для перевозки русских волонтеров.

— Это проще всего: русские едут тысячами, власти к ним привыкли.

— За удачу! — громко сказал Этьен, поднимая стакан.

Сильные характеры мечтают любить, слабые — быть любимыми. Машенька никогда не думала об этом, а просто хотела любить. Любить глубоко и преданно, отдать любимому всю себя, всю, без остатка, раст-

вориться в нем, в его мыслях и желаниях, стать для него необходимой, как воздух, пройти рядом с ним весь его путь, каким бы он ни был, помочь ему раскрыть свои способности, создать из него человека, окруженного всеобщим благодарным поклонением, и тихо состариться в лучах его славы. Таково было ее представление о великом женском счастье и о великом женском подвиге одновременно. Схема была выстроена и старательно продумана, жизненный путь прочерчен от венца до могилы несокрушимо прямой линией. Дело оставалось за объектом приложения сил.

— Варя, как по-твоему, Аверьян Леонидович талантлив?

Варя проверяла счета. После ухода Захара она решительно соединила в своих руках все хозяйственные нити, словно пыталась на этих вожжах удержать семью.

— Все мужчины талантливы.

— Так уж, так уж все мужчины? Все-все?

— Вероятно, мы понимаем под талантом разное, — сказала Варя, решив, что настала пора изложить собственную теорию подрастающей сестре. — Если ты понимаешь талант, как его понимает толпа, то мера твоя нереальна: в представлении толпы талант есть результат труда, а не его процесс и говорить о нем можно лишь тогда, когда результат этот очевиден. Тогда талант превращается в нечто, напоминающее орденскую ленту, и рассуждать о нем бессмысленно.

— А когда осмысленно?

— Зачем вы все переиначиваете русский язык? Такого слова не существует.

— Ну пусть не существует. Но талант-то существует или тоже нет? Вот ты сказала: все мужчины талантливы. В каком смысле ты это сказала?

— Садись. — Варя закрыла расчетную книгу. — Скажи, какая разница между кобылой и жеребцом?

Маша смущенно фыркнула.

— Я говорю не о внешних приметах, — строго сказала Варя. — Я имею в виду образ жизни, способ жизни, что ли. Словом, существо, понимаешь? И вот если по существу, то никакой разницы между жеребцом и кобылой, между волком и волчицей, между бараном и овцой нет. Они одинаково сильны и беспощадны, быстры и жестоки, храбры или трусливы. Природа не сделала никакого существенного различия между полами, ограничившись лишь необходимыми органами.

— Я не хочу слушать про анатомию.

— Никакой анатомии не будет, не бойся. Но скажи, разве ты или я похожи на Федора или Гавриила? Нет, мы иные, а они — иные. У нас не только иная одежда, у нас, женщин, иная психика, манера поведения, образ мыслей, даже представления о жизни. Мы настолько различны — даже мы, братья и сестры, выросшие в одной семье! — что в пору говорить о двух видах человечества. Мы терпеливее мужчин, нежнее и мягче их, практичнее и... плаксивее.

— Это правильно, — согласилась Маша. — Я иногда могу реветь просто так. Ну, ни с того ни с сего, понимаешь?

— Я много думала над этим, — не слушая ее, продолжала Варя. — Зачем это подчеркнутое явное различие? Ведь для чего-то оно же нужно, оно же необходимо, ведь высшая идея ничего не творит бессмысленно.

— Какая еще высшая идея?

— Ну, природа, пусть так. Ведь если мужчина и женщина столь различны, то и задачи, стоящие перед ними, тоже должны быть различными, ведь правда? Стало быть, если пара животных решает одну и ту же задачу, то пара людей — мужчина и женщина — должна ре-

шать две задачи одновременно. Две задачи, понимаешь? А поскольку изначальная эта задача была единой, то ныне... — Варя вдруг замолчала, нахмурила лоб, точно припоминая, как там следует дальше. — Да, ныне это единство стало ее противоположностью. Они решают как бы одну задачу, но с разными знаками, понимаешь?

— Нет, — честно призналась Маша, начиная краснеть. — Ты затрагиваешь очень рискованную тему. Задача у любой пары живых существ одна и та же: продление своего рода.

— Это функция, а не задача, — с неудовольствием сказала Варя. — Ты бестолкова, Мария. Функция — воспроизведение рода, совершенно верно, не требует доказательств и размышлений. А я говорю о задаче, понимаешь? О предопределении любой жизни: для чего-то она ведь нужна? Нельзя же признать, что все бессмысленно, этак и жить не для чего. Нет, есть смысл в нашем существовании, есть задача, и задача эта различна для мужчины и для женщины, вот о чем я тебе толкую.

— Не сердись, — примирительно улыбнулась Маша. — Я, наверно, примитивное существо.

— Ты просто мало читаешь умных книг. Конечно, можно прожить и так, но зачем же обкрадывать саму себя!

— Ага, значит, ты все это вычитала из Васиных книжек? — спросила Маша. — Хорошо, я не буду обкрадывать саму себя.

— Так вот, о задаче мужской и женской, об общей их задаче, но — с разными знаками, — невозмутимо и заученно продолжала Варвара. — Каково блаженное состояние любой женщины, то, что она называет счастьем? Это покой. Это стремление во что бы то ни стало сохранить статус кво при некоторых уже сложившихся благоприятных предпосылках. Дайте женщине любимого, детей, семью, достаток — и именно это она станет называть счастьем, именно это она будет охранять от всех бед и случайностей, именно это она будет желать каждый час и всю жизнь. В каждой женщине заложена жажда гармонии: достижение, защита и продление этой гармонии и есть ее задача. Сейчас много говорят, спорят и пишут о женской эмансипации, а мне смешно и грустно. Я смеюсь над наивной попыткой пойти наперекор естеству и горю, представляя себе, чем мы заплатим за это легкомыслие.

— Чем же? — с некоторым вызовом спросила Маша, ибо считала разговоры об эмансипации очень современными и за это любила саму эмансипацию.

— Разрушением семьи, — почти торжественно изрекла Варя. — Нарушится извечное равновесие полов, перепутаются их задачи, мужчина утратит уважение к женщине, а женщина — к мужчине, и за все расплатится семья. И место высокой любви займет чисто животное влечение мужеподобных женщин и женоподобных мужчин.

— Ты вещаешь, а не говоришь, — с неудовольствием отметила Маша. — Настоящая пифия. Расскажи лучше про мужчин, почему они все поголовно талантливы, а мы нет.

— Я этого не утверждала, — сказала Варя. — Однако для состояния покоя требуется куда меньше душевных сил, чем для активных действий, согласишься. А мужчине свойственна активность точно так же, как женщине — гармония. Войны, политика, интриги, борьба за власть — это все внешние проявления мужской задачи. Мужчины — возмутители спокойствия, они разрушают гармонию от низа до верха, от гармонии семьи до гармонии государства, разрушают то, к чему стремимся мы, или, наоборот, мы созидаем то, что стремятся разрушить они. Борьба мужского и женского начала — вот суть и внутренний смысл жизни. И вот почему мужчины талантливее нас, понимаешь?

— Понимаю. — Маша задумчиво покивала. — Ты навеки останешься старой девой, Варвара.

Варя глянула на сестру с кротким ужасом, будто ждала приговора, знала, что он справедлив, но все же надеялась на помилование. И сразу же опустила глаза, раскрыв заложенную счетами книгу.

— Я знаю.

Она знала, что обречена, но знала про себя. Сегодня сестра сказала об этом, сказала в своей обычной полудетской манере, не вдаваясь в причины, а сообщая результат. Варе очень хотелось заплакать, но она пересилила себя и сказала почти безразлично:

— Володя хочет уехать в Смоленск. Говорит, скучно у нас.

— Прости меня, Варя.— Маша подошла, крепко обняла сестру.— Я сделала тебе больно. Я знаю, что больно, я такая дурная. Наверно, мне надо влюбиться.

— Уж не в Аверьяна ли Леонидовича? — улыбнулась Варя.— Что ж, он всем хорош, только не для тебя.

— Не для меня?

— Не для тебя,— строго повторила Варя, уловив подозрительные нотки.— Он слишком прозаичен для романа и слишком легкомыслен для семейной жизни. Муж без положения, образования, состояния, наконец...

— Варя, о чем ты говоришь? — удивленно спросила Маша, отстраняясь.

— Я знаю, что говорю,— с непонятной резкостью сказала Варя.— Забродила хмельная олексинская кровь, барышня? Обливайтесь холодной водой, делайте немецкую спортивную гимнастику и прекратите чтение любовных романов, пока... пока кнопки не полетели.

— Какие кнопки? Какие романы? Что с тобой, Варвара?

— Поедешь в Смоленск. Немедленно, с Владимиром.

— Ты... ты сама в него влюблена! — крикнула вдруг Маша.— Сама, сама, я вижу, я все вижу!

— В Смоленск! — Варвара туго прижала ладони к запыхавшим щекам.— Я... я не услужу за тобой, чувствую, что не услужу.

— Ты... ты гадкая,— сквозь слезы выдавила Маша.— Гадкая старая дева! — И уже не сдерживаясь, с громким, детски обиженным плачем выбежала из комнаты.

Она проплакала всю ночь и утром не вышла к завтраку. Варя сказала, что у Маши болит голова, и все расспросы прекратились.

После завтрака, как всегда, пришел Беневоленский. Играл с Федором в шахматы, но был рассеян и проигрывал. После третьей партии поймал Варю на веранде: она шла в сад.

— В вашем доме сегодня что-то очень тихо.

— Это к отъезду. Лето кончилось, Аверьян Леонидович, наступает пора забот.

— Да, скоро осень,— эхом откликнулся он.

Разговаривали на ходу. Варя не оглядывалась, Беневоленский шел сзади.

— Федор тоже уезжает?

— Все уезжают, даже дети. Остаюсь только я.— Она неожиданно обернулась.— А вы? Остаетесь или тоже в отъезд?

— В отъезд,— сказал он.— Вы правы: наступает пора забот.

— В Москву или в Петербург?

— Еще не решил. Когда же прощальный вечер?

— Завтра, Аверьян Леонидович. Жду вас к чаю.

Беневоленский поклонился и пошел к воротам. Варя смотрела ему вслед, а когда он скрылся, поспешно вернулась в дом. Федор разбирает удачную партию, что-то спросил, но Варя не отвечая пошла к Владимиру.

Владимир забросил охоту, не ездил к Дурасовым и целыми днями

валялся на кушетке. Кажется, тайком выпивал: от него пахло.

— Ты когда едешь?

— Все равно.

— Может, завтра утром? Я распорядюсь.

— Утром так утром,— безразлично сказал он.

— Возьмешь с собою Машу.

— Машу так Машу.

Теперь следовало уговорить сестру. Уговорить или заставить — Варя была готова и на это. И вошла в Машину комнату решительно, без стука.

Комната была заставлена коробками, раскрытыми чемоданами. Маша, полуодетая и растрепанная, складывала вещи.

— Собираешься?

— Чем скорей, тем лучше.

— Умница.— Варя поцеловала ее.— Завтра утром поедешь вместе с Володей, Машенька. Ты не сердись на меня?

— Нет.

— Ты выросла из всех платьев, сестричка,— ласково сказала Варя.— Надо новые шить, займись этим немедленно. Рекомендую Донского Петра Григорьевича: Благовещенская, собственный дом. У него хорошие мастерицы.

— Ты очень добра, Варя.

— А в октябре в пансион. Я спишусь с тетей, а в Псков поедем вместе. Хорошо?

— Замечательно.

— Ну и отлично.— Варя еще раз поцеловала сестру, снова почувствовала, как сухо она ей отвечает, но сделала вид, что все в порядке, и вышла из комнаты в самом прекрасном настроении.

Почти силой отправляя Машу в Смоленск, Варя вовсе не стремилась избавиться от соперницы. Аверьян Леонидович был ей если и не совсем безразличен, то до влюбленности тут было еще далеко. Просто Варя в этом видела наипростейший способ уберечь сестру от мирских соблазнов, разрушить ее еще неосознанное и неокрепшее первое влечение, а затем отправить в Псков под крылышко единственной тетушки и под надзор пансиона. Тогда бы она окончательно перестала тревожиться за ее судьбу и могла бы спокойно заняться младшими. Она шла к цели напрямик, нимало не заботясь о тех, кого наставляла и направляла, а то, что ее слушались, льстило самолюбию и укрепляло в представлении о собственной прозорливой непогрешимости. «Надо быть твердой,— убеждала она сама себя.— Твердой и решительной, только так я смогу уберечь их от греха и возмездия. Только так, но, господи, как это трудно!..»

На следующее утро Маша и Владимир выехали в Смоленск.

3

Владелец парового катера, с виду чрезвычайно добродушный, а на деле прикрывающий добродушием цепкую жадность австриец, которого осторожно показал Олексину Этьен, согласился предоставить судно на прежних условиях. Быстро сторговавшись о цене и сроках, они направились в контору и здесь встретили непредвиденные осложнения.

— Нужно поручительство, господин Олексин. Вы не подданный Австро-Венгрии.

— Я плачу наличными.

— Да, но не стоимость судна, а только его фрахт.

— Хозяин согласен.

— Таков закон, господин Олексин. Ищите поручителя.

Раздосадованный Гавриил ничего не сказал французам: владелец обещал разыскать поручителя. В поисках его Олексин целыми днями мотался по Будапешту, возвращался поздно усталым и раздраженным.

— Гаврила Иванович, гость у нас!

Захар встретил его у дверей номера с чайником в руке: самоваров в гостинице не водилось. Был вечер. Олексин весь день прождал обещанного поручителя, не дождался и пребывал в отвратительном настроении.

— Гони всех в шею.

— Ни-ни, ни под каким видом! — широко заулыбался Захар. — Гость больно дорогой, не пожалеете.

И распахнул дверь, пропуская поручика. В комнате у стола сидел молодой человек. Увидев Гавриила, встал и шагнул навстречу:

— Ну, думал, не дождусь.

— Васька? — совсем как в детстве, в Высоком, крикнул Гавриил. — Васька, чертушка, откуда?

— Проездом в отечество. — Василий Иванович расцеловался с братом. — Знал, понимаешь, определенно знал, что кто-то из наших непременно в Сербию направится: либо ты, либо Федор, либо, не дай бог, Володька. Да боялся, что уж проехали, три дня справки наводил, и представь себе, здесь, говорят, Олексин! Здесь торчит, парохода ждет, — Василий Иванович радостно посмеялся. — Что, саботируют австрийцы? Саботируют, еще как саботируют. Сами же заварили кашу, и сами же препоны волонтерам строят: старая, как сама матушка Европа, европейская политика.

— Захар, мечи все на стол! — весело приказал Гавриил. — Вина тащи — пировать будем.

— Вина можешь не стараться: не пью.

— Ничего, Василий Иванович, мы сами за тебя выпьем, — приговаривал Захар, собирая на стол. — За тебя да за встречу — с полным удовольствием.

Братья сидели поодаль колени в колени и, улыбаясь, разглядывали друг друга.

— Ах, до чего же я рад, что нашел тебя, до чего рад! — сиял Василий Иванович.

Было в нем нечто новое, незнакомое: аккуратно подстриженная благолепная бородка, благолепный взгляд, благолепная говорливость — все в обкатку, шариком. Даже радовался благолепно:

— Ах, до чего же рад я, до чего рад!

— Что же Америка? — спросил Гавриил. — Что же идея твоя?

— Идея? — Василий Иванович вздохнул, медленно провел по лицу, по бороде, словно снимая благолепие, и глаза его сразу точно высохли. — До чего же мы любим идеи. Любим страстно, самозабвенно, истово — до самозаклания на алтаре. Да только идеи не любят нас, вот беда. Может, потому, что они чужие? Немецкие, французские, английские. А где же наши собственные идеи? Почему к ним-то, на одной ниве взращенным, мы с насмешечкой да усмешечкой, а к заграничным — с трепетом душевным, с восторгом неистовым, загодя шапку ломая? Сами себе не верим, привычно не верим, исстари, от татаро-монголов. А что, как поверим однажды? С нашей-то азиатской неистовостью, с нашим-то русским размахом, да все вдруг, все человеки российскийские, — что тогда? Мир вздрогнет, Гаврюша. Мир переменится, если мы все дружно, как мужики церковь, новую идею воздвигнем.

— Какую же?

— Какую? — Василий Иванович усмехнулся. — Вон Захар над рюмкой мается, пойдем к столу.

Только за столом Гавриил решился сказать, что матери больше нет. Василий Иванович замер, долго сидел не шевелясь. Захар придвинул стакан с вином — по-походному пили, из стаканов, — тронул за руку.

— Вечная память ей, Вася.

Братья встали, выпрямив и без того прямые спины. Помолчали, глядя в стол, пригубили вино.

— Садитесь, — вздохнул Захар. — Знать бы, где упасть бы да когда случится. Мне сестра она единственная, а всю жизнь вместо маменьки была. А вам так сама маменька: родила да вспоила.

— Умные люди утверждают, что законом человеческого общества является не борьба за существование, а взаимопомощь, — сказал Василий Иванович, по-прежнему глядя в стол. — Прекрасная и благородная формула, а мы о ней знали с колыбели. Нет, Захар, мама нас не только родила и вспоила, хотя и этого достаточно для благодарности нашей вечной. Мама нас людьми сделала. И в этом сила наша.

Разговор угас, потом приобрел новое направление: о доме, об отце, о братьях и сестрах. Отвечал Захар, и не только потому, что знал лучше, а и потому, что Гавриил часто замолкал, вспоминая сказанное Василием. Перемена в брате была явная, но в чем она заключалась, куда вела его теперь и зачем, этого Гавриил пока не понимал.

— А что же твой социализм, Вася? Неужели разочаровался?

— Социализм не девушка, и я не разочаровался, а понял, — нехотя, даже ворчливо сказал Василий Иванович.

— И что же ты понял? — не унимался Гавриил.

— Что понял? — Василий Иванович достал платок, аккуратно отер усы, бородку. — Видишь ли, социальные идеи — это идеи о всеобщем справедливом распределении благ. Разных благ: экономических, политических, гражданских, культурных. Они толкуют о дележе добычи. Да, справедливом, да, всеобщем, да, равном, но — лишь о дележе, предполагая, что человек сам изменит свою натуру, приведя ее в соответствие с нормами всеобщего равенства и братства.

— Интересно, как ты выкрутишься, — улыбнулся Гавриил.

— Слабость тут в том, Гавриил, что духовная жизнь человека всеми этими идеями мало принимается во внимание. Принимается во внимание скорее его физическое существование. Может быть, все это и хорошо для человека совершенного, но ведь идею-то призваны осуществлять человеки обыкновенные. А они ой как несовершенны. Ой как! А об этом идеи молчат.

— Уж не стал ли ты веровать в бога, Вася?

— В бога? В общепринятом смысле нет: я не хожу в церковь и не бьюсь лбом в заплеванный пол. Но... — Он помолчал, собираясь с мыслями. — Нет, не экономическая модель счастливого будущего нужна человечеству, Гавриил: оно задыхается в тисках злобы и жестокости, ибо топчется в нравственном тупике. Путь нравственного очищения, путь нравственного примера, тернистый путь первых подвижников христианства — вот модель справедливого и доброго общества будущего. Вопрос не в том, как делить добычу, — вопрос в том, чтобы отдать ее добровольно, без всякого дележа. А чтобы подготовить все это, нужна новая религия. Без вороватых и темных попов, без разврата монастырей, без роскоши высшей церковной иерархии. Нужна вера в идею, святую в своей простоте: чем больше ты отдаешь, тем богаче ты становишься. Вот и все. И в этом смысле я готов принять бога, если это позволит людям поверить.

— Темна вода во облацех, — улыбнулся Гавриил. — За справедливость надо воевать, вот это и просто и всем понятно, господин проповедник. Когда читаешь, как турки вырезают целые болгарские города,

как насилуют женщин и вырубают кресты на спинах мужчин, кровь застывает в жилах и хочется стрелять, стрелять и стрелять. И знаешь что? Поехали с нами в Сербию: там на практике и испытаешь свою идею.

— Что же, я бы и поехал,— вздохнул Василий Иванович.— Даже наверное бы поехал с тобой и Захаром.

— Поехали, Василий Иванович! — откликнулся допивавший за столом вино Захар.— Я враз за багажом вашим сбегаю.

— Нет, сейчас уже не могу. Дело в том, что я не один. Со мной тут жена моя Екатерина Павловна и сын Коля.

— И сын и жена? — ахнул Захар.— Это когда же ты успел-то, Василий Иванович? Ну Америка!

— Поздравляю,— сдержанно сказал Гавриил.— Надеюсь, ты представишь меня своей супруге. У вас, естественно, гражданский брак?

— Естественно.— Василий Иванович улыбнулся.— Она чудная женщина, Гавриил, и я счастлив. Знаете, она спасла меня. Да, спасла. Она появилась как ангел и отвела руку...— Он прошел к дверям, достал из плаща револьвер.— Вот от чего она отвела мою руку. Возьми, Гавриил. Ты едешь на войну, он может пригодиться.

— Спасибо, Вася,— Гавриил с удовольствием прикинул в руке кольт.— Прекрасный подарок. Спасибо.

— И да хранит вас бог,— вдруг с чувством сказал Василий Иванович.

— Чему быть, того не миновать,— вздохнул Захар.

— Больно, когда убивают,— тихо, словно про себя сказал Василий Иванович.— Очень больно. Поверьте, я знаю.

Гость посидел еще немного и распрощался. Гавриил и Захар вышли его проводить и провожали долго, почти до центра, до пансиона, где Василий Иванович снимал комнаты. По дороге договорились о завтрашнем визите и поэтому расстались второпях. На обратном пути взяли экипаж, добрались быстро. А когда подходили к уснувшей гостинице, от подъезда шагнула фигура.

— Недаром существует поговорка «опаздывает, как русский»,— сказал знакомый голос, и Гавриил узнал Этьена.— Жду вас: на расвете погрузка.

— Какая погрузка?

— Миллье договорился с капитаном буксира: они волокут баржу в Белград. Капитан оказался боснийцем, и это решило дело. Скорее, господа: нас возьмут в грузовом порту.

— Значит, вы обошлись без моей помощи,— не без горечи отметил Гавриил.— Зачем же вам связываться с нами?

— Нашли время для обид,— улыбнулся Этьен.— Если вам так уж не хочется быть нашим должником, оставайтесь.

— Что он говорит? — нетерпеливо спросил Захар.

— Едем! — сказал поручик.— Нельзя упускать такой случай. А Василию я оставлю записку: не судьба, видно, с супругой его познакомиться...

Утром Маша и Владимир уехали в Смоленск, а к вечеру пожаловала тетушка Софья Гавриловна, гостя редкая и дорогая.

— Как же это я с Машенькой и Володей разъехалась?— расстраивалась она.— Ах, какое невезенье, какое невезенье, обидно!

Тетушка быстро расстраивалась, но и быстро находила в чем-либо утешение. Она была дамой почтенной, доброй и одинокой: единственный сын ее умер во младенчестве, а муж, артиллерийский офицер, по-

гиб в Крымской войне. Однако в отличие от брата она не любила одиночества, поддерживала широкий круг знакомств, принимала у себя, наносила визиты, но дальних путешествий побаивалась; Варя подозревала, что тетушка не приехала на похороны именно по этой причине.

День был суматошный, как и всякий день приезда неожиданных гостей. Тетушка долго и дотошно осматривала хозяйство, давала указания, пересказывала последние лечебные рецепты и способы выращивания георгинов. Потом пришел Беневоленский, не удивился, что Маша уехала, но тут же отбыл, сославшись на срочные дела. Варя не удерживала его, хотя было немного досадно, что он так демонстрирует. За чаем тетушка расспрашивала детей, но связной беседы не вышло: Надежда дичилась, Георгий и Николай отвечали односложно, занятые какими-то своими делами. Федор начал было излагать очередную идею, увлекся, но вскоре увял, почувствовав, что слушают его из вежливости.

Один Иван был молодцом. Терпеливо ответил на все тетушкины вопросы, вежливо поинтересовался здоровьем и вежливо выслушал ее длинный отчет. Он вообще как-то повзрослел за последнее время, посерьезнел, много занимался, возился с детьми и стал самой надежной Вариной опорой: она находила, что он очень похож на Василия; а для нее это была высшая похвала.

Но, как выяснилось, все эти разговоры были только разведкой. Серьезная беседа — беседа, ради которой тетушка предприняла это путешествие, — состоялась поздним вечером, когда они остались одни. Начала ее тетушка весьма своеобразно.

— Караул, — объявила она, войдя в Варину комнату и удобно, надолго усаживаясь.

— Что — караул? — не поняла Варя.

— Я кричу «караул», Варвара, — строго сказала почтенная дама. — Семья стоит на краю бездны. Впрочем, я так и предполагала, что она стоит на краю. Да, представь себе, предполагала. И кричу «караул».

— Неужели все так уже скверно? — улыбнулась Варя, хотя тетушкино вступление несколько зацепило ее самолюбие. — Что же вас беспокоит?

— Ты, — сказала тетушка. — В первую голову ты. Почему здесь нет управляющего?

— Он уехал после похорон.

— Он был честен?

— Он мамин брат.

Варя всегда определяла Захара как брата мамы, но никогда — даже в мыслях — не считала его своим дядей. Так уж повелось в семье, так сложилось, и не только она — все ее братья и сестры считали Захара лишь родным братом матери.

— Захар? Знаю его. Мужик разумный и хозяйственный. Почему уехал?

Варя пожала плечами:

— Он человек вольный.

— Вольный? Надо было лишить воли: дать землю, женить.

— Захар хотел жениться, да невесты маме не нравились.

— Ах, Анна, Анна! — Тетушка неодобрительно покачала головой. — И что же, слушался? И женщины у него не было?

— Была. Солдатка, вдова, ребенок у нее от него. А все равно ушел. Сказал, дело заведет в Москве.

— Значит, обидели, — убежденно сказала Софья Гавриловна. — Узнаю братца Ивана: меня не щадил под горячую руку — и такое бывало. Ну да ладно, сама этим займусь. Найду и верну.

— Считаете, что я не справлюсь с хозяйством?

— Отчего же? Справишься, девица разумная. И характером в папеньку. С хозяйством ты справишься, Варя. С собой не управишься.

— То есть?

— Муж нужен. Пора уж, пора, засиделась. А нам, женщинам, нельзя на родительских ветвях засиживаться: червивеем. Кошечек заводим, собачек, приживалочек или, того паче, любовников. Не красней, голубушка, не красней: мы обе женщины.

— Очень вас прошу, тетушка, оставить этот разговор.

— Не могу, не взыщи.— Софья Гавриловна развела руками.— Это не разговор, Варенька, это предназначение твое, судьба. Либо в линию она пойдет, либо в тупик упрется, серединки нет. Анна Тимофеевна, матушка твоя, царствие ей небесное, мужа тебе не приглядывала?

— Она считала меня взрослым человеком, тетя.

— Она считала тебя ребенком,— отрезала Софья Гавриловна.— Ну ладно, будем искать.

— Что искать? — испугалась Варя.

— Супруга, сударыня, супруга тебе достойного искать будем. Здесь, в глуши, на тебя разве что медведь выскочит.

— Тетя, мне очень неприятна эта тема,— сухо сказала Варя.— Давайте прекратим ее и...

— А уж и прекратили,— сказала тетя.— Уже прекратили и нет никакой темы. А есть я, твоя тетя. Единственная твоя тетушка. Ты ведь любишь меня, Варенька?

— Тетушка! — Варя нежно поцеловала почтенную даму.— Разве я дала повод сомневаться?

— А раз любишь, значит, зимой переедешь ко мне.

— Нет, дорогая моя тетя, не перееду. Очень бы хотела, поверьте, да не смогу. Вот Машу я к вам отправлю.

— И Машу отправишь и Наденьку, и сама приедешь.

Варя с грустью покачала головой:

— Это было бы прекрасно, только на кого же я детей оставлю? Ване год в гимназии остался, а еще Георгий и Коленька. Не на Федю же их оставлять, он и сам-то ребенок бородатый. А больше никого нет. Никого, милая тетя, я одна.

— А батюшка?

— Батюшка в Москве.

— Ничего, в Смоленск перевезем, а упрется, так к нему детей отправим, пусть там учатся.

— Боюсь, что вы плохо знаете своего брата,— улыбнулась Варя.

— Это ты меня плохо знаешь,— ворчливо сказала Софья Гавриловна.— Всю жизнь ему потакали, всю жизнь с ним возились — хватит, пусть теперь он возится, пусть теперь он потекает. Если мы с тобой, Варенька, чего захотим, то того и добьемся. Я ведь еще дома догадалась, что ты сиротой себя вообразишь, горе как божью кару воспримешь и сама себя на алтарь семьи поведешь как жертву искупительную. Так пустое все это, выкинь из головы! В зеркало посмотришь, молодость ощути — и живи как жила!

— Как жила не получится.

— Точно не получится, так похоже получится. Получится, сударыня моя, все получится! А со старым ворчуном, с батюшкой твоим, я сама все решу, ты и знать ничего не будешь. Анна Тимофеевна, царствие ей небесное, любила его без памяти, разбаловала. Слишком любила и слишком разбаловала, ну да бог с ним, справимся. А вам обществу нужно, милые вы мои дети, а особо тебе и Машеньке. И не спорь, пожалуйста, не спорь со мной, я все равно сделаю по-своему!

Варя спорила не по существу, а по инерции и прекрасно понимала, что спорит лишь по инерции, из-за какого-то осторожного упрямства;

в душу ее с каждым тетушкиным аргументом всеялся давно утраченный ею покой, все дальше и дальше оттесняя и страх перед будущим, и даже сумрачные мысли о принесении себя в жертву семейному благополучию. То, что предлагала Софья Гавриловна, было не просто разумнее, нет: ее планы предусматривали и личное Вариного счастье. Обыкновенное девичье счастье, не требующее ни теоретических оправданий, ни роковых предопределений. И все то, что много ночей и дней копилось в ее сердце, все то, что лишь изредка выплескивалось в форме сложных философских построений, в которые и сама-то Варя верила лишь постольку, поскольку они оправдывали ее гордое одиночество, все это прорвалось вдруг неудержимыми, облегчающими душу слезами.

— Ну вот и славно, вот и прекрасно,— сказала тетушка невозмутимо, не тронувшись с места.— Поплачь, Варенька, поплачь: девичьи слезки ледышку плавят.

5

Буксир ошвартовался у причала белградской грузовой пристани тихим августовским утром. На пристани было пустынно, лишь несколько грузчиков ожидали прибытия транспорта.

— Желая не попасть в плен,— сказал капитан-босниец, пожмая руки.— Лучше так.— Он выразительно щелкнул пальцами у виска.

Олексин ожидал увидеть чиновников таможни, но к ним никто не спешил. Грузчики разглядывали их, но издали, не приближаясь. Гавриил хотел спросить, куда направляют волонтеров, но Миллье остановил его:

— Сначала разойдемся.

— Разве мы не вместе?

— Вы офицер, а мы рядовые,— пояснил Этьен, улыбаясь.— Вы защищаете славян от турок, а мы — свободу от тирании.

Олексин не стал более спрашивать. Расстались друзьями возле ворот порта, но направились в разные стороны.

— Может, они к турку подались? — предположил Захар.

— Может, и к турку,— усмехнулся поручик.— Свобода, Захар, понятие относительное. Особенно для господ инсургентов.

Сам он, впрочем, испытывал к «господам инсургентам» чисто дружеское расположение, но не в связи с Парижской коммуной — он мало знал о ней, да она его и не интересовала,— а скорее интуитивно, угадывая в них людей честных, мужественных и преданных своему долгу.

Они окликнули первого встречного, представились, спросили, куда им следует идти.

— Русские?— Серб крепко жал руки, улыбаясь, заглядывал в глаза.— Русские и сербы — братья!

Он взвалил на плечи их багаж и по дороге с воодушевлением оповещал, кого именно он сопровождает, и вскоре за русскими шла уже порядочная толпа.

— Русские офицеры! Они прорвали австрийский кордон! Один из них говорит по-сербски!

Гавриил по-сербски говорил плохо, но достаточно, чтобы спросить, чем вызван этот переполох.

— Давно не было русских волонтеров,— сказал провожатый.— Прошел слух, что австрийцы выставили кордоны, чтобы лишить сербов помощи.

Русские не знали, куда их ведут; сербы говорили все разом, перебывая друг друга, отделив Олексина от Захара, забрасывая их вопросами и не ожидая ответов на эти вопросы. Прием был почти восторженным, но Гавриил хотел не восторгов, а дела.

— Говорят, трудно приходится, а мужиков молодых — хоть отбавляй, — недовольно сказал Захар, пробившись к поручику. — На войну надо идти, братушки! Турка бить!

— Турка, турка! — закричали восторженные провожатые, вновь оттесняя его от Гавриила.

Наконец навстречу попался священник с красным крестом на рукаве, и шествие остановилось.

— Добро пожаловать на несчастную сербскую землю. — Священник хорошо говорил по-русски. — Давно не было пароходов с русскими волонтерами, этим и объясняется восторг моих сограждан. Если не возражаете, можем сразу направиться в министерство: ваш багаж отнесут в «Сербскую корону».

Он распорядился, толпа направилась к гостинице, унося их поклажу (Захар смотрел на это с некоторым подозрением, но молчал), и они наконец-то остались одни.

— Направо, — сказал священник. — За багаж не беспокойтесь: нас столько веков грабили османы, что мы научились ценить чужую собственность.

— Что слышно о боях под Алексинацем? — спросил поручик. — Есть известия от Черняева?

— Белград предпочитает ничего не слышать, — с уловимой горечью сказал священник. — У нас очень сложное положение, господа: султан бросил против несчастной Сербии свои лучшие силы и даже части собственной гвардии. А мы заседаем и спорим, спорим и заседаем. И надеемся на чудо.

Министерство помещалось в ничем не примечательном одноэтажном здании, вход в которое был свободен для всех желающих. Здесь священник передал их приветливым чиновникам и распрощался; они быстро получили назначение в действующую армию, документы на оружие и подорожную.

— К сожалению, лошадей пока нет, — сказал улыбчивый сотрудник. — Полковник Медведовский формирует конную группу, все передано в его распоряжение. Завтра постараемся раздобыть вам транспорт и проводника.

— Не знаете, могу я рассчитывать на роту?

— Это в компетенции штаба Черняева. Мы всего лишь чиновники. Денщика я вписал в вашу подорожную, господин поручик.

— Благодарю. Значит, завтра мы можем надеяться...

— Максимум через два дня: все зависит от проводников. С фронта они сопровождают транспорты с ранеными, а отсюда — волонтеров и порох.

До вечера они успели побывать в цейхгаузе, где получили оружие, продукты и форменную одежду. Оружие Гавриилу не понравилось, но он предполагал раздобыть что-нибудь более современное у турок; Захар же с удовольствием нацепил тяжелую австрийскую саблю.

Багаж оказался в отведенном для них номере. Не успели они распаковать его, как раздался вежливый стук в дверь. Захар открыл: на пороге стоял коренастый немолодой мужчина с ленточкой неизвестного ордена в петлице сюртука.

— Здравствуйте, господа соотечественники! — по-русски сказал он. — Вы поручик Олексин? Помню. И тост ваш помню.

— Полковник Измайлов? — удивился Гавриил.

— Бывший полковник, бывший начальник штаба генерала Чер-

няева, бывший идеалист. Бывший, бывший, бывший,— со вздохом сказал посетитель.— Узнал, что прибыли очередные идеалисты, и позволил без приглашения.

— Очень рад,— сказал Олексин, несколько озадаченный картинной горечью, с которой Измайлов вошел в номер.— Это мой денщик.

— Все волонтеры имеют одинаковые права.— Полковник несколько демонстративно подал руку Захару и со вздохом опустился на стул.— Права на первое приветствие и права на последнее прощание. Однако все же это я злоупотребляю. Давно ли из любимого отечества?

— Вторая неделя.

— И что же там у нас?

— Солнышко то же, а дождик разный,— сказал Захар.

— Остроумно, остроумно.— Измайлов вежливо изобразил улыбку.— И все же?

— А что вас, собственно, интересует? — спросил Олексин.— Ведь что-то же наверное интересует, не погода же в Москве, не так ли?

— Интересует? — Полковник помолчал.— Все меня интересует там и ничего здесь, поручик. Желая не дожить до такой односторонней любознательности. Шумели много, куда как излишне шумели. Победы, лавры, литагры... Не то вывозим из отечества нашего любезного! — вдруг резко и громко сказал гость.— Не то, не то и не то! Шумиху вывозим, показливость свою трижды клятую вывозим, идеи и восторги — массово, массово, поручик! А служение идее — где? Где, господа, безропотное, каждодневное, трепетное служение оставляем? В Будапеште, в Вене, на таможах?

— Следует ли понимать, что вы недовольны русскими волонтерами, полковник?

— Доволен: мрут героически. С энтузиазмом подставляют свой русский лоб всякой турецкой пуле. Вперед, ура, в штыки их, ребята! — это все так, без претензий, как и положено русскому человеку, когда он решился. Когда русский человек решился, его ничто не остановит. Ничто, поручик, знаю, видел, верю! Но кто решился-то? Кто, я вас спрашиваю?

— И кто же?

— Ваш брат — обер-офицер. Его брат — рядовые и унтеры. Молодежь решилась: военная, купеческая, студенческая, крестьянская — всякая. А штаб-офицерство решилось? Решилось оно умереть за идею здесь, на чужих полях, за чужой народ? Нет, поручик, оно не просто не решилось: оно решилось не умирать за эту идею. Оно решилось лавры пожинать, славу черпать и — других гнать умирать. Прибывают сотни людсь, тысячи! Думаете, одни русские? Нет-с — болгары, румыны, чехи, поляки, итальянцы, немцы, американцы даже! Все жаждают боя, все горят отвагой, все — молодо и искренне, молодо и искренне, поручик! — хотят помочь несчастной Сербии, хотят, если надо, оплатить своей кровью цену ее свободы. Но воевать-то, воевать-то они не умеют, господа! И сербы воевать не умеют — что же поделаешь, не приходилось. Армия создана, но армия неопытная, молодая, более склонная к прекрасным порывам, чем к терпеливому исполнению приказов. А против нее турецкий низам, вымуштрованные боевые части. Значит, штабу и командующему необходимо это иметь в соображении, именно это ставить в основу операций, будь то блистательное наступление или тяжкая оборона.

— Вы недовольны штабом или командующим?

— Штаб? — Полковник печально улыбнулся.— Штаба больше нет. Командующий пока есть, поскольку ему еще верят и Сербия и князь Милан, а штаба больше нет.

— С той поры, полковник, как вы перестали быть его начальником?

— Обойдемся без колкостей, поручик. Воевать за чужую победу нужно не только с чистыми руками, но и с чистым сердцем. Да, с чистым сердцем, поручик, я понял это и потому ушел с поста. А что касается штаба, то спросите у Монтеверде, где его бригады. Я готов держать беспроегрышное пари: он вам не ответит. Это же гверилья, это же Фигнеры с Давыдовыми, а не армия! Управление утрачено или почти утрачено...

— Зачем вы нам все это говорите, полковник? — спросил Олексин. — С какой целью вы обрушили на нас ушат холодной воды? Ведь должна же быть у вас какая-то цель, кроме обиженного брозжанья?

— Поручик, вы забываетесь! — Измайлов медленно багровел. — Я, кажется, не давал повода. Да! Я имею заслуги! Этот Таковский крест, — он ткнул пальцем в ленточку в петличке, — этот орден я получил одним из первых из рук князя Милана!

— Я не сомневаюсь в ваших заслугах, господин полковник. Я лишь спросил о цели вашего визита.

— А цель вашего приезда в Сербию? — Полковник встал, прошелся по номеру. — Боже вас упаси от изложения славянофильских идей, поручик, боже вас упаси: у меня уже болят уши. Мне жаль вас, юных идеалистов, цвет России: вами играют. Играют на вашем энтузиазме, на вашей молодости, на вашей отваге. Знайте же об этом, ибо ничего нет горше разочарования. Ничего нет горше!

Он пошел к выходу, но в дверях остановился, хотя никто не оставивал его. Потеребил шляпу, словно не решаясь, стоит ли говорить то, что хотелось. И — решился.

— Вы услышите много разговоров обо мне, поручик. Не торопитесь с выводами, пока не поговорите с генералом Черняевым.

— Вряд ли он примет меня.

— Добейтесь, это в ваших интересах. И если зайдет разговор обо мне... Впрочем, не надо.

— Нет, отчего же, полковник. Все может быть.

— Скажите ему, что я жду его письма. Здесь, в Белграде.

Измайлов поклонился и вышел. Захар усмехнулся:

— Обижен барин. А говорил красно.

Гавриилу больше не хотелось ни говорить, ни слушать. Он устал плыть на вонючем буксире, где негде было даже присесть по-людски. А в ресторане, шум которого проникал в номер, наверняка начались бы утомительные и пустые разговоры: он послал туда Захара, велел раздобыть ужин и отбиться от визитеров. Захар пропададал долго: поручик уже начал терять терпение. Наконец ввалился с корзинкой:

— Ваша правда, Гаврила Иванович, народу — тьмища! И эти из газет, тоже. Окружили меня: ла-ла-ла! ла-ла-ла! Ну, я им сразу: по-вашему, мол, ни бум-бум, а барин отдыхает и беспокоить не велел. И сам на кухню, там нагрузили. Сейчас перекусим...

Перекусить не удалось: в дверь опять постучали.

— Гони всех, — раздраженно сказал поручик.

— Спит барин, — сказал Захар, чуть приоткрыв дверь. — Не велено...

Его молча и весьма бесцеремонно оттеснили, и в комнату скользнул господин в американском клетчатом пиджаке и в мягкой, сбитой на затылок шляпе.

— Тысяча извинений, господа, тысяча извинений! — еще с порога прокричал он по-французски, быстрыми глазами вмиг обшарив номер. — Французская пресса, господа, а с прессой кто же станет ссориться, не правда ли? Пресса — всеильная богиня нашего времени...

— Я не принимаю,— сухо сказал Гавриил.
 — И не надо!— весело отозвался француз.— К чему церемонии? Три вопроса на ходу для парижской публики, всего-навсего три вопроса.

— Ровно три,— сказал Олексин.— Итак, первый.

— Итак, первый!— Корреспондент достал блокнот.— Ваше имя и звание?

— Русский офицер. Этого достаточно для Франции.

— Допустим. Что же заставило вас, русского офицера, оставить родину и приехать сюда, в Сербию?

— Зов братского народа.

— Прекрасный ответ! Вы стремились на этот зов, преодолевая многочисленные препятствия, как случайные, так и не случайные. Мы знаем, что вы были не один, что с вами вместе на этот зов стремились и наши соотечественники-французы. Это чрезвычайно благородный порыв, а Франция как никто ценит благородство. И вы, конечно, понимаете, как интересно французской читающей публике будет узнать о своих согражданах, обнаживших шпагу против османского ига. Кто же они, ваши французские друзья? Нам бы очень хотелось узнать их имена, намерения, планы...

Французы расстались с Олексиным, едва сойдя с парохода и избежав шумной встречи белградцев. Гавриил сразу вспомнил и об этом и о том, как они боялись слежки еще там, в Будапеште, как стремились уехать любым путем. Они доверились только ему, и кто бы ни были эти французы, он не имел права предавать их доверие.

— Вы ошибаетесь, сударь,— сказал он.— Я прибыл в Белград со своим денщиком и не имею ни малейшего понятия о ваших соотечественниках.

— Однако вместе с вами с буксира сошли...

— Это четвертый вопрос, господин корреспондент, а мы договорились о трех.

— Но позвольте маленькое уточнение!— Визитер в американском пиджаке вдруг засуетился, забыв про улыбки.— Матрос буксира утверждает...

— Честь имею,— перебил Гавриил, встав.— Прощайте, сударь, наш разговор окончен.

Корреспондент потоптался, спрятал блокнот и вышел, забыв поклониться. Захар закрыл дверь, накинул крючок.

— Что он спрашивал?

— Он интересовался французами,— сказал поручик.— Ты нигде не болтал о них?

— Да что вы, Гаврила Иванович! Я ведь понимаю.

— Ну и прекрасно,— сказал Гавриил, садясь к столу.— А этого клетчатого господина никогда и ни под каким видом не пускай ко мне. Он слишком любопытен. Садись к столу, вдвоем ведь, можно без церемоний...

Беневоленский больше в Высоком не появлялся. Варя старательно не замечала его отсутствия, была равна и даже весела, но самолюбие ее было уязвлено. Ею пренебрегали явно и демонстративно, и это колело больнее, чем само отсутствие Аверьяна Леонидовича.

Тетушка уехала, забрав с собою Ивана и младших, в Высоком остались только Федор и Варя. Яблоки звучно падали в саду, было тепло, тихо и грустно, но грусть была легкой и приятной. Правда, она мешала с прежним рвением заниматься хозяйством, но после разговора

с тетей Варя как-то охладела к хозяйству, все чаще поручая дела приказчику — мужику немолодому, серьезному и работающему. Возилась в саду, много читала, а с Федором почти не разговаривала: он целыми днями безвылазно сидел в своей комнате, обложившись книгами. То ли готовился в университет, то ли выработывал очередную сверхновую идею. Встречались в столовой за обедом да за ужином, даже завтракали отдельно.

От Дурасовых неожиданно прискакал нарочный с запиской: Елизавета Антоновна приболела, очень скучала, просила не забывать. Записка никому не адресовалась, Варя прочитала ее, подумала и за обедом показала Федору.

— Надо бы съездить, Федя.

Федор прочитал записку, вздыхал и ничего не ответил.

— Я понимаю, как тебе не хочется,— продолжала Варя.— Может быть, вместе с Беневоленским прокатитесь? Кстати, он что-то совсем пропал, не заболел ли тоже? Ты бы навестил и записку бы показал: хороший предлог для визита.

Федору очень не хотелось куда-то ходить, он обленился за лето. Но Варя настояла, и пришлось, вздыхая, оставить привычный диван.

— Здоров как бык,— сказал Беневоленский, когда Федор, появившись, справился о здоровье.— Хотите водки? Нормальная российская сивуха вкупе с малосольным огурцом обладает сказочной способностью приземлять мысли витийствующей интеллигенции.

Он достал почтовую бутылку, налил в стакан, придвинул миску с огурцами и сел напротив.

— Отчего ж куда-то не поехали?

— Не знаю,— сказал Федор.— Я отвык учиться. Право, отвык.

— А к лени привыкли быстро,— усмехнулся хозяин.— Хотите совет? Поезжайте к этой дамочке. Она мается томлением духа и тела: авось желания появятся.

Федор хлебнул из стакана, сморщился, полез за огурцом. Аверьян Леонидович насмешливо следил за его вялыми движениями.

— В вашей семье жизнеспособна только женская линия, Олексин, замечаете? Это первый признак угасания рода.

— При чем тут угасание? — вздохнул Федор.— Просто все: мать у меня крестьянка. Вы ничего не знаете, Беневоленский, а беретесь судить, это нехорошо и на вас не похоже.

— Чего же я не знаю?

— Ничего,— упрямо повторил Федор.— Вот напьюсь сейчас и все вам расскажу.

— Ну так напивайтесь поскорее.

— Вы спешите?

— Очень,— сказал Аверьян Леонидович.— Я уезжаю.

— Куда?

— В отличие от вас — учиться. Надо закончить в университете.

— А зачем?

— Ну хотя бы затем, чтобы зарабатывать на хлеб насущный. У меня нет имения, Олексин. Ни имения, ни состояния — только руки да голова.

— Вы лжете, Беневоленский, да, да, лжете. Вы не из тех, кто будет делать что-либо ради своей выгоды. Это пошло, ужас как пошло — делать что-либо ради своей выгоды. Ради идеи — да! Это прекрасно, это возвышенно и благородно. А ради выгоды... Нет, вы идейный. Вы скрываете от меня, потому что идея ваша... — Федор вдруг выпучил глаза и весь подался вперед, — казнить государя!

— Бог мой, какой бред посещает иногда вашу бедную голову, — усмехнулся Аверьян Леонидович. — И все от безделья. Бредни — от

безделья, идейки — от безделья, даже разговор этот — тоже от безделья. Ох ты, милое ты мое русское безделье! Есть ли что в мире добродушнее, безвреднее и... бесполезнее тебя!

— Вот, — обиженно отметил Олексин и снова хлебнул. — Опять вы насмешничаете.

— Нет, друг мой, на сей раз я не насмешничаю, — вздохнул Беневоленский. — На сей раз предмет слишком дорог, чтобы обращать его в шутку. Дорог не для меня — дорог для отечества нашего в самом вульгарном экономическом смысле. Миллионы золотых рублей летят на воздух ежедневно и ежечасно, летят опять-таки в прямом смысле, лишь сотрясая его, но не производя никакой полезной работы. Когда же вы опомнитесь, добрые, милые, безвредные и — увы! — бесполезные господа соотечественники? Когда же вы наконец поймете, что идеи не сочиняют, а творят, творят на почве знаний, боли, тоски, неосуществленных порывов и, главное, труда. Адского труда, Олексин! А вы... Да вбили ли вы хоть один гвоздь в своей жизни, пропололи хоть одну грядку?

— Прополол, — кивнул Федор. — Маменька велела, я и прополол. Это был лук.

— Лук! — усмехнулся Аверьян Леонидович. — Проповедуете народу собственное представление о Евангелии, а что вы знаете о самом народе? Каков он, о чем думает, о чем мечтает, о чем говорит меж собой, подальше от барских ушей? О куске хлеба или о справедливости? О боге или уряднике? Если вы уж так стремитесь служить ему — а вы стремитесь, я верю, что стремитесь, — так сначала узнайте, какой службы он ждет от вас. Залезьте в его шкуру, пропотейте его потом, покормите его тюрей с квасом, а уж тогда и решайте, в каком именно качестве вы послужите и ему на пользу и себе в умиление.

— Но разве... Разве знания обязательно должны быть практическими? Разве нельзя постичь истину путем углубленного изучения?

— Для вас — нет, — отрезал Беневоленский. — Вы неспособны к углубленному изучению, а посему изучайте с натуры. Впрочем, можете и не изучать: натура от этого не пострадает. Что вы смотрите на меня как на чудотворную? Я лишь предполагал, только и всего. Решать все равно придется вам... Если сможете.

— Если смогу, — задумчиво повторил Федор. — Странно, ах, как все странно переплетается в жизни! Вася тоже говорил о неоплатном долге перед народом, о служении истине и справедливости. И вот вы теперь...

— Я ничего этого не говорил, — резко перебил Аверьян Леонидович. — Ваш братец Василий Иванович, знаком с ним по Швейцарии, — восторженный адепт Лаврова, такой же говорун и идеалист. Нет, не просвещение народа должно предшествовать революции, а революция — просвещению, господа Лавровы! Не долг перед народом, а обязанность действовать во имя и во спасение этого народа — вот реализм русской действительности, если желаете знать правду. Понять народ, полюбить народ и, если надо, погибнуть во имя его свободы и счастья — вот цель жизни. Самая благородная из всех целей, какие только ставило перед собой человечество!

— А это... это прекрасно! — воскликнул Федор. — Прекрасно то, что вы сказали! Позвольте поцеловать вас, милый Аверьян Леонидович. Позвольте. Вам — в дорогу, и это замечательно. Дорога — это замечательно!

С серьезнейшим, даже многозначительным видом он расцеловал хохотавшего в голос Беневоленского и вернулся домой, не поехав к больной Лизоньке. И не потому, что забыл о ней — он помнил и даже хотел поехать, — а потому, что не мог уже, не имел права откладывать

того, что решил вдруг, внезапно за голым холостяцким столом Аверьяна Леонидовича. А поскольку решение это нашло на него как озарение, он и воспринимал его как озарение свыше, как зов, не откликнуться на который уже не имел права.

Он ничего не стал рассказывать Варе, буркнул походя, что Беневоленский здоров, и ушел к себе. Варе долго не спалось в эту ночь, она слушала, как Федор бродит по дому, хотела даже встать и спросить, что это он бродит, но поленилась. А потом уснула.

К завтраку Федор не явился. С ним часто это случалось, и Варя не обратила внимания. Но когда он не вышел и к обеду, забеспокоилась, послала узнать.

— Федора Ивановича нету, — сказала горничная, воротясь. — Постель нетронутая.

Заволновавшись, Варя пошла сама. Осмотрела пустую комнату, нетронутую кровать, успела уж испугаться, но нашла записку:

«Я не утонул и не пропал: я ушел. Не ищите меня, а еще лучше — забудьте. Идеи нельзя сочинять — их надо выстрадать, и я готов страдать. Я хочу быть честным и нужным. И буду честным и нужным. А вас всех — целую. Будьте счастливы и простите своего брата-бездельника Федора.»

Варя три раза прочитала записку и, так ничего и не поняв, в бессилии и отчаянии опустилась на стул.

7

Длинная, запряженная отощавшей парой повозка уныло скрипела несмазанными осями. Возница, молодой серб, пел бесконечные песни, в терпеливом одиночестве трясясь на передке; остальные предпочитали идти пешком по пыльной обочине.

— Дегтю у них нет, что ли? — удивлялся Захар. — Бранко, долго еще пыль-то глотать?

— Гайд, гайд! — погонял приморенных коней Бранко, весело сверкая зубами.

— Турецкие кони, что ли?

— Добрые кони! Сербские кони!

Группа волонтеров — трое русских и молчаливый поляк — выехала на позиции с первой же оказией. Все произошло внезапно, второпях, и знакомиться пришлось уже в пути.

С русским — субтильным, болезненным до желтизны штабс-капитаном Истоминым — Гавриил был знаком: штабс-капитан служил адъютантом при московском генерал-губернаторе. Слабый физически, чрезвычайно интеллигентный Истомин еще в июне прибыл в Сербию, участвовал в победоносном черняевском наступлении, а теперь маялся иссушающей желудочной болезнью. В Москве у него оставалась жена, старуха мать и три девочки, но штабс-капитан сетовал не на судьбу и не на большой желудок, а на равнодушие штабов, несогласованность действий и запутанную многоступенчатость начальства.

— Слишком много указаний, Олексин, слишком много! Боюсь, что самолюбие отдельных господ погубит великую идею.

В идею всеславянского единения он верил истово и несокрушимо. Ни авантурный марш плохо подготовленной черняевской армии, ни последующий ее разгром, ни даже честолюбивые интриги многочисленного начальства, присосавшегося к народному восстанию и теперь торопливо выкраивающего выгоды для личного пользования, — ничто не могло поколебать тихого и мягкого штабс-капитана. За внешним обликом книжно-салонного дворянина скрывалась фанати-

ческая преданность однажды понятому и принятому на себя долгу.

— Прекрасный, достойный свободы народ, прекрасная, достойная счастья страна! О, если бы немножечко честности, немножечко искренности, немножечко долга, господа!

— Да сядьте же вы на телегу, Истомин. На вас лица нет.

— Нет, нет, ни в коем случае. Мои недуги — это мои несчастья, Олексин. И я желаю бороться с ними, а не выставлять их напоказ. Равенство трудностей рождает равенство усилий, поэтому никаких исключений ни для кого, кроме раненных на поле боя. Равенство трудностей: ах, если бы когда-нибудь эту простую истину поняли бы те, кто управляет энтузиазмом людей, поверивших в благородную идею! Ах, как это было бы прекрасно, Олексин, ибо нет боли мучительнее, чем разочарование. Пирогов сказал, что раны победителей заживают быстрее, чем раны побежденных. Знаете почему? Потому что их идея осуществилась, их труд не погиб втуне, и они не обманулись в вождях своих.

— Вы слушали Пирогова?

— Я много и бестолково учился, как большинство русских, — улыбнулся штабс-капитан. — Увы, если бы мы к тому же умели бы с пользой применять свои знания! Но нам этого не дано: мы эрудированные дилетанты, не более.

Кони шли неспешным ломовым шагом, не меняя скорости ни на спусках, ни на подъемах. В полдень волонтеры останавливались в придорожной корчме, часа через три трогались дальше, до следующей корчмы, где и ночевали в узких, как пеналы, номерах, заботливо сохранявших запахи всех предыдущих постояльцев.

— К концу кампании попадем, ей-богу, к концу, — ворчал Захар.

Гавриил и сам беспокоился, что они непременно куда-либо опоздают, но нетерпение скрывал: и бывалый — очень трудно было отнести это слово к утонченному штабс-капитану — Истомин и неоднократно продельвавший этот путь Бранко относились к лошадиной медлительности как к явлению естественному; явно тяготился путешествованием лишь высокий поляк.

— Прошу пана, но нельзя ли быстрее?

Русских при этом он сторонился: шел всегда рядом с Бранко, ел с ним за одним столом. Утром и вечером любил мыться до пояса: Бранко окатывал его холодной водой, поляк громко, радостно вскрикивал. Истомин пригляделся, сказал поручику:

— Обратите внимание на его шрам.

Шрам был на левой руке чуть ниже локтя. Недавний, еще багровый, узкий, будто от удара хлыстом.

— Сабля, и скорее всего казачья, — определил Олексин.

Вскоре их обогнала пароконная коляска. С грохотом пронеслась мимо: был уклон, лошади неслись вскачь. В клубах пыли Гавриил разглядел только широкую спину кучера, но Захар был внимательнее:

— Клетчатый ваш проехал. Ему, видно, лошадушек не пожалели.

В следующей корчме корреспондентской коляски не оказалось, но к вечеру они нагнали ее на постоялом дворе. Коляска стояла под навесом, лошади у коновязи, а широкоплечий кучер одиноко ужинал за столом: клетчатого господина в зале не было.

В этот низкий, полутемный зальчик Олексин вошел один: Захар устраивался в номере, попутчики отлучились по своим делам. Выбрав относительно чистый стол, поручик сел в расчете заказать ужин на троих. Но не успел: вошел поляк и, оглядевшись, направился к нему.

— Вас просят выйти до конюшни, — негромко по-русски сказал он.

— Кто просит?

Поляк отошел, разглядывая прокопченные стены и демонстративно не желая отвечать. Олексин недоуменно пожал плечами, но вышел.

Двор был пустынен. Поручик пересек его, вошел в темную конюшню. Здесь был Бранко: задавал корм лошадям. Гавриил хотел окликнуть его, но не успел.

— Здравствуйте, сударь.

Он оглянулся: у стены стоял Этьен.

— Не ожидали?

— Признаться, нет.— Гавриил пожал руку.— И очень рад, что нам по пути.

— По пути, но не вместе,— улыбнулся Этьен.— Маленькая неприятность и маленькая просьба, месье Олексин. Видели во дворе коляску?

— Кажется, на ней прикатил ваш соотечественник?

— Это не важно. Важно, чтобы эта коляска не выехала вслед за нами. А мы уйдем, как только стемнеет.

— Что вы предлагаете: пристрелить лошадей или, может быть, кучера?

— Зачем же столько ужасов? Насколько нам известно, кучер не дурак выпить. Угостите его с русской щедростью, и он не сможет держать вожжи.

— Извините, Этьен, но я офицер и попойки с ямщиками мне как-то не с руки.

— Дело идет о нашей жизни, сударь,— все так же улыбаясь, сказал Этьен.— В ваших руках возможность сохранить эти жизни. Для общего дела, сударь, для борьбы за свободу Сербии. Решайтесь, а мне пора исчезать: наш соотечественник любит внезапно появляться там, где его меньше всего хотят видеть.

Сказав это, француз тут же шмыгнул в густую тьму конюшни. Через мгновение во тьме еле слышно скрипнула дверь, и Олексин остался один.

Он вернулся в низкий зальчик, где добродушный толстый хозяин уже расставлял на столах глиняные миски с вареной кукурузой и кусками обжаренного мяса. Слутники были на месте, клетчатый не появлялся; кучер его в одиночестве приканчивал ужин и бутылку местного вина. Он безразлично глянул на Олексина и с удовольствием потянулся к кружке.

— Прошу извинить, господа,— сказал поручик, подходя.— Захар, тебе придется отужинать сегодня в другой компании.

Отозвав денщика, Олексин коротко проинструктировал его и снабдил деньгами.

— Чтобы из-за стола не вылез, понял?

— Вот это приказ! — заулыбался Захар.— Не извольте беспокоиться, ваше благородие, исполним в лучшем виде.

Гавриил сел ужинать, а Захар, равнодушно позевывая, направился к хозяину, от которого вышел с тремя бутылками ракии. Неторопливо, вперевалочку, будто не зная, куда приткнуться, поплутал по залу и решительно уселся за столик кучера, красноречиво стукнув бутылками.

— Решили дать денщику увольнение? — улыбнулся Истомин.— Очень демократично, Олексин. Только не рекомендую такое попустительство в зоне военных действий.

— Пусть гульнет в последний раз.

Ужинали неспешно и долго, развлекаясь разговорами и слабеньким местным вином. Поляк сидел отдельно и не столько слушал их

беседу, сколько поглядывал на дальний столик в углу. И иногда — с острым любопытством — на поручика.

Гавриил тоже посматривал на дальний столик: там крепчали голоса, явно не понимавшие друг друга, но звучащие вполне дружелюбно. Дважды туда направлялся хозяин: раз с огромной сковородой яичницы на сале, второй с двумя бутылками. Захар знал толк в застолье и приказ исполнял любовно и трепетно.

— Не напьется? — с брезгливой миной спросил штабс-капитан.

— Напьется, — улыбнулся поручик. — Непременно напьется, как скотина!

Олексина чрезвычайно забавляла и сама ситуация и полнокровный восторг Захара. Он знал Захара с детства и не сомневался, что все сойдет благополучно.

— Все же позволю себе удивиться вашим действиям, — непримиро ворчал Истомин. — Пьянство вообще гнусь великая и прищербная к тому же. И мне, признаться, странно наблюдать в офицере такое... ммм... безразличие к чести нации.

— Да перестаньте вы брюзжать, капитан. Моему Захару нужна бочка...

Он замолчал, потому что в зальчике появился клетчатый господин. Задержался в дверях, мгновенно окинул быстрыми глазками помещение, лишь на миг задержавшись на Гаврииле, и решительно направился к дальнему столику. Олексин уже привстал, еще не решив, что делать, но понимая, что клетчатого необходимо задержать, отвлечь, заговорить. Но его опередили.

Путь клетчатого лежал мимо дальнего конца их стола, за спиной поляка. Поляк тоже заметил корреспондента, тоже понял, куда он направляется, но сидел ближе к нему и действовать ему было удобнее. Не подавая виду, он повернулся спиной, а когда клетчатый почти поравнялся с ним, чуть отставил локоть. Это было сделано так вовремя, что корреспондент с ходу наткнулся на него.

— О, пардон!

— Сударь! — гневно сказал поляк, отряхивая капли вина. — Ваша неучтивость стоит мне ужина и одежды.

— Тысяча извинений...

— Даже из миллиона извинений мне не сшить новой рубашки, — громко перебил поляк и воинственно подкрутил усы. — Вам придется поискать другой способ, господин невежа.

Поляк напролом шел к глупейшему трактирному скандалу. Истомин болезненно сморщился:

— Вот ярчайший пример нашей славянской распущенности...

Он сделал попытку встать, но Гавриил удержал его:

— Мы русские офицеры, Истомин, нам не к лицу ввязываться в кабацкие ссоры.

— Не понимаю, чего вы требуете от меня, — горячился француз. — Я нанес вам материальный ущерб? Извольте, готов компенсировать.

Он вынул из кармана несколько монет, положил их на край стола, шагнул, но поляк схватил его за полу клетчатого пиджака.

— Сначала вы испачкали мое платье, а теперь пытаетесь замарать мою честь? Я не лакей, сударь, я волонтер.

— Но помилуйте... Господа! — вскричал встревоженный корреспондент, на сей раз узнавая Гавриила. — Господин Олексин, умоляю вас объяснить вашему спутнику...

— Нет уж позвольте! — гремел поляк, встав и по-прежнему удерживая клетчатого за лацкан пиджака. — Я готов был свести все к недоразумению, но теперь, когда мне швырнули деньги...

— Господа, стыдно! — болезненно морщась, взывал Истомин. — Господа, прекратите. Что подумают сербы?

Поляк грозно топорщил усы, кричал, но при этом часто взглядывал на Олексина. Гавриил догадался, глянул в дальний угол и увидел пустой, заставленный бутылками стол: Захар уже увел захмелевшего кучера подальше от господского скандала. Поручик улыбнулся и не очень умело подмигнул обидчивому шляхтичу.

— Черт с вами, согласен на мировую, — сразу перестав кричать, сказал поляк. — Ставьте две бутылки клико, и мы квиты. Эй, хозяин, тащи шампанское, Франция угощает доблестных волонтеров!

Пили долго. Поляк шутил, рассказывал анекдоты, провозглашал тосты. Штабс-капитан вскоре ушел, сославшись на недомогание, клетчатый нервничал, с трудом прикрываясь вежливостью. Однажды, не выдержав, воззвал к Олексину:

— Помогите мне уйти: у меня пропал кучер.

— А у меня денщик, — сказал поручик. — В России есть поговорка: рыбак рыбака видит издалека.

— Это замечательная поговорка! — развеселился поляк. — Вы уловили ее смысл, газетная душа?

Наконец он уgomонился и отпустил корреспондента. Проводил его насмешливым взглядом, повернулся к Олексину, вдруг по-серьезнев.

— Разрешите представиться: Збигнев Отвиновский. Жму вашу руку, поручик, с особым удовольствием: вы не из тех, кто вешал нас на фонарных столбах в шестьдесят третьем году.

— Вас вешали жандармы, — сказал Гавриил. — Следует ли из-за этого ненавидеть целый народ?

— Это сложный вопрос, поручик, — вздохнул Отвиновский. — Очень сложный вопрос, решать который приходится пока путем личных контактов. Судьбе угодно было свести нас в одном лагере, и я предлагаю вам дружбу. Но если она вновь разведет нас — не зыщите, Олексин. А сегодня мы с вами устроили неплохой спектакль!

Они еще раз крепко пожали друг другу руки и разошлись по номерам.

Захара не было. Гавриил постелил, осмотрел подозрительно серые простыни, повздыхал и лег. Голова приятно кружилась, и он с удовольствием перебирал весь сегодняшний вечер, странный и немного таинственный. Где-то копошилась мысль, что поступки его вряд ли были бы одобрены на родине, что поступает он вопреки официальному долгу, но по совести, и это раздвоение между долгом и совестью совсем не терзало его. Он был в чужой стране, считал себя свободным от служебных обязательств и хотел лишь поступать согласно внутренним законам чести. И выполнил сегодня основное требование этого закона: помог друзьям избежать полицейской слежки. И на душе у него было легко. С этим приятным чувством он задремал и проснулся от грохота: Захар, шепотом ругаясь, поднимался с пола.

— Хорошо, нечего сказать!

— Сами велели. — Язык у Захара заплетался, но соображения он не терял. — Так что разрешите доложить, приказ исполнил.

— А где кучер?

— В сене, — засмеялся Захар. — Я его так упрятал, что ни в жисть не найдут, пока сам не выползет! Вот ведь с виду бычина чистый, а жила у него слаба.

— Не опоил до смерти?

— Меру знаем, Гаврила Иванович, меру знаем и блюдем. — Захар, покачиваясь, стелил себе в углу. — Ежели еще будут такие же приятные ваши распоряжения, то мы рады стараться.

— Ладно, спи, поздно уже. И не храпи, сделай милость.

— Храп, он от бога,— резонно заметил Захар.— Накажет господь сном тяжким, так и захрапишь. Ты не спишь, Гаврила Иванович?

Захар обращался запросто в очень редких случаях. И сейчас непохоже было, что говорил совсем уж с пьяных глаз. Олексин помолчал немного и спросил:

— Ну что тебе?

— Мы в конюшне-то втроем пили: Бранко я поднес. Для разговору: он по-нашему маленько балакает, а с этой немчурой...

— Разве кучеру не серб?

— Немец,— решительно сказал Захар.— Или кто-то вроде. А Бранко свой брат, правда пьет мало. Он к вам просится, Бранко-то этот. Надоело, говорит, на извозе: туда целых, обратно калеченых.

— Как — ко мне? Куда — ко мне?

— Так вам же, поди, отряд под начало дадут? Вот он и просится: скажи, говорит, своему офицеру — это вам, значит,— что желаю про водником. Места, мол, хорошо знаю, вырос тут.

— Там видно будет,— сказал Гавриил.— Куда самих направят, тоже неизвестно. Спи.

— Сплю,— вздохнул Захар.— Вот мы и в Европе, значит. Чудно! А парень он, Бранко-то, хороший. Как есть славный парень, Гаврила Иванович... А закуска у них, прямо сказать, хреновая. Ни тебе соленого огурчика, ни тебе квашеной капусты. Может, поэтому и пить тут не умеют, а, Гаврила Иванович?..

С раннего утра клетчатый с заметно опухшей физиономией долго суетился, звал кучера, приставал к Захару.

— Знать не знаю, ведать не ведаю,— твердил Захар, хмурый с похмелья.— Пили вместе, а ночевали поврозь.

Выезжали, когда сыскался кучер. Вылез весь в сене, мыча что-то несурзное. Корреспондент кричал, бил его пухлым кулачком в гулкую спину — кучер ничего не соображал. Бранко весело хохотал, выводил коней из узких ворот.

Ехали, а точнее — брели за телегой уже вместе, поддерживая общий разговор. Правда, Отвиновский обращался только к Гавриилу, но делал это вполне корректно; штабс-капитан все еще расстраивался по поводу вчерашней гульбы и попрекал Олексина:

— Недопустимое легкомыслие, поручик, недопустимое!

Клетчатый догнал их только в обед, когда они уже сидели за столом. Подошел, сухо поклонился, сказал Гавриилу:

— Я ценю шутки, но в известных пределах. Ваш денщик вчера обокрал моего кучера. Его показания у меня: они будут представлены лично генералу Черняеву с соответствующими разъяснениями.

— Я не верю ни единому слову вашего кучера,— сказал Олексин.— А своего денщика знаю ровно столько, сколько живу на свете, и ручаюсь за него своей честью.

— Ваш денщик будет предан военно-полевому суду,— отрезал корреспондент и, не обедая, спешно выехал вперед.

— Я вас предупреждал! — шипел штабс-капитан.— Иностранные корреспонденты — большая сила при штабе.

— Чего клетчатый-то сказал? — допытывался Захар.

Гавриил не стал ничего объяснять, но настроение было испорчено.

— Не расстраивайтесь,— утешал Отвиновский.— Кто поверит в эту дикую чушь?

На вечернем постое они вновь встретились с клетчатым и его кучером: оба мелькнули в трактире, заказывая ужин в номер. Перекусив, быстро разошлись, а на рассвете Гавриил был разбужен испу-

ганным воплем хозяина. Накинув сюртук, торопливо сбежал вниз, в трактир, где уже звенели встревоженные голоса.

Корреспондент лежал поперек стола лицом вниз. Под левой лопаткой торчал складной нож, по клетчатому американскому пиджаку расплзлось большое темное пятно.

— Убийство! — кричал хозяин. — Угнали коней и коляску!

Ломая руки, он бестолково метался по трактиру, то выбегая во двор, где гомонили кучера, то возвращаясь.

— Убийство! Надо сообщить полиции!

В трактире были поляк и Захар, штабс-капитан еще не спускался. Они негромко переговаривались, Гавриил их не слушал. Он смотрел на нож: итальянец красноречиво играл им при первой встрече еще в Будапеште.

Хозяин снова выбежал во двор. Олексин огляделся и, еще ничего не обдумав, вырвал нож из тяжело вздрогнувшего тела, вытер его, сложил и сунул в карман.

— Ножа не было, — негромко по-русски сказал он. — Никакого ножа не было. Убийца унес нож с собой, понятно?

И вышел из трактира.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Почтенная Софья Гавриловна была женщиной не только рассудительной, но и упрямой, возмещаая последним качеством свойственную ей мягкость и покладистость. Еще покойный муж, для которого ничего не существовало, кроме пушек, предпочитал не связываться с ней, когда дело доходило до решений, однажды ею принятых; впрочем, кардинальные решения принимались Софьей Гавриловной не часто, а во всех прочих случаях она вовремя сдавала позиции.

Однако решение вмешаться в жизнь полусирот племянников и племянниц было не просто решением для Софьи Гавриловны: это была ее миссия, ее жизненное предназначение, долг, выше которого уже не существовало ничего. Достаточно хорошо зная брата, она не тешила себя победой, но уповала если не на собственное красноречие, то на обстоятельства, чувство долга и остатки разума закосневшего в эгоистическом одиночестве упрямого и своевольного старика. Проявив не свойственную ни ее характеру, ни возрасту, ни привычкам распорядительность, Софья Гавриловна тут же выехала в Москву для очень неприятного — она не сомневалась, — но, увы, необходимого разговора.

— Барин никого не принимает, — глупо улыбаясь, сказал мордатый молодой лакей.

Софья Гавриловна молча ткнула его зонтиком в живот и, не глядя сбросив накидку, пошла прямехонько в стариковский кабинет.

— Не принимает, сказано! — в отчаянии закричал мордатый, не зная, поднимать ли накидку или хватать старую барыню за платье. — Сказано ведь, сказано! Куда вы?

Он все же догнал ее и попытался не пустить в следующие двери, но почтенная дама еще раз прибегла к помощи опасно острого зонтика и, сломив сопротивление, победно прошествовала дальше.

— Дядя Игнат! — в отчаянии завопил лакей.

Из боковых дверей сановито выдвинулся Игнат, второй человек дома, хранитель господских тайн и особо доверенное лицо. Важно повернул голову:

— Чего орешь, бестолочь? — И вдруг изогнулся, заулыбался, за-

спешил.— Софья Гавриловна? Как же так-с — без депеши, без оповещения? И не встретил я вас как должно...

— Здравствуй, Игнат,— сказала тетушка.— А этого,— она ткнула зонтиком,— этого убрать с глаз моих навсегда. Если встречу...

— Да не встретите, не встретите,— заверил Игнат.— Ступай вон, Петр, в людскую ступай и не вылазь! Пожалуйте, Софья Гавриловна, пожалуйста! Уж как барин-то обрадуется, как обрадуется!

Восприняв победу над лакеем как знамение, Софья Гавриловна вступила в кабинет в настроении радужном и боевом. Брат и впрямь очень обрадовался ей, по-стариковски нелепо засуетился, не смог скрыть радости и насупился вдруг, еще до начала разговора. А тетушка, увлекшись миссией и предстоящей победой, вовремя не заметила недовольного шевеления седых бровей и все говорила и говорила, упиваясь собственными неотразимыми аргументами.

— Фельдфебеля в Вольтеры желаете? — перебил Иван Гаврилович голосом, не обещавшим ничего доброго.— Это можно-с. Да-с. Только век, сударыня, век кончается, не изволили заметить? А смена века есть смена знамен. Знамен, сударыня, знамен! Дворянство уходит, уходит! Торговать начало, барышом заинтересовалось, а вы все как в лесу дремучем? Нет-с, нет-с! Меняйте гувернеров на философов в скюртучках-с. Меняйте — или сами придут, сами и уведут вашу паству. А я — ни в пастыри, ни в фельдфебели, ни в гувернеры!

Он паясничал, испугавшись ее слов, а особо тех выводов, что из них следовали. Он еще не нашел, чем отгородиться от опасности, и защищался, привычно ерничая.

— Иван, твой тон...

— За тон пардон, пардон за тон.

— Опять кривляешься, а зачем? Публики нет, даже собеседника нет: есть сестра. Не надо тратить на меня такие бесценные афоризмы: они нелегко тебе достались. Давай поговорим как два старых человека, на которых судьба возложила святые обязанности. Ты не отрицаешь обязанностей, надеюсь?

— Нет,— угрюмо буркнул старик.

— Прекрасно. А как ты их понимаешь? Неужели только как безотказное содержание? Не верю, Иван, не смею поверить! Ты, с таким пылом обличающий дворянство за его интерес к барышам,— кстати, а что делать, друг мой, что делать? Крепостных нет, оброку нет, деньги проедаются. Проедаются!.. Извини, отвлеклась. О чем бишь я?

Иван Гаврилович молчал, болезненно морщась. Он не торопился подсказать сестре утерянную нить разговора, он точно вел беседу с самим собой, упрямо не соглашаясь с какой-то мыслью и понимая в то же время, что не согласиться с нею нельзя, что мысль верная, хоть и неприятная для него.

— Я неуклюжий человек, Софи,— тихо сказал он, покачав головой.— Я прожил неуклюжую, какую-то с натугой сочиненную жизнь. И я очень боюсь, что кто-то из моих детей повторит ее. Вот чего я боюсь, Софи. Я дурной пример, а ведь пример. Пример! Аня...— Он чуть всхлипнул, но выпрямился и твердо повторил: — Аня воспитала их в слепом почтении перед никудышным отцом, а я далек, невозможно, немыслимо далек от них!

— Они прекрасные, послушные дети, Иван. Ты найдешь их вновь, да, да, я верю, я твердо верю, что найдешь и обретешь покой и счастье.

Софья Гавриловна была свято убеждена, что юные Олексины послушны. Да они и сами были убеждены в этом, пройдя полный курс мягкого домашнего воспитания, где все дозволялось, а если и не до-

зволюлось, то изгонялось, пряталось, убиралось с глаз, дабы не соблазняло и не смущало. И росли они в послушании безграничном, ибо границы послушания были вынесены из них самих, существуя отдельно, сами по себе, зримо, а потому и понятно. Никто не ставил им препон внутренних, никто не замыкал их души в тесные рамки правил и догм, никто не испытывал их послушания на примерах и опытах. Они росли, как растут крестьянские дети, с той лишь разницей, что их желания исполнялись. Росли свободными, ценили свою свободу и в границах этой свободы были идеально послушны, оставаясь всегда самими собой, чуждые какого бы то ни было притворства и желания пойти на компромисс.

Василий не чувствовал себя непослушным, уехав в Америку устраивать эксперимент с коммуной. Даже попав под надзор III отделения, он не нарушал ничего, что входило в рамки домашнего кодекса поведения. И оставивший армию Гавриил тоже имел все основания считать себя послушным. И сгинувший невесть куда Федор, и Варя, и Владимир, как раз в это время писавший рапорт с нижайшей просьбой направить его куда-либо, где

«я мог бы применить на деле свои знания и исполнить долг чести и верности отечеству нашему. Нижайше прошу о зачислении меня в какой-либо из кавказских или туркестанских полков, принимающих непосредственное участие в боевых действиях».

Он не просто мечтал поскорее стать взрослым. Он мечтал стать неотразимо взрослым, покрытым шрамами и орденами, поседевшим и грустно-усталым. Не ради карьеры, не ради славы, не ради благосклонности государя: ради горького права насладиться признанием некой замужней женщины, считавшей его мальчишкой. Насладиться ее мольбой, ее слезами, ее поздним раскаянием — и отвергнуть. Отвергнуть мучительно и гордо.

А послушание... Что ж, он служил послушно, был на отличном счету, и именно это служебное слепое послушание и помогло ему, не закончив курса, заручиться поддержкой начальства и подать рапорт. Через неделю он получил ответ. Юнкеру Владимиру Олексину предоставлялся годичный отпуск с назначением в Ставропольский полк. И юнкер был на седьмом небе...

И даже Маша, любимица Маша, примерная Маша сама передвигала рамки собственного послушания в зависимости от обстоятельств.

Прислуге было приказано никого не пускать в дом до приезда Софьи Гавриловны или хотя бы Вари. А Маше — и не принимать, и не отлучаться, а если случится ехать к портнихе или в магазин, то вместе с горничной: Софья Гавриловна умела воспитывать, только ставя барьеры.

Маша с легкостью исполняла все предписания, не ощущая никаких барьеров, поскольку не было нужды преодолевать их. Портнихе ее заботили мало, а за нотами было рукой подать: на Кирочной, в доме Благородного собрания. Она любила музыку, интересовалась новинками и частенько наведывалась на Кирочную, аккуратно, как и приказано было, прихватывая с собою Дуняшу. В магазинчике ее хорошо знали, и хозяин Семен Алексеевич Крестов спешил на встречу:

— Здравствуйте, Мария Ивановна, добро пожаловать. Есть, есть свеженькое: специально для вас переписчикам заказывал. Извольте видеть, Моцарт, Россини, господина Чайковского романсы.

Маша перебирала за стойкой ноты, когда позади слабо звякнул дверной колокольчик. Хозяин вопросительно подался вперед, но так ничего сказать и не успел: вошедший осторожно кашлянул.

— Вот я и нашел вас, Мария Ивановна.

Маша вспыхнула, сразу узнав этот голос. Не оглядываясь, еще ниже пригнулась к нотам, а Семен Алексеевич уже забежал лукавыми глазками, да и Дуняша, сидевшая на стуле у дверей, встала, решив, что пришла ее пора действовать. Но Беневоленского не смутили ни хозяйские взгляды, ни грозный облик горничной: он просто не замечал их. Подошел со шляпою в руке, остановился за плечом. Маша всем телом чувствовала, где он остановился.

— Ваши церберы в дом не пускают, но я правильно рассчитал, что за нотами вы непременно придете. Да оглянитесь же, право, оглянитесь, я вас не укушу.

Обратно они шли вместе, отправив вперед Дуняшу с нотами. Догадывая Дуняша уже перестала изображать неподкупную дуэнью, шепнув Машеньке на прощанье:

— Я-то ничего, барышня, я-то с понятием. Но коли Агафья вас увидит, ой, разговоров будет! Так что ступайте-ка лучше на Блонье, а как наговоритесь, так я и приду.

Днем в сквере почти никого не было, только дети ковырялись в песке под присмотром нянек. Маша и Аверьян Леонидович прошли к закрытому павильону и сели на скамью.

Несмотря на умение молчать и любовь к молчанию, Беневоленский говорил и говорил, пока они шли. Говорил что-то очень непоследовательное и необязательное, и Маша понимала, что говорит он не то, что хочет сказать, и не слушала, а ждала. Ждала чего-то очень важного, самого главного, самого заветного; она и села-то вся в ожидании, вся готовая — нет, не слушать! — готовая всем сердцем, всей душой воспринять то, ради чего искал ее Беневоленский, ради чего так глупо и мучительно она краснела в нотном магазине, ради чего шла сюда, преступая воздвигнутый тетушкой барьер послушания.

А он замолчал. Как сел рядом, так и замолчал, совершенно незнакомым ей и чуждым ему нервным жестом растирая руки.

— Мария Ивановна, Машенька, — начал он, но начал так робко, что сердце ее защемило вдруг от жалости к нему. — Я искал вас и, по счастью, нашел быстро, но, верьте мне, я бы прошел всю Россию, чтобы найти вас. Я не шучу, не смеюсь, я знаю, что слова мои избиты и затерты, но они искренни, Машенька, они идут от сердца, а сердце это бьется для вас. Знайте же это, знайте и помните: есть сердце, которое болит и радуется за вас. Я пришел, чтобы сказать вам об этом, сказать и уйти. Если потребуете, навсегда.

— Зачем же навсегда? — тихо-тихо спросила Маша, строго глядя перед собой и боясь шевельнуться.

— Машенька! — Он нашел ее руку; она не давала ее, прятала, но он все же нашел и прижал к губам. — Машенька, я люблю вас. Нет, нет, ничего не говорите! Я знаю, вы еще очень молоды, вам надо еще кончить ученье. А я буду ждать. Слышите, Машенька, я буду ждать вас всю жизнь!

— Молчите, — шепнула она, чуть сжав его руку. — Молчите же, а то я зареву сейчас.

Аверьян Леонидович поспешно закивал и замер, улыбаясь и глядя на нее счастливыми влажными глазами. Машенька чувствовала его взгляд и слышала его молчание, и ей было так хорошо, как не было еще никогда в жизни. То, что надеялась она услышать, было сказано, три заветных слова прозвучали, но не заглохли, не растаяли, не исчезли: отныне они хранились в самом надежном месте — в ее душе.

— Мы будем работать, — сказала она. — Вы слышите? Мы будем

работать, мы будем приносить пользу, мы сделаем счастливыми множество людей, ведь правда?

— Правда, Машенька. Святая правда!

— Я все же поступаю на Курсы. Ну зачем мне этот противный пансион? Там учат манерам, а не труду на благо народа. А я хочу труда. Я так хочу работать и...— Она запнулась, не зная, следует ли ей признаваться.— И страдать.

— Зачем же страдать, Машенька? Мы будем...

— Страдать во имя какой-нибудь идеи — это прекрасно!

— Да, да, это прекрасно,— тотчас же согласился он.— Я тоже закончу в университете и стану врачом. И мы уедем с вами далеко-далеко, где люди еще не знают, что такое лекарства, врачи, наука.

— Вы будете лечить их, а я учить детей! — с восторгом подхватила Маша.— Учить детей грамоте — это благородно, правда?

— Это прекрасно, Машенька! Это прекрасно!

По дальней аллее к ним неторопливо шла Дуняша.

— Я знаю, что у меня послушные и, главное, великодушные дети,— говорил за чаем Иван Гаврилович.— Да, да, великодушные, Софи! Великодушные, прекрасное и гордое русское великодушные они унаследовали от Ани. Не от меня, нет! Я мелочен, я эгоистичен, я обидчив и желчен. Да, да, я знаю, кто я есть. Знаю, знаю! Таким монстрам место в берлоге. Да-с! В норе, сестра, в норе-с!

— Иван, ты не прав.

— Нет-с, увольте! Не ставьте опытов на живых покойниках, не ставьте! Каждому свое, сударыня, каждому свое!

Софья Гавриловна больше не спорила. Она уже поняла, что старик не просто не хочет, а боится долгого и непосредственного общения с собственными детьми, боится ответственности, забот и хлопот, боится изменить привычный жизненный уклад. Убеждать его было бессмысленно и бестактно, и старая дама не без горького кокетства приняла твердое решение изменить свой собственный жизненный уклад, свою собственную налаженную жизнь и заменить в своем лице и мать и отца вдруг осиротевшим племянникам. Даже самыми послушными детьми необходимо руководить, в этом Софья Гавриловна была твердо убеждена.

2

Теперь скрипела не только их повозка: чем ближе подъезжали они к театру военных действий, тем все чаще встречались беженцы, потерянно бредущие за парой медлительных волов, раненые на фурах и пешком, стада, которые угоняли подальше от прожорливых войск, одинокие путники. Дорога ожила, но оживление это было оживлением кладбища: горе, слезы и смерть незримо и безгласно тащились им навстречу.

Теперь Бранко уже не вертелся на передке, тыча кнутом в посеы, деревья и дома, и не пел бесконечных песен. Сидел молча, нахохлившись. Изредка оглядываясь на бредущих позади волонтеров, горестно вздыхал:

— Турци!

Теперь шли втроем: штабс-капитан задержался на последнем ночлеге, решив дожидаться властей. Убийство он воспринял весьма серьезно и озабоченно: долго расспрашивал хозяина, кучеров, ходил, смотрел, что-то вымерял. Отвиновский понаблюдал за ним, а когда тронулись в путь, сказал Олексину:

— Не говорите капитану о ноже. Он не в меру любопытен.

— Почему вы так дурно думаете о всех русских? — вспыхнул Гавриил. — Ваша подозрительность оскорбительна, милостивый государь.

— Поступайте как знаете. — Поляк пожал плечами. — Это совет, Олексин. Всего-навсего. Но по мне уж коли что делать, так делать до конца.

Повозка их внезапно остановилась, они чуть не наткнулись на задок. Бранко, бросив вожжи, спрыгнул на землю:

— Милица! Милица, сестра!

Пара тощих волов лениво двигалась навстречу. На возу громоздились узлы, поломанная мебель, корзинка с гусиной, две неумело, кое-как разделанные свиные туши и две черненькие детские головки, торчащие как подсолнухи. Сбоку шла женщина в черном изорванном платье, с распущенными нечесаными волосами.

— Милица!

Увидев Бранко, женщина бросила хворостину, которой подгоняла волов, отшатнулась и закрыла лицо руками. Бранко обнимал ее, пытался оторвать эти руки, но женщина упорно сопротивлялась, громко крича:

— Куку мене, куку! Куку мене, Бранко!

Браз заплакали дети, заготала напуганная гусыня, и только волы равнодушно вздыхали, поводя проваленными боками. А женщина кричала, отбиваясь от Бранко, но он все же оторвал ее руки и теперь целовал мокрое от слез лицо.

— Видать, сеструху встретил, — вздохнул Захар. — Ах ты горе-то какое!

Порылся в мешке, что лежал на их повозке, достал три куска сахара, подумал, забрал весь кулек и пошел к детям. Говорил им что-то ласковое, гладил черные взлохмаченные волосы, совал сахар.

Бранко немного успокоил женщину, отвел на обочину, усадил рядом. Судорожно всхлипывая, она что-то быстро говорила ему, старательно отворачивая избитое, в затекших синяках лицо.

— Война, — вздохнул Отвиновский. — Не такой ее представляли, поручик?

— А вы какой представляли?

— А я не представлял, я знал, что она такая, — сквозь зубы сказал поляк.

Оставив женщину на обочине, Бранко поспешно вернулся к повозке. Рылся в передке, вытаскивая съестное, судорожно шарил по карманам.

— Сестра? — спросил Отвиновский.

— Брата жена, — сказал Бранко. — Нету брата, нету больше. Налетели, грабить начали. Он за жену вступился — повесили. А ее опозорили. Говорит, если бы не дети, руки бы на себя наложила. На глазах у детей насиловали, пока не натешились. Дом подожгли, скотину порезали. Куку мене, господине, куку мене!..

Рыдая, он бился головой о телегу. Отвиновский обнял его за плечи:

— Успокойся, друг. Тут ничем не поможешь.

Ссадив детей рядом на обочину, Захар переключивал вещи. Поладнее, по-мужски. Перевязывал веревками, крепил, подтягивал. Бранко ушел к Милице. Совал ей еду, деньги; она молча отводила его руку. Он рассердился, накричал. Тогда взяла, низко, до земли поклонилась.

— У вас есть деньги, Олексин?

Поляк уже вывернул карманы и теперь смотрел на Гавриила. Смотрел как-то с недоверием, почти зло. Поручик достал все, что у

него было, отдал Отвиновскому. Поляк прошел к обочине, чуть не насильно сунул женщине их волонтерское жалованье. Потом вернулся.

— Турки прорвались, что ли? — спросил Гавриил.

— То не турки, то башибузуки. Иррегулярный сброд, сволочь всякая.

Через час расстались. Женщина по-прежнему шла рядом с волами, шагала босыми, до крови сбитыми ногами по пыли, так ни разу и не оглянувшись. Скрип медленно замирал вдали, а навстречу тянулось новый обоз, шли другие волы, другие женщины, другие дети. И только тот же скрип словно стон висел над пыльными сербскими дорогами.

К полудню их нагнал штабс-капитан. Прискакал на сытой казенной паре с казенным — в форме — кучером.

— Спасибо властям, а то бы потерялись!

Пристроился позади повозки, пылил наравне со всеми. Когда поляк отошел, спросил негромко:

— Там все толковали о каком-то ноже. Вы не видели ножа, Олексин?

— Нет, — помедлив, сказал Гавриил; ему нелегко было солгать; нож лежал в кармане.

— Жаль, — вздохнул Истомин. — Это затруднит действия полиции.

— Разве у них есть полиция?

— Полиция всегда есть, — важно сказал Истомин. — Раз есть государство, есть и полиция. Да, весьма жаль, что вы ничего не заметили, — я говорю о ноже. Это ведь не простое убийство, Олексин, не простое! Это политическое убийство.

— Политическое?

— Убит агент французской тайной полиции, — понизив голос, сказал штабс-капитан. — Я знал, что он идет по хорошему следу, знал! И — такая неосторожность!

— Неосторожность?

— Дичь была опасной, поручик. Вы, конечно, слышали о Парижской коммуне? Остатки инсургентов разбрелись по Европе и, естественно, проникли сюда. Учтите это, поручик.

— Мне-то зачем учитывать?

— Вы мне симпатичны, Олексин, поэтому учтите. На будущее. Глупость только тогда является глупостью, когда совершается вторично.

— Я вас не понимаю, Истомин.

— Понимаете, поручик, не хитрите. Хитрость не ваша стихия.

Через сутки близость фронта стала еще заметнее. Беженцы почти исчезли, зато появилось множество сербских солдат — в одиночку и командами. У мостов и на перекрестках стояли часовые, в кустарниках виднелись палатки, всадники в форме то и дело проскакивали мимо с видом важным и озабоченным.

Переехали через охраняемый мост, и в зелени садов открылся Делиград. Над большим домом виднелся флаг Красного Креста.

— Вот и добрались, — сказал штабс-капитан. — Переночуете, а завтра представитесь начальству.

— Самому Черняеву? — спросил Гавриил.

— За Черняева не ручаюсь; и он и его начальник штаба полковник Комаров очень заняты. А Монтеверде примет вас непременно. Сворачивай к штабу, Бранко.

Они проехали по мощеной улице среди военного и полувоенного люда, арб, фургонов и свернули к белому одноэтажному зданию, ок-

руженному забором. У ворот стояли часовые-сербы, но Бранко крикнул им, и они тут же распахнули створки.

В большом дворе горели костры, на которых сербская охрана готовила ужин: чувствовался пряный запах паприкаша. У забора тянулись ряды палаток и шалашей, у коновязи фыркали расседланные лошади.

На веранде, окружавшей дом, стояли несколько молодых офицеров. Они без особого интереса глянули на въехавшую повозку, один из них с Таковским крестом на груди крикнул:

— Это вы, Истомин? Ну как ваша печень?

— У меня не печень, а желудок, — ворчливо поправил штабс-капитан. — Надеюсь, мой шатер не занят? — Не дожидаясь ответа, пояснил: — Это Мусин-Пушкин, ординарец Черняева. Олексин, вы переночуете у меня, а вас, господа, устроит Бранко. Завтра к семи утра прошу быть здесь.

Бранко поехал дальше, огибая дом, Отвиновский и Захар прошли следом, а Гавриил остался. Штабс-капитан кивнул, и они вместе подошли к офицерам, курившим на веранде.

— Господа, рекомендую нового товарища, — сказал Истомин. — Поручик Олексин.

Офицеры церемонно откланялись, Мусин-Пушкин — совсем еще юный, с легкомысленно-блудливыми глазами — спросил скорее из вежливости, чем из любопытства:

— Где желаете послужить угнетенному славянству, поручик? При штабе, при интендантстве, а может быть, при Красном Кресте? Со своей стороны рекомендую Красный Крест: есть очаровательные сестрички. С ними не соскучитесь, а сербки на меня нагоняют тоску. Нет, право же, господа, они говорят о несчастной родине даже в объятьях!

— Возможно, ваши объятья недостаточно крепки? — насмешливо спросил офицер с цыганской, черной и вольной бородой.

— Мысль о крепости объятий вас посещает после контузии? — осведомился Мусин-Пушкин. — Ничего, у некоторых, говорят, это проходит.

— Фи, Серж! — недовольно сказал штабс-капитан. — Это недозволенный прием.

— Беру назад, — тотчас же согласился ординарец. — Итак, Олексин, куда же прикажете вас пристроить?

— Благодарю, не утруждайтесь, — сухо сказал Гавриил. — Я пристроюсь в строй.

— Строй! — неприятно рассмеялся Мусин-Пушкин. — Это ведь не плац-парад на Марсовом поле, поручик.

— Представьте, я догадался об этом еще в Москве.

— Полагаю, что знакомство состоялось, — сказал Истомин. — Проводи меня к Черняеву, Серж.

— Не знаю, примет ли он...

— Не важничай, я знаю тебе цену. Я ненадолго оставляю вас, поручик.

Штабс-капитан и ординарец прошли в дом. Следом потянулись еще два офицера, и с Олексиным остался чернобородый.

— Кажется, здесь не очень-то радуются соотечественникам, — сказал Гавриил.

— Вы не узнаете меня, Олексин? Мы вместе учились в Корпусе. Я Совримович.

— Боже мой, Совримович! — Гавриил радостно сжал протянутую руку. — Во всем виновата ваша борода.

— Во всем виновата контузия: мне испортило лицо. Рад встрече, очень рад. Ужинали? Идемте в кафану: там неплохое вино.

— А Истомин?

— Истомин найдет вас даже тогда, когда вы этого не захотите.—

Они шли через двор к воротам.— Кстати, вы давно знакомы с ним?

— Немного по Москве и три дня здесь: вместе ехали из Белграда. Он лечил там желудок.

— Его желудок здоровее вашего,— вздохнул Совримович.— Он пытается лечить не свои язвы, Олексин. Впрочем, здесь все интересуются чужими болячками и тайком прописывают друг другу рецепты. Иногда сильнодействующие, как, например, Измайлову.

— Должен сказать, что он произвел на меня странное впечатление.

Они миновали ворота, пересекли дорогу и вошли в наспех сколоченное легкое помещение, где горел открытый очаг и стояло несколько столов. Сели в дальнем углу, молчаливый хозяин быстро подал глиняные кружки, кувшин с вином и пресный кукурузный хлеб.

— Измайлов стоял у истоков волонтерского Движения,— сказал Совримович, наливая вино.— А после первых неудач поспешно обвинен в некомпетентности и практически изгнан. Вы прибыли с рекомендательными письмами?

— Нет.

— С искренними приветями от великих князей, генерал-адъютантов или иных сильных мира сего?

— Господь с вами, Совримович, я сам по себе.

— Тогда ни Черняев, ни Комаров, ни даже Монтеверде вас не примут, Олексин. Вы получите назначение через меня или через того же болтуна Мусина и отбудете с глаз долой, освобождая место тем, кто придет не с пустыми руками,— усмехнулся Совримович.— Это грустно, дружище, очень грустно, но это так. Не подумайте, что я изменил свое отношение к Черняеву: это было бы отступничеством. Я по-прежнему считаю его личностью выдающейся, прекрасным организатором и отважным вождем. Но... но он настолько растерялся после турецкого афронта, что начал обеспечивать собственное почетное отступление прямехонько в Санкт-Петербурге. И безмерно возлюбил молодых людей, имеющих мощную руку в милом отечестве. Вся столичная шушера ринулась в его штаб за крестами и карьерой, и дельные работники были вынуждены потесниться, дабы очистить им безопасные местечки.

— А Истомин?

— О действительной службе Истомина можно только догадываться, Олексин. Он регулярно уезжает в Белград, жалуясь на желудок, но лечится не у врачей, а у полугласного русского представителя. О чем он с ним беседует, я не знаю, но советую не пускаться в откровенности.

— Я приехал сражаться, а не разговаривать.

— Эту возможность вам предоставят с радостью. Сербы — неплохие солдаты, дерутся отважно и стойко, но офицеров катастрофически не хватает. А может быть, и хватает, только штаб не подозревает об этом.

— Как — не подозревает? Разве не существует учета?

— Учет существует, управления не существует, Олексин. Практически штаб выпустил из рук всю кампанию, и партизанская система постепенно вытесняет планируемые операции. Где кавалерийский отряд Медведовского? Где-то ведет бои на свой страх и риск. Где корпус Хорватовича? Связь перерезана турками, и мы даже не зна-

ем, дошла ли до него недавно прибывшая русская батарея или захвачена противником.

Олексин молчал, подавленный новостями, что свалились на него вдруг, посыпавшись, как из дырявого мешка. Странное поведение полковника Измайлова он тогда приписал личным обидам бывшего начальника штаба, но Совримович говорил о том же, причем говорил не просто с болью, но и с чувством горького разочарования, которое уже ощущал, но еще боялся в него поверить, принять и признать за должное.

— Вы мне не верите, — усмехнулся Совримович, точно прочтя его мысли. — Я понимаю вас, Олексин. Боже правый, как я рвался сюда! Какие трубы пели в душе моей в тот день, когда я впервые вступил на эту землю! Это самонадеянно, я понимаю, самонадеянно и нескромно, но я ощущал себя спасителем несчастных братьев моих до крови и вере. Я с радостью готов был отдать свою жизнь за свободу и счастье всех людей, я...

— Теперь уж не отдадите? — неприязненно спросил Гавриил. — Поумнели или... постарели, может быть?

Совримович грустно улыбнулся, покивал головой. Налил вина, отхлебнул.

— Здесь все странно, Олексин. Здесь как в жизни, понимаете? То, что мы знали, это как в книгах, а здесь — как на самом деле.

— И что же на самом деле?

— Пожалуйста, не перебивайте меня. Я и сам еще ничего не понял, я просто увидел, сопоставил, почувствовал, но выводов у меня нет. Восстание готовилось скверно, точнее, вообще не готовилось, но пока мы наступали, сербскому мужику было что приобретать, и он шел вперед. А когда турки, подтянув армию, начали нас бить, тому же мужику нашлось что терять. У него есть что терять, и он призадумался. Он интуитивно, без всякой логики понял, что восстание обречено, что не только весь мир, но даже Россия не очень-то спешит к нему на выручку, вынужденная из политических соображений отделяться волонтерским энтузиазмом. И воевать ему расхотелось, Олексин, расхотелось. Он внутренне уже стремится к миру, он уже не хочет войны, и турки сразу это поняли. Вы не верите, но они вдруг стали относиться к сербам вполне добродушно, вплоть до того, что отпускают пленных по домам. Конечно, я говорю о регулярной армии: башибузуки грабят, убивают и насилюют, пользуясь беззаконием, но это бандиты и мародеры и не о них речь. А политика турок очень продуманна, и это понятно: в тылу у них Болгария, пороховой погреб, уже взорвавшийся в апреле. И создается впечатление, что турки готовы уступить здесь, готовы поиграть в демократию, лишь бы только сохранить за собою Болгарию: слишком уж близко она от Константинополя...

— Так и думал, что вы здесь, — устало сказал Истомин, подходя. — Что, Совримович, как всегда, пугаете неофитов? Не скучно ли вам при штабе? О, простите, у вас же контузия, я запомнил. Я за вами, поручик. Завтра вас примет Монтеверде, а сегодня, пожалуй, пора и соснуть. Не возражаете, Совримович?

Совримович молча поклонился.

3

— Одежонка-то худа у тебя, барин. Худа-а. Задожжит-от, ступенно станет, так и помрешь. Ай, худа одежонка, худа-а...

Маленький, шустрый, розовый от седины старичок привычно раздувал костер, прилаживал котелок, аккуратно подгребал угли, отме-

ривал соль, осторожно, с ладони сыпал пшено в кипящую воду. Он непрерывно двигался, но не напрасно, не ради движения, а что-то делая при этом: готовя пищу, приглядывая за костром, подбирая сучья или штопая одежду. И беспрерывно говорил ровным тихим старческим тенорком.

— Вот ты, барин, от дома-от ушел, а зачем-почему — молчишь-от. А все свой корень имеет. Я, к примеру, чего ушел-от? А того я ушел, что смерть почувал. Да, да! Помирать да не оглядевшись — какая корысть? Не-ет, ты оглядись сперва-от: на страшном суде спросят, поди. Спросят, а? Мир-от божий видал, спросят? Или так и прожил, в землю уставясь? Да-а. Спросят-от, спросят! Вот я и ушел. От дочки ушел, от сына ушел, от внуков ушел: оглядываюсь. Шестой-от годок все оглядываюсь и оглядываюсь: хорош божий мир, барин! Ой хорош, ай пригож, ай помирать-от обидно, как хорош!

Федор лежал поодаль, смотрел на огонь, на закопченный котелок, в котором булькала похлебка, на крупные августовские звезды, что высыпали на еще светлеющее у горизонта небо. Слушал плавный говорок деда, звон кузнечиков в порыжевшей траве, мерный колокол далекого села и ни о чем не думал. Это было удивительное состояние покойного бездумья, когда все видишь и все слышишь так, как есть на самом деле, когда окружающий мир точно вливается в душу, и душа распаивается навстречу, принимая мир таким, каков он есть издревле, и сама сливается с ним. И уже нет ни тревог, ни забот, а есть лишь тихая умиротворенная грусть созерцания. От армяка, которым накрыл его дед, пахло пылью дорог, дымом и чуть, еле уловимо — избяной прелью, и это было тоже частью мира, жизнью, прошлым и будущим одновременно, как представлял себе сейчас мир, жизнь и будущее дворянский сын Федор Олексин.

Ему казалось, что он уже давным-давно бродит по бесконечным дорогам, ночует у костров, ест что придется, пьет что зачерпнет и слушает, слыша все и ничего не слушая. Вначале он пристал к мужикам-погорельцам, но они пропивали вечером то, что выклянчивали за день; горланили, дрались, скотски ругались, и он ушел. Бродил один, голодал, потому что не умел и не хотел просить, мерз ночами и почти не спал, пугаясь темноты и одиночества, а потом встретил шустрого румяного старичка Митяича.

— В Киев-от пойдем, барин? Святым угодникам печерским поклонимся. Сильные угодники в Киеве, богородица любит их.

Старик собирал в деревнях подаяние, чем они и кормились. Федору нравилось, как он собирал: он не кланчил, как погорельцы, а — рассказывал. Про угодников, которых сама богородица потчует чаем, про чудеса, про красоту земли, про птиц и зверей, про людей, которых встречал, и про истории с ними, которые складно выдумывал. Начинал он свои разговоры еще на улице, но под окнами никогда не брал, а лишь благодарил душевно и ждал, когда позовут в избу. А там ел что давали и брал про запас, щедро расплачиваясь бесконечными разговорами. А города обходил да и в деревнях богатых из сторонился.

— Мошна-от — забор меж людьми, барин. Туже мошна — выше забор. И нет на всем божьем свете щедрее бедного человека.

Федор жил нахлебником и тяготился этим: пожалуй, это было единственное, что омрачало его теперешнюю жизнь. Попробовал есть поменьше, отказываться, но долго не смог: он был очень молод и не готов к такому искусу. Тогда сказал, что хочет сам добывать пропитание, что готов работать, или рассказывать, или...

— От ума говоришь, барин, от ума, не от сердца-от, — улыбнул-

ся Митяич в реденькую — волосики на счет — бородку. — Значит, гордыня в тебе покуда живет, гордыня. Так ведь гордыню-от твою и услышат, коль рассказывать почнешь. Гордыню, а не душу твою. А за гордыню хлебушко не дают. Так-от, барин, так-от. А что меня объешь, не тужи. Не объешь-от, сам-от понимаешь. Хлебушком не поделиться — самый тяжелый грех, барин. За него на том свете в кипящий мед окунают: пей, жадная душа, сколько вместишь.

Встречались попутчики: богомольцы, страждущие узреть монастырского старца или приложиться к чудотворной; странники, гонимые то ли голодом, то ли страстью; бродяги без роду, без племени, идущие куда глаза глядят. Дед Митяич любил попутчиков, но бродячий люд льнул к найденным дорогам, к почтовым трактам, а старик предпочитал проселки, а то и просто тропочки, по которым брел от деревни к деревне, кружа и плутая, но чутьем выдерживая верное направление.

— Вот и напитались, вот и славно. — Митяич неторопливо, с толком перекрестился. — Сыт ли, барин?

— Сыт. Спасибо, дедушка.

— А не мне, не мне благодарствие. Царю небесному благодарствие, царице небесной — заступнице нашей да людям добрым. Так-от, барин, так-от. Бог в душе, так и добро в душе, а коль бог в церкви, так-от и добро на весах да в словесах. Сейчас чайку попьем: малинки сушеной девочка дала — дай ей бог деток хороших, — с малиной-от и попьем. Утробу грешную погреем...

— Свет да тепло, православные! — басом сказали из темноты.

— Милости прошу, милости прошу, — оживился старик. — Кого бог-от послал?

— Странников божьих. Здравствуйте, люди добрые!

В освещенный круг вступила корявая деревяшка и нога, обутая в огромный разлапистый сапог. Все это неторопливо опустилось на колени, и Федор увидел заросшего по брови дюжего мужика в порядке изношенной солдатской форме и армейском кепи с большим козырьком.

— Отставной фейерверкер ракетной батареи Киндерлинского отряда его превосходительства полковника Ломакина Антип Сомов, — представился косматый. — Ранен в деле при взятии Хивы, а со мною товарищ из чиновников Белоногов.

— Отставной губернский секретарь Белоногов Иван Фомич. — К костру мягко скользнула тщедушная фигурка в порыжелой крылатке. — Сбились с пути да, слава господу, на ваш огонек.

— Милости просим, милости просим, — ласково суетился Митяич. — Кипяточку-от, кипяточку не желаете ль? Есть и хлебушко, коли голодны, есть-от хлебушек да сольца.

— Благодарствуем, — басом сказал солдат. — Есть свой припас. А кипяточку выпьем. Выпьем кипяточку, Иван Фомич?

— Беспременно, Антип, беспременно. — Чиновник достал жестяные кружки и колотый сахар в тряпочке. — Угощайтесь. Куда путь держите?

— В Киев, — нехотя сказал Федор.

— Мать городов русских, — с уважением отметил Белоногов. — А сами кто будете? Ежели по обличию — студент?

— Студент.

— Ученость, значит. Из каких же сами-с? Из дворян, поди?

— Из дворян, — с неудовольствием сказал Федор. — Место ли здесь любопытствовать, сударь?

— Нет, позвольте, позвольте, такая редкость — благородный человек среди натуры дикой. Небывалость! Наблюдаете жизнь? Да, да, приятно-с, приятно-с. Весьма!

Чиновник Федору не понравился: был болтлив, привычно гибок, все время вытирал потные руки и восторгался. Солдат, усмехаясь, молча пил чай, громко, со вкусом круша сахар крепкими белыми зубами. Поймав взгляд, улыбнулся, сказал добродушно:

— Угощайся, барин. Не краденое.

— Спасибо, спасибо,— поспешно отказался Федор.— Мне, знаете, с малинкой.

— Простыл-от,— сокрушенно покачал головой Митяич.— Одежка худа больно.

После чая улеглись, с головой завернувшись в армяки и накидки: ночи были росные, хоть и теплые. Солдат сразу же захрапел, дед Митяич тоненько подсвистывал ему, а чиновник все жужжал и жужжал Федору в ухо:

— Истоцился я по образованности, милостивый государь мой. Да-с. Помилуйте-с, третий год уже среди сермяги и дегтя-с брожу, третий годок! Да-с, чиновник есмь, до двенадцатого класса дослужился, до чина губернского секретаря-с. Двадцать семь лет верой и правдой, верой и правдой, а пенсиона лишен-с. Уволен несправедливо и обидно для седин своих, выброшен-с, выброшен-с, ваше благородие.

— Оставьте звать меня благородием,— глухо вздохнул Федор под армяком.

— Как можно-с, как можно-с, мы понимаем! Да-с, чиновник, крапивное семя. Ни состояния, ни мастерства. Конечно, гордый человек в чиновники не пойдет, потому как полный произвол, полный произвол-с! Гибчайшую спину надо иметь, чтоб удержаться, гибчайшую-с. Потому, извольте ли видеть, что одно жалованье. Лижи руку дающую, лижи, даже если бьет она. Собачья жизнь-с, собачья, ваше благородие.

— Да оставьте...

— Нет, как можно-с, как можно-с. Вот среди подлого народа вынужден коротать дни своей старости. Не потрафил, да, не потрафил-с своевременно кому следует-с — и выброшен, аки пес, рык растерявший. Но я горд, горд, я благородный человек, подаяния от подлейших сих не прошу. Я, извольте ли видеть, слог имею и почерк. Тем и кормлю брэнность свою.

Федор вертелся под армяком, затыкал уши: гнусавое жужжанье доводило до отчаяния. Чиновник то жаловался на судьбу, то ругал мужиков, снова жаловался и снова ругал, и Федор уснул под это нытье с головной болью. А проснулся от мощного веселого рева:

— Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед!

Инвалид трубил в кулак воинские сигналы, хохотал, бодро прыгал на дровяшке, собирая хворост. Он был жизнелюбив и громогласен, жил в полной гармонии со всем миром, принимая каждый день радостно и буйно.

— Сиди, дед, грей косточки, а я попрыгаю. Ух ты, солнышко мое, здорово! Батарейя, по порядку р-рассчитайсь!

Чиновник куксился, кутаясь в древнюю крылатку, кряхтел, кашлял, жаловался:

— Прежде-то, извольте ли видеть, кофей по утрам пил.

— Лик сполосни, господин Белоногов, да солнцу возрадуйся! — гремел солдат.— Фейерверкеры, не зевать! Наводи по лаве, к огню готовсь!..

— Ай веселого человека бог послал,— радовался Митяич.— Ай славно-от, ай хорошо!

В полдень вышли к большому селу: Солдат остановился, оправил потрепанную форму, подтянул ремень, вынул из-за пазухи завернутый в тряпицу солдатский Георгиевский крест и важно приколол его к груди.

— Мы, господа хорошие, милостыню не собираем,— сказал он, пытаясь пятерней расчесать свалывшуюся бороду.— Я мужикам о сражениях рассказываю, а Белоногов письма да прошения пишет. Потому вчетвером нам не с руки: поодиночке надо. А опосля тут соберемся.

— Добро,— сказал Митяич.

— Вы, барин, может, со мной желаете? — спросил солдат.

— А не помешаю?

— Никоим разом, барин.

Федор с удовольствием пошел с инвалидом. Он нравился ему звонкой веселостью, да и назидательные легенды старика уже приелись: Митяич часто повторялся, путал, и Федора все время подмывало поправить его. Кроме того, было любопытно, что рассказывает солдат о лихих схватках с далекими хивинцами.

Слушателей нашли они на удивление быстро: солдат постоял у колодца, попил водицы, пошутил с молодками, выяснил, у кого сын на действительной, и ходко захромал в указанные избы. Заходил, кланялся, желал здоровья, расспрашивал о сыне-солдате, отказывался от угощения и шел дальше. За ним уже хвостом тянулись ребятишки, а он ходил из избы в избу, намекал, что готов рассказывать, а сам приглядывался, выбирая не только дом, но и хозяев, учитывая не только зажиточность, но и интерес, с которым встречали его. Он искал и театр и публику, сам создавая себе рекламу намеками и обещаниями. А когда нашел что искал, когда уселся прочно в красном углу — во всех окнах торчали любопытные лица и то и дело хлопала дверь, пропуская все новых и новых слушателей.

— Потерял я свою ноженьку при кровавом штурме города Хивы,— неторопливо и словно бы нехотя начал фейерверкер, сворачивая сигарку из хозяйской махорки.— А город этот есть столица самого Хивинского ханства, и стоит он посреди страшной пустыни, где, окромя песков да русских косточек, и нет ничего.

Слушали его, затаив дыхание и раскрыв рот. Цикали на опоздавших, и те, сняв шапку, молча крестились на образа и усаживались на лавках, а то и просто на полу.

— Вышли мы в поход на Василия Капельника, а жара стояла, как в русской печи. А на тебе амуниция полная, патронов сорок штук, сухарей на три дня, ружье да тесак, котелок да скатка, да еще верблюда ведешь: вода на нем в турсуках приторочена. А песок под ногами осыпается, ровно назад тащит: шаг шагнешь и другой шагнешь — ан только песок месить, а сам где стоял, там и стоишь. Пушки по оси вязнут, ни кони, ни верблюды не берут. «А ну, ребяташки, навались! Раздва, взяли!..» — скомандует офицер, и сам с коня долой, и сам за колесо хватается, потому как надобно вытащить, а солдатешек мало. Облепим пушечку—ну, милая, ну, соколики, ну разом, ребяташки!.. Аршин протащим и в песок падаем: мочи нет. Пот глаза ест, рубахи — хоть выжми, а во рту ровно засуха, и язык что лист сухой, аж шуршит, когда говоришь. А пить нельзя, упаси бог глоточек сделать по жаре: враз фельдфебель кулаком по роже, а то и казак какой с седла нагайкой огреет, да с потягом, да со злостью: самому-то пить тоже не велено, тоже мается сердешный.

— Пить-то неужто не давали? — поразилась какая-то молодка.— За что же муки-то такие, господи!

На нее было зашикали, но бравый фейерверкер милостиво улыбнулся.

— Пить вечером да утром, да и не досыта, а по кружечке. Воды нету там, и дождей не бывает ни капли. А колодец от колодца — день пути, а то и два дня. Двадцать седьмого да двадцать восьмого апреля воды и капелечки не было, и как уж мы до колодца Коль-Кинир добрали, бог один знает. Ползли уж, а не шли, ползли, а пушки ползком тянули. Верблюды полегли, лошади подкосились, а мы, солдатушки, ползком пушечки свои да батарейку ракетную волоком. Приползли, а туркмены колодезь тот падалью забили. Ну, думаем, вот она, смертынька наша, посреди пустыни, знать, нашла нас!

Солдат замолчал, сосредоточенно скручивая сигарку. Среди слушателей шорохом пронесся вздох, бабы утирали глаза кончиками платков, мужики нахмурились. Федор слушал рассказчика и следил за аудиторией с живейшим интересом: здесь не было равнодушных, здесь близко к сердцу принимали чужую боль и чужие страдания, хотя и эта боль и эти страдания были бог весть когда и бог весть где. Он почему-то вдруг вспомнил свое последнее свидание с Беневоленским, но вспомнил походя, весь в ожидании, когда солдат продолжит свой рассказ.

— Спасибо, офицеров нам бог послал и сердешных и боевых, — продолжал Антип. — В походе вровень с нами страдали, вровень с нами орудия волокли, вровень пили и ели, да не вровень отчаивались. Был у нас полковник Скобелев Михаил Дмитриевич — молодой, собой что богатырь: косая сажень. Ус аржаной, а глаза синие-синие и веселые — ну Бова-королевич, да и только! Не верю, говорит, что помирать нам здесь, ребята! Не верю, что воды нет, быть того не может. Лежите, говорит, здесь, отдохайте, а я пойду колодцы искать. Либо всех спасу, либо сам в пустыне погибну, не поминайте лихом, братцы! Взял он с собой десяток казаков да проводника-киргиза — хороший был товарищ, хоть и басурман, — и в пески ушел. Лежим мы на песке вповалку, кто где упал, усталь такая, что косточка косточке слезно жалуется, и сил нет, чтоб шинелью укрыться. Стволы ружейные да орудийные лижем: роса на них мелкая, как пыль. Лижем, значит, и смерти ждем. А полковник Ломакин, командир наш, ходит середь нас и говорит. Ничего, говорит, ребяташки, русские никогда не сдавались. Быть, говорит, того не может, чтоб Михаил Скобелев слова своего не сдержал.

Как-то незаметно, будто сам собой появился перед инвалидом полуштоф и кружка, миска с огурцами и ломти свежего хлеба. Но он не замечал ничего, не меньше слушателей увлеченный собственным рассказом.

— Двое суток лежмя лежали мы в песках. И кони наши легли, и верблюды уж не ревели, и только вороны кружили, скорую поживу ожидая. Ан не допустил господь солдатской гибели. Прискакал киргиз-переводчик: есть вода, говорит, много воды. Полковник Скобелев с казаками у колодца от туркмен-иомудов отстреливаются. «Сдавайся!» — кричат ему. «Убирайтесь к черту, — отвечает он, — мне солдат своих напоить надо». Скачите за мной на помощь да турсуки для воды берите! И откуда силы взялись: как один все встали. Казаки коней подняли, трубач тревогу заиграл: вперед, молодцы! На выручку!

Голос солдата прервался. Он смахнул слезу, прикурил от услужливо протянутой лучины. Ему было водку пододвинули, но он отстранил ее.

— Вот за то геройство, за спасение наше и присудили мы, георгиевские кавалеры, чтоб лихому полковнику нашему его высокоблагородию Михайле Дмитриевичу Скобелеву беспрерывно пожалован

был солдатский Георгий. Верите ли, братцы, прослезился полковник, принимая его. Не знаю, говорит, где буйну голову сложу, не знаю, сколько еще наград государь мне пожалует, а только ваш крест, солдаты, товарищи мои боевые, всегда буду носить на самом переду как главнейшую из наград своих...

Возвращались обласканные, напоенные и накормленные. Солдат был взволнован успехом и собственным выступлением и с гордостью нес к вечернему костру жбан водки, купленной всем миром герою в дорогу. В заплечной торбе лежали сухари и хлеб, пшено и сало, огурцы и бутылка конопляного масла: слушатели не поскупились.

— Хорошо ты рассказывал, Антип.

— Сказки да песни — солдатская утеха, барин. Соберемся, бывало, у костра, ну и пошло. И бывальщины и небывальщины — все одно, было бы складно.

— А про Скобелева правда?

— Святой истинный крест! Это не изволь сомневаться. Глаз синый, а усы аржаные: увидишь где, сразу узнаешь. Вот и спроси тогда, за что у него солдатский Георгий.

— Да где я его увижу?

— Господские дороги пересекаются, барин.

Было еще светло, тепло и тихо. Звонко стрекотали кузнечики в траве, в низинах сгустился туман, с востока полнеба охватила тяжелая марь; под нею слабо светился костерок деда Митяича, возле которого копошились четыре фигуры.

— Видать, гости у нас! — удивился фейерверкер.

Кроме Митяича и чиновника, у костра сидели толстая баба и девочка лет десяти. У бабы было румяное лицо с тугими, будто надутыми щеками, среди которых робко прятался маленький, сильно вздернутый носик; девочка, напротив, выглядела болезненной то ли от худобы, то ли от землистого цвета кожи. Быстрыми глазенками при полной неподвижности она напоминала мышку.

— Тебя как звать-то? — спросил Федор, давая девочке яблоко.

— Паня, — еле слышно ответила девочка.

— А меня Ульяной, — кланяясь, певуче сказала баба. — Прощения просим, барин, что без вашего позгеления в гости пожаловали, да места не просидим, уголька не украдем, а с бабьим голосом спится крепче.

Бабенка была развязна и словоохотлива. Белоногов суетился возле нее, вскидывая козлиную бороденку. Сонные и всегда скорбные глазки его заострились и замаслились, скользя вокруг пышных бугров Ульяны.

— Гость к обеду лучше к соседу, а гость ко сну — милости прошу, — сказал солдат, заметно оживившись. — Эй, баба Ульяна, не ходи полупьяна, а ложись на печь да и мне дай лечы!

При этом он ласково огрел бабенку по крутому, как у кобылицы, заду и закрутил ус. Ульяна кокетливо взвизгнула и захохотала, чиновник оторопел, а дед Митяич довольно отметил:

— Солдат хват: не ужом ползет, а соколом бьет.

— Расстилай, дед, скатерть-самобранку, — сказал фейерверкер, развязывая торбу. — Потрудились мы сегодня знатно, не грех и отдохнуть приятно.

Федор от водки отказался: выпил немного в селе, где их угощали после рассказов. Посадил девочку рядом, кормил ее; девочка молча и с жадностью ела.

А напротив хохотала и взвизгивала баба, которую то и дело хлопал и щипал солдат, завистливо и плаксиво шипел Белоногов и ласково пьянел старик.

— Эх, Ульяна баба! Пей до дна, не гуляй одна!

— Так ее, солдатик, так ее, сердешный,— приговаривал Митяич, любовно оглядывая всех ласковыми захмелевшими глазами.— Ай, жизнь больно славна, да обидно — прошла!

Белоногов ерзал с другого бока толстухи. Лез с поцелуями, тискал, пытался обнять. Ульяна локтем отталкивала его, отворачивалась, явно предпочитая солдата. Федору был одинаково противен и ее визг, и сепенье чиновника, и самодовольные солдатские шлепки по мясистому бабьему телу. Он старался не смотреть, разговаривал с девочкой, но непонятная сила, которой он уже мучительно стыдился, заставляла его изредка, будто подглядывая, вскидывать глаза и сразу с пронзительной ясностью отмечать, что делалось напротив. Он тут же отворачивался, но увиденная картина не исчезала; он краснел и стеснялся, с удивлением ощущая нарастающий стук собственного сердца.

— С дочкой бы занялась,— с раздражением сказал он.— Спать ей пора.

— А пусть ее! — крикнула раскрасневшаяся баба.— Не дочка она вовсе, а найденка. Я ее в городе Туле на базаре нашла да и с собой взяла: с ней подают больше.

— Своих-то, поди, свекрови подкинула? Баба ты в соку.

— Своих бог прибрал. Всех прибрал: и мужа, и деток, и свекровь со свекром. Лихоманка у нас полсела скосила.

Все это Ульяна прокричала без всякой печали, а даже с удовольствием, словно смерть близких была благодеянием, осчастливившим ее. А прокричав и хватив полкружечки за упокой, вскочила вдруг и завертелась, припотывая и прихлопывая:

Ай, куку, куку, куку,
Я сидела на суку,
Меня маменька звала,
А я вишенки рвала.
Ух! Ух! Ух! Ух!

Она закружилась, раздувая юбками пригасшее пламя, закачалась, вывалилась из освещенного круга и с маху села на землю. Солдат хотел было вскочить, но помешала деревянная нога, и чиновник успел цепко схватить его за руку.

— Антип, не смей! Слышишь, Антип? Моя! Себе вел, сговорено с ней. Не обижай, Антип, слышь, не обижай!

— Куда тебе, возгря!

Солдат сбросил его руку, вскочил, вприпрыжку поспешил к Ульяне.

— Становому пожалуюсь, хам! — визгливо закричал Белоногов.— Мое, не трожь! Мое это!

Он на четвереньках пополз за солдатом. В темноте послышалась возня, хриплый солдатский рык и два хлестких удара.

— Тебе спать пора, спать,— сказал Федор девочке.

Не вставая, хотя ему очень хотелось встать и посмотреть, что творится за светлой чертой, Олексин подтянул к себе армяк, закутал в него Паню. Дед Митяич уже спал, с головой укрывшись драным тулупчиком. Федор сидел рядом с девочкой, напряженно прислушиваясь к громкому пыхтенью, визгливым всплескам женского смеха, тоненькому жалобному всхлипыванию чиновника и гулким ударам собственного сердца. Потом встал и пошел от костра.

Он понимал, что совершает нечто постыдное, но удержаться уже не мог. Он не знал ни одной женщины в своей жизни, имел самые сумбуриные понятия о практической стороне любви, а тело было молодое, и силы, уже неподвластные рассудку, тащили его в темноту. Он

сделал большой круг и зашел так, чтобы солдат и Ульяна находились между ним и костром. Шел осторожно, напряженно вслушиваясь и с трудом сдерживая собственное тяжелое дыхание.

Он почти наткнулся на них; увидел вдруг под ногами что-то шевелящееся, неестественно белое, обмер, перестав дышать, взгляделся и понял: белыми были ноги, толстые женские ноги, широко разбросанные на стороны. Между этими белыми ногами лежал солдат, а рядом... Рядом стоял Белоногов. Жар обрушился на Федора внезапно, как обвал; он весь покрылся липким омерзительным потом. Закрыв лицо руками, бросился в темноту, долго ходил там, постанывая от мучительного гнусного стыда перед самим собой.

Успокоившись, пошел к костру. Огонь почти погас, тени вокруг сгустились, и Федор, подойдя, сначала ничего не понял: армяк, которым он укутал девочку, шевелился. Он рванул его: под армяком, всем телом прижавшись к спине то ли спавшей, то ли просто притихшей Пани, лежал Белоногов. Шарил трясущимися руками по телу и шептал, задыхаясь и трудно глотая слюну:

— Ну, повернись, лапушка. Повернись, цыпочка...

— Как смеешь, мразь! — закричал Олексин. — Как смеешь?!

Не помня себя он бил чиновника ногами в лицо, топтал руки, плевал на него. Чиновник молча извивался, стараясь отползти.

— Подлец! Подлец! Подлец!

Белоногову все же удалось извернуться и выкатиться в темноту. Федор не стал преследовать: его била дрожь. Присел у костра, скорчился, обняв руками плечи. Почувствовал взгяд, повернул голову: девочка молча смотрела на него немигающими взрослыми глазами.

— Спи, Пани, спи.

Он погладил девочку: лоб был мокрый, видно вспотела от страха. Укутал ее в армяк, вновь скорчился у костра, замер.

Дед Митяич невздумало посапывал во сне. Да и пыхтенья за костром больше не слышалось: доносился лишь тихий смешок женщины да устало басил солдат.

Страшный удар вдруг обрушился на Федора. Он скорее услышал его, чем почувствовал. Услышал тяжелый тупой грохот в голове, увидел нестерпимо яркие искры перед глазами и мягко сунулся на бок, сразу потеряв сознание.

4

— Поручик Олексин, честь имею прибыть! — представился Гавриил, вслед за Истоминым входя в кабинет помощника начальника штаба.

Стройный подтянутый блондин, выпятив грудь, молча кивнул, в упор глядя на Олексина бесцветными остзейскими глазами. Штабс-капитан сел, закинув ногу на ногу, а поручик все еще стоял в дверях под немигающим взглядом полковника. Потом Монтеверде указал на стул, а сам остался стоять, слегка барабая пальцами по столу.

— Уволены из армии? Дуэль? Долг чести? Растрата? — вдруг быстро спросил он.

— Отнюдь, — несколько удивленный началом разговора и потому помедлив, сказал Гавриил. — Числюсь в годичном отпуску по семейным обстоятельствам.

— В Сербию за крестом? Славой? Карьерой? Из любви или ненависти?

— Хочу помочь сербам в их правой борьбе, только и всего.

— Только и всего? — Монтеверде неприятно усмехнулся. — Вы оригинал, поручик? Предупреждаю, таковых не понимаю. Все слова, слова, а суть в ином.

— В чем же суть, по-вашему? — как можно спокойнее спросил Олексин.

— Суть всегда в личных идеях, а не в общественных: Так называемые общественные идеи всего лишь ширма, скрывающая действительные цели.

— Вам придется мириться с этой ширмой, полковник. Другой в запасе у меня нет.

— Интересно, каким вы отсюда уедете. Если уедете вообще. Впрочем, бог с вами, оставим это. Итак, вы хотите в дело? В штаб? В саптарные отряды? Выбирайте: я обещал нашему другу, — он кивком указал на штабс-капитана, — что исполню ваше желание.

— Я приехал драться с турками.

— Вам случалось бывать в делах до этого?

— Нет.

— Хотите испытать храбрость?

— Хочу принести пользу.

— Нет, он положительно оригинал! — почти весело сказал Монтеверде Истомину.

— Поручик знает язык, — сказал Истомин, точно напоминая о чем-то уже оговоренном.

— Немного, — уточнил Олексин. — Мало практики.

— С практикой мы вам поможем, — Монтеверде опять неприятно усмехнулся и расстелил на столе большую, выполненную от руки схему. — Извольте посмотреть. Делиград. — Карандаш изящно скользнул по схеме. — Турецкие позиции. Как видите, они пока еще на том берегу Моравы, но — пока. В районе Рагавицы — Суповац позиции удерживает отдельный корпус Хорватовича. Третьего дня туда, к Хорватовичу, ушла русская батарея, но у нас нет уверенности, что она добралась до него: сербские беженцы уверяют, что турки где-то переправились через Мораву и, таким образом, отрезали Хорватовича. Хотите попытаться внести ясность в этот вопрос, поручик?

— Каким образом?

— Болгарские волонтеры вызвались добраться до Хорватовича.

— Отчаянные головорезы эти болгары, — сказал с дивана Истомин. — Они из отряда воеводы Цеко Петкова.

— Петков в Сербии? — удивился Олексин, еще в Москве немало слышавший о легендарном гайдуке.

— Нет, он где-то в Болгарии, а сюда прислал молодежь. Самых нетерпеливых.

— Нетерпеливому коню нужна хорошая узда, поручик, — сказал Монтеверде. — Возьметесь возглавить этот отряд? Задача: добраться до Хорватовича, ознакомить его с нашим планом единого удара в районе Алексиначи, узнать о судьбе русской батареи. В дальнейшем действовать по его указаниям.

— Могу я взять с собой своего друга?

— Отвиновского? — спросил Истомин. — Странная дружба между русским офицером и польским инсургентом, вы не находите?

— Да пусть себе берет, — сказал Монтеверде. — Если согласны, ступайте знакомиться с отрядом, получайте оружие, ищите проводника — капитан вам поможет. Вечером прошу ко мне.

— Слушаюсь. — Гавриил щелкнул каблуками. — И благодарю.

Вышли вместе с Истоминим. На веранде, как всегда, курили офицеры.

— Были на аудиенции? — спросил Совримович. — Как вам наш Монтеверде?

— Послан на связь с Хорватовичем, — похвастался Олексин.

— Вот как? Когда выступаете?

— Завтра утром.

Совримович бросил окуроч и, ни слова не говоря, быстро направился в дом.

— Кажется, вы довольны поручением? — спросил штабс-капитан, когда они шли через двор к воротам.

— Доволен? Этого мало, Истомина. Я горд и счастлив.

— Значит, с вас шампанское. Если вернетесь.

Последние слова он сказал хоть и с улыбкой, но как-то уж очень многозначительно. Впрочем, Гавриилу некогда было заниматься анализом истоминских интонаций: у ворот они встретили Захара и Отвиновского. Наскоро объяснив, в чем дело, Олексин отправил их готовиться и вслед за штабс-капитаном вышел на улицу.

Болгары стояли во дворе кафаны, где вчера ужинал Гавриил. Их было одиннадцать — молодых, сильных парней в белой, щедро расшитой шнурами одежде. За широкими турецкими поясами торчали рукояти ятаганов.

— Здравствуйте, господа,— сказал Истомина.— Вот ваш командир поручик Олексин Гавриил Иванович.

— Добре дошли,— сказал старший отряда; молодое лицо его было обезображено широким шрамом.— Меня зовут Стоян Пондев. С остальными потом познакомитесь, а это мой ординарец Любчо.

Он кивнул на худенького паренька с большими девичьими глазами. Паренек сразу отвернулся, а болгары заулыбались.

— Я оставляю вас,— сказал штабс-капитан.— Надо проводника искать.

Он поклонился и ушел. Гавриил сел на доски, сложенные у забора, болгары расположились вокруг, а застенчивый Любчо устроился за их спинами. Рассказывая о задании, Олексин все время ловил на себе его быстрый изучающий взгляд, и взгляд этот почему-то смущал его.

— Как видите, задача наша проста: дойти и доложить.

Болгары переглянулись. Стоящий ближе всех широкоплечий парень с оспинками на лице что-то быстро сказал по-турецки. Войники рассмеялись, только Любчо сердито нахмурился.

— Митко говорит, хороша у волка шкура, да зубы мешают,— сказал Стоян.— Мы знаем турок, командир. Там, где нет дорог, они высылают черкесов.

— Черкесов боитесь, молодцы?

— Боялась баба в лес за дровами сходить, так в дому и замерзла,— уже по-болгарски сказал Митко.

— Нужен проводник, командир,— уточнил Стоян.— Нужен хороший проводник, чтобы идти без дорог и там, где не может напасть кавалерия.

— Нужны магазинки,— сказал черный, как цыган, парень.— Если будут магазинки и много патронов, черкесы не страшны. Они не любят огня.

— Кирчо правильно говорит, надо просить магазинки,— подтвердил Стоян.— При штабе есть оружейный склад.

— Оружие обещали,— сказал Гавриил.

— Надо брать самим: они для кого-то берегут хорошие винтовки.

— Для турок,— усмехнулся Митко.

Болгары опять засмеялись. Они вообще смеялись часто и охотно, и это тревожило Олексина. Он и сам был молод, считал смешливость чертой невоенной и старался почаще хмуриться.

— Смех в то время, когда гибнут ни в чем не повинные люди, когда позорят женщин и вешают их мужей, считаю неприличным,— сказал он.

Болгары растерянно замолчали. Стоян нахмурился, а Любчо вдруг вскочил и не оглядываясь пошел со двора.

— Любчо! — крикнул Стоян. — Любчо, вернись!

Ординарец не остановился, и Стоян торопливо направился за ним. Митко сокрушенно цокнул языком, а черный Кирчо сказал неодобрительно:

— Не надо об этом говорить. Никогда.

— Прошу извинить, — сухо сказал поручик. — Однако такая чувствительность, как у вашего Любчо, больше подходит девице, чем воину.

Парни неожиданно расхохотались. Они смеялись так искренне, что Олексин не выдержал и тоже заулыбался.

— Ну и глаз у тебя, командир! — весело кричал Кирчо.

Вернулись Стоян и Любчо. Ординарец был красен как маков цвет и прятал глаза.

— Любчо, командир интересуется, почему ты без усов! — крикнул Митко.

— Хватит, — строго оборвал Стоян. — Кажется, к нам идут.

К ним приближались Совримович и Бранко. Подойдя к Олексину, Совримович щелкнул каблуками:

— Честь имею явиться, поручик. Назначен вашим помощником. А это наш проводник.

Обе новости чрезвычайно обрадовали Гавриила: он привык к Бранко, а то, что серб добровольно вызвался идти с ними, Олексину было понятно — он помнил дорожную встречу. А Совримович уже побывал в деле, в прямом смысле понюхал пороху, и поручик очень надеялся на его боевой опыт. Конечно, болгары тоже были боевыми ребятами, но опыту кадрового офицера Олексин все же доверял больше, чем партизанским навыкам повстанцев.

Они отправились получать оружие, и Совримович, используя знакомства и недавнюю службу в штабе, сумел добиться новеньких магазинных винтовок «пиподи — мартини». Болгары брали их в руки с почти благоговейным восторгом.

— Мне бы эту магазинку в апреле! — вздыхал Кирчо. — Поплясали бы у меня турки.

Поручив продовольственные дела Стояну и отрядив ему в помощь Захара, Олексин с Совримовичем и Бранко до вечера обсуждали предстоящий маршрут, искали укрытые от внезапных кавалерийских налетов ямочки. Совримович тоже опасался черкесских клинков, тоже советовал быть осторожнее:

— Тактика у них старая, Олексин: набег. Любят атаковать из укрытий, внезапно. Стреляют, как правило, неважно, но шашками владеют отменно. Если не удержимся — сомнут и вырежут. Узнайте у Монтеверде, что слышно о черкесах.

Вечером Гавриил спросил об этом у помощника начальника штаба. Монтеверде очень удивился:

— Какие черкесы, поручик? Черкесы, абреки — это у вас от кавказских рассказов. Лермонтовым зачитывались?

— Однако болгары уверяют...

— Болгары путают, — перебил полковник. — Да, башибузуки кое-где, возможно, просочились, но черкесы... Слышите, Истомин?

— Это нонсенс, Олексин, — пожал плечами штабс-капитан. — У ваших приятелей болгар черкесская паника, уверяю вас.

Получив подробное разъяснение о предполагаемой операции, поручик распрощался с Монтеверде и Истоминным. Штабс-капитан придержал руку:

— У турок, по нашим сведениям, нет кавалерии вообще. Так что с богом, Олексин.

Несколько успокоенный этими заверениями, поручик не стал заходить к Совримвичу. Было уже поздно, на рассвете предстояло выступление, и он прямо пошел к себе. Ночь была тихой и звездной. Выйдя из душной комнаты, поручик с наслаждением вдохнул полной грудью и подумал, что пока ему — тьфу, тьфу! — везет и, кто знает, может быть, по возвращении на родину и на его груди сверкнет Таковский крест... Он тут же постарался изгнать из головы тщеславные мысли, ибо ехал сюда не за крестами и не гнал утром Монтеверде. Спустившись с веранды, он обогнул штаб и направился к шалашу, где ночевали Захар и Отвиновский. Еще издали он заметил небольшой костер, возле которого сидели трое: Совримвич не ушел спать. Гавриил коротко рассказал о последнем свидании с начальством, особо упирая на «черкесские страсти».

— Не понял: вы нас убеждаете, что никаких черкесов в тылу нет, или они вас в этом убеждали? — спросил Совримвич. — Это важно.

— Во всяком случае, я в этом почти уверен. Черкесы — типичная тыловая паника.

— А брат Бранко — тоже паника? — хмуро поинтересовался Отвиновский.

— Я получил приказ как можно скорее доложить Хорватовичу. А если мы будем ползти по кустам в страхе господнем, то сведения просто-напросто устареют. Штаб заверяет нас, что черкесов нет, значит, их нет, мы обязаны верить штабу.

— Возможно, возможно, — вздохнул Совримвич. — И все же что-то мне здесь не нравится... Скажите, Олексин, вы действительно в добрых отношениях с Истоминым?

— Надеюсь, что мы друзья.

— Преуменьшать опасность — плохая дружеская услуга.

— А преувеличивать ее?

— Преувеличивать естественно, но ведь он же не преувеличивает? Ну да бог с ними. — Совримвич встал. — Будем полагаться на себя. Спокойной ночи, господа.

— Знаете, Олексин, а я не верю ни единому слову вашего приятеля Истомина, — сказал Отвиновский, когда Совримвич ушел. — Он лиса.

— С какой целью ему хитрить, скажите на милость?

— Вот этого я не знаю.

— Господи, до чего же вы недоверчивы, Отвиновский.

— Доверчивость растрачивают, поручик, и, очевидно, мои запасы подходят к концу, только и всего. Хорошо это или дурно — не мне судить, а только путешествие наше будет совсем не таким простым, как это нам пытаются предсказать.

— Я не отрицаю опасностей, Отвиновский.

— А если опасно, то зачем же девчонку брать? — вдруг сердито спросил Захар. — Не бабское это дело, ваши благородия.

— Какую девчонку?

— Да болгарку, какую же еще? Послали вы меня за продуктом, а болгарский старшой в помощь ординарца своего отрядил.

— Любчо? — спросил Олексин.

— Любка она, а не Любчо, — хмуро поправил Захар. — Я как глянул, сразу в сомнение: больно уж тонок паренек-то, больно уж нежен, да и ходит как баба, нога за ногу цепляется. Что-то, думаю, не того, что-то, думаю, проверить надо.

— Проверил? — улыбнулся Отвиновский.

— А как же! В складе за грудки ординарца этого цап! А там что положено. А она мне вжиг по одной щеке, вжиг по другой. Аж искры из глаз. И в слезы. Ладно, говорю, девонька, виноват, ежеле так вышло.

— Девушка? — растерянно спросил Гавриил. — Нет, этого я не потерплю. Завтра же в тыл, к маме!

— Ясно, — кивал Захар. — Не бабское дело.

— Молодец, Захар! — весело хохотал Отвиновский. — Значит, всё что положено, говоришь? Вот это разведка! Учитесь, поручик!

5

Василий Иванович не поехал ни в Смоленск, ни в Москву, ни в Псков: он хотел бы повидать родных, но неизбежные разговоры о прежних идеалах, о жизни в Америке и, главное, о его семье были настолько неприятны, что он предпочел переписку. Мамы больше не было, а остальных он слушать не желал, подозревая, что все они резко восстанут против их брака, не освященного церковью, а значит, безыравного и незаконного в глазах общества. Уже в письме Вари он уловил неудовольствие по этому поводу и с той поры обязательно отговаривался от приезда крайней занятостью.

А занят он не был ничем. Поселились они в Туле, где у Екатерины Павловны были дальние родственники, сняли квартирку с хозяйскими дровами и пробавлялись случайными заработками: Василий Иванович бегал по урокам, а Екатерина Павловна, имея диплом повивальной бабки, довольствовалась случайной практикой в домах бедных, часто поэтому стесняясь брать деньги за услуги.

— Знаешь, Вася, такая голь неприкрытая, такая бедность, что...

Она замолкала, не решаясь признаваться в собственной непрактичности. А Василий Иванович неизменно отвечал:

— Доброе дело дороже денег.

Жили бедно, часто отказывая себе в самом насущном и беспокоясь только о ребенке. Бедность заставляла изворачиваться, и Василий Иванович вскоре научился многое делать сам: чинил обувь, столярничал, вызвался покрыть крышу соседке, пытался красить холсты, по собственным рецептам составлял краски. Клиентура была невелика, но давала некоторый заработок.

Жизнь текла тихо. Родственники Екатерины Павловны — выходцы из села, пробавлявшиеся ремеслом и мелкой торговашкой, — были людьми богобоязненными и ограниченными, пациентки и редкие заказчики — им под стать; в гости Олексины не ходили и у себя не принимали. Кроме акушерки Марии Ивановны, с которой Екатерина Павловна познакомилась на общем поприще.

Мария Ивановна заходила на чай, к которому непременно приносила то пряники особой выпечки, то пирог собственного изготовления, то конфеты, присланные из Петербурга. Расспрашивала об американском житье, о семье, о взглядах на религию и церковь, хорошо слушала. Вначале Василий Иванович стеснялся, разговор обычно вела Екатерина Павловна, а потом осмелел, стал рассказывать сам. Как-то зашла речь о графе Льве Николаевиче. Василий Иванович читал почти все, что было опубликовано, высоко отзывался о Толстом как о писателе, но не верил ему как человеку. Усмехался скептически:

— Граф мастерски потрошит человека, Мария Ивановна. Мастерски, но — постороннего. А вот господин Достоевский ставит опыты на себе. Себя потрошит, и ему больно. Больно ему, а его сиятельству не больно. Один блистательный патологоанатом, а второй сам у себя вырезает аппендикс. Или того страшнее — язву из сердца.

— Полно, Василий Иванович. Сомневаться в огромном таланте Льва Николаевича даже не модно.

— А я и не сомневаюсь в его таланте, а может быть, и в гениальности. Но зло у графа теоретическое. А у нас практического

зла — девать некуда. Практического — и во фраках, и в мундирах, и в армяках. Как с ним прикажете бороться?

— Но ведь вы тоже, Василий Иванович, отрицаете борьбу как непрременное условие развития общества.

— Отрицаю как самоцель; борьба, борьба и борьба. Нельзя болезненно переносить законы природы на человеческое общество хотя бы потому, что природа не знает нравственности, а человек отрицает отсутствие этой нравственности. Сумеет ли мы соединить эти крайности, если будем слепо проецировать аксиомы диалектики с природы на человека?

Мария Ивановна спорила осторожно, только намечая тему и давая Василию Ивановичу высказываться, как он хочет. Не пыталась защищать свою точку зрения, а просто слушала, лишь изредка направляя разговор. Екатерину Павловну беспокоила эта манера:

— Она словно выпытывает.

— Нет, Катенька. Просто у нее нет позиции, и она ощупывает мою. Все естественно. Мария Ивановна — добрый человек. Добрый и страдающий.

— Почему ты решил, что она страдает?

— А разве можно быть добрым, думающим и не страдать?

Обычно Мария Ивановна приходила в субботу, если не было вызовов. Олесины привыкли ждать ее в этот день и очень удивились, когда она появилась в четверг.

— Мария Ивановна, вы ли это? — громко спросила Екатерина Павловна, открыв дверь. — Признаться, не ожидали и очень, очень рады.

Василий Иванович услышал и успел юркнуть в комнатку Коли: был одет по-домашнему, распустился. Старательно привел себя в порядок, вышел:

— Мария Ивановна! Какими судьбами в будний день?

— Среди ваших братьев есть Федор? Федор Иванович Олексин?

— Есть. — Василий Иванович несколько оторопел. — Федя. Студент. А почему вы спросили, Мария Ивановна?

— В городской больнице лежит какой-то Федор Олексин. Доставил его неизвестный бродяга-солдат, сказал, что подобрал на дороге.

— А... что с ним?

— Было сотрясение мозга, как мне сказали. Но вы не волнуйтесь, Василий Иванович, он уже в полном сознании, все позади.

— Идем! — Василий Иванович заметался. — Катенька, извозчика!

— Извозчик у дома, я не отпускала, — сказала Мария Ивановна. — Только оденьтесь же: на улице дождь.

В благотворительном корпусе пахло промозглой плесенью, карболкой, плохо выстиранным бельем. На выщербленном каменном полу стояли лужи, железные койки проржавели, и даже сестры, в отличие от общих отделений одетые в серые халаты странноприимниц, казались убогими и нездоровыми.

Федор лежал у стены в низкой сводчатой палате. Он не удивился и не обрадовался, увидев брата: он вообще уже ничему не удивлялся и не радовался. Глянул отсутствующе, и этот взгляд больше, чем все остальное, резанул Василия Ивановича.

— Феденька, узнаешь меня?

— Узнаю, — тусклым голосом сказал Федор. — Васька-американец. Впопыхах забыли об одежде, а своей у Федора не оказалось. Завернули в казенное одеяло. Серая сестра шла сзади, напоминая:

— Верните, господа, не позабудьте. Уж пожалуйста, верните: больным не хватает.

Всю дорогу Федор молчал, не отвечая на вопросы и ничем не инте-

ресуясь: куда везут, зачем, почему. Ему было все безразлично, все существовало точно в ином измерении, а в том, в котором находился он сам, были только воспоминания. И больно ему было не от толчков пролетки, а от этих воспоминаний. Только на квартире он несколько оживился. С видимым удовольствием вымылся, надел чистое белье, безропотно лег в постель.

— Кто эта женщина?

— Моя жена. Екатерина Павловна.

— Милая женщина какая.

— Ах, Федя, Федя! — Василий Иванович смахнул слезу. — За что же тебя-то, а? Тебя-то за что?

— Сейте разумное, доброе, вечное. — Федор медленно улыбнулся. — Сейте, только спасибо вам никто не скажет, не уповайте. Это ошибка, Вася. Поэтическая ошибка.

— Не думай сейчас ни о чем, не думай. Ешь, спи, набирайся сил: Силы — это главное.

— Мысли, как черные мухи, всю ночь не дают мне покою... — Федор помолчал, спросил вдруг: — Я постарел, брат? Да, да, постарел. На сто лет постарел.

— Федя, господь с тобой, — пугаясь, сказал Василий Иванович. — Ты поспи лучше, Федя, поспи. Завтра поговорим. Вот проснешься утром, а рядом на полу — мальчуган. Коля. Он с тобой спать будет в этой комнате.

— Думаешь, брежу? Или, того чище, с ума тронулся? — улыбнулся Федор. — Нет, брат, здоров я. В твердом уме и ясной памяти. Знаешь, когда старость наступает? Сейчас скажешь, с возрастом, мол, тело изнашивается, обмен веществ и прочее. Нет, Василий, это еще не старость, это износ. Физическое одряхление. А старость — это познание тайны, только и всего. Одним на это познание жизни не хватает, и умирают они дряхлыми младенцами. А иным открывается она, тайна эта. Простая, как ухват. Вот тогда и наступает прыжок в старость, даже если тебе двадцать лет от роду: что, молодых стариков не встречал? Встречал, брат, встречал. И сейчас встретил: меня. Я эту тайну знаю теперь, хорошо знаю. Я ее головой почувствовал, самым темечком, детским местом. Помнишь, макушки в детстве считали, у кого сколько? У тебя две, я помню. Двухмакушечный ты, счастливичик, значит. А у меня одна-единственная. И мне по моей единственной макушечке — колом...

— Федя, прошу тебя, успокойся.

— Я спокоен, Вася, спокоен. Я теперь так спокоен, как тебе и во сне не приснится. На всю жизнь спокоен, потому что искать более нечего. Вбили в меня тайну великую, и я — прозрел. Подл человек, Вася, подл изначально, по натуре своей — вот и вся тайна. Вы идеи сочиняете, сеете разумное, доброе, себя на заклятие обществу готовите, об отечестве помышляете, жизнью своих не щадите, а человек — подл. И какое бы вы открытие ни сделали, какой бы рай земной ни построили, как бы ни витийствовали, все равно человек — подл. Не подлец, заметь, подлец — это крайность, а просто подл. Тихо подл, подспудно подл...

— Не буду говорить с тобой, Федя, ты болен.

— Я не болен, я прозрел, Василий, прозрел. Созидайте, стройте, упивайтесь идеями — к концу жизни, даст бог, прозреете и вы. Не все, конечно: большинство-то как раз и не прозреет, так и помрет дряхлыми младенцами. Но ты пораньше прозрей, Вася, ты постарайся, Вася. А сейчас запомни, как «отче наш»: человек подл. Каждый человек подл и все без исключения. И я, и ты, и жена твоя, и...

— Мама тоже?

— Что? — растерянно переспросил Федор.

— Я спрашиваю, мама тоже была подла?

Федор надолго замолчал. Лежал, уставясь в потолок синими глазами, смешно и беспомощно выпятив тощую бородку. Потом сказал:

— А это нечестно.

— А лгать на людей честно?

— Это не ложь! — Федор дернулся на кровати. — Я заплатил за это, заплатил, слышишь? И ты не смеешь! Ты, двухмакушечник, баловень судьбы.

— Тебя вешали, Федя? — вдруг тихо спросил Василий Иванович, нагнувшись к заросшему лицу. — Вешали тебя? Потным арканом за шею? — Непроизвольным жестом он судорожно потер ладонью под тощей, как у брата, но аккуратно постриженной бородкой. — Больно, когда убивают, правда? Больно... Лежи. Заснуть постарайся.

Он вышел в другую комнату, где за самоваром сидели женщины и глазастый напуганный Коля. Выпил стакан чая, сдержанно отвечал на расспросы, думая о своем. Потом отставил стакан, побарабанил пальцами и сказал:

— Мария Ивановна, мне бы место какое ни есть. Извините, что прошу, это неприлично, понимаю, но деньги нужны. Твердый заработок: Федора поднимать надо. А у своих просить не хочу. Не хочу!

— Какое место вы бы желали, Василий Иванович? Может быть, домашним учителем?

— Учителем — это замечательно, Мария Ивановна. Замечательно.

— Долгом почту помочь вам, дорогой Василий Иванович, — с чувством сказала Мария Ивановна. — Я наведу справки, надеюсь в субботу обрадовать.

— Я закончил математический факультет в Петербургском университете, — говорил Василий Иванович, провожая гостью. — Могу готовить по точным наукам — математике, физике. Впрочем, по любым, по любым в пределах гимназии. Я проштудирую курс, я готов ночами...

Федор хорошо выспался, с аппетитом позавтракал. Екатерина Павловна разыскала самого знаменитого врача, объяснила обстоятельства. Заинтересованное светило приехало незамедлительно: случай был любопытным. Он тщательно осмотрел больного, успокоил, выписал лекарства. Потом пил чай в большой комнате, шепотом рассказывая:

— Сильный ушиб головы с сотрясением мозга. Не исключаю кровоизлияния в теменную область. Однако особой опасности не нахожу: организм молодой, здоровый.

— Психическая травма возможна? — осторожно спросил Василий Иванович.

— Не исключена, не исключена, милостивый государь: потрясение было сильным. Покой, прежде всего покой. Постельный режим, легкая пища, портвейн по утрам. Никаких излишеств, никаких душевных напряжений. Читайте ему что-нибудь простиенькое. Журналички, Понсон дю Террайля. А как он попал в общество бродяг, на дорогу?

— Кажется, в Киев шел, в Лавру, — нехотя сказал Василий Иванович.

— Ваш брат религиозен?

— Нет. Просто увлечение молодости.

— Да, хотим все познать, — сказал доктор, вздохнув. — Все, даже непознаваемое. Неугомонное существо человек! И, знаете, это прекрасно. Любознательность утоляет только опыт, и пока человек не утратит этого святого чувства, он остается человеком. А коль заменит однажды любознательность любопытством, то будет преспокойненько сидеть у себя дома и пробавляться слухами. И уже перестанет быть человеком разумным.

Федор выдержал строгий режим неделю и запротестовал. После долгих увещеваний столковались, что один раз — к вечернему чаю — он будет сидеть за столом ровно час.

В субботу с нетерпением ждали Марию Ивановну. Прислушивались к каждому стуку, два раза ставили самовар — и напрасно. Василий Иванович не унывал, но был озабочен:

— Биография моя подкачала, Катенька. Кому нужен нигилист в учителя детей своих?

Мария Ивановна приехала в воскресенье. Вошла, таинственно улыбаясь:

— Здравствуйте, господа. О, и Федор Иванович поднялся? А можно ли вам, Федор Иванович?

— Через сорок минут будет нельзя, — серьезно сказал Федор.

— А я с приятным известием, — сказала Мария Ивановна, садясь к столу. — Извините, что вчера не пришла: не успела обернуться.

— Откуда не успели? — насторожился Василий Иванович.

— Угадали, Василий Иванович, угадали! — заулыбалась Мария Ивановна. — В Ясной Поляне была, так что угадали. Узнала, что Толстые учителя своего уволили, Рождественского. Представляете, в классной комнате попойку учинил, и его же ученик Сережа, сын Льва Николаевича, нашел его там мертвецки пьяного! Ну-с, место свободно. Я переговорила. Ждут.

Василий Иванович молчал, сосредоточенно изучая стакан. Екатерина Павловна глянула на него, торопливо заулыбалась:

— Мария Ивановна, голубушка, уж и не знаю, как вас благодарить.

— Сережа хороший, добрый и способный мальчик, — продолжала акушерка, поглядывая на молчавших братьев. — Вам будет легко с ним, Василий Иванович.

— А с графом-писателем? — спросил Федор.

— Не скрою, граф — человек сложный, но я убеждена, что Василий Иванович уживется с кем угодно.

— Извините, уживаться не привык, — сухо сказал Василий Иванович. — Да, не привык! И к тому, чтобы лакеи в белых перчатках обеды подавали, тоже не привык.

— Помилуйте, Василий Иванович, какие белые перчатки?

— Благодарствую за хлопоты, уважаемая Мария Ивановна, но это место не для меня. Да, да, не для меня, Катя! Вспомни наши разговоры, наши клятвы на корабле, наши мечты.

— Василий Иванович, голубчик, что вы говорите! Граф чрезвычайно демократичен...

— Ха-ха! — громко сказал Федор. — Демократичный граф — это прекрасно!

— Извините, Мария Ивановна, ради бога, извините, — строго повторил Василий Иванович. — Это предложение я не могу принять... Да, не могу! Не могу изменить своим идеалам, хотя это, возможно, и смешно. Не могу! И поэтому оставим этот разговор.

Над столом повисла неприятная тишина. Только чуть звякали ложечки.

— А у нас доктор Браудэ был, — сказала Екатерина Павловна. — Федора Ивановича смотрел...

И, заплакав вдруг, быстро вышла из комнаты.

(Окончание следует)



ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

★

ИЗ НОВОЙ КНИГИ

.

Зашумит ли клеверное поле,
заскрипят ли сосны на ветру —
я замру, прислушаюсь и вспомню,
что и я когда-нибудь умру.

Но на крыше возле водостока
встанет мальчик с голубем тугим —
и пойму, что умереть — жестоко
и к себе и, главное, к другим.

Чувства жизни нет без чувства смерти.
Мы уйдем не как в песок вода,
но живые, те, что мертвых сменят,
не заменят мертвых никогда.

Кое-что я в этой жизни понял —
значит, я живым недаром был.
Я забыл, казалось, все, что помнил,
но запомнил все, что я забыл.

Понял я, что в детстве снег пушистей,
зеленее в юности холмы.
Понял я, что в жизни столько жизней,
сколько раз любили в жизни мы.

Понял я, что тайно был причастен
к стольким людям сразу всех времен.
Понял я, что человек несчастен,
потому что счастья хочет он.

В счастье есть порой такая тупость.
Счастье смотрит пусто и легко.
Горе смотрит, горестно потупясь,
потому и видит глубоко.

Счастье — словно взгляд из самолета.
Горе видит землю без прикрас.
В счастье есть предательское что-то.
Горе человека не предаст.

И вздрагивала вся от плача,
в руках измучена, измята,
так беззащитна по-цыплячьи,
мимоза на Восьмое марта.

Как будто вдребезги посуду
бьет зарыдавшая усталость:
«Ну хорошо, я с вами буду,
но вы уйдете — я останусь...»

Уже от завтрашней обиды,
уже от завтрашней печали,
почти покинувши орбиты,
глаза на ниточках торчали.

И где-то у Преображенки,
в слезах как в ливне, как в лавине,
вдруг прорыдалось так по-женски:
«Что сделать, чтоб меня любили!

В любви я, видно, неумеха.
Меня назавтра избегают.
Не слез мужчины ищут — смеха.
Я плакса, это их пугает.

Я с вами снова сплеховала.
Какого черта на мимозы
я лью, агент по страхованью,
незастрахованные слезы?

А я хождение по квартирам
люблю, хотя порой неловко,
но столько связывает с миром
как утешение страховка.

Бывает, ветхая старушка
на ладан дышит, расхворалась,
но льстит бумажная игрушка,
что все-таки застраховалась.

Здесь до меня был Пал Степаныч,
и по инерции вчерашней
мне подают порой стаканчик
своей наливочки домашней.

Суют у двери торопливо,
сынишке передав приветы,
как Пал Степанычу на пиво,
копеек сорок «на конфеты»...»

Машина шла неумолимо.
Навстречу снег летел со свистом.
Шофера будто надломило,
но руль он только крепче стиснул.

Был март, далекий до апреля.
В нем было холодно и пусто.

Вокруг невидимо горели
незастрахованные чувства.

И о стекло о лобовое
так бились искры голубые,
и нарастало в снежном вое:
«Что сделать, чтоб меня любили!»

КОЛУМБИХА

Вдоль верфи возле Киренска
идут, задумав скинуться,
и плотники и сварщики —
их что-то жажда жжет,
а на огромной лужище,
поварчивая любяще,
как ласковое чудище,
их лодочница ждет.

У океана местного,
прокисшего, но пресного,
возможно, что известного
еще и при царе,
привыкли к этой лодочке,
где женщина в середочке,
хоть не годна в молодочки,
но все-таки в цене.

Она такая слышная.
Она такая пышная,
но вовсе не одышная —
искрят ее глаза.
Груза у ней мужчинные,
немножко матершинные,
но все же не машинные,
а свойские груза.

Зовут ее Колумбихой...
На лодочке голубенькой
всегдашним объявлением
рабочих веселя,
лишь только станет мелко,
как будто здесь Америка,
веслом достав до берега,
она басит: «Земля!»

Лишь метров тридцать плаванье,
но все ведется планоно.
Уключины
приучены
поскрипывать легко.
И столько тысяч верст она
уже вспахала веслами,
что вправду до Америки
не так уж далеко.

Здесь лодочка приличная —
подружка закадычная,
своя, не заграничная,
советская вода.
Спокойно быть ей служащей
на этой самой лужище:
оттудова-досюдова,
отсюдова-туда.

И то ли ей хохочется,
а то ли плакать хочется —
скрывает все скуластое,
угластое лицо.
А на борту, усталая,
автопокрышка старая,
как с Леной обручальное
печальное кольцо.

Все знают и о панике
на гибнущем «Титанике»,
о плаванье Чичестера,
о паруснике «Ра»,
а мы про эту лодочку
припомним-ка под водочку
и выпьем за погодочку,
за солнышко с утра.

Я чинно, по-хорошему
скажу Харон Харонычу:
«Меня зазря хоронишь ты.
Ты лодочник не тот.
И все-таки получше же,
когда меня по лужище
себе под нос поющая
Колумбиха везет».

И пусть не в жизнь нездешнюю,
а в жизнь живую, грешную,
в смешную и насмешную,
но и не безутешную
несет меня вода,
а если кто отчается,
пусть с нами покачается
отсюдова-дотудова,
оттудова-сюда...

ЛЕЙБ-КАМПАНЦЫ

Ус крученный, в бордо моченный.
Вам напрасен любой совет,
выдвиженцы-преображенцы,
лейб-кампанцы Елисавет.

Ах, какая была эта ночка!
Путь указывала не рука,

а самой государыни ножка
на солдатском плече у штыка.

Но увидят уже без блаженства
на смотру по прошествии лет
постаревшие преображенцы
постаревшую Елисавет.

Кто-то вздрогнет, во фронт распрямившись,
и прошепчет, пропито дыша:
«Погрузнела... А вспомни-ка, Мишка,
как на ощупь была хороша!»

* * *

Москву прозвали новым Римом,
но чужды ей сии слова.
Уйдет все временное дымом —
Москвой останется Москва.

России истинная ценность
не в реставрации церковей,
а чтобы в нравственность, как в церковь,
водили мы своих детей.

Безнравственность — уже не русскость,
но если нравственность жива,
Россия выстоит, не рухнет,
отринет римский путь Москва...

КОМПОТ

Когда я шубу дедову донашивал
и протирал отцовские штаны,
один поэт меня все время спрашивал,
где бы ни встретил: «Деньги не нужны?»

Он что-то подрабатывал на радио
и не от жиру деньги предлагал.
Он объяснял мне, что в стихах неправильно
что было слишком правильно — ругал.

Когда я на него стихи обрушивал
и что-то в них воинственно громил,
поэт кормил меня компотом грушевым
а также абрикосовым кормил.

Я все компоты на стихи разбрызгивал —
в них что-то витаминное вошло,
а из компотных косточек разгрызенных
во мне, надеюсь, кое-что вошло.

Я стал в какой-то степени прославленным,
хотя мне было двадцать с малым лет,
и вот ко мне явился за признанием
голодный начинающий поэт.

Свои стихи читал он до полуночи.
Мне показалось — парень от земли,
настолько ногти детские до луночек
невытравимой грязью заросли.

Его спросила мама: «Может, супчика?»
Он всю кастрюлю выхлебал до дна,
а уходя мне пробурчал насупленно:
«Меня еще узнает вся страна...»

Он боком влез в поэзию затихшую
лет через пять, и, словно старожил,
он руку, ложку мамину забывшую,
«битью меня однажды приложил.

Был на собрание перерыв. Был вакуум
вокруг меня в кафе, где толчея,
и только в кофе одиноко звякала
растерянная ложечка моя.

Он подошел, светясь гражданской совестью,
сияющий победно сукин сын,
с пакетом, где округло прорисовывались
тугие очертанья апельсин.

«Не позабыл я супчик твоей мамочки!
Теперь тебе конец. Теперь мой час.
Я апельсин купил пять килограммчиков.
А видишь хвост зеленый? Ананас!»

Бывают и сильнее потрясения,
но что-то меня все же потрясло,
и есть во мне порою опасение,
что выродится наше ремесло.

Не скряга я, но не играю в купчика,
и если молодой поэт придет,
я с тайным страхом спрашиваю: «Супчика?» —
с надеждой добавляя: «Есть компот...»

* * *

Однажды мы спали валетом
с одним настоящим поэтом.

Он был непечатным и рыжим.
Не ездил и я по Парижам.

В груди его что-то теснило —
война ему, видимо, снилась,

и взрывы вторгались в потемки
снимаемой им комнатенки.

Он был, как в поэзии, слева,
храпя без гражданского гнева,

а справа, казалось, ключицей
меня задевает Кульчицкий.

И спали вповалку у окон
живые Майоров и Коган,

как будто в полете уснули
их всех не убившие пули.

С тех пор меня мыслью задело:
в поэзии ссоры — не дело.

Есть в легких моих непродажный
поэзии воздух блиндажный.

В поэзии, словно в землянке,
немыслимы ссоры за ранги.

В поэзии, словно в траншее,
без локтя впритирку — страшнее.

С тех пор мне навеки известно:
поэтам не может быть тесно.



ВИТАУТАС БУБНИС



ЦВЕТЕНИЕ НЕСЕЯНОЙ РЖИ*

Роман

26

Ляонас может тысячу раз говорить: «Я виноват, виноват...» Но ведь все давно взвешено, измерено. И давно бы все затихло, давно бы отстоялось, если б некому было мутить.

Сейчас ведь уйма желающих всех воспитывать.

Председательница месткома, эта откормленная лисица, явилась к Ляонасу в кабинет, присела на узкий табурет будто на кол, неудобно, опершись ладонями на колени, и для начала спросила, как дела. Ляонас поднял усталые глаза от чертежей — нормально. На расширенном заседании месткома он не был, хотя его и приглашали. Не мог. Если не секрет — почему именно он не мог? У него есть право на личную жизнь, в особенности после рабочего времени. На личную... Она как раз и хотела потолковать о его личной жизни. Ляонас, оттолкнув чертежи, рассмеялся. Женщина не растерялась, только с лица исчезла лисья ухмылочка; у нее, мол, есть еще одна обязанность — председателя женсовета, и поэтому она отвечает за дела всех женщин и защищает их права. Итак, до нее дошло, что он оставил свою жену. Ляонас так и вскипел от ярости. Но сдержался и вооружился ледяной иронией. Они развелись, уточнил он. Для этого были серьезные причины? Разумеется. Какие, если не секрет? Разрешите не отвечать на этот вопрос. Вашу жену положительно охарактеризовали на ее работе, и ваш поступок, товарищ начальник, был для них сюрпризом... Что ж, вы отлично обо всем информированы, так что наш разговор не только не принесет результатов, но и не удовлетворит ваше любопытство, товарищ дважды председатель... Она не склонна шутить, и его возраст, его пост... да и ее обязанности заставляют говорить серьезно... О, извините, сейчас он спросит кое о чем: его бывшая жена поручала ей копаться в этом деле? Нет, но это не меняет сути дела, она же не может оставаться равнодушной... Тем паче что он посягнул на чужую семью!.. И эти слова не вывели из равновесия Ляонаса, по правде говоря, он ждал их. Он удивлен, ответил Ляонас, что ее отношение к семье столь консервативно... Но семья — это ячейка нашего общества! И если он эту ячейку разрушает, то совершает антиобщественный поступок. У Ляонаса иссякло терпение. Благодарю, сказал он, встал и даже поклонился.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

Эти разговоры не помогут выполнить месячный план, его ждет работа. И ушел в цех.

Конечно, нет ничего страшного в том, что о нем говорят. Плохо только, когда говорят полосом беспощадного судьи, да еще с заготовленным заранее приговором. Что она знает о семье Ляонаса, например? Эугению в глаза не видела. Что знает о Дейманте и ее семье? Да и о нем самом, о Ляонасе, что ей известно? Вякнул кто-то (многие любят угождать таким воинственным особам), и она уже бросается воспитывать. А такое воспитание бесит. Хотя чего это он кидается на других, если сам... Хорошо помнит, как этой весной пришлось играть такую же роль.

Жена одного слесаря накатала письмо директору завода: муж нашел девку, ночами не приходит, она его выследила, переговорила с соседями этой девки, и те сказали... Директор передал письмо ему, Ляонасу, и попросил доложить письменно, какие были приняты меры. Ляонас вызвал слесаря, медлительного человека и прекрасного специалиста, и стал наставлять его на путь истинный. Правда, изредка мелькала мысль: ты же сам встречаешься с Дейманте, так в чем ты его обвиняешь и зачем несешь эту чушь? И тут же отбрасывал эту мысль, будто пепел сигареты смахивал со стола: «Я же начальник цеха и обязан заботиться о своих рабочих». Слесарь оказался не из тех людей, которые бьют себя в грудь да благодарят за справедливые слова. Был он и не из тех, которые бухают кулаком по столу и распускают глотку: «Да кого ты учишь?!» Слесарь рта не раскрыл, а наутро принес заявление и ушел с работы. Кому от этого лучше? Слесарь женился на девушке, Ляонас потерял хорошего специалиста. «Да, да, курьез, если подумать: я воспитываю один, меня воспитывают другие. Товарищеский матч по боксу — приплясываем, наносим удары, а распалившись, забываем правила и бьем ниже пояса».

Может, Викторас Петрушонис тоже хотел его ударить? Ляонас не ждал, что он будет отмалчиваться, думал — попробует отомстить. Что ж, мужчина есть мужчина. Хотя взгляд у него был тяжел — это и понятно, нелегко парню, — но его сдержанность доказывает, что огонь, по-видимому, уже угасает. Конечно, в его возрасте, да еще если два года пожил без жены, легче перенести такое, остается лишь оскорбленная мужская гордость. Самолюбие взвырало. Смешно думать, что Викторас, пока служил, завязал узелок. Ляонасу не довелось хлебать солдатских щей, но он не от одного слышал — еще как солдаты забавляются с девушками. Так что хочешь или нет, а от времени выпцвetaет не только одежда. Ветер гасит даже большой костер — остается зола. Если и теплятся еще угольки (конечно, они бы разгорелись, если бы оба дружно подули), то скоро остынут, и со временем ни один из них не захочет вспоминать, что когда-то вместе разводили костер. Конечно, если начистоту, Ляонасу неловко перед Викторасом, даже жалко его. Но разве он виноват в том, что полюбил Дейманте? А Дейманте разве виновата в том, что полюбила его, Ляонаса? Любовь не подсудна. Викторас должен это понять. И он поймет! Найдет другую девушку (правда, они еще не развелись, но раз Дейманте ушла из дому, значит — все; и не Ляонас ей это подсказал, она сама ушла, Викторас должен это понять), будет счастлив с другой, как и многие, которые женятся второй раз или третий. Ляонас свято верит — он тоже будет счастлив. Он не фаталист, но верит: сама судьба вручила ему Дейманте. Будь у него две жизни, можно было бы сказать: успею еще, там видно будет. Но годы летят, уже за сорок перевалило, а он все еще собирается начать жить. Вроде и некогда. Только верующие ждут воздаяния после смерти, на том

свете. Хотя не ждут и они. Хватают, что под руку подвернется, хапают пригоршнями. Даже твой отец, дряхлый уже старик, получив пенсию и продав двух свиней, говорит: теперь, сынок, знаешь, живи да живи, когда все под рукой...

А кое-кто из тех, что недавно еще ковыряли вилами навоз, теперь строит кооператив, покупает машину и рыскает взглядом: что бы еще приобрести-то? Новый гарнитур, ковер, цветной телевизор, хрусталь... Что еще? Что еще? В деревне — не в родной, конечно, — где-нибудь над рекой или озером покупает обезлюдевший хуторок, гуляет в летние выходные... А что еще? Ездит по курортам, ведь как признаться приятелю, что не побывал в Паланге или Крыму? А что еще? Еще? Он придумает, фантазия у него не знает границ! Такой ли уж грех, если и Ляонас подумает о себе, о своем будущем, которое он не представляет без Дейманте? Не для того он в детстве голодный ходил в школу (семья была большая, а хлеба мало), не для того с таким трудом пробивался дальше — работал и учился, кончал институт, дорос до начальника цеха, — чтоб ждаться с протянутой рукой: авось и ему что капнет. Он считает: делай свою работу честно, живи на трезвую голову, не забывая ее сентиментальной чушью, не позволяй ездить у себя на шее, не суй пальцы... И все-таки не мог промолчать, когда директор завода спросил: «Симанас Петрушонис все еще работает?» «Он только что вернулся после болезни». — «Есть ли смысл ждать, пока человек заболит опять? Пускай отдыхает». — «Товарищ директор, такие рабочие, как Симанас Петрушонис, не валяются, и я не могу...» — «Я думаю об интересах завода». — «Я думаю о человеке!» Бросил прямо в лицо, не раздумывая, ведь если бы призадумался, точно бы не сказал. А теперь отступать некуда. И бить себя в грудь незачем. Ляонас стискивает зубы, опускает голову и горько через силу улыбается: хорошие тылы никому еще не мешали. Плечи отца Дейманте и его влияние... Да, да, в наши дни это весьма важно...

И правда, все не так уж плохо. Ляонас, пожалуй, принимает все слишком близко к сердцу. Велика важность, что эта месткомовская лисица примеривалась хлестнуть его хвостом по носу. И встреча с Викторасом Петрушонисом — просто неприятное происшествие. «Сказал — вернись! Да куда ты вернешься, парень? В мой цех? Ха, ха...» Ты в эту сторону и посмотреть не захочешь, ведь любому мужчине тошно признать себя побежденным. И в отношении Эугении, бывшей жены, Ляонас спокоен. Их семейная жизнь сложилась неудачно. Но Ляонас делал все, чтобы дом был полная чаша. И был полная чаша. Только любви не хватало. Виноват он? Эугения виновата? Ну, скажем, оба виноваты поровну, Ляонас спорить не станет. Но это уже закрытая страница и нет смысла перечитывать. Расстались мило, культурно, за это он уважает Эугению, даже ей самой об этом сказал. Эугения тоже не должна поминать его лихом. Что было, сплыло. Давайте теперь лепить жизнь сызнова. Очистим ее от развалин и будем лепить. Хоть и не просто строить на развалинах-то. И давайте поторопимся! Не так уж много годков осталось, а в эти времена техники и отчаянной нервозности, когда так участились инфаркты...

27

За спиной захлопывается дверь, и Эугения думает: «Я больше сюда не вернусь». Она и вчера, уходя с работы, так подумала и позавчера, хотя не знала, почему собирается не возвращаться. Мысль эта угасает вместе с глухим хлопком двери.

Людской поток увлекает Эугению, несет по широкому бурлящему тротуару. Она и не сопротивляется, плывет, изредка задевая за налитые плечи и острые локти, не замечая лиц, не слыша слов. Не для нее оглушительная музыка, вырывающаяся из окон ресторанов, не для нее мерно вспыхивающие рекламы кино. Напрасно улыбаются ей с афиш заслуженные певицы — Эугения не глядит на них. Оттанавливается, когда перед самым лицом с грохотом пролетает борт грузовика. Еще шаг — и все бы кончилось, думает, вернее мелькает далекая смутная мысль. Стоит у перекрестка, мимо с ревом несутся автомобили, а когда обрывается этот ревуший поток и люди перебегают улицу, Эугения медлит и только теперь тревожно оглядывается по сторонам — не кинется ли это гудящее стадо на нее, едва она ступит на мостовую. Эугения все поглядывает то налево, то направо; застрявшие неподалеку машины со сверлящими фарами, кажется, готовы прыгнуть на нее в любую секунду. И правда, вот они взрвели и на бешеной скорости помчались мимо. Один шаг, только один... Всем телом она уже чувствует этот удар, слышит визг тормозов, видит кровь и, задрожав, пятится, а потом поворачивается и бегом пускается обратно.

Хлынувший из открытой двери запах лекарств задерживает Эугению, но она заставляет себя зайти в аптеку. Народу много. Очередь, чтоб показать рецепт, очередь, чтоб забрать лекарство, очередь у кассы. Эугения обводит взглядом аптеку и, почувствовав внезапно слабость в ногах, садится на длинную скамью у стены рядом с тремя женщинами. Проводит ладонью по мокрому лицу, подпирает рукой голову, закрывает глаза. Сидеть бы так и сидеть. Сидеть, а потом заснуть — здесь, в тепле, поддавшись бесконечной усталости. И ни о чем не думать, не думать... Где-то с уханьем проносятся автомобили, откуда-то приплывают приглушенные голоса и стрекот кассового аппарата.

— Я сына своего не оправдываю, но и сноха виновата, не умела мужа удержать, — говорит женщина рядом.

— Нагляделась я на этих молоденьких... Срам один! — возмущается другая, сидящая поодаль.

— Да какая жизнь, ежели жена рога наставляет. Раньше-то живо на такую управу находили, а теперь другое дело.

— Да и мужики теперь не мужики — чистые бабы...

Эугения не может больше этого слушать! На подгибающихся ногах подходит к витрине с готовыми лекарствами, разглядывает маленькие и большие коробочки, таблетки в целлофане, толстые и тонкие тюбики.

— Слушаю вас, — говорит из-за витрины девушка в белом халате. Эугения поднимает голову.

— Хотела бы успокоительное...

— Без рецепта не отпускаем.

Эугения теряется: ей кажется, что ясные глаза этой девушки читают ее мысли.

— Может, что-нибудь от бессонницы...

— Тоже нужен рецепт.

Холодная улыбка пробегает по лицу Эугении. Но почему девушка так внимательно смотрит на нее? Почему все на нее уставились: они что-то видят в ней, догадываются о чем-то, чего она сама еще не знает? Поскорей отсюда, пока не начали расспрашивать.

Угрюмый промозглый вечер снова водит Эугению по улицам, которые постепенно затихают и пустеют.

Отпирая дверь квартиры, она ежится от страха: кто-то забрался внутрь, стоит за дверью и ждет. Нет, в комнату ушел... Спрятался в ванной... Ледяные пальцы хватают ее за шею, душат... Да ведь квартира пуста, уже две недели она живет здесь одна. Безжизненно и тихо, как после похорон... Вот и сейчас... никого нет, конечно, зря она топталась за дверью. И в комнате и в ванной ни души, а она испугалась. Откуда этот страх? Она может испугаться своих мыслей, замаячивших теней, темноты, наполненной неведомой опасностью. Она боится даже себя. Боится пошевелиться в кресле. Знает, надо прибрать в комнате, протереть тряпкой пол. Куча нестираного белья ждет. К чертежной доске припилен ватман. Надо, надо... Однако сидит, бросив промокшее пальто на спинку кресла. Надо повесить, чтоб высохло до утра. Надо переобуться. Надо, надо... Сидит равнодушная ко всему на свете и к себе самой, окруженная неясными звуками, речами, смехом и лицами, лицами. Слышит сочувствующие голоса сослуживцев («Мы понимаем, как тебе тяжело...», «Никогда не знаешь, где поджидает беда...», «Мы всегда с тобой»), слышит гневные женские голоса («Все мужья такие, не только твой Ляонас», «Я бы такому глаза выцарапала!», «Не людьми в цехе ему руководить, а камни дробить»), слышит добрые советы («А ты наплюй на все, мало ли мужиков, только оглядись!», «Напиши директору заводу. В райком накатай, пускай не знает покоя»). Каждый день все считают своим долгом спроситься: «Ну, как ты? Слышала что-нибудь? Ляонас тебе не звонил?» От этой постоянной заботы и участия у Эугении все валится из рук, она не видит, что делает и как делает; начальник, вызвав ее, барабанит пальцами по столу, испытующе оглядывает с головы до ног, хлюпает носом («Хронический насморк, извините») и говорит: «Милая Эугения, семейные невзгоды травмируют, это ясно и ребенку, но работа есть работа, и я не могу выделить человека, который бы выправлял ваши чертежи. Он и завтра вызовет, это точно, ведь Эугения не помнит, что сегодня делала, кажется, подсчитывала что-то, писала, а карандаш то и дело ломался. Раньше она брала работу домой, а теперь уже не берет — где бы ни работала, сколько бы ни сидела за чертежами, линии и цифры сливаются в серые пятна, а голова гудит. «Переутомилась, — говорят женщины. — Нервы. Не принимай близко к сердцу, не волнуйся...» Не волнуйся... Не волнуйся...

Смотрит на часы: четверть первого. Поборов вялую тяжесть, встает, раздевается. Неожиданно в глубине комнаты мелькает какая-то женщина. Эугения едва не вскрикивает и тут же догадывается — это ее отражение в зеркале. Вокруг впалых глаз гусиные лапки, губы посинели, глаза испуганные. Неужели это ты, Эугения? Произнеси хоть слово вслух в этой своей новой квартире. Прокричи свое имя, чтоб услышала и убедилась: ты здесь! Молчишь... Может, в молчании твое несчастье? Эугения, почему ты глядишь на меня полными слез глазами?

Забирается под одеяло, натягивает его до подбородка и лежит неподвижно, лежит так долго, заглядевшись вроде бы не на свою, а на жизнь хорошей своей приятельницы Эугении... И когда за стеной часы пробивают два раза, встает с постели, в одной сорочке садится к столу, кладет перед собой лист бумаги, сжимает в руке белую шариковую ручку.

«Предчувствие давно твердило тебе: не быть тебе счастливой, Эугения, не быть! Ведь чего стоит существование женщины, если она не может дать новую жизнь? Разве не первейший ее долг — прижать к груди своего ребенка, научить его сделать шагок и произно-

силь слова: солнце, дерево, цветок?.. Тогда ты еще не думала, что Ляонас может уйти, но знала — ему будет не хватать детского лепета: мужчины хотят иметь то, чего лишены, а имея — забывают. Ты молила судьбу — о сыне, о дочурке. Но судьба оставалась глухой к твоим просьбам, а медицина — бессильной. И однажды (об этом ты так и не обмолвилась Ляонасу) ты пошла к своему отцу и спросила: «Отец, ты хоть теперь понимаешь, что сделал тогда, после войны?» Изможденный, седой отец оправдывался, что время было такое, а худа он никому не желал, он боялся тогда не за себя — за детей. «За тебя, Эугения», — сказал отец. Он заговорил об умершем сыне и порадовался, что ты, Эугения, жива и живешь хорошо. «Ты ничего не понял, отец», — сказала ты, выслушав его долгий рассказ. Может, надо было напомнить, как он тебя, пятнадцатилетнюю девчонку, водил с собой на лесоповал? И не потому, что не хватало куска хлеба. Отец говорил: поднажмем, скопим про черный день, а то как знать, что будет завтра. Всю свою жизнь он копил про черный день. И тебе тогда сказал: «Пошли. В худом пальтеце ты брела по сугробам, тянула пилу, раскалывала толстенные чурбаки. Однажды вечером, когда ледяная стужа сковала тело, ты рухнула в сугроб и больше не встала. Отец притащил тебя домой как бревнышко, сам пил водку и тебе велел пить. Нет, отец все знает, только не хочет вспоминать. Сейчас-то он бы вспомнил и подумал об этом, но ведь он не знает, что ты не живешь с Ляонасом. Что ты — одна. Что ты теперь острее чем когда-либо чувствуешь, как ужасно быть одной. Счастливы женщины, у которых есть дети. Одно сознание того, что ты вырастила человека, уже огромное счастье. Ты, конечно, не веришь, что Ляонас ушел лишь потому, что у вас не было детей. Но ты веришь, что будь у вас ребенок, он бы заполнил зябкую пустоту между тобой и Ляонасом.

Ты не думай, Эугения, что я оправдываю Ляонаса. Нет, нет. Тысячу раз — нет! Но, может, не будем о нем сегодня, ладно? Давай не будем. Поздний час, тебе надо отдохнуть. Иди, попробуй заснуть.

Спокойной ночи, Эугения».

Она закрывает глаза, прячет лицо в ладонях и сидит в оцепенении. Потом откидывается, замечает мелко исписанный листок, читает от начала до конца очень внимательно, складывает и медленно разрывает — раз, другой... Ключки кладет на угол стола — завтра выбросит — и ложится.

— Спокойной ночи, Эугения, — говорит она, думает еще, что надо бы потушить свет, но пускай горит..

Утром торопливо садится на свое место у огромного окна, не поднимая головы, чувствуя взгляды сослуживцев. Женщины долго говорят о покупках, портнихах, детях, жалуются на здоровье и на местком, который не дает путевки на лето. Наконец настает черед и Эугении: не живи отшельницей, вторую жизнь тебе никто не даст — береги эту, возраст у тебя еще такой, что и замуж выскочишь, а может, лучше одной жить, чем взваливать новую беду, мужика себе найдешь. Женщины вдруг замолкают — крадучись, входит начальник отдела. Останавливается за спиной, смотрит через плечо. Руки Эугении начинают трястись, перед глазами всплывают разноцветные круги. Башмаки со скрипом удаляются. Через минуту опять женские голоса — о покупках, портнихах, детях...

Вечером молоденькая аптекарша удивляется:

— Уже который раз вам говорю — это лекарство без рецепта не отпускаем.

— Да, вы правы, — соглашается Эугения и выходит на улицу.

Дома сидит допоздна, погружившись в мысли, потом в одной сорочке устраивается за столом.

«Я не знаю, как облегчить твою ношу. Побудь одна и вспомни.

Три байдарки спускались по течению. Ты с Ляонасом сидела во второй. Жаркое полуденное солнце обжигало ваши бронзовые тела, от реки веяло прохладой, и хорошо было глядеть на проносящиеся мимо прибрежные хутора и старые ивы. После долгой пьянящей тишины первым заговорил Ляонас: «Эугения, скажи, чем я могу тебя отблагодарить?» «За что?» — удивилась ты. «Если б не ты, разве я бы кончил вуз?» — «Мало ли народу учится...» — «Нет, нет, Эугения, я знаю — меня все время приходилось подталкивать, а ты умела. Теперь, когда я дорос до начальника цеха, я тебе первой говорю: спасибо». «Ляонас... — К горлу подступил комок. — Ляонас, иначе и быть не могло, ты же мой...» «Ты тоже моя, и я люблю тебя, Эугения. Может, я сентиментален. Иногда я, правда, бываю сентиментален. Но я всегда... всегда... Все реки мы с тобой проплывем, все города объездим. Года через два-три, я уверен, у нас уже будет на чем ездить, Эугения... Ты слышишь меня, Эугения?» — «Слышу, Ляонас. Мы все реки проплывем, все города объездим. Правда?» — «Да, Эугения. Я хочу тебя поцеловать. Наклонись». — «Перевернемся...» — «Наклонись». — «Нас видят». — «Ну и пускай, Эугения...»

И еще... четыре года назад.

В дверь вошел Ляонас с букетом белых роз. Ты прижала руки к груди и подумала: «Как давно он не приносил мне цветов, и вот теперь, когда я уже перестала надеяться...» «Ты вспомнил, Ляонас», — прошептала ты тихонько и протянула руки. «О чем я должен был вспомнить?» — «Завтра день нашей свадьбы». «Правда, Эугения, — растерялся он. — За этими делами... Представить себе не можешь, что такое, когда у тебя на шее весь цех. — Ляонас выдернул из букета розу. — Прощу. И поздравляю. — Сухими губами чмокнул в щеку. — Разве я тебе не говорил, что сегодня наш курс празднует первое пятилетие? А может, и забыл, все эти дела. Тем более что решили собираться без спутников жизни. Тебе же все равно неинтересно, все незнакомые...» Он объяснял как-то растерянно. «Почему все незнакомые? А ты?» — «Эугения, войди в положение...» Вечером ты сидела дома одна и думала: ведь не Ляонас виноват, что так договорились — собираться без жен, без мужей...»

Проходит каких-нибудь полчаса. Эугения вздыхает, перечитывает пляшущие слова, рвет письмо. Ложится, вглядывается в абажур лампы, который незаметно начинает двигаться, все сильнее, все круче раскачиваясь, острый свет режет глаза, но Эугения не может их оторвать от абажура — сама раскачивается всем телом вместе с кроватью, комнатой, домом...

Ляонас ждал этого часа. Кажется, всю жизнь ждал, чтобы без слов, одним жарким взглядом сказать: «Ты здесь хозяйка! Все, что здесь видишь, — твое. Я не хотел, чтобы старая мебель напоминала тебе о прошлом. Не хотел, чтоб она и мне говорила: вместе с Эугенией ты покупал этот стол, этот диван...» Ничего не должно остаться от тех дней. Ни одной мелочи. Даже одежду он сменит. Будто все, что может напомнить о прежней жизни, отравлено и от прикосновения к ней грозит смертельная опасность его счастью, ради которого пришлось сжечь старые мосты и построить новые.

Он берет легкую руку Дейманте, нежно целует и радостно говорит:

— Я хотел привести тебя во дворец, сверкающий хрусталем и золотом, но, увы, это стандартная двухкомнатная квартира...

— Ты не сказочный принц.

— Но ведь может этот вечер превратиться в сказку? И все дни начиная с этого — сказка!

— Ты думаешь о счастливом конце сказки: любовь, свадьба. А что дальше? Почему сказочники умолчали об этом?

— Началом нашей сказки будет любовь.

— А концом? Чем кончаются современные сказки?

Как бы отвечая, Ляонас привлекает Дейманте к себе, осыпая поцелуями щеки, глаза, усаживает в мягкое кресло.

— Нашей сказке нужен кофе. Я поставлю.

— Помочь? — уже почти семейный вопрос.

— Спасибо, Дейманте.

«Ты мне не помогать будешь, — думает Ляонас, — скоро ты сама станешь здесь хозяйкой. А я буду любоваться тобой, твоими проворными руками, готовящими ужин, и твои слова «подай», «возьми», «принеси» будут звучать как признание в любви». Подчас он кажется себе влюбленным подростком. Но разве это плохо, что ему хочется подняться над землей и парить подобно птице? Он счастлив, действительно счастлив. И особенно сегодня. Этот день с утра предвещал ему только хорошее. Во-первых, мальчик, шедший в школу, поздоровался с ним, и Ляонас удивленно подумал — такого не бывает, чтоб в городе ребенок поздоровался с незнакомцем. Потом, часов в десять, объявили сводку производственных показателей третьего квартала, и его цех снова оказался впереди. Можно было трижды крикнуть «ура», но он не моргнув глазом сказал в конторке: «Радоваться еще рано, год не кончился, неизвестно как там...» После обеда с чертежами в руке приоткрыл обитую коричневым дерматином дверь. Спросил у секретарши: «Директор у себя?» «Занят», — тыча двумя пальцами в клавиши пишущей машинки, ответила белокурая девица. «Кто?» — «Директор «Альфы» товарищ Румша». Рука Ляонаса была уже на холодной ручке двери кабинета, но после этих слов он сделал шаг в сторону. Посмотрел на девицу — та преспокойно стучала по клавишам. Откуда ей знать, что Ляонас с дочкой товарища Румши Дейманте... Надо уходить, решил он, но в коридоре все-таки повернул назад. Медленно расхаживал, поглядывая на стенды и плакаты, развешанные на стенах, и его все сильнее беспокоила мысль, от которой он не мог отвязаться. В конце концов, что в этом плохого, если он воспользуется подвернувшимся случаем, чтобы хоть как-то познакомиться со своим будущим тестем (да, да, с будущим тестем!) товарищем Румшей, с которым он, правда, где-то уже встречался. Но заходить в кабинет директора все-таки не с руки. Да, этого делать нельзя. Лучше всего посидеть в приемной...

Ляонас снова открыл обитую дерматином дверь, спросил у секретарши, давно ли зашел товарищ Румша. «Добрых полчаса, — ответила девица и теперь уже внимательно посмотрела на Ляонаса. — Что-нибудь срочное?» «Нет. Я подожду». Минут пятнадцать спустя скрипнула дверь кабинета. Ляонас вскочил с места, застыл. Первым вышел Румша, представительный пятидесятилетний мужчина. Ляонас кивнул ему: «Добрый день». Провожавший гостя директор завода заметил Ляонаса и спросил: «Ко мне, Райжис?» «Да, директор». Услышав фамилию Ляонаса, Румша поднял глаза. «Ляонас Райжис?» — поинтересовался, изучающе глядя на него. За него ответил директор: «Начальник цеха Ляонас Райжис». Лицо Румши расплылось в улыбку.

ке: «Будем знакомы, Ляонас» — и Румша подал ему руку. Директор завода удивленно смотрел на них, не понимая, с какой стати «хозяин» завода «Альфа» (так в городе звали Румшу) столь благосклонно здоровается с его инженером. Ляонас почувствовал это, и по всему телу прокатилась приятная волна...

— Ты забыл обр мне, Лео.

От неожиданности Ляонас едва не выронил чашку.

— Прости, Дейманте. Я вспомнил...

— Что ты вспомнил?

— Потом, ладно?.. А сейчас... Возьми чашки, а я — кофе.

На низеньком блестящем столике дымится кофе, появляется пузатая бутылка французского коньяка. Ляонас присаживается, тут же вскакивает, вынимает из серванта огромную коробку конфет, распечатывает ее. Наливает коньяк, поднимает рюмку и сквозь искрящийся хрусталь смотрит на Дейманте взглядом самого счастливого в мире человека.

— За тебя, — говорит он сдавленным голосом. — За то, что ты здесь... со мной...

— И за тебя, — приподнимает рюмку Дейманте.

Оба отхлебывают кофе, берут конфеты. Добрая, красноречивая тишина связывает их без слов.

— За тебя, Дейманте, — повторяет Ляонас.

— И за тебя, Лео. — Поставив на стол пустую рюмку, Дейманте встряхивает волосами. — И все-таки ты забыл. На кухне вспомнил что-то и не сказал...

— Правда, Дейманте. — Ляонас закидывает ногу на ногу, прислоняется к спинке дивана и, кажется, удаляется, уплывает куда-то. — Сегодня я случайно познакомился с твоим отцом.

В неярком свете торшера не заметно коварство, таящееся во взгляде Дейманте.

— Ну и каков он на вид?

— Он мне подал руку...

— О!

— И еще... Товарищ Румша пригласил в гости.

— Ну и ну!

— Ты безжалостна, Дейманте. И совсем зря. Ведь мне правда было приятно с ним познакомиться. Давай выпьем за него, за здоровье твоего отца.

— За товарища Румшу! — восклицает Дейманте и выпивает рюмку до дна.

Ляонас не знает, как ему реагировать на явную насмешку. Нет, она же не со зла... Во всяком случае, не его высмеивает. Между ней и отцом давно идет холодная война.

— Только не обижайся, Лео, сейчас я превращусь в колдунью и попытаюсь отгадать ход твоих мыслей.

Ляонас залиvisto смеется.

— Может, карты поискать?

— Не надо.

— По руке?

— По твоим словам, по голосу. Можно?

— Я готов выслушать самые мрачные пророчества. Знаешь, как-то мне гадала цыганка, давно, я еще в техникуме учился. По ее словам, я уже десять лет назад должен был угодить в казенный дом, за решетку.

В откинутой левой руке ее блюдечко с чашкой. Рука наливается тяжестью, начинает опускаться; дзинькает ложечка; еще мгновение — и кофе прольется на ковер....

— Слушай.— Она отхлебывает кофе.— Сейчас ты уверен, что ты баловень судьбы.

— Когда ты рядом...

— Не прерывай, Лео. Думаешь: вот женюсь на этой молодой женщине — и весь мир будет у моих ног.

Ляонас наполняет рюмки и лучистыми глазами с нетерпением смотрит на странно спокойную, как бы впрямь прилетевшую из сказки прорицательницу.

— Итак, ты думаешь: весь мир будет у моих ног, потому что я женюсь на женщине, отец которой — директор большого завода, влиятельная персона, деятель...

— Дейманте! — вскрикивает Ляонас.

— Думаешь: недолго мне сидеть в начальниках цеха. Найдется для меня место главного инженера, а потом, может, и директора...

— Зачем ты так, Дейманте? Не надо.

— Но ты не подумал: пройдет год или два — и твой знаменитый тесть может стать рядовым...

— Рядовым? Почему... рядовым?

— Ах да, он даже рядовым инженером не сможет работать. Он ведь умеет только руководить... Свет в квартире починить не может. Ляонас сжимает рукой колено Дейманте и умоляет:

— Не надо, Дейманте... Не хочу, не надо!..

Берет у нее чашку, ставит на столик, обнимает Дейманте и шепчет:

— Я думал, ты шутишь, а сейчас вижу, шутки плохи.

Дейманте продолжает все так же пророчески, только ее голос уже дрожит:

— Пока не поздно, подумай. Можешь промахнуться...

— Я прошу тебя...— Ляонас целует Дейманте и, почувствовав губами на ее щеках соленые слезы, пугается: — Что с тобой, Дейманте?

Дейманте опять встряхивает головой, достает из сумочки цветастый платочек.

— Ничего. Совсем ничего.— Пытается улыбнуться, но улыбка какая-то вымученная.

— Зря ты все это наговорила.

— Ну конечно, Лео,— признается Дейманте.— Хотела погадать, но неважная из меня гадалка. Налей лучше.

Они пьют, потом закуривают. Долго молчат, погружившись в высказанные и утаенные мысли. Трудно вернуться, как лодке, выплывшей в бурное море; безмятежный берег так далек. Но Ляонас был бы никудышным гребцом, если б опустил руки. Снова наливает коньяк, поднимает свою рюмку:

— Пусть всегда светит солнце!

Дейманте соглашается в душе. Она правда не хотела портить настроение. Думала, придет и сразу же сбросит все заботы. Ведь все зависит от нее. От них обоих. И еще не поздно, ей-богу. Она бросает взгляд на Ляонаса, улыбается ему, касается пальцами его щеки. Голова чуть-чуть кружится, тело расслаблено, и она только теперь понимает, что все время сидела напрягшись, как бы приготовившись куда-то бежать. Голос Ляонаса звучит все ласковее, и Дейманте, легонько глядя его лицо, слышит, как он спрашивает, не хочет ли она съездить летом в Польшу. Разве что в Швейцарию, озорно улыбается Дейманте. Это вполне реально: будущим летом они могли бы поехать вдвоем. Она еще ногой за границу не ступала. Но ведь все впереди, Дейманте. На его «Волге» они изъездят не одну страну.

— Ты слышишь?

— Да, Лео, я думаю. Господи! Памятники древнего Кракова и Закопане, солнечная Варна и София, голубой Дунай и... Когда я читала об этих странах, мне они казались таинственными... Неужели пощастливится когда-нибудь проникнуть в их тайну?

— Да, Дейманте, да.

И Дейманте уже сидит на террасе кафе шумного города под тенистыми платанами... Луч закатного солнца вспыхнул в бокале белого вина. Слышна тоскливая цыганская мелодия...

Ляонас спрашивает, нравится ли ей венгерский гарнитур. Но его голос не оттуда, где она только что была...

— Да,— отвечает Дейманте,— прелестная мебель.

— На этой стене повесим большую картину. Что-нибудь абстрактное. Я уже заходил на выставку, видел несколько работ. Вместе выберем.

— Я боюсь тебе советовать.

— Не надо так, Дейманте. Во всех вопросах ты будешь моей первой советчицей. Помнишь, как предложила в кирпич камина в садовом домике вмонтировать керамические плитки?

— И ты послушался?

— Конечно. И когда квартиру красил, и мебель покупал, и всякие мелочи — каждый раз думал о тебе. Понравится тебе или нет.

— Ах, Лео!..

Руки сплетаются за спиной у Ляонаса крепко, до дрожи, обнимают, будто сияясь уберечь хрустальную хрупкость драгоценных минут от себя самой, от разрывающей сердце тревоги.

— Моя ты, Дейма, моя... — Ляонас увлекает Дейманте, обняв за плечи, в соседнюю комнату.

Дейманте лежит навзничь, закрыв глаза, дышит ртом, сердце колотится рывками. Она не понимает, что с ней творится, и чем отчаяннее старается ни о чем не думать, тем тяжелей наваливаются на нее мысли, гася чувства и растравляя душу. Она хочет быть счастливой! Хочет быть любимой! Не раз уже повторяла: «Хочу счастья на всю жизнь, любви», но даже сейчас она не уверена... не уверена... Она нужна... Нужна Ляонасу, нужна...

Ляонас спрашивает:

— Не спишь, Дейманте?

— Я не засну,— признается она.

— Это потому, милая, что мы еще не привыкли друг к другу, к нашей близости.

Дейманте, слушая, выбрасывает обнаженные руки поверх одеяла.

— Я так хочу, чтоб ты у меня осталась, чтоб мы каждый вечер, каждую ночь были вместе.

В сумраке, забеленном уличным фонарем, Дейманте видит лицо Ляонаса — не лицо, а гень.

— Все от тебя зависит, Дейманте.

— От меня.

— Ты у меня останешься?

— Никогда ты не говоришь про Ренату.

— Да, да, Рената.— Он опускается на подушку.— Ты ее забереешь... Конечно... Хотя поначалу она могла бы побыть и у твоей матери, правда?

Вчера Дейманте видела, как мать вырвала из рук Ренаты плюшевую собачонку, которую подарил ей Викторас, и швырнула в угол. «Разве нет у тебя чистых игрушек, что таскаешься с этой рванью?» — рассердилась она. Рената заплакала, бросилась к собачонке, прижала к себе: «Мне папа ее дал! Папа, папа...» Мать вроде смягчилась:

«Я тебе большую куклу куплю. Красавицу, какой у тебя нет», — пообещала она, но Рената заупрямилась: «Я не хочу твоей куклы. Мне папа дал...»

— Почему ты молчишь, Дейманте?

— Лео...

— Говори, родная.

— Лео, мне кажется, что-то не так.

— Что не так?

— Не знаю. Только чувствую. И боюсь.

— Но ты же любишь меня... Скажи, любишь?

Дейманте глубоко, со вздохом вздыхает.

— Так и будет, пока не поставишь точку. Тебе надо развестись с Викторасом! Сразу же, нельзя тянуть.

«Как просто», — думает Дейманте.

— Я понимаю, — говорит Ляонас, — в такие минуты всегда чувствуешь странную жалость. Как-то жалко человека, которого оставляешь. Но жалеть другого, жертвовать собой ради него... Эта жертва вроде камня на шее, она может потянуть на дно. Нет, Дейманте, мы должны подумать и о себе, о своей жизни. Если не мы сами, то никто за нас...

— Лео... Послушай, Лео, ты уже совсем не думаешь о своей жене?

— Я думаю о тебе.

— Но я спрашиваю: ты хоть иногда вспоминаешь Эугению?

Ляонас садится, обхватив руками колени.

— Между мной и Эугенией все кончено.

— Столько лет прожили вместе...

— По-моему, ты сама знаешь, что можно жить вместе и быть чужими.

— Ты словами не прикрывайся. — Дейманте садится, придерживая подбородком одеяло. — Ты ее бросил и правда спокоен?

— Абсолютно.

— А она, Эугения?

— Это меня не касается, милая. И почему ты об этом спрашиваешь? Я люблю тебя, тебя и только тебя... И хочу одного-единственного — чтоб мы поскорей были вместе. Ты не смотри, что у меня квартира маленькая... Потом я у них из глотки вырву четыре комнаты!

Дейманте еще выше подтягивает одеяло, будто стараясь спрятаться за него.

— Ляонас, ты ничего не знаешь об Эугении?

— Опять... И знать не хочу. Пускай живет и будет счастлива. Мы дружески развелись, и я желаю ей...

— Ляонас, я должна была сказать, когда мы встретились, но почему-то... Наверное, побоялась...

Ляонас ложится на спину, молчит.

— Я сама видела, как две женщины привели ее в нашу поликлинику. А от нас увезли. Я говорила с врачом — тяжелое заболевание. Вот тут я и подумала...

— Что же ты подумала?

— Почему так бывает?

— Мало ли больных? Больницы переполнены. Почему, почему. Это уж от здоровья зависит. А Эугения всегда была...

— Какая она была? Почему не говоришь?

— Молчаливая, замкнутая... И вообще... Родная, к чему этот разговор? Будто мы можем что-то изменить. Мы обязаны беречь себя, свою любовь...

Ляонас привлекает к себе Дейманте, ерошит волосы, чувствует, как она дрожит, и шепчет ласковые слова. Эти слова она слышала

сто, тысячу раз и каждый раз ждала их с прежним трепетом, но сейчас... Почему сейчас эти слова ржавой проволокой опутывают тело Дейманте, а в ушах звенит голос Эугении, которую держат под руки две женщины, монотонно повторяющий: «Был... нету... был... нету... был...»?

— Ты моя... моя...

«Был... нету... был... нету.— Остекленевший, тупой взгляд.— Был... нету...» Ляонас трогает ее тонкую шею, гладит ласково. «Был... нету... был... нету...» Вдруг Дейманте чудится, что его пальцы смыкаются, душат ее.

— Ты мне нужна...

Задышавшись, она вскакивает, сбросив одеяло и не стыдясь своей наготы.

— Ты бы мог задушить женщину?

«Она прелестна,— думает Ляонас.— Она прелестна даже сейчас, когда несет такую чушь».

— Дейманте, ты сегодня так шутишь... Иди ко мне, родная...

Дейманте спрыгивает на пол, бросается к своей одежде и торопливо, путаясь, начинает одеваться. Ляонас только теперь видит: случилось непоправимое. Но что, почему?!

— Дейманте, что ты выдумала?

Она спокойно отвечает:

— Ты лежи, не вставай. Я пойду домой.

— Домой? Ночью? Дейманте, почему? Я тебя спрашиваю, почему ты уходишь?

Поправляя прическу, она поворачивается к Ляонасу:

— Так надо. И лучше не спрашивай, потому что я сейчас правда не знаю...

— Я тебя провожу.

— Нет, нет, я сама.

Выбежав на улицу, Дейманте поражается — какая ясная осенняя ночь! Она, пожалуй, пойдет пешком, не торопясь. Велика важность, что поздний час. Она — в родном городе.

В конце будущего года серебряная свадьба. Четверть века прошло вместе рука об руку. Казюне оказалась женщиной покладистой, и жизнь редко выбивала ее из ровной колеи. Но Антанас не скажет, что она равнодушный человек. Казюне двигалась по ежедневному маршруту дом — магазин — дом, на совесть делая все необходимое, правда жалуясь иногда: «Устала, больше не могу», однако скорее по женской привычке. В квартире всегда чистота и порядок, холодильник не жужжал впустую, грязное белье не валялось по углам. Не разрываясь и не слишком усердствуя, она в свободные минуты хлопотала по дому, не забывая подумать и о своей внешности, чтоб выглядеть не хуже других: «Велика важность, что у них дипломы». Взяв пример, наверное, со своей снохи Дейманте, укоротила юбки и сверкала жирными ляжками, потом сшила платье из голубого бархата до земли — дескать, вечернее — и, надев туфли на платформе, поковыляла в ресторан отметить пятидесятилетие своей заведующей Крягждене. Такая уж мода. Разгуливала в тесных брючках да желтом жакете с разрезами по бокам. Тоже мода. Принарядившись в новые тряпки, непременно кривлялась перед зеркалом и спрашивала: «Ну как? Люкс? Ты не думай, муженек, что твоя жена деревенская баба». Казюне не считала себя деревенской. Она же родом из городка! А как же, пять изб вдоль дороги, у костела, а у ее отца, сапожника, самая крайняя. Все

равно городок. «Я-то не привыкла хоть бы как». Антанас то злился на это женино кривлянье, а то и гордился даже. Обнимет Казюне да крепко прижмет к себе, как в юности. В такие минуты хорошо было как никогда. Ведь что они видели молодыми после свадьбы? Поставили в пустой комнатке чемоданы, сели на них друг против друга, посидели молча, и Антанас спросил: «Будем жить?» «Будем»,— ответила Казюне. И рассмеялась. Антанас заколотил в дощатую переборку гвоздь, повесил на него шапку. «Будем жить!»— торжественно сказал. Ну и жили, конечно. Работали и жили. В выходные или на праздники гуляли по городу. После весеннего дождичка распускались липки, город пахнул зеленью и бензином, обнимались счастливые парочки, во дворах и сквериках гомонили дети. «Дай понесу»,— говорил Антанас и брал у Казюне ее красную сумочку. Печатал шаг твердо, гордо, как мимо трибуны, прижав руки к бокам— в правой держал за ремешок сумочку, а в левую вцепилась семенявшая рядом Казюне. Под его ногами гулко отдавал цементный тротуар, кажется, весь город звенел от его шагов, от шагов таких же, как Антанас и Казюне, вышедших на улицы и площади. Заходили в гастроном, Антанас брал триста граммов конфет, самых дорогих, в блестящих обертках, и опять говорил: «Кушай, Казюне».— Потом добавлял: — «И ребенку принесем, хватит». И в тот же миг мыслью переносился за сто километров: «Кто ребенку Эляны конфеты приносит?» И тут же сникал. Ему уже чудилось: Казюне тоже подумала об этом, только промолчала.— и предлагал вернуться домой.

Как жил с Казюне и что сегодня имеет, это ясно; какими оказались бы годы с Эляной, никто не скажет. Но не это важно. Антанас сейчас уверен, что его вина куда больше, чем та, в которой когда-то каялся: «Я бросил девушку». Рассказ старика Гялбуды о том, как Эляна металась по стране, губила себя, не находя покоя, и нежелание самой Эляны принять у него деньги надломили сердце Антанаса, а боль он почувствовал уже потом, вернувшись в город. Страшнее всего, что он ничем не может Эляне помочь. Конечно, есть еще Алексюс. Но Антанас не знает, где он живет. Сходил бы и отнес долг, о котором тот сам обмолвился. Пускай делает с этими деньгами что хочет, пускай прогуляет их с приятелями, Антанасу станет легче, если будет знать— чем-то помог и еще поможет... Носит в кармане этот пухлый конверт, пришили булавкой, чтобы не вышал, чувствует его каждый день, каждый час и только на работе забывается: трудится, боясь спину разогнуть да присесть. Конечно, раньше или позже встретит его на улице или в автобусе— теперь он часто оглядывается... А может, Алексюс домой придет, пускай и Казюне узнает. Конечно, для нее это будет удар. Еще один. Немало их нанес Антанас и своей жене, спору нет.

И ты думаешь за деньги купить себе спокойствие? Антанас Петрушонис, гад!..

Звонок у двери. Антанас вскакивает с дивана и снова садится, будто ударившись макушкой о низкий потолок. Даже голова закружилась, зарябило в глазах. Кто там? Алексюс?.. Ты подашь ему в коридоре деньги: «Вот, бери. Твои». А если скажет, что мало? «Больше нету. И не получишь больше. По суду требуй...» Нет, нет, ты скажешь: «Потом как-нибудь... потом...» Ты все так откладывал в жизни. Снова звонок. Протяжный, предупреждающий, требующий. Антанас торопливо отстегивает карман пиджака, нашаривает конверт, медленно двигаясь к двери. «Вот деньги, держи...» И в комнату не позовет, в коридоре, в дверях... Ведь Алексюсу только деньги нужны. Он и тогда явился к Петрушонису не как к отцу, а как к должнику...

Открывает дверь. На площадке стоит раскрасневшаяся Казюне с сумками в руках.

— Думала уж, нету.

— Почему нету... Я дома...

— Не видишь, что еле держу!

Антанас кое-как ловит сверток, выпавший из рук Казюне, пятится в прихожую.

— Белье забрала, целую неделю лежит. И утку достала, может, зажарю завтра утром, — говорит Казюне и, захлопнув дверь, переводит дух. — Сил нету, не могу.

Антанас все еще не пришел в себя, смотрит на жену и не понимает, чем ей помочь.

— Наша женщина — целый комбайн: и жнет, и молотит, да еще блины печет, получше и американцы не изобретут.

— Белье я мог забрать, квитанцию надо было оставить.

— Все помни, на все пальцем укажи.

— Будто я ничего не делаю, — обижается Антанас.

— А я и не говорю.

Казюне снимает пальто, разувается, сумку с уткой и еще с чем-то ставит на кухне и возвращается в гостиную.

— Почему телевизор не включен? Вот, тебе.

Антанас Петрушонис удивлен:

— Мне письмо?... Пока Викторас был в армии, ясно, а тут...

С письмом в руке садится на диван, рядышком пристраивается Казюне, пытит и отдувается. Антанас долго мучается, поддевая ногтем конверт, никак не может вскрыть его. Наконец вынимает сложенный вдвое тетрадный листок, смотрит на него и, все больше удивляясь, опять спрашивает:

— Что это может быть?

— Может, из милиции? — пугается Казюне.

— Не казенное. И написано по-русски, детской рукой. «Дядя Антанас, я учусь в четвертом классе. В нашем классе учатся двадцать три ученика: девять мальчиков и четырнадцать девочек. Все мы пионеры и учимся без двоек. На сборе отряда мы решили собирать макулатуру и переписываться с бывшими воинами. Моя бабушка Мария Васильевна...» Знаю! — вскрикивает Антанас Петрушонис и смотрит вдруг заблестевшими глазами на ничего не понимающую Казюне: — Знаю! Мария Васильевна!.. — И рассказывает, как на Севере познакомился с администраторшей гостиницы Марией Васильевной, которая последнее военное лето провела в Литве.

— А вернулся — и мне ни звука! — сердится Казюне.

— Да к слову не пришлось. Слушай... «Моя бабушка Мария Васильевна дала ваш адрес, и мы хотим, чтоб вы написали нам, как сражались на фронте. Желаем вам доброго здоровья и больших успехов в личной жизни. Председатель совета отряда Варя Мерцалова».

Антанас Петрушонис опускает руку с листком на колени, смотрит перед собой просветлевшими глазами.

— Вот видишь, написали тебе, — нежно говорит Казюне, сжимая руку Антанаса.

— Написали... Нашли...

— Но и ты не молчи. Нехорошо не ответить.

Антанас качает головой, в его ушах все еще звучат слова письма далекой девочки.

— «...как вы сражались на фронте», — повторяет и спрашивает сам у себя: — А как я сражался-то? Как все.

— Подумаешь, Антанас, и напишешь как-нибудь вечерком.

— Придется написать. А вот о чем?

— И Викторас, помню, когда-то письма во все стороны рассылал. Родственникам погибших бойцов, кажется.— И вдруг беспокоится: — Викторас-то дома?

— Он же эту неделю в вечерней смене.

— Точно. А я все думаю: стоило ли ему возвращаться на завод?

— Говорил я ему, просил...

— И зачем эта нервогтрепка каждый день... Хотя его дело.

— Ты всегда так говоришь, будто твое дело сторона.

— А когда ты учишь, тебя очень слушают?

Смотрит на нее Антанас устало, без упрека, и этот его простодушный взгляд и ласковый голос неожиданно заливают сердце Казюне лаской. Как когда-то, в те незапамятные времена, когда руки Антанаса сжимали ее мертвой хваткой кузнеца. Не забыла Казюне тех дней, не забыла жарких минут близости. Но почему же все остыло? Годы виноваты? Годы бежали быстро, что верно, то верно. И скоро охладили девические мечты, ее веру в то, что тогда еще не умела словами назвать. «Почему ты ничего о своей деревне не рассказываешь? Почему не свозишь меня домой?» — «Зачем прошлое-то? Будто сейчас нам чего не хватает». А потом — эта женщина с ребенком на лестнице. И ее, Казюне, мертворожденный ребенок. «Ты все молчишь и молчишь, Казюне. Вернувшись с работы, стирала, готовила, лежала рядом с Антанасом с открытыми глазами за полночь, каждый день тянулся без конца. Казалось, чувства перегорели, а тело покрылось жесткой и грубой коркой. «Надо жить — и буду,— сказала себе,— и приоденусь и покушаю всласть. Чего мне еще желать-то?» «Хорошо тебе, Казюне, ничего близко к сердцу не берешь». — «Дура была бы». А сердце чуть ли не пальцами сжимала, чтоб не трепыхалось. Да, Казюне такая! Пусть бабы завидуют ее спокойствию, и пускай Антанас думает, что она такая, что даже сына своего Виктораса не любит. Пускай думает что хочет...

А сейчас Казюне кажется, вот-вот и она уткнется в плечо Антанаса и заплачет, как не плакала никогда. Если Антанас еще скажет хоть слово или посмотрит на нее...

— Пойду-ка ужин поставлю,— торопливо говорит Казюне.

Антанас снова сидит один, в голове снова проносятся сумрачные мысли, но в руке замечает тетрадный листок с вопросом, выведенным аккуратными круглыми буквами: «...как вы сражались на фронте» — и все тут же удаляется, тускнеет, звучат только эти слова, вызывая в памяти далекие дни... Выстрелы, взрывы, вой летящих над головой мин, звериное ржанье раненой лошади, глухой шепот санитарки Марии: «Потерпи, родненький, Антанас, сейчас... сейчас...» Да еще ее слова: «Ты вернешься домой, Антанас, тебя мама ждет. А мне куда идти? Семейю немцы... Всю деревню сожгли.— Потом добавила:— Знаешь, я на пепелище избушку поставлю, добрые люди помогут. Никуда с родных мест не уйду. Только б поскорей война кончилась...» «Потерпи, Антанас, миленький, скоро уже окоп...»

«Я про Марию расскажу этой девочке,— думает Антанас Петрушонис.— О себе что я могу? Лучше о Марии, так оно будет вернее, пускай знают про нее, пускай помнят...»

Алексюс не приврал, говоря, что кореша послали его поспросить, сколько отец ему должен. Раньше не думал об этом долге, как не думал и об отце. Он ему не был нужен. В деревне бабы сызмальства называли его бедняжкой, горемыкой, тянулись поглядить по голов-

ке, а отвернувшись, шушукались о чем-то и закатывали глаза. Как-то он услышал, что соседка назвала его ублюдком. Что это такое, Алексюс не понял, но почувствовал: нехорошее это слово и никому из ребят не подходит, кроме него. «Я ублюдок!» — сказал он своему дедушке Гялбуде со злорадством шестилетнего ребенка, у которого отец «выскочил в окно», а мать года два назад «пошла по рукам», как выражались в деревне. «Я ублюдок!» — угольками горели его глаза. Гялбуда стыдил его, приказывал забыть это слово и никогда не повторять, но для Алексюса оно звучало заклинанием: скажешь его — и получишь все что хочешь, возьмешь верх над своими однолетками и даже ребятами постарше. Вскоре Алексюс убедился, что ему все сходит с рук. Ходил драться на дальний конец деревни, швырялся камнями, а то лез к мужикам, усевшимся пообедать в поле. То дед, то бабка бегали по всей деревне в поисках внука, отыскав, вели домой, но тот вырывался и сломя голову удирал по огородам. Мужики — вроде бы взрослые люди, отцы семейств — обожали подшутить над Алексюсом, потом хохотали, схватившись за бока. Особенно любил с ним потолковать пузатый тракторист, которого за глаза звали Бомбардировщиком.

— Что из тебя будет, когда вырастешь? — однажды спросил он.

— Ублюдок, — ответил Алексюс.

— Ты уже теперь ублюдок, — уточнил Бомбардировщик. — А когда вырастешь?

— Гад!

Мужики смеялись, поперхнувшись хлебом и долго откашливаясь. Алексюс уже понимал: чем глупее ответ, тем веселей взрослым.

— Вот это да! Нравиться! — прослезился Бомбардировщик. — На пива, хлебни.

Алексюс одним духом осушил стакан.

— Молодец, — похвалил Бомбардировщик. — Сдается мне, старик за тобой идет.

Алексюс вскочил, огляделся и, не увидев никого, отбрил:

— А ты придурок!

Мужики захихикали.

— Вот погоди, возьмет старик ремень. Хоть и не отец тебе, но так отлупит, что будешь с кровавой задницей ходить.

— А я его убью!

Ржали, как лошади, захмелевшие мужики и опять совали Алексюсу пиво.

В другой раз Бомбардировщик предложил:

— Хочешь, на тракторе покатаю? Да? Так врежь прицепщику по пузу, чего он там дрыхнет!

Алексюс схватил какую-то палку и смазал спящего на спине парня. Тот завопил сквозь сон — не столько от боли, как от испуга.

— Ну, беги ко мне! — звал Бомбардировщик.

На седьмом году жизни Алексюс матерился, как извозчик, летом ночевал в поле, зарывшись в копну сена; руки у него были в царапинах, лицо в синяках — следы постоянных драк. Как-то швыряясь камнями с ребятами, попал в Альбинаса, который был старше его года на два. Тот упал, а когда встал, все увидели, что по лбу струйкой течет кровь. Алексюс бросился в ольшаник, прошатался в лесу весь день, а под вечер натолкнулся на опушке на Бомбардировщика. Струсил ужасно, знал, что Альбинас — его сын. Пустился бежать.

— Погоди, Алексюс! — догнал его спокойный голос. — Мы же с тобой приятели. А с этого своего гаденыша Альбинаса я тоже шкуру спустил: сам виноват, я-то знаю, поделом!

Алексюс остановился, приготовившись в любую минуту дать стрекача. Но Бомбардировщик говорил ласково, справился даже, не ищет ли его старик.

— Ни отца у тебя, ни матери, а этих стариков не слушай, кто они тебе? Там мужики пиво пьют, потопали, а?

Алексюс забыл страх и сам шагнул к ласково улыбающемуся пузану. Но эта улыбка исчезла сразу, едва Бомбардировщик взял мальчика за плечо. Пальцы цапнули за рубашку, дернули, встряхнули Алексюса. Тот затрепыхался, пытаясь вырваться, но было уже поздно.

— Попался, ублюдок! Узнаешь теперь, как трогать моего Альбинукаса! Узнаешь!

Свободной рукой Бомбардировщик достал из кармана резиновый шланг, сложил его вдвое и с размаху хлестнул по плечам, потом по заднице, по голым ногам. Алексюс скулил зло, сквозь зубы, вырывался, будто зверек в силках, а потом рухнул на цветущий луг под раскидистыми ольхами, не чувствуя уже ударов, хотя те все сыпались и сыпались, сопровождаемые страшными проклятиями. Когда он очнулся, была ночь, шумел черный ольшаник, сквозь листву падали редкие капли дождя. Все тело горело огнем, и Алексюс смахивал ладонями влагу с травы, смачивал губы, лицо, стараясь погасить этот огонь, а потом вспомнил все, заплакал, и ему нестерпимо захотелось умереть вот тут, под ольхой.

В полдень кое-как доплелся до хутора и упал во дворе. Гялбуда выскочил из избы, втащил в комнату, спросил:

— Кто тебя бил? Кто?

Алексюс молчал. Гялбуда все спрашивал, и Алексюс наконец просипел:

— Я его зарезу.

Лежал в постели долго, но и поправившись, не сказал, кто избил его. Не проговорился и Бомбардировщик. Гялбуда спрашивал у людей, может, видел кто или слышал, но так ничего и не узнал. И каждый раз, когда он приставал к Алексюсу с этими расспросами, тот отвечал коротко:

— Я его зарезу.

Ходил в школу, где учился и сын Бомбардировщика Альбинас. Алексюс избегал его, а когда Альбинас подходил к нему, прямо просил: «Уходи, не хочу...» Альбинас думал, что Алексюс боится его, но тот доказывал свою силу на других. В школе с ним сладу не было, учителя все время жаловались. Гялбуда надеялся: теперь обучение обязательное, не вытурят внука из школы. Доучится в средней, авось образумится. Но Алексюс кое-как вытянул восемь классов и уехал в профшколу. Опять драки, обсуждения, не раз вызывали в школу и Гялбуду, который никак не мог понять, почему его внука все обижают да сбивают с истинного пути.

— Коли деньги нужны, скажи, дам, только не путайся со всякой швалью,— упрасивал его Гялбуда.

Однажды, вернувшись в деревню, Алексюс застал дома мать. Она обняла его, запричитала, смахивая кончиками пальцев слезы, что виновата перед ним — одного оставила.

— Не мать я была, не мать...

Алексюс сгорбился, пряча глаза, а потом вдруг вспомнил все до мелочей, торспливо вышел во двор и долго стоял в садике. Об отце мать не обмолвилась ни в тот раз, ни потом, будто его и в живых не было. А когда наутро он собрался в свою профшколу, мать попросила:

— Приезжай.

— Ладно, мама.

Приехал в субботу. И ему было странно, что мать ждет его, думает о нем.

Райцентр — большая деревня, знакомого здесь встретишь если не в этот, то на другой день. Встречал на улице и Альбинаса. Привет — привет, и все тут. Но Алексюса назначили бетонщиком в то же стройуправление, в котором уже работал Альбинас. Отказывался Алексюс, не хотел, но почему — объяснить никому не мог. Наконец решил про себя: поработает до осени, потом в армию, а отслужит — подается подальше от родных мест.

Обмывали первую получку, потому что она первая. Обмывали вторую, потому что она вторая. Собрались обмыть и третью. Почему ее надо обмыть — там видно будет, а покамест уселись в вагончике за столик, уставленный бутылками. На дворе зарычал мотоцикл Альбинаса.

— Ему-то чего тут надо? — помрачнел Алексюс.

Парни кликнули Альбинаса в компанию, хотя Алексюс и пытался возражать — не надо, мол. Когда бутылок на столе поубавилось, Алексюс сказал:

— Поезжай-ка ты домой, Альбинас.

Альбинас хохотнул:

— Чего ты все рыпаешься? Чем недоволен?

— Говорю тебе — поезжай!

— Послушай, Алексюс. — Альбинас подсел к нему, и у Алексюса тут же побелели костяшки пальцев. — Сдается мне, ты меня ненавидишь. За что? Давай лучше выпьем!

Выпили раз, выпили второй, но Алексюс не успокоился:

— Говорю, чтоб духу твоего!..

— Потому что с пустыми руками пришел? На!

Порывшись в карманах, Альбинас швырнул на стол потертую десятку. Алексюс взял бумажку, порвал вдоль, поперек, еще рвал, потом трясущимися пальцами ссыпал обрывки на ладонь и, повернувшись к Альбинасу, дунул эти клочки ему в лицо.

— Дурень! — зло встряхнул головой Альбинас. — Как был ублюдком, так и остался.

— Уходи!

— Сам сперва уйдешь!

Алексюс с такой остротой ощутил на своем теле удары Альбинасова отца, что тоненько заскулил сквозь зубы, как тогда, в детстве, крепко зажмурился, а рука сама сползла с залитого водкой стола. Распухшая рука, которую в детстве хлестал резиновый шланг, сжала складной нож и резко взмахнула...

На следствии и на суде Алексюс повторял:

— Был пьян и ничего не помню.

Тяжело раненный Альбинас лежал в больнице. Бомбардировщик требовал для Алексюса, «заматерелого с юных лет бандита», высшей меры. От последнего слова Алексюс отказался и приговор встретил безразлично, даже с облегчением. Наконец-то кончились проклятые вопросы и он сможет все забыть. А когда-нибудь, отсидев срок, отыщет укромное место и начнет жизнь сызнова. Жалко было рыдающую мать.

Когда в колонии впервые услышал, как сержант окликнул рослого солдата Петрушонисом, даже не повернул головы, шел себе дальше. И вдруг пошатнулся. Петрушонис?! Смотрел на солдата издали помутившимися от догадки глазами и захотел подойти да спросить: «Брат?..» Но тут же засомневался. Мало ли таких фамилий...

Однако старался быть поближе к этому солдату и наконец услы-

шал его имя и отчество. Он самый! И Алексюс люто возненавидел Виктораса. Сам не понимал, откуда берется эта ненависть, но от одной мысли, что его охраняет вооруженный автоматом брат, кулаки превращались в камни. А после памятного выстрела зимней ночью, когда не удалось освободиться от Виктораса (не от колонии, нет!), эта ненависть обжигала его пуще огня. Она и сейчас не гаснет, чувствовал Алексюс. Когда он за бутылкой обмолвился своим приятелям об отце, которого по сей день не видел и который живет и работает в этом городе, дружки в ладони захлопали: не будь дураком, дескать, воспользуйся случаем, потом никогда не возьмешь, отец тебе должен за все восемнадцать лет, не даст денег, прижми как следует, хоть сколько-то выцарапаешь, если чего, подсобим! Алексюс слушал эти советы, глядя исподлобья, и наконец признался, что в доме отца у него есть дело поважней. Викторас — вот! И поведал дружкам еще одну историю. Услышав про такое дело, те завыли пьяными голосами: не имеешь права спустить ему это, прощенья нет — брат, а обида не терпит... Алексюс пожалел, что проговорился про Виктораса. Не стоило, правда не стоило. Насчет отца — чепуха, а вот насчет Виктораса давал себе слово молчать, и нате... Дружки часто напоминали ему об этом, требовали действовать, набивались в помощники, но Алексюс только пил и угрюмо отвечал:

— Не ваше дело.

Когда он так отрезал однажды, приятель, пригревший у себя Алексюса, сказал:

— А ты не думаешь, за чей счет водку глушишь? Третий месяц без работы.

Алексюс как держал в руке полный стакан портвейна, так и шмякнул его об пол. Медленно встал, взял из угла свою сумку и ушел.

Провалился ночь в парке на лавочке среди кустов, а утром пошел на стройплощадку и нанялся на работу. Через недельку опять встретился с приятелями, пил, и те заладили свое:

— К отцу ходил?

— Ходил.

— Ну и как?

— Никак. Признался — должен.

Алексюс сидел, стиснув зубы, и приятели не могли понять, почему он не радуется, наткнувшись на золотую жилу.

Вчера какой-то парень позвал Алексюса выпить пивка. Алексюс попросил его позвонить «одному знакомому, Викторасу». И спросить, дома ли тот. Парень позвонил. Ответила женщина и сказала, что Викторас работает в вечерней смене и вернется только около двенадцати. Теперь уже Алексюс поставил парню пива, оба выпили свои кружки и разошлись. Поздним вечером Алексюс появился на Рябиновой улице. Побродил по дворам, постоял в тени дома и испугался самого себя, своих мыслей. Трясаясь как в лихорадке, прыгнул в автобус в заднюю дверь и увидел, как из передней вышел Викторас. Дверь с шипением захлопнулась, автобус тронулся с места. Бросившись к окну, Алексюс тупо смотрел на удаляющегося брата и ругал себя за слабость. «Ты даже Виктораса не стоишь! — ударил он сам себя под дых. — Будь он таким слюнтяем, он бы в тебя не выстрелил...»

И снова шаги Алексюса едва слышно стучат по Рябиновой улице. Гуляет Алексюс, поглядывая на часы. Половина двенадцатого. Чертовски медленно ползет время. Всего десять минут как он здесь, а кажется — целый час. Ледяной ветер швыряет в лицо мелкую изморось, в одной куртке зябко, трясет озноб. Свет в окнах домов гаснет, все меньше освещенных окон, унылая мокрая пелена застлала город. Торопливо пробегает женщина, проносится пустое такси. Ти-

шина, только скрипят оголенные ветви деревьев и в одной из квартир дальнего дома плачет ребенок. Алексюс идет в одну, потом в другую сторону, возвращается к остановке, увидев двух женщин, ныряет во двор.

Слышен автобус. Алексюс сжимает кулаки в карманах куртки, заходит за афишную тумбу. Вдыхает разинутым ртом холодный воздух; напрягшийся подбородок дрожит, глаза застит ненависть. «Сейчас, Вик-то-рас, или никогда... Сейчас или никогда...», — шепчет он едва слышно, захлебываясь от злобы.

Автобус тормозит, выходит женщина с девочкой, сворачивает в сторону Алексюса, с трудом выбирается из двери хромой старик... И все... Все... Еще нет его. Нету... Девочка замечает за тумбой Алексюса, бросается к матери, хватая ее за руку, что-то шепчет. Алексюс шагает по тротуару, поглядывая на часы. Дождь хлещет сильнее.

— Сейчас, Вик-то-рас, или никогда, — говорит Алексюс и вздрагивает от звука своего голоса.

Пусто и тихо.

Где-то все еще плачет ребенок.

31

Викторас откидывает с лица защитную маску, выдергивает ладонь из рукавицы, рукавица остается под мышкой, проводит рукой по лицу, как бы снимая усталость, и, наклонясь, изучает голубой шов, осторожно касаясь его пальцами. Взмахом головы сбрасывает маску на лицо, и перед глазами снова фонтаном летят искры. Спина ноет, голова свинцовая, правая рука дрожит от напряжения, но твердо держит сварочный аппарат, крохотными зигзагами направляя электрод. Говорят, у хирурга руки тоже трясутся после операции, но они никогда не дрогнут, сжимая скальпель или иглу. Видно, потому, что тогда они не имеют права дрожать.

Когда после двухлетнего перерыва Викторас взял в руки аппарат, он почувствовал себя учеником на практике: что же делать, как подойти к металлу; рука отвыкла от этой тяжести, и за спиной нет мастера, который посоветовал бы, удержал от неверного движения. Но полужабытое пощелкивание пламени сразу же придало ему уверенности — кровь потекла медленной, мысли стали яснее и четче, а сердце заговорило: ты снова здесь и снова делаешь свое дело — так крестьянин полной горстью сеет рожь, так кузнец тяжелым молотом кует лемех, так каменщик кладет кирпич на кирпич; ты не станешь работать спустя рукава, ведь нет хуже позора, как услышать, что твой шов пузырчатый, неровный и непрочный. Эти истины вдолбил тебе сызмальства отец, а теперь ты их чувствуешь сердцем.

Первые дни тянулись без конца. И не только потому, что отвык от работы. Перебросится Викторас с кем-нибудь словом, посмотрит кто на него в цехе, а ему уже мерещится, что каждому все известно, что каждый рассуждает так: Викторас вернулся в свой цех назло Ляонасу Райжису. Отец и тот удивился, узнав, что Викторас идет на завод сельхозмашин. «Ты все продумал?» — спросил он. «Возвращаюсь на работу», — ответил Викторас, зная, что не это должен был сказать. «Да, всегда тянет в старые места, — протянул отец и снова спросил: — Уверен, что долго там выдержишь?» «Ты меня знаешь, я не из летунов», — «Знаю. Но и в сварочном цехе Райжис тебя достанет». — «Руки короткие». — «Не говори так, а главное — не делай глупостей, чтоб люди не отвернулись». Наставления отца сопровождали Виктораса всю жизнь. Каждое выслушивал, иногда, правда, стиснув зубы, но далеко не все исполнял. Такова уж, наверное, родительская доля: сами

на каждом шагу спотыкаются, а детей учат. В былые времена, говорят, раз кормили, а девять лупили, а теперь — три раза пирожное суют, а девяносто девять нотации читают. А ведь отец мог бы и не сомневаться, знает ли Викторас, куда и зачем идет. Это же не от легкомыслия! Он прав и знает, что прав. А это, пожалуй, самое главное. Это его завод, здесь он стоит прочно.

На его плечо опускается тяжелая рука, и Викторас, выпрямившись, видит дядю Симанаса.

— Так уж положено — старики первыми вспоминают молодых.

— Это потому, дядя, что у них опыта больше.

— Хитер, — смеется Симанас, хлопая его по плечам. — Как дела, рассказывай.

— Работаю, — спокойно отвечает Викторас и машет свободной рукой на кучу конусов. — До конца смены надо сшить.

— Постоял, полюбовался. Аккуратно работаешь.

— Не перехвалите, дядя, а то загоржусь и разговаривать не стану.

— Не перехваливаю, а правду говорю. Правда никого еще не испортила.

Викторас стучит аппаратом по металлической опоре, выбивая кончик электрода, закладывает новый. Кажется, вот-вот наклонится над недоконченным швом, забыв про Симанаса, но кладет аппарат на верстак, выключает трансформатор и опускает руки, встряхивая пальцами, кланяется раз-другой, распрямляя поясницу.

— Ноет?

— В первый день едва дотянул.

— И я как пришел после болезни, думал — не выдюжу.

— А сейчас?

— Как положено... — Симанас поднимает голову, сдвигает на затылок кепку; лицо у него спокойное, лицо человека, долгий жизненный путь которого у всех как на ладони («Жизнь меня трепала, да не сломила»). — Поработаю еще, Викторас. Не знаю, откуда порох берется, да есть еще. И сухой! — Глаза Симанаса вдрут тускнеют, и он глухо говорит: — Раз уж к слову пришлось... Ты не думай, что дядя Симанас выжил из ума и собирается сто лет хлеб переводить... Но когда этот час придет, лучше, чтоб он меня молотком бабахнул тут, на заводе... Не хочу никакого «прощай». Работал да свалился... Вот как бы мне хотелось. Жене не говорю, хоть чую — так оно и будет. Знаешь, если металл закалять, он не гнется, а ломается сразу.

— Зря так говорите, дядя.

— Правду говорю, чую.

— Старое дерево, говорят, скрипит да зеленеет, а молодое хрясть — и нету. Меня переживете...

— Не утешай, Викторас. У тебя дни что золотые монетки... Да я мешаю тебе. Ты работай, работай. Я-то свою смену дождал.

Симанас отходит в сторонку, прислоняется плечами к огромному металлическому барабану. Пускай его смотрит. Взлетает рой искр, в нос шибает едкий запах свариваемого металла, и Викторас сквозь темное стекло маски видит уже только стык краев серого листа жести. Где-то с гуденьем движется мостовой кран, где-то звонко бьет по железу кувалда, вспыхивают огоньки сварки в руках других рабочих. Но все внимание Виктораса приковано к медленно ползущему электроду, заливающему кипящим металлом узенькую щель. Откатив в сторону конус, Викторас снова замечает Симанаса — совсем забыл про него.

— Все еще любуетесь?

Симанас вроде и не слышит незлой насмешки в голосе внучатого племянника.

— У меня дело к тебе, все не смею сказать. (Викторас замечает озорной, почти юношеский блеск в глазах старика.) В воскресенье праздник ветеранов труда. Меня просили выступить.

— Поздравляю! — улыбается Викторас: волнуется старикан, как пионер перед первым сбором отряда. — Это серьезное дело.

— Хочу сказать там... Есть что... Эту свою речь напишу, но хорошо, чтоб ты посмотрел. Некого больше просить, сам знаешь. Были бы сыновья... — Замолкает, на лбу сбегаются глубокие складки.

— Приду к вам в субботу, — обещает Викторас.

— Вот и спасибо! И еще — начальник цеха Райжис мне про этот праздник сказал. Потом позвонили из парткома. Ну, я возьми да напхни: на пенсию ведь гнать собрались... Товарищ Петрушонис, говорят, нам все известно. Тут товарищи наломали дров, можете быть спокойны. Спокойным быть, говорю, пока начальник опять на дверь покажет? Райжис, говорят они, тут ни при чем. А я заметил — Ляонас Райжис ходит сам не свой. Исхудал, смотреть тошно. И с чего это? Конечно уж не из-за меня. Ты не обижайся, Викторас, что я так говорю... Будь здоров.

Идет по гудящему цеху стариковской походкой, сутулясь от тревог, радости и чужих бед. Викторас провожает его взглядом, пока угловатая спина старика не исчезает за широким проемом. Потом глубоко-глубоко втягивает душный воздух цеха и держит, затаив, до тех пор, пока грудь не начинает разрываться от боли. Не снимая маски и огромных рукавиц, размашистым шагом направляется в механический цех. Рабочие видят, как Викторас бродит по цеху будто в поисках кого-то, топчется в самом центре, пошатнувшись, как пьяный, идет к двери, оглядываясь. В серой мешковатой спецовке он кажется неуклюжим, громоздким, беспомощным. Кто-то окликает его, но Викторас не отзывается. Снова идет в глубь цеха, впиваясь взглядом в каждого, но не узнает и, наверное, не видит никого — не нужны они ему со своими дурацкими ухмылками. Останавливается перед зеленой дверью конторы начальника цеха. Появляется девушка в синем халатике, спрашивает о чем-то, но Викторас только качает головой и пятится — на шаг, потом еще на шаг и наконец торопливо уходит в свой цех. Садится на цементный пол рядом с грудой конусов, обхватив руками колени.

— Ненормальный! — говорит он вслух и силло хохочет. — Ты ненормальный...

Сменный мастер удивленно спрашивает, что стряслось.

— Ничего, правда ничего, — теряется Викторас и заливается румянцем: надо же — нос повесил, будто все уже кончено. Он крепко сжимает сварочный аппарат и до конца смены не выпрямляет спины.

— Всю ночь будешь вкалывать? — спрашивает, проходя мимо. Гедрюс Брашкис.

Викторас смотрит на часы — одиннадцать.

— Как быстро!

Оба смеются.

— Сколько детей у тебя, Гедрюс? Так и не запомнил.

— Три по одному да еще двойня. Итого, математик?

Опять дружно смеются.

— Вон здесь сколько народу работает. А вот двойня только у меня! Когда толкаю коляску, каждый на улице оглядывается. Послушай, Викторас, если ты в субботу не проведешь мое семейство...

— В субботу точно нет. Обещал дяде Симанасу.

— Тогда в воскресенье.— Гедрюс весело потирает руки, хлопает ими.— Вот побуяним с детисками. Супружницу мою помнишь, такая же, как была. Может, округлилась малость. Ладно, придешь — увидишь. Я побежал, дома ждут.

— Хорошо, когда ждут,— негромко говорит Викторас.

Гедрюс оборачивается, машет рукой.

Уже в автобусе Викторас думает, что ему нужно повидаться с Дейманте сегодня, сейчас. От этой мысли голову заливает жар, стучит в висках, и он произносит про себя ее имя — десять раз, сто раз, он слышит, как пахнут ее пушистые волосы, чувствует близость ее тела. «Я так давно тебя не видел, Дейманте, так давно,— говорит он беззвучно, глядя на слякоть улицы.— Сейчас я сойду с автобуса, поймаю такси и через десять минут буду у тебя. Сейчас, в этот вечер... Может, мадам Румшене (мать Дейманте он почему-то иначе не зовет) не захочет и дверь открыть? Взломаю, силой ворвусь, потому что я хочу тебя увидеть! Ах да, ты уже спишь. Рената сопит рядышком. И ты не ждешь меня, Дейманте... Я не скажу ни слова, просто посмотрю на тебя спящую и уйду...»

Викторас прислоняется лбом к холодному запотевшему стеклу. «Ляонас Райжис ходит сам не свой... Исхудал...» Зачем дядя Симанас обмолвился о нем? И говорил как-то... Вчера в заводской столовой столкнулись с Ляонасом взглядом, и Райжис отвел глаза, потоптался в конце очереди, поглядел на часы — мол, некогда ждать, тороплюсь— и ушел, так и не пообедав. Да и у Виктораса сразу пропал аппетит.

— Рябиновая улица, — объявляет водитель.

Викторас, торопливо встав, бросается к выходу.

Порывы ветра с дождем пронизывают насквозь. Тело вялое, мышцы оцепенели. Поздний час, он увидит ее завтра, думает Викторас и знает, что, засыпая, будет думать о Дейманте, проснувшись ночью — тоже о Дейманте, да и утром очнется с мыслью о ней. А когда повидается — что бы она ему ни сказала, снова будет думать и думать о Дейманте и в искрах кипящего металла будет видеть ее лицо, яркое как солнце.

Пробегают две девушки, пересекают улицу и исчезают за углом дома. Погасший фонарь, сгустившийся мрак. Над головой громоздятся черные тучи. Кто-то маячит у афишной тумбы. Пьяный, наверное, прячется от ветра. Громко стучат шаги Виктораса, по плитам тротуара барабанят капли дождя. Тишина. По спине пробегает озноб. От холода? Надо прибавить шагу. Дом уже рядом. За афишной тумбой кто-то стоит. Может, парочка... Может... «Почему отец сказал когда-то: «Ты поосторожней, сынок!»? Ах этот мой старик! Поосторожней... Будто из каждого темного угла за мной подглядывают... Пускай, мне некого бояться, вот подойду к этому пьянчужке, помогу человеку до дома добраться. А может, там парочка... Не стоит... «Ты поосторожней, сынок». Хороший у меня старик...»

Правая рука Алексюса с ножом уже вынута из кармана куртки. Тяжелая от холодного металла рука. Шаги рядом, бьют по вискам. Сейчас или никогда. Сейчас или никогда... Последние шаги... Капли дождя хлещут по лицу... Сейчас или никогда... Подстегнутый непонятной страшной силой, выскакивает в тот миг, когда Викторас уже успел сделать шаг мимо, и поднимает руку, но она тут же застывает. Черная тьма, которую, кажется, уже разрезал удар ножа, неожиданно заслоняет Виктораса, и в ушах Алексюса раздается долетевшее из крошечной тьмы слово: «Человек!..» Когда-то где-то ему уже говорили это! И тут же снова выплывает спина Виктораса, вздрагивает, он оборачивается, вспыхивают в темноте расширенные глаза. «Чело-

век!..» Алексюс, окаменев, цедит это сквозь искривленные губы — а может, это зашумел ветер? — и бросается бежать...

— Алексюс! — догоняет его удивленный голос Виктораса и камнем ударяет в спину. — Алексюс!

Бежит вдоль дома, влетает во двор, пересекает скверик, задыхаясь, взбегает на пригорок. Спотыкается, падает, думает — не вставать больше, лежать так, но вскакивает и снова бежит, бежит, бежит, его подгоняет топот собственных ног.

А Викторас все еще стоит у дома и смотрит на плотную завесу измороси.

32

— Папочка, ты нехороший!

— Почему, Рената?

— Ты мне не звонишь. А я тебе звоню и звоню.

— Правда. Зато я все время про тебя думаю.

— Подумаешь, вот и звони. А то я не знаю, когда ты думаешь.

— А твоя бабушка на меня не рассердится?

— Я ее в гроб вгоню!

— Что ты говоришь, Ренателе!

— Так бабушка говорит. Я ее раздражаю. Падаю на пол и кричу.

— Так нельзя, Ренателе.

— Можно! А почему она мамочку раздражает? Я слышала, что она говорила про моего папу и еще... не знаю, про кого... Не хочу рассказывать.

— И не рассказывай, Рената. Не надо.

— В другой раз расскажу.

Рената втягивает через желтую соломинку со дна стакана последние бусинки пены молочного коктейля и просит носовой платок. Потом кладет жаркую ладонку на руку Антанаса Петрушониса и серьезно кивает склоненной на плечо головкой:

— Спасибо. Теперь можем идти.

Петрушонис благодарен Дейманте, которая вчера вечером сказала в трубку: «Хорошо, папа, возьмите Ренату из садика». Он схватил после работы такси — на автобuse-то дорога длинная, а хотелось поскорей увидеть внучку, услышать этого смышленного воробышка. Как мало иногда человеку нужно — держишь в руке детские пальчики, чувствуешь, как по ним течет капелька и твоей крови, и ты уже счастлив. За долгий день хоть на минутку почувствовать это — разве не счастье?

«Что нам теперь делать?» — думает он уже на улице, а Рената, как бы угадав его мысль, говорит:

— Поехали, папочка!

— Куда ты хочешь ехать?

— Не знаю. Все равно поехали!

Небо высокое, серое, ветра нет, тротуары чуть подсохли. Того и гляди нагрянут морозы: конец ноября; в другие годы, как помнит Антанас, в такую пору снегу было по пояс, а сейчас и лето на лето не похоже и зима на зиму.

— Автобус, папочка, поехали!

Бегут, взявшись за руки; автобус, моргая красным глазом, ждет, пока они заберутся. Рената садится к окну, Петрушонис рядом. Какой это маршрут? Надо бы спросить женщину, что сидит напротив, но разве не все равно, куда ехать? Потом пересядут в другой и вернуться. Может надо было к реке пойти? Мокро после этих дождей, сыкотно.

Привел бы домой, но Виктораса все равно нету, на работе. Вчера, вернувшись за полночь, вошел в комнату сам не свой, даже не сняв пальто, и сказал: «Помнишь, отец, как на Севере велел мне быть осторожнее? Не умею я осторожничать, я бы даже не защищался, наверное, у меня в голове не умещается, как можно... как можно, отец!». Говорил еще что-то невразумительное, путался, а когда Петрушонис попробовал расспросить, сын только головой покачал и опять: «Нет, никогда не пойму... Нет, нет...» — и ушел в свою комнату. Сердце чует что-то...

— Папочка, — хватает за руку Рената, — мы стоим, а деревья едут!

— Так кажется.

— Нет, правда. Ты посмотри.

Смотрит Антанас Петрушонис на дома, на летящие мимо машины, на мелькающие переулки и огромные заводские корпуса. А когда-то приехал сюда с чемоданчиком и весь город пешком минут за пятнадцать прошел. Мимо развалин, мимо деревянных домишек, спрашивая про Огородную улицу, на которой жил дядя Симанас. Да уж, что ни говори, а не увидит Викторас таких перемен за свою жизнь. Он вырос на асфальте и все застал другим. И если хотел чего, то знал и знает, чего хочет. А вот они, явившись сюда из деревни, чего ждали тогда? Верили, что будет лучше, и все тут. А что такое «лучше», не понимали. Что они видели в своем детстве да юности? Босиком день-деньской до первых морозов, горбушка хлеба да ложка постного масла на целую миску капусты. Сперва стадо и кнут, потом коса да топор... и заунывная песня долгими вечерами: «Ты ушел навсегда в день туманный, под немолкнувший шелест берез...» Не о тебе еще была эта песня, о других, что ушли раньше. Но ты тоже поглядывал на раскисшую осеннюю дорогу. Мог ли ты тогда, скажи, подумать, что пройдет всего лишь двадцать лет — и по этой дороге ты будешь топтать не пешком, перебросив через плечо башмаки, а поедешь на своей машине! И сколько в тебе окажется высокомерия — я тот самый, которого вы видали с рваной мотней! — ты ведь больше хочешь себя показать, чем проведать своего старшего сына... Ах, Антанас Петрушонис... Как ты поговаривал когда-то — «гад». Конечно, найдешь чем оправдаться — мол, твои руки за эти годы не знали отдыха. А теперь нашел сладкое забытье, взвалив на себя непосильную ношу работы. «Это такой жук, он из нас последние соки выжмет!» — сказал сегодня Владас Качергюс, и Антанас Петрушонис не обиделся, но и не пропустил этих слов мимо ушей. Ответил: «Баклуши бить не будешь». Качергюс-то бесится. Пускай, привыкнет к новому порядку, если захочет, конечно, а если нет...

— Рената, слышишь, — шепчет Петрушонис, наклонившись к внучке, — я тебе секрет скажу. Его еще ни твой папа не знает, ни бабушка. Тебе первой скажу: сегодня меня поставили бригадиром.

— А что это такое?

— Бригадир — это старшой, он всеми командует.

— Знаю, знаю! Как наша воспитательница.

— Похоже, Рената, но я боюсь.

— Воспитательница, когда нас выводит на прогулку, тоже боится... Чтоб мы не отстали.

— Верно, Рената, я тоже этого боюсь.

— Но мы хорошие, слушаемся воспитательницу. И тебя будут слушаться.

Антанас Петрушонис целует в висок свою маленькую собеседницу, поправляет ее вязаную шапочку, но Рената вдруг вырывается, прижимаясь носом и ладошками к окну автобуса:

— Снег! Снег!

Звонкий голос звенит на весь автобус, заражая этой чистой радостью пассажиров, и глаза у них весело блестят.

— Снег, папочка!

С сизого сумрачного неба падают редкие снежинки. Невесомо паря и вихрясь, они опускаются на плечи прохожих и оголенные деревья. Люди в автобусе уже радостно говорят о морозах и подводном лове, о поездке в горы и лыжных трассах, о теплых сапожках для детей и фигурных коньках. И все поглядывают на девочку, прилипшую к окну,— она вся там, где трепещут белые снежинки...

Антанас Петрушонис вглядывается и с удивлением замечает, что они уже пересекли весь старый город.

— Ты знаешь, где мы? — спрашивает он у Ренаты.— Это вокзал.

— Я хочу поезд.

— Там дымом пахнет. И люди толкаются. Давай лучше вернемся.

— Я хочу поезд! — упрямится Рената.

По улице она идет, протянув ладонь, и ждет, когда же на нее опустится снежинка. Но снежинки проносятся мимо, и когда Рената пытается поймать их, они отлетают от ее узорчатой варежки. Петрушонис показывает снежинки, прилипшие к металлическим перилам лестницы.

— Я не хочу эти. Я хочу живые,— говорит Рената.

Где-то басовито гудит тепловоз, лязгают буфера, и девочка, забыв про все, тянет дедушку к поезду. Антанас Петрушонис думает: как он мог жить эти два месяца (правда, почти два месяца!) без ежедневных прогулок с Ренатой? Конечно, вечером он отведет ее к двери родителей Дейманте и, повернувшись, уйдет домой один. С вечерней смены вернется Викторас, и он расскажет ему. Сын рассердится? «Так собираешься сноху вернуть?!» Нет, нет! Викторас иногда сам не знает, что несет. И против своей воли порет эту чушь, по глазам видно. Но Антанас не может иначе, ведь это его дети: и Викторас, и Дейманте, и Рената, и... Вот-вот, Антанас Петрушонис, давай-ка вспоминай... Приехал ты тогда из деревни, сошел на этом перроне, осмотрелся, будто оказавшись за полночь в глухом лесу, и даже не подозревал, что в жизни все так переменится. Разве ты думал тогда о своих будущих детях? А если бы задумался, то сказал бы себе: они будут счастливее, чем ты... Не будут знать забот. А что ты скажешь сейчас, оказавшись на этом самом перроне? Не забудь оглядеться, Антанас. Как давным-давно, когда не знал даже, кого именно ищешь взглядом. Оглядысь, сейчас ты ведь всюду обводишь глазами лица. Вот поищи взглядом и в этой толчее...

Ей-богу, это похоже на сон, и Антанас даже поднимает руку к глазам. Да, это он!.. Смотрит на билет, видно забыл, который вагон. Поезд стоит на первом пути, на перроне уже одни провожающие, и что-то хрипит громкоговоритель. Железнодорожник, стучавший молотком на длинном черенке по колесам, отходит в сторону. Раздается свисток, загорается зеленый глаз семафора. Рената спрашивает о чем-то, но Антанас не слышит, он продирается сквозь толпу, волооча за собой девочку и видя только широкую спину мужчины, его склоненную голову. В руке потертая дорожная сумка, сплюснутая, видимо налегке едет. Медлит чего-то, вертит в пальцах билет.

— Уезжаешь, Алексюс?

Он смотрит на Антанаса устало, как бы не узнавая, кажется, сейчас спросит: «Кто вы? Чего вы от меня хотите?» «Глаза Эляны,— думает Антанас Петрушонис,— она так на меня посмотрела, когда увидела спустя столько лет».

— Я хотел тебя встретить, Алексюс.

Выглядит он старше своих лет. Лет на десять, не меньше. Следы лагеря? Но ведь давно вышел: в тот раз их незаметно было.

Бровь Алексюса дергается, глаза гаснут.

— Куда ты уезжаешь, Алексюс?

Губы искривила скупая улыбка: «С каких это пор тебя интересуется, куда я еду? Да, с каких пор?»

— Мы тогда говорили... — Молчание Алексюса смущает Петрушониса. — Ты намекнул... Я понимаю, Алексюс... Я хочу...

Антанас Петрушонис глотает слова, которых так и не смог произнести, рывком распахивает пальто, лезет во внутренний карман пиджака — трясущиеся пальцы запутались в мохнатом широком шарфе, — он шарит, шарит... Наконец-то! Но это не пухлый конверт с деньгами. Печной жар обжигает грудь, пронзает сердце.

— Папочка, когда я была маленькая, ты мне говорил, что покатаешь на поезде. Ты обещаешь-обещаешь и забываешь.

Петрушонис смотрит на девочку, растерявшуюся на этом гулком перроне, глядящую на все вокруг любопытными глазками. Только теперь замечает ее Алексюс и наверняка понимает — Виктораса дочка. Отворачивается, опускает голову, сутулится. Рука Петрушониса за пазухой горит огнем: выдергивает он ее резко, сжимает пальцы в кулак — всей пятерней разгребал угольки, но так и не высыпал их в горсть сыну.

Алексюс отворачивается и торопливо, едва не спотыкаясь, уходит, хватается за поручень вагона и вспрыгивает на ступеньку.

— Кто это, папочка? — спрашивает Рената.

Вагон дергается, поезд трогает с места. Лязгают буфера. Люди идут по перрону, машут уезжающим, но вагоны бегут все быстрее и быстрее. Даже не посмотрел, куда идет этот поезд, думает Антанас Петрушонис, но вяло, как бы между прочим — не это сейчас важно. Может, вернется когда Алексюс, думает опять. Может, еще нужна будет ему помощь...

— Папочка, ты совсем со мной не разговариваешь! — жалуется Рената.

Они выходят из узкой двери вокзала и долго стоят на высокой лестнице, а перед ними площадь, оживленные улицы, убегающие в искрящийся вечер, погруженные в густые сумерки дома и башни.

— Это наш город, Рената, — говорит Антанас Петрушонис, и в этот миг сквозь колышущуюся снежную пелену, белесую и невесомую, перед его глазами всплывают поля, ржаные колосья в жаркой пыльце, качается кудрявая вершина тополя, трепещет солдатская, промокшая от его пота шинель на деревенском плетне... Все так далеко, кажется, и все так близко.

— Сейчас уже зима, папочка?

— Наступает.

— А потом?

— Потом будем ждать весны...

Перевел с литовского ВИРГИЛИУС ЧЕПАЙТИС.



АЛЕКСАНДР ЧЕЛНОКОВ



МАТЕРИ

Платок в руках немного волглый,
Могила вся в снегу — бела.
Я снова здесь, я ненадолго —
Опять спешу, опять дела.

Вот в целлофановом пакете
Зерно для птиц. Поможет мне
Зерно рассыпать добрый ветер,
Поющий робко о весне.

Снег осторожно серебрится,
Не снег — живая благодать!
Уйду, и вслед за мною птицы
Слетят с берез проведать мать.

Ей будет весело... То щебет,
То взмах спокойного крыла
Ей возвестят, что солнце в небе,
Что сын вершит свои дела.

.

Стою у железной ограды,
Ограда немислима тут —
Пройдут сквозь нее листопады,
Дожди сквозь ограду пройдут.

Кусочек земли сокровенной,
Где ты успокоилась, мать,
Не оградить от вселенной,
У солнца вовек не отнять.

Ты лишь на коротком ночлеге...
Как только наступит весна,
Воскреснут живые побеги,
И будет тогда не до сна.

Травинка пробьется: — Не надо
Печалиться больше... Держись!
И за могильной оградой
Моя продолжается жизнь.

* * *

Пусть поэмка над могилой вьется...
До последних дней припоминать,
Как торжественно и тихо солнце
В путь последний провожало мать.

От луча, что радугу пророчил,
В гроб всеялся отсвет золотой,
И лежала мать моя в платочке
Беззащитной, старенькой, святой.

Луч коснулся родинки приметной,
Той, что засветилась на щеке.
Я вздохнул и вдруг под снежным ветром
Мать мою увидел вдалеке.

Улыбнулась: — Становись огромней!..
Я сроднилась с солнышком, мой сын,
И тебя согрею... Только помни:
Ты со мной... Ты больше не один.

Пусть поэмка над могилой вьется...
До последних дней припоминать,
Как торжественно и тихо солнце
В путь последний провожало мать.



ЮРИЙ БОНДАРЕВ



МГНОВЕНИЯ

Звездные часы детства

Вот начало этого настроения:

«На западе прозрачным леденцом стояла меж стогов сена луна, и длинный хвост Большой Медведицы опустился к побелевшему востоку. Уже выпала роса, было тепло и сыровато. На речных заводях в блаженном упоении стонали лягушки...»

Когда я видел и чувствовал все это? Я представил тишину, околицу деревни, звуки летней ночи и в этой ночи увидел себя на берегу реки босого, невыспавшегося, счастливого от ожидания рыбалки. На моем плече елозила, давила тяжесть влажного весла (всю ночь лежало в траве), другое весло нес мой брат, и мы спускались к заводу, где под откосом в еще сумрачной тени деревьев чуть-чуть покачивались лодки и ласковая волна мягко шлюпала у просмоленных днищ. Я ощущал босыми ногами сырость песка и видел, как вода возле камышей уже трепетала и переливалась в розовеющем свете зари.

И вот это раннее летнее утро до сих пор связано с иной радостью, как бы рожденной самой рекой, зарей, деревьями, холодным песком,— полуметровые язи с огненно-красными плавниками, сильные, упругие, рвались на леске перетяга, который мы поставили вечером. и боролись с нами, и выскальзывали из рук, эти круглоглазые красавцы тайных речных глубин, покрытые рыцарским золотым панцирем. Они лежали потом на дне лодки, туго ударяя хвостами, и чувствовал я какой-то священный восторг при виде этой пойманной красоты и вдыхал в себя первозданный запах ила, запах обмытых омутной темью коряг, где недавно царствовали они, толстоспинные и самоуверенные властелины вод.

Щекотно-сладостное чувство ловца, охотника я переживал в детстве не однажды, и всякий раз счастливое ликование победы охватывало меня. Возможно, токи древних предков пульсировали в моей крови, напоминая о том первобытном времени, когда само существование рода человеческого зависело от удачной охоты за пищей насыщенной.

Но все же я испытывал наслаждение не от добытой тогда пищи, а от силы красоты, заключенной в той холодной упругой плоти красноперых язей, что уж никак не преобразовывались в моем детском сознании в нечто вожденное, имеющее вкус, запах еды, необходимой человеку для продолжения жизни. А было восторженное удивление перед пойманными живыми золотыми слитками, сказочными знаками непостижимой тайны реки, всего того летнего утреннего мира...

Почему я пожал ему руку?

Утром, бреясь перед зеркалом, с неожиданной неприязнью увидел бледность на лице, морщины под глазами, которые словно улыбались кому-то чересчур доброжелательно, и, кривясь, вспомнил, как вчера встретился в дверях лаборатории с молодым удачливым профессором, делающим необъяснимо быструю карьеру в науке. Карьера его не была определена особым умом или выдающимся талантом, однако он стремительно шел в гору, защитил кандидатскую, уже писал докторскую, поражая коллег-сверстников бойким продвижением и умением нравиться начальству.

Мы не любили друг друга, едва здоровались издали, наша нелюбовь была и в тот момент, когда столкнулись в дверях, но, увидев меня, он молниеносно заулыбался счастливой улыбкой, излучая энергию радости, горячего восхищения этой внезапностью встречи, и стиснул мне руку со словами:

— Очень, очень рад вас видеть, коллега! Только на днях прочитал вашу первоклассную статью об Антарктике и посожалел, что не работаем вместе над одной проблемой!

Я знал, что он лгал, ибо никакого дела ему не было до моей работы, и хотелось сухо ответить принятыми словами вежливости «благодарю», «спасибо», но я тоже заулыбался обрадованной улыбкой, затряс его руку так продолжительно, так долго, что показалось — его испуганные пальцы в какой-то миг попытались вывинтиться из моих пальцев, а я, трясая ему руку, говорил совсем осчастливленно:

— Я слышал, начали докторскую? Что ж, это великолепно, не упускаете время, мне весьма нравится ваша серьезность, профессор!

Я не знал, что со мной происходит, я говорил приятно-льстивые фразы вроде бы под диктовку и чувствовал, что улыбаюсь сахарнейшей улыбкой, ощущаю даже лицевыми мускулами.

И это ощущение собственной собачьей улыбкой, долгое трясение его руки и звук своего голоса преследовали меня целый день — о, как потом я морщился, скрипел зубами, ругая всеми словами, проклиная некоего второго человека внутри себя, кто в некоторых обстоятельствах бывал сильнее разума и воли.

Что это было? Самозащита? Благоразумие? Инстинкт раба? Молодой профессор не был талантливее, не был умнее меня, кроме того, занимал положение в институте, зависимое от исследований моей лаборатории, а она нисколько не зависела от его работы. Но почему с таким сладострастным упоением я тряс руку этому карьеристу и говорил приятные фальшивые слова?

Утром, во время бритья разглядывая свое лицо, вдруг испытал приступ бешенства против этого близкого и ненавистного человека в зеркале, способного притворяться, льстить, малодушничать, как будто надеялся прожить две жизни и у всех проходных дверей обезопасить весь срок земной.

Вдова

В банкетном зале произносили тосты, лилось вино, сияли потные, возбужденные лица, говор за столами становился все громче, и нетрезвый шум этот уже заглушал слова пыльных приветствий, и теперь не слышно было, что говорили, о ком говорили, ибо наступил тот момент, когда виновник торжества перестал быть единственным центром внимания, как это бывает на любом юбилейном банкете.

Надо было уходить, и я незаметно вышел из накуренного зала в пустынный коридор. И здесь, в прохладной после духоты тишине, неожиданно увидел возле широкой мраморной лестницы сухощавую

женскую фигуру всю в траурно-черном, даже черные перчатки натянуты были до тонких локтей. Особенно странно выделялась черная широкополая шляпа, какие носили в двадцатых годах, почти закрывшая ее сухонькое бледное лицо со стеклянным взглядом... Не увидев меня, равномерно передвигая по мраморному перилу слабой кистью в креповой перчатке, она спускалась по ступеням, отражаясь в зеркалах подобно грозному знаку среди смутных отзвуков доносившегося сверху веселья и этого мрамора, лестничных ковров, богатых хрустальных люстр над головой.

Я поклонился ей, а она по-прежнему не заметила меня, ее прозрачные застывшие глаза ничего не пропустили внутрь. Наверное, она была пьяна, потому что внизу покачнулась внезапно и на миг приостановилась у перил, клоня голову, отчего поля шляпы совсем закрыли лицо, и постояла несколько минут, локтем прижав к боку маленькую, обшитую бисером сумочку. Это была вдова крупного ученого, бывшего основателя и директора нашего научно-исследовательского института, место которого три года назад занял другой ученый, менее известный, но более удачливый, более решительный, чей пятидесятилетний юбилей институт торжественно отмечал сегодня.

Я не видел ее там, наверху, где шумели речи, пили, смеялись, лобызались с юбиляром, воспитанно-вежливым, седовласым, аристократически-утонченным во всем облике своим, где ни разу, хотя бы вскользь, не вспомнили о бывшем директоре института, собственным воловьим трудом и упорством поднявшим его до всеевропейского значения. И я представил, какую боль пережила она в банкетном зале, приглашенная кем-то, никому не нужная, забытая, как и ее муж, — и то, что, вся траурно-черная, спотыкаясь на лестнице, она уходила с банкета в прежнее непоправимое одиночество, чувствовать было невыносимо.

Потом я вообразил, как она войдет в пустую квартиру, беспомощная, слабая, плачущая от тоски, пройдет в его кабинет, в это царство тишины, воспоминаний, бессилия, в котором властвует «навечное отсутствие» его голоса, его глаз, живого тепла, и, оглядев сиротливые книжные полки, упадет лицом вниз на диван, шепча немолдыми губами о жестокости жизни.

СТРАШНЫЕ СНЫ

Посланец

Хмельной после банкета, я бежал по улице провинциального городка с грязными одноэтажными домами, бежал торопясь, задыхаясь, в отчаянии чувствуя, что опаздываю на поезд: оставалось несколько минут до его отхода, а еще надо было собрать чемодан, уложить вещи (какие вещи, почему уложить?), взять у кого-то билет, уже купленный для меня...

А из ворот на улицу беззвучно выезжали покрытые рогожей, обляпанные грязью подводы, и возле ближней подворотни стоял ко мне спиной человек в нелепо широком темном плаще, напоминавшем сложенные на плечах крылья, и распорядился отъездом подвода, жестиками командовал возницам, мужичкам с острыми бедовыми глазами.

Я обрадовался несказанно, встретив этого широкоспинного человека, — да, да, ведь у него должен быть мой билет на поезд, ведь прежде этот человек был хорошо знаком мне: когда-то вместе с ним ездили мы очень далеко за границу... Я остановился посреди мостовой, переводя дыхание, он тотчас повернулся, но, оказывается, лица у него определенного не было, а было нечто такое, что сообщало ясно: действительно, у него билеты, он знает номер вагона и мое место в поезде.

Но кто он?

И не в силах вспомнить его знаменитое имя, я крикнул ему, что бегу за вещами в другой конец города, поэтому опаздываю на поезд (он ничего не ответил), и стал просить свой билет, умолять хотя бы сообщить номер вагона и место (ответа тоже не последовало), и, изумленный чудовищной его немотой, я бросился опять вверх по улице, по осенней грязи.

Не ведаю, где я укладывал чемодан — номер ли был это гостиницы, комната ли в частной квартире, помню лишь, как среди множества кучек скомканных на столе, на полу бумажек собирал разбросанные вещи, лихорадочно затискивал их в до отказа набитый чемодан. Он был переполнен, а я все время что-то забывал и отыскивал забытые мелочи в рассыпанных по комнате бумажных комках, в который раз открывая безобразно раздутый чемодан, одновременно с пьяным ужасом думая, что опоздал окончательно — секунды остались до отхода поезда. Но тупая сила заставляла меня суматошно искать, с хаотичным упорством шарить в кучах бумажек, и вновь распаковывать чемодан, и вновь закрывать его, и вновь открывать.

Что я забывал? Какие вещи? Не могу вспомнить никак. В сознание врзалось только вот что. Когда с чемоданом неподъемно-чугунным и вроде бы невесомым добежал я, вконец истерзанный, потный, запыхавшийся, до вокзала, перрон был совершенно пуст. Вокруг ни живой души. А поезд отходил, и все двери вагонов были намертво заперты. Тогда в растерянности я увидел единственного человека, который вдруг появился в красной фуражке и, раскрывлив черные полы плаща, спрыгнул с платформы на освобожденные рельсы, где только что двигался поезд. Человек в плаще перешагнул через стрелку, потом обернулся и совсем уж равнодушно помахал свернутым флажком то ли мне, то ли кому-то невидимому за моей спиной, подтверждая конец отправки. И здесь на вымершем перроне, пораженный безмолвием вокзала, я отчетливо вспомнил фамилию и профессию этого известного человека, с которым мы когда-то вместе ездили за границу. Так неужели именно он недавно стоял в подворотне ко мне спиной, неужели у него были мои билеты и он был назначен распоряжаться отъездом, а теперь, ступив на пустой путь, подавал знак оттуда, посланец времени?

Этого человека я знал в живых. Он умер лет десять назад.

И утром, спрашивая себя, почему он явился мне во сне, стараясь по порядку воспроизвести собственные замедленные действия в той необъяснимой нелепости спешки, я вдруг покрылся холодным потом от внезапной мысли, пронзившей меня.

Что все это означало: мой срок еще не настал и номер вагона, номер места еще неизвестен на конечной станции?..

У кассы

В длинной очереди я подходил к железнодорожной кассе, а сзади геснили меня, наваливались, дышали в затылок. Потом возникло за стеклом у электрической лампочки белое узкое лицо с козлиной бородкой, оно, это лицо, что-то говорило мне, я же не мог разобрать ни слова, потому что оглох (наверно, это сказывалась моя артиллерийская глухота после войны), и, весь неудобно искособочась под напором очереди, нагнбался, принялся ухом к окошку кассы, но по-прежнему не слышал его голоса.

В бессилии я кричал, ругался, негодовал, однако он ничего не понял из моих слов, а я не понял его. Затем сильным ударом в бок меня оттолкнули от кассы, и грубые суетливые спины темно задвинулись,

закачались, сомкнулись, стеной загородив кассира и свет из застекленного окошечка.

Этот сон, подобно продолжению, снился мне дня через два после первого сна, и опять утром я подумал с надеждой: билет на поезд мне не дали, ибо рано еще уезжать...

Обман

Появилась перед моими глазами старая наша квартира в деревянном доме глубинного Замоскворечья, комната в сумерках, и она, уже седая, оплывшая, сидела за обеденным столом. И, полуобернувшись к нам, уперев одну руку в жирное бедро и нелепо жестикулируя другой, внушительно говорила о том, что решила обручиться с красивеньким студентом Петей (хорошо помню это имя), образованным, непьющим, на сорок лет моложе... А мы с женой слушали это сообщением покорно, согласно, но тошнотное чувство вязкой муки сдавливало мое сердце. Сразу не мог понять, почему так нехорошо, так душно было дышать... И неожиданно осознал: вот оно случилось или случается сейчас, что-то противоестественное, страшное, чего быть никак не может. Она мертва, она раньше времени ушла из жизни, устав от земного существования, и, стало быть, невозможен, немислим этот брак с тихим красивеньким Петей — разве могут мертвые выдавать себя за живых?

Моя жена, бледная, худенькая, подобная девочке, полулежала на диване возле оконца, задернутого белой занавеской, восторженно глядя на ее нелепые жесты, на движения рук над обеденным столом, и тогда я ужаснулся: зачем она лжет моей жене, доказывая, что отлично себя чувствует, поэтому хочет любить Петю, в то время как ее, этой старой женщины, нет на свете? Ведь я хорошо помнил, как в загородном морге я помогал санитару, угрюмому, небритому, переключать покойную со стола в гроб, помню, какими ледяными, каменными были икры ее коротких ног.

Я бросился к жене, поднял ее с дивана, отвел в угол комнаты, вмиг осветившейся белым электричеством, стал говорить, что происходит нелепица, дьявольщина, сумасшествие...

И она, поняв меня, беззвучно рыдая, затряслась вся, обливаясь слезами, закидывая назад голову, и, рыдая, засовывала кончики длинных пальцев в рот, будто мерзли руки от страха, от понимания противоестественного, безумного...

Погоня

Мы шли по темному ночному проселку среди молчаливых осенних полей, моя жена держала меня за руку, и я не видел ее во тьме, но чувствовал, как легонько ступали ее босые ноги в мягкой пыли.

Было так тихо, так сиротливо в непроницаемой ночи, что чудилось: остались мы одни на давно вымершей пустынной земле.

Когда позади возник шум мотора, я оглянулся и увидел очень далеко, впотьмах равнины огни фар — одинокая грузовая машина двигалась по проселку, с сумасшедшей скоростью догоняла нас, и уже через минуту желтые лезвия фар уперлись нам в спины, уродливо взметнулись наши громадные тени впереди на дороге, и мы в тот же миг едва успели отскочить за кювет. Машина с грохотом пронеслась мимо, огромная, тяжелая, черная, похожая на железное разъяренное чудовище. Мы ошеломленно смотрели ей вслѣд, переводя дыхание, не понимая, откуда и куда она бешено мчалась, куда спешила. И вдруг

мне показалось: черная масса машины замедлила скорость метрах в ста пятидесяти от нас, длинные щупальца фар резко скользнули в поле, машина свернула влево, и, к своему удивлению, увидел я, что она поворачивает назад. Зачем? Куда?

А она повернула, гремя железным телом, и понеслась назад, фары пронзающими копьями нацелились мне в глаза. И я почти ослеп, ужасаясь тому, что плохо вижу, и тому, что, съехав с дороги, машина необратимо несется прямо по полю на нас, готовая раздавить, опрокинуть, убить...

Мы, обмершие, растерянные, упали в кювет, а вблизи с оглушающим металлическим громом вращающихся колес, горячо обдавших смерчевым ветром, промелькнула эта машина-убийца. Кто в ней сидел? Потерявший разум шофер? Или не было там никого?

— Бежим! Быстрее! Только быстрее! — крикнул я жене, лихорадочно соображая, что мы сумеем отбежать, спрятаться в полевых потемках, пока она, машина, не развернулась, пока она опять не обнаружила нас, не осветила фарами в кювете.

Я схватил за руку жену, потянул ее из кювета с неистовым упорством, и мы кинулись по полю, то и дело проваливаясь в рытвинах, с размаху падая в колючую стерню, мы пытались спастись в непроглядной бескрайности ночи.

Неожиданно стерня кончилась, пошла мокрая трава, мы увязали, путались ногами, утопали в ее зарослях по пояс, стало невыносимо тяжело бежать, мы задыхались, рука вконец обессилевшей жены норовила выскользнуть из моей руки, а я так судорожно сжимал ее, что она, бедная, вскрикивала на бегу.

Мы бежали в адскую пустыню осенней ночи, глухую бездну без конца и края, и в этой укрывающей нас бездне темноты я внезапно ощутил, что спасения нигде нет. Затылком я почувствовал горячее прикосновение, словно бы наведенное в голову смертельное жало, поле впереди пронзилось светом, заскакали наши вытянутые тени, мощный рев мотора за спиной все приближался, нарастал, наступал, оглушал, и уже близкая ревущая громада машины подпрыгивала, накатывалась, дышала жарким железным потом.

Я оглянулся и понял, что это гибель. Мне померещилось, что нацеленные фары грузовика злобно вращались, как глаза, в них было мутное выражение вожденного убийства, в них было сладостное желание упиваться видом чужих мучений и человеческой крови. «Где я видел это? Что это? — мелькнуло ужасом в моем сознании. — Машина? Шофер-убийца? Или вампир с другой планеты?» А машина мчалась в нашу сторону, и дьявольский огонь фар прожигал своими глазами насквозь, грохотала вся земля вокруг.

В последний момент я услышал, как жалобно закричала жена, падая позади, и, окаченный ледяной волной нежности, страха и защиты, с такой безумной силой поволочил ее, бессильно плачущую, за руку по скользкой траве, с такой силой потащил куда-то вбок от смертельного света, дьявольских глаз, что почти в бессмятстве упал сам. И в следующую секунду, вздымая волосы на голове, ожигая лицо лязгающим вихрем, гигантские колеса пронесли в десяти сантиметрах от моей щеки и черное тело, казалось, загородило на мгновение черноту ночи. «Ну все, — смутно подумал я, еле продохнув, еле соображая. — Теперь он уверен, что раздавил нас. Только подождать... полежать в траве, не шевелиться, не подавать признаков жизни... и все — кончится...»

Не знаю, где я нашел волю улыбнуться жене, успокоить ее, сказать, что мы попали в странную переделку, но тут же замолчал, замер, весь покрываясь испариной приговоренного к казни. Я опять

услышал приближающийся вой накаливающего мотора, уже в состоянии предгибельного отчаяния выглянул из травы, и то, что увидел, сказало мне — вот он, конец. Машина, подобно расшвирипевшему кабану, поворачивала в поле, вонзая вокруг себя клыки света, с дикой поспешностью развернулась и вновь беспощадно, озлобленно, хищно помчалась на нас, как если бы чуяла и знала, что мы еще живы.

С последним усилием я сцепил пальцами хрупкую кисть своей жены и, не выпуская ее, пополз неизвестно куда, во тьму, оглушенный бешеным лязгом, грохотом, рычаньем этой ненавистной мощи. Я полз, считал секунды и проклинал себя за беспечность, за жалкую беспомощность — где мои родные противотанковые орудия, где хотя бы одна граната? — и обезоруженность испытывалась тем страшнее, что в руке моей стиснута была влажная ладонка жены, единственной женщины, которую я любил безумно.

Так и остался в моей памяти этот сон: чудовищно огромный грузовик в осенней ночи и я и жена то ползем, то бежим по полю жизни, пытаясь спастись от какой-то злобно-неустанной, наступающей мстительной силы.

Не каждого ли человека мучило подобное сновидение?

Частица от идеальной женщины

Что есть женская красота? Правильные черты? Линии фигуры? Взгляд? Походка? Кто может ответить: что вызывает нашу любовь?

По крайней мере я до сих пор испытываю некое счастливое чувство, вспоминая летнее утро в далекой поре отрочества, когда в первый раз увидел ее на дачной террасе, заросшей сиренью. Она сидела в соломенной качалке, задумчиво покусывая стебелек травы, и читала — прохладная тень пятнистой сегкой скользила по страницам, по ее молодым открытым коленям, и они особенно бросились мне в глаза, как только я взбежал из сада на террасу. До запаха травы помню это чудесное утро начала лета, посвистывание скворцов в зелени листвы, нежное поскрипывание качалки и вот эти обласканные солнцем и тенью круглые колени, на которых имела право лежать книга, прикасаясь к женскому телесному теплу. И помню, мысль о ласковом тепле ее ног тогда ожгла меня чувством какой-то порочной чистоты этой таинственной незнакомки, приехавшей к нам на дачу вместе со светловолосым молодым человеком.

А он, молодой человек, носил хорошо выглаженные чесучовые брюки, шелковую спортивную майку, и, не знаю почему, я сразу почувствовал горькую боль ревности к его физической силе, великолепной его походке, самоуверенной улыбке, показывающей чистоплотные зубы, а когда в тот же день на закате увидел, как он играл на дачной площадке в волейбол — мастерски подавал мяч, пасовал, гасил, блокировал, высоко прыгал, изгибаясь большим натренированным телом, — когда я увидел, как она, играя с ним возле сетки, шуточно, смеясь, вытерла платочком пот с его лба, то ощутил вдруг уже не ревность, а нечто близкое непримиримой ненависти к нему.

В ту же ночь меня разбудил тихий свист. Так на даче вечерами мои загородные приятели подавали сигнал за садовым забором, вызывая из дома условленным этим звуком. Я спал на раскладушке в угловой комнатке, тесной, жаркой, с закрытым окном, спасаясь в духоте от злых полчищ июньских комаров. Но услышав сквозь сон призывное посвистывание, вскочил с постели, распахнул озаренную луной половинку окна и, предполагая ночную рыбалку на ближних озерах, дважды отозвался утиным кряканьем, что означало: слышу, сейчас выхожу для переговоров. Однако не успел я закрыть окно, натянуть рубаху,

как опять послышался вторичный сигнал, и вместе с теплой сыростью травы вполз в мою комнатку из лунного сада вкрадчивый звук шагов, похрустывание веточек где-то вблизи дома. Все не совпадало с условным вызовом, и, удивленный, я осторожно взгляделся в обмытые синеватым воздухом заросли сирени, а там, совсем рядом с домом, на миг зажегся и погас желтый свет ручного фонарика, и — показалось — дошел оттуда сдавленный веселый шепот:

— Эй, на мансарде, соня несчастный, не смейте спать в такую ночь! Немедленно спускайтесь в сад, я приказываю вам, слышите?

И тут я увидел ее: это она, оказывается, посвистывала в саду, ходила под яблонями и снизу озорно сигналила в окошечко мансарды ручным фонариком тому светловолосому волейбольному богу, что ослепил нас в сегодняшней игре своей мужественной красотой вылепленного торса и смелым сверканьем ровных зубов.

А дальше, наверное, я стал невольным свидетелем того, что знать мне в пору моего отроческого возраста никак уж не нужно было. Поэтому ночь эта запомнилась на всю жизнь. Тихонько отзываясь, он спустился к ней в накинутом на плечи пиджаке, в белых брюках и обнял ее; она же, удивленно, по-мальчишески присвистнув, обвила его шею руками, засмеялась, с закрытыми глазами подтянулась на цыпочках, а зажженный фонарик касался ветвей яблонь, насквозь просвечивал над его головой листву слепящей яркостью.

— Слушай, — сказала она, отрываясь от него и как-то шутливо, напряженно вода пальцем по его груди, — так ты не возьмешь меня замуж? Я ведь хорошая...

— Возьму, пожалуй, — ответил он с усмешкой. — Только не навсегда. Я бедный инженер со скромными возможностями. Что же я буду делать с тобой?

— Как что? Ты будешь меня любить, а я буду утром готовить тебе кофе... Ну а вечером читать тебе вслух героические романы. Это плохо для тебя?

— О, с милым и в шалаше рай? Но у меня и шалаша-то своего нет. Все — чужие. Так что ж я буду делать с тобой, чужим, драгоценным сероглазым сувениром? Что? А?

— Ну конечно любить. Ведь я теперь кое-что знаю. Мой бывший муж говорил, что у меня есть частичка от идеальной женщины.

— Интересно, какая же это частичка?

— Не имею права тебе об этом говорить. Во-первых, было бы слишком, во-вторых, не хочу себя обезоруживать...

— А все-таки? Очень любопытно. Пожалуйста, а?

— Как это тебе сказать? Ну ладно, все равно... Он говорил, что идеальная женщина должна быть милой шалуньей... Достоинство, которого у меня абсолютно не было, когда мы оставались вдвоем. Я трусила, я не могла преодолеть чувства стыда. Я дрожала, как мышь. Ох, ужасно, ужасно быть этой шалуньей!..

— А ко мне? Тоже ужасно?

— К тебе? Что к тебе? Как к тебе? Зачем к тебе? Сама не знаю, что к тебе...

— А ты попробуй быть шалуньей, — сказал он с ласковой небрежностью и бросил свой пиджак на траву под яблоню. — Ты сможешь? А?

Она свистнула пытающимися засмеяться губами, посветила ему в грудь фонариком, а он опустил ее руку вместе с фонариком книзу, и на минуту я увидел в теплом световом луче белую расклевенную юбку, колени, видел, как она опять привстала на цыпочки, вся потянувшись навстречу к его губам, — и тут я едва не заплакал, едва не задохнулся от тоскливой ревности, от любви к ней, к ее голосу, смеху, к этому направленному в землю лучу фонарика, осветившему траву,

пиджак, ее белую юбку и его белые брюки (это было модно в тридцатых годах); затем я услышал насмешливый ее шепот:

— Ты хочешь, чтобы я стала твоей женой прямо здесь, под яблонями?

— Разве дорогой сувенир или драгоценность могут быть женой? В каком футляре с бархатом тебя хранить? И как любить тебя? Для этого надо быть ювелиром. Я не смогу.

Она дерзко осветила фонариком ему в лицо. Он улыбался, блестя зубы.

— Странно, — сказала она через меру звонким, превеселым голосом. — Я тебя, конечно, люблю, но... в той же мере и ненавижу!

— Милая, это достоевщина, два чувства в едином, — отозвался он просто и весело. — Ты сегодня целый день читала Федора Михайловича. Он портит настроение надолго.

— Я люблю рыцарские романы, а не Достоевского.

— Ради бога, не будем говорить об умном. Где же твое шаловство?

Он взял у нее фонарик, выключил свет, легонько отшвырнул фонарик в траву, затем с мягкой снисходительностью охватил ее талию, и снова я увидел, как она потянулась к нему, к его губам, но в лунном сумраке, мне казалось, я угадывал неясное болезненное выражение на ее лице, в изгибе ее бровей. Он целовал так долго, так неотрывно мучительно, что она застонала, отклонилась назад, а он стал расстигивать на ней кофточку одновременно будто казня, истязая своим ртом нежную белизну ее полной обнажившейся груди, которую я впервые в жизни видел сейчас так бесстыдно. Горячие слезы неизъяснимого горя душили меня, застилали пеленой глаза, и внезапно помимо воли из моего горла вырвался глухой отрывистый вскрик. Я рывком кинулся к постели, упал лицом вниз на подушку и, вытирая о подушку мокрые щеки, захлебнулся жаркими беспричинными рыданиями. Так сладостно, отрешенно, в неизбывном одиночестве, когда, мнилось, кончалось все, плакал я только в детстве.

Однако через некоторое время я вскочил с постели, испугавшись, что они услышат мой плач, и выглянул в окно, за которым воздух побелел к рассвету, сразу омертвив разжиженный сонный свет луны, сквозивший меж деревьями; и весь сад, яблони, дорожки в траве вокруг клумбы проступали в темно-серой неподвижности.

Я увидел ее в тот момент, когда она медленно и пьяно подошла к забору, сплошь заросшему старой буйной сиренью, постояла там, поправляя волосы, потом наклонила куст и сорвала веточку. Куст упруго выпрямился, обдал ее холодным дождем росы, и она, подняв лицо, страдальчески изогнув шею, начала трясти, как в дурмане, ветви сирени, словно умываясь этим дождем, свежестью влаги, смывая с лица, с прикушенных губ липкую паутину. А он стоял под яблонями в накинутах на плечи пиджаке, вертел в руках незажженный фонарик, неопределенно усмехался и молчал.

Утром они уехали, и никогда позже я не встречал их. Когда я вернулся с войны, кто-то из семейных знакомых сообщил однажды, что она умерла в эвакуации.

Но до сих пор помню ощущение несправедливой обиды, горькой безнадежности, как если бы она, эта юная озорная женщина, утром осветившая нашу дачу солнечной чистотой, непоправимо обманула меня в чем-то особо тайном, святом, совсем не подозревая, что не он, самонадеянный белобрючный циник, а я мог бы полюбить ее больше жизни, жалеть, защищать, оберегать от грубости. Такое оголенное ощущение неразделенности любви, пожалуй, щадит человека взрослого. Была ли она красива? А разве мы знаем истинность и сущность

красоты? После ее отъезда я жил как в тумане, порой даже плакал, испытывая адскую муку ревности, которая не находит никакого выхода в первой любви: в тот год мне исполнилось двенадцать.

Теперь жизнь моя прожита, ее уже давно нет на белом свете, а время омыло прошлое многими водами. И теперь в полном сиянии женственности и белой безгрешной чистоты я вижу то прелестное летнее утро и ее, мою первую любовь: она сидела в соломенной качалке, задумчиво покусывая стебелек травы, и читала: пятнистая тень лежала на раскрытой книге, на ее коленях...

Красота

Не есть ли красота отражение человеком природы, подобно познанию?

И я представил, что земля наша, этот сказочный цветущий сад вселенной со всеми его закатами, восходами, свежими утрами и звездными ночами, студеным холодом и жарким солнцем, со всем его светом, прохладной тенью, июльской радугой, летними и осенними туманами, дождями, белым снегом, — представил, что наша земля непоправимо осиротела. Что ж, вообразите: на ней более нет человека — и глухая пустота шуршит в каменных коридорах городов, в траве диких полей, и безмолвие не нарушается ни звуком голоса, ни смехом, ни криком отчаяния.

В этом полном безлюдье, в ледяной тишине прекрасная земля наша сразу же потеряла бы свой высочайший смысл быть кораблем, юдолью человека в мировом пространстве и вмиг утратилась, исчезла бы ее красота. Ибо нет человека — и красота не может отразиться в нем, в его сознании и быть оцененной им. Для кого она? Для чего она?

Красота не может познать самую себя, как это может сделать изощренная мысль, утонченный разум. Красота в красоте и для красоты бессмысленна, нелепа, мертва, так же как, в сущности, и разум для разума, — в этом поедаящем самоуглублении нет свободной игры, притяжения и отталкивания, живого дыхания, поэтому оно обречено на гибель.

Красоте необходимо зеркало, нужен мудрый ценитель, добрый или восхищенный созерцатель, ведь ощущение красоты — это ощущение жизни, любви, надежды, мнимая вера в бессмертие, так как прекрасное вызывает у нас желание жить.

Красота связана с жизнью, жизнь — с любовью, любовь — с человеком. Как только прерываются эти связи, погибает вместе с человеком и красота в природе.

Книга, написанная последним художником на умершей земле, будь она исполнена гениальнейшей гармонии прекрасного, всего лишь бумажный хлам, мусор, потому что цель книги — не крик в пустоту, а отражение в душе другого человека, передача мыслей, переселение чувств.

Все музеи мира, собравшие всю красоту, все шедевры живописи выглядели бы страшными раскрашенными сараями без присутствия человека в них.

Красота искусства без человека становится извращенно-безобразнейшей, то есть более невыносимой, чем безобразие естественное.

Зеркало

Она не видела меня, спящего за ширмой, и я проснулся от легких шагов в комнате, от ее протяжного, ласкового голоса:

— Ми-илый!..

Она, нагая, стояла перед большим зеркалом, освещенная утренним солнцем, странно вглядываясь в свои глаза, в губы, улыбалась,

хмурилась, разглядывала свои коротко подстриженные светлые волосы, трогала кончиками пальцев тонкую лебединую шею, маленькую грудь, как бы с замиранием следя за этими, чудилось, чужими прикосновениями, потом, опять улыбаясь, сказала сквозь стон «милый» и закинула руки, вытянулась гибко, ладонями охватила затылок, я увидел и ее поднятую грудь, и темные островки подмышек...

С каким-то непонятным мне выражением запредельной любви и боли она закрыла глаза, тихоноcko приблизилась к зеркалу и раздвинула губы навстречу другим, раздвинутым, готовым к поцелую губам. Гладкая поверхность зеркала затуманилась от ее дыхания, а она все приближала приоткрытый рот для поцелуя с собою, через смеженные ресницы наблюдая эту близость в зеркале. Потом я услышал ее шепот:

— Неужели так? Неужели это так?.. Как страшно..

Она спрашивала себя, нет, она спрашивала кого-то другого, преобразенного в своем зеркальном отражении, и вся доверялась, вся отдавалась его объятиям, убежденная, что никто не видит ее, обнаженную, бесстыдную богиню, прекрасную юной чистотой, растерянностью и перед отражением женского совершенства, и перед чем-то новым, неизбежным, что было связано с этим двойником в зеркале.

И тогда мальчишеская моя непорочность была потрясена впервые отверженной тайной женской незащищенности, этой любовной игры, еще не испытанной, но ожидаемой ею. В невинной близости она хотела увидеть, представить себя, и я, сгорая со стыда, почему-то испытывая к ее прелестному двойнику острую неприязнь, накрылся с головой одеялом, сжался в жаркой духоте, убитый страшной театральностью и пугающей силой наготы.

Я очнулся от изумленного вскрикивающего шепота:

— Ты не спишь? Ты разве не спишь?

И с моей головы резко сдернули одеяло. И, ослепленный близкой белизной ее груди, искаженным гневом лицом, ее огромными блестящими глазами, я понял, что она услышала меня, и, онемев, молчал, ибо готов был умереть тут же в позоре.

— Ты, значит, не спал, негодный мальчишка? Ты видел? — спросила она, наклоняясь надо мной, заглядывая темной жутью глаз мне в зрачки, а я чувствовал, что еще минута — и потеряю сознание от ее голоса, недавних поцелуев с зеркалом, этих объятий бесстыдства, нежного запаха молодого сена, исходившего от ее золотистых волос, низко свесившихся над моим лицом. — Ты видел меня в зеркале, противный? — повторила она гневным шепотом и подозрительно прищурилась, задрожала ресницами. — Так вот слушай, негодяй, — тебе все приснилось, все приснилось, все приснилось! Все, все приснилось!..

Она больно дернула меня за ухо и, прикусив губы, чтобы не рыдаться, выбежала в другую комнату, а я, глотая застрявший комок обиды в горле, запомнил тогда, как опасно быть случайным свидетелем чужой тайны, не доверенной никому, кроме одного лишь зеркала в тихой комнате.

А это огромное старинное трюмо, стоявшее между двух окон, как бы освещенное прохладным воздухом сквозь зелень дворовых лип, имевшее поэтому особую серебристую глубину, чистоту отображения, всегда притягивало меня и одновременно отталкивало ожиданием страха. Оно несколько раз соприкасалось мою душу в детстве с чужой тайной, заставляя какой-то мистической волей так властно подчиняться подсознательному любопытству, что я удивляюсь до сих пор: все, кто приезжал к отцу, в нашу маленькую квартирку на Якиманке, друзья и знакомые, сразу обращали на трюмо внимание, могли простаивать перед ним минутами. Но после того как я невзначай увидел свою дальнюю родственницу, жившую тогда у нас, перед зеркалом,

было уже неприятно видеть даже мать, тщательно причесывающуюся по утрам возле трюмо, словно родное до каждой черточки лицо могло измениться в зеркале и открыть мне непривычное, нематеринское, унижающее ее.

Однако болезненную, отталкивающую неприязнь стал испытывать я к старинному трюмо, когда однажды приехал к нам из Свердловска давний друг отца, с которым в молодости они устанавливали советскую власть на Урале. Друг отца работал на строительстве завода, приехал неожиданно, поздним вечером, без предупреждающего письма, без телеграммы. Был этот человек в кожаной кепке, в сапогах и плаще, пахнущих переполненным вагоном, далекими захолустными вокзалами, и внес он в квартиру вместе с едким запахом еще холодный сквознячок тревоги, заметной по нахмуренным бровям отца, по бледному лицу матери.

Закрыв дверь в смежную комнату, они проговорили всю ночь, пили водку, кричали не в голос, а шепотом; друг отца, как мне казалось, хрипло, неумело, как-то глухо и страшно плакал, вроде бы умоляя о помощи, повторяя имя отца: «Митя, Митя, пойми...» — и хорошо помню спокойно-казнящий возглас отца в краткой каменной тишине: «Нет, Степан, нет тебе оправдания»...

Уже на рассвете мать вошла в мою комнату усталая, медлительная и принялась стелить постель на диване, то и дело растерянно оглядываясь на дверь, за которой не смолкали приглушенные голоса.

Я лежал тихонько, боясь пошевелиться, не в силах был заснуть, пребывая в липкой тоскливой полудреме, все сжималось во мне смутной болью. Я чувствовал, что в соседней комнате происходит нечто тревожное, опасное, связанное с нашей семьей, с отцом и матерью, и это гибельно-опасное, похожее на запоздалое предупреждение о смертельной беде, привез сегодня гость, старый отцовский товарищ, который время от времени глухо и хрипло плакал за дверью.

Сон скоро опрокинул меня, а когда я проснулся, было совсем светло в комнате и кто-то ходил за ширмой, стонал, ужасающе скрипел зубами, прерывисто мычал, как под мучительной пыткой. Это был друг отца; раздевшись до нижнего белья, босиком, он неуклюже, по-бычьему, из угла в угол метался по комнате, натываясь на стулья, тер двумя руками крупное грубое хмельное лицо, чудилось — хотел закричать, зарыдать, но только сильные звериные звуки вырывались из его горла. Затем он захлеб начал бормотать невнятные отрывистые фразы, словно бы жертвенные суеверные заклинания, и мне стало страшно видеть это обезумелое отчаяние.

— Гос-споди!.. — вдруг выговорил он так судорожно и отчетливо, что я вздрогнул от его вскрика мольбы.— Господи! — повторил он, оставаясь перед трюмо, огромнотелый, в исподней рубахе и кальсонах, и начал вглядываться в свое грубое, сморщенное жалким выражением заискивания лицо, обмоченное слезами.— Я не виноват... Я не хотел... Митя, не хотел!..

Он стоял подле зеркала, охватив щеки, покачиваясь, подобно деревенской женщине в состоянии горя, и моргал, плакал с жалостью, с отвращением, будто бы самому себе изображая безысходную игру в горе, и было странно видеть противоестественное смешение искреннего отчаяния и попытку изобразить, увидеть в зеркале свое отчаяние. Что это было? Жалость к себе? Упивание сумасшествием раскаяния? Исход душевного грехопадения? Кто поймет до конца человека? Он при этом поворачивал лицо то вправо, то влево, он кривился, оскальчиваясь, со стоном, со всхлипами выдавливал из глаз слезы, текущие по щекам, он задышался, горько, ненавистно что-то шепча зеркалу.

Потом я увидел, как он рухнул на колени и, круглыми безумными глазами отрекаясь от самого себя, мотая изуродованным в сладострастном покаянии лицом, глядя в зеркало на свой по-клоунски отраженный кающийся второй облик, выговорил умоляюще и сипло:

— Гос-споди, прости меня!.. Митя, прости меня, прости меня... или убей меня!.. Я подлец, подлец, подлец!..

И, беззвучно зарыдав, дополз на коленях до дивана, упал на него грудью, долго бормотал в подушку страстные неразборчивые слова, после разом затих, засопел, бугор его широкой спины подымался и опускался под свистящий тяжкий сап.

Я не видел, как утром он уехал, поэтому не знаю, простился ли с ним отец или сам гость уехал, ни с кем не попрощавшись, избегая последних минут перед отъездом, последних слов, недоговоренных ночью.

Детским чутьем я догадывался, что неожиданный тот гость предал старую дружбу отца, привез с собой таинственный колющий страх, сразу же заметно изменивший жизнь в нашей семье. Отец стал молчалив, замкнут, за ужином прислушивался к стуку дверей в парадном, и не раз ночью просыпался я от тихого разговора в другой комнате, видел в раскрытую дверь белую фигуру отца и белую фигуру матери у окна, облитых лунным светом, они всматривались из-за отодвинутой занавески в синий летний сумрак двора. А там, мне казалось, звучали шаги по пустому асфальту, слегка хлопала дверца автомобиля, затем в ночном безмолвии одиноко начинала работать мотор, постепенно отдаляясь, затихая на улице. И тут отец торопливо чиркал спичкой, закуривал (заревало вспыхивало и гасло в другой комнате), а мать, с облегченным вздохом обняв его, целовала в подбородок, и молочный лунный свет на полу, и шорох в другой комнате, и мягкий успокаивающий шепот матери запомнились мне необыкновенно ясно.

Я ненавидел это зеркало, которое хранило в себе и знало слишком много, оголяя в странной игре человеческую душу, двойную ее подкладку, в нем было некое чудо скрытой второй жизни, оно пугало меня в юные годы своей беспощадностью, потому что я видел в нем не героическое лицо человека, которым хотел быть я, а видел робкую улыбку, прыщики на лбу, длинную шею...

Это был мой двойник, возникающий в плоскостных пространствах, облик правды, ничем не прикрашенной, сама естественность, — и мальчишеское разочарывающее познание собственной плоти угнетало меня невыносимой тоской по совершенству и красоте. Где был я и где не я? Кто с таким длительным вниманием рассматривал меня из глубины зеркала?

Мне до сих пор кажется, что зеркало знает о нас больше, чем мы о нем, что оно обладает тайной и жестокой силой правды и безжалостного напоминания о конечности всех дорог.

Когда утром вы замечаете на лице своего двойника бледность усталости, гусскую полуулыбку грустного опыта, новые морщинки вокруг глаз, не кажется ли вам, что все продолжительнее, все настойчивее и печальнее звонят дальние колокола?

«Как мне жаль тебя...»

Они лежали, обнявшись, и она, потираясь кончиком носа о его нос, говорила шепотом:

— Как мне жаль тебя, как жаль!..

Он полувиновато улыбнулся, но ему неприятно было слышать эти ее ласковые слова, они унижали его мужское достоинство, любовь к ней, единственной женщине, его жене, с которой душа в душу про-

жил двадцать пять лет. Они оба, к счастью, еще не остыв, не утратили прежней молодой нежности, где даже молчание, теплое прикосновение взгляда, улыбка выражали одно и то же прекрасное, вечное, подаренное человеку природой в счастливый час земли.

Никогда раньше она не произносила этих слов о жалости, и он, не отвечая ей, подумал, что все счастливое, долго затянувшееся, прежнее завершилось в этот миг. Она, вероятно, разлюбила его, охладела, сильясь заменить любовь жалостью, и вот оно, ледяное, старческое... Неужто наступила новая пора в их жизни, тихая, разумная, предзимняя, с холодком северного ветерка, с запахом увядания, с прохладным солнцем над пустотой полей?

Она сказала о своей жалости летним утром, едва они проснулись после того, как ночью, целуя, прижимаясь к нему, говорила совсем другое, страстное, стеснительное, полусумасшедшее, что на самом деле всегда сводило его с ума, и теперь он почувствовал с внезапной обидой нечто фальшивое в прошедшей ночи и нечто обреченное накопец самой правдой, выявленной этим утром, ее одной разрушительной фразой: «Как мне жаль тебя»...

Он повернул голову к окну, увидел пронизанные ранним солнцем янтарные складки не задернутой полностью шторы, нагромождения влажных городских крыш — и смотрел, боясь повернуться, боясь встретить ее взгляд.

— Почему... тебе жаль меня? — не отводя глаз от окна, странно улыбаясь, спросил он и еле справился с сердцебиением, мешавшим сейчас говорить и дышать.

Она промолчала, только вздохнула.

И он повторил тихо:

— Почему?

— Ты не представляешь, как мне жаль тебя,— заговорила она шепотом.— Разве ты не думаешь, что совсем уже скоро нам придется расстаться друг с другом... и со всем этим миром?

Он понял и, скользнув сознанием мимо неизбежного, неумолимого, ждавшего их впереди, помолчал с облегчением, похожим на радостное безумие (нет, она не лгала ему, и оставался запас надежды на неопределенный срок земной любви), сказал осторожно:

— Ты еще любишь меня?

— Наверно, это больше чем «любишь». Я молю судьбу, чтобы мне не пережить тебя.

— И я думаю о том же,— сказал он хрипло, думая, однако, не о последнем мгновении смертного часа, а о том, чтобы она не погасила тлеющий огонек многолетнего тепла между ними, напоминавший им обоим молодость, веселый блеск глаз, озорство, ненасытность любви и ожидание еще всей непрожитой жизни.

— Наверное, тебе приснилось что-нибудь грустное? — спросил он, успокаивая и ее и себя.

Она выпростала руку из-под подушки, погладила его по голове, как ребенка, всматриваясь в его лицо теплыми, родными, готовыми и плакать и смеяться глазами.



АЛЕКСЕЙ МАРКОВ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Чем ветер злей — тем слаще тишь.
Чем враг свирепей — ближе друг.
Чем беспокойней ночью спишь —
Тем меньше заблуждений круг.

Лес гуще — эхо горячей,
Слабее запах — ярче цвет.
Длиннее путь — светлей ручей,
Чем глубже скорбь — тем ближе свет...

2

Мне сигналил утренняя печь
Бликами уютного огня,
Теплота, коснувшаяся плеч,
Чтоб кусочек зорьки уберечь,
Будит задремавшего меня.


Снегири в окошко тук да тук —
Вынеси, пожалуйста, еды.
Сосны в инее трещат вокруг,
И кормушка опустела вдруг.
Так, пожалуй, близко до беды!

Напеваает песенки рожок —
Чайник, закипающий уже:
— Ну вставай, заспавшийся дружок!
На дворе сейчас такой снежок —
Просто праздник, радость на душе!

3

Уходит весело она,
Прощения не просит,
Вот так-то, милый старина,
К нам подступает осень...

Желтеющей листвы покой,
Снежинки в небе реют...
И связанный ее рукой
Заветный шарф не греет...



ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

★

ИЗ КНИГИ «НЕНАЗВАННАЯ СИЛА»

* * *

Тебя омывают двенадцать морей.
С тобой обнимаются три океана.
Неслыханно — нефти, железа, урана,
сосновых лесов, черноземных степей,
заводы в степи, корабли в океане...
Я прятал копилку в дупле на поляне.
Отец ее в омут забросил. Смотри!
Волнение жита увидел я с кручи.
Терялись в твоей беспредельности тучи.
Тебя осветить не хватало зари!
Потом в городах и чужих и богатых
я думал о русских слезах и заплатах.
Я думал о грозной дороге твоей.
Мой дом омывают двенадцать морей!
Со мной обнимаются три океана.
Неслыханно — нефти, железа, урана.
Других ты богаче, себя ты бедней.

* * *

Утро летнего дня в небольшом городке.
Серебристая рябь на широкой реке...

Под железным мостом товарняк громыкает.
Теплый воздух меня по ногам ударяет.

Дунаевского марши звучат со столба.
Тихо в школьном дворе зазвенела труба.

И в поход! На уборку колхозного сада.
Легким шелком мне щеки ласкает прохлада.

Стройся! Смирно! Вперед! Затрясло барабан.
Мать догонит и гривенник сунет в карман.

Ничего не пойму. Только буквы над нами:
«Восстановим наш город своими руками!»

Только быстрая рябь на широкой реке.
Только легкое пламя на детской щеке.

Есть на родной земле места:
Обрыв... Черемуха, крапива...
И ни могилы, ни креста.
А в тихом воздухе — тоскливо.

Змея в траве не прошуршит.
И ворон с черепа коровы
с унылым криком не взлетит.
А ты стоишь, к беде готовый.

Забудешь. Снова забредешь.
Обрыв... Черемуха, крапива...
Тревожной сырости вдохнешь.
И вдруг уходишь торопливо.

НА СЛИЯНИИ СОЖА С ДНЕПРОМ

Мазут качая на волне,
сюда утрюмо Днепр стремится,
и светлый Сож к нему струится...
Так младший брат бежит ко мне,
когда со станции домой
иду по улице родной
и, вскрикнув, обнимаю брата.
И вдруг светлеет жизнь моя.
И дальше — чистая струя
моей зовется виновато...

Где-то степью пылит грузовик
или снова ракета взлетела...
Или дым над заводом возник,
словно хобот железного тела.
Или гарь из расстрелянной хаты
извивается до облаков...
Далеко на равнине веков
из грядущего виден двадцатый.

Свет одинокий в поле.
Трактор сломался, что ли?
И тракторист ночует.
Доски облил соляжкой,
с гулом рванулось пламя!
Дым повалил густой.
И со звездой яркой
он в поле сидит один.
Жаром лицо пылает,
а в спину уперся холод.
Надо спиной к огню.
Только уж лучше так,
чтоб не лицом во мрак.

Курит. Печет картошку.
Тоскливо ему на воле.
Утро еще не скоро.
Свет одинокий в поле...

ОТЪЕЗД

— Не опоздай,— отец сказал.
И я оврагом побежал
из дома на вокзал.
По мокрой глине я скользил.
И ветер надо мной носил
болотной птицы плач.
Я вздрогнул... Кто-то вдруг схватил
меня за мокрый плащ,
Гул в голове, переполох...
И оглянулся я —
чертополох!
Чертополох
держал за плащ меня.
— Не опоздай! — отец кричал.
Мать вышла на порог.
В овраге дождик перестал.
И весь в слезах
чертополох
за плащ меня держал...

..*

Когда шумят над лесом тучи
и гуси тянутся с озер,
мне весело на голой круче
ногой разворошить костер.
Взметнутся искры надо мною.
Повиснут жгутики огня
и долго теплою золою
слетают с неба на меня.
И долго я уйти не смею.
Чей прах на плечи мне упал?
И тех, кто жил давно, жалею.
И помню тех, кого не знал...

НА КУРГАНЕ

Пахнут полынью былины.
Ржавчиной вытек из глины
князя Владимира меч.
Плавает солнце в тумане.
Вечность сховала в кургане
головы, сбитые с плеч.
В воздухе что-то осталось,
чибиса тихая жалость,
взглядов молитвенных синь...
Листья в днепровские плесы
сыплют с кургана березы.
Ветер колышет полынь.

ХРОНИКА СЧАСТЬЯ

Я спал. Ты принесла сирень.
Приснился мне забытый день.
С букетом мать идет из школы.
И тянутся за нею пчелы...
Каникулы. Свобода. Грусть.
И я один — в начале лета.
Во сне проснуться я боюсь,
так пахнет счастьем от букета.
Спадает зной... И входит в дом
отец. Из свеклы карамели
и Гоголя четвертый том
в его учительском портфеле...
Картошки одолжил сосед.
И мать состряпала обед.
И младшего зову я брата:
— Олег, Олег, иди домой! —
Развалины в лучах заката,
и в них блуждает голос мой.
И осыпается со стен
прах обгорелого раствора.
Иная жизнь нагрянет скоро,
но прах не превратится в тлен!

.

Когда тяжелый товарняк
вдали угрюмо громыкает,
все кажется, какой-то гул
из этой жизни пропадает...
Когда стою в бору сосновом,
все кажется, со Смеляковым
я говорю. И слышу гул...
Тяжелый самолет взлетает,
ночную дачу сотрясает,
Луконин глубоко вздохнул...
Он клонится к последней думе.
А жизнь шумит! Но потонул
в ее разнообразном шуме
какой-то величавый гул.



ПУБЛИЦИСТИКА

И. КОН

★

ОТКРЫТИЕ «Я»

Историко-психологический этюд

XXV съезд партии отметил заслуги советской литературы в отображении моральных исканий. В этом наша литература продолжает лучшие традиции мирового искусства. Моральные же искания предполагают зрелое, сложное «я». Как же возникло оно в истории культуры?

Очерк «Открытие «я», посвященный истории становления образа «я» в европейской культуре нового времени (до XX века), продолжает публикации И. Кона в нашем журнале: «Люди и роли» («Новый мир», 1970, № 12) и «Дружба» («Новый мир», 1973, № 7).

Понятие «я» ассоциируется в нашем сознании с тремя главными идеями. Во-первых, оно обозначает тождественность, «самость» лица, его единство и отличие от всех других людей и объектов; во-вторых, его субъектность, активно-деятельное начало, благодаря которому человек отличает себя от процесса и результатов своей деятельности и осуществляет внешний и внутренний самоконтроль; в-третьих, его «внутренность», нечто интимно-приватное, что проявляется в свойствах и поступках человека, но никогда не сводится к ним и потому не может быть познано извне. Ибо, как писал М. М. Бахтин, «чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как объекты, как вещи, — с ними можно только диалогически общаться»¹.

Но каково соотношение разных «измерений» «я» и чем определяются свойства индивидуального самосознания? Этот вопрос важен не только для дифференциальной психологии, изучающей различия между индивидами, но и для психологии исторической, прослеживающей развитие личности и ее психических процессов в связи с историей культуры. Историческая психология — междисциплинарная область исследований; наряду с немногочисленными психологами (А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев) ею успешно занимаются у нас литературоведы (М. М. Бахтин, Д. С. Лихачев, С. С. Аверинцев, Л. Я. Гинзбург, В. Н. Ярхо), историки (А. Я. Гуревич, Л. М. Баткин) и представители других наук.

История становления образа «я» в европейской культуре нового времени, составляющая предмет этого очерка, продолжающего мои прежние новомирские статьи, не только проясняет исторические истоки нашего самосознания, но и позволяет глубже понять проблему соотношения индивидуальности и индивидуализма, имеющую важное значение в современной борьбе идей и идеологий.

* * *

Формула «я сам» означает прежде всего утверждение своей тождественности, неповторимости, отличия от других. Но при всей своей значимости это противопоставление «я» — «не-я» относительно. «Разве человеческое «я» — это вообще нечто замкнутое,

¹ М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М. «Советский писатель». 1963, стр. 92.

строго очерченное, не выходящее из четких границ плоти и времени? — писал Томас Манн. — Разве многие элементы этого «я» не принадлежат миру, который ему предшествовал и находится вне его, разве констатация, что тот-то и тот-то есть он самый и больше никто, не представляет собой допущенья, сделанного лишь для удобства и для порядка и умышленно пренебрегающего всеми переходами, которые связывают индивидуальное сознание с всеобщим?»².

При всем желании человек не может описать себя иначе как путем указания каких-то групп, к которым он принадлежит (пол, возраст, социальная принадлежность, род занятия и т. д.) и с которыми соотносятся его индивидуальные свойства. Осознание своей особенности — сложный и длительный процесс как в онто-, так и в филогенезе.

Как писал Маркс, человек «не только животное, которому свойственно общение, но животное, которое только в обществе и может обособляться... Чем больше мы углубляемся в историю, тем в большей степени индивидуум, а следовательно и производящий индивидуум, выступает несамостоятельным, принадлежащим к более обширному целому»³.

Индивидуализация, то есть процесс, благодаря которому организм дифференцируется, становится отличным от всех остальных, — общее свойство биологической эволюции. Ленинградский антрополог Н. А. Тих, с которой солидаризировался психолог Б. Г. Ананьев, видит рост значения индивида, во-первых, в удлинении той части жизненного пути, когда происходит накопление индивидуального опыта (детство, период обучения), и, во-вторых, в нарастании морфологической, физиологической и психической вариатности внутри вида.

Этот процесс продолжается и у человека. Однако к индивидуально-природным различиям между «случайными индивидами» (Маркс) присоединяются теперь различия социальные, обусловленные общественным разделением труда и разделением общества на классы («индивид класса», по Марксу), а (на определенном этапе развития) также и различия личностные, предполагающие интеграцию индивидуально-природных и социальных свойств индивида в единую устойчивую мотивационную систему и осознание себя как «я».

Хотя развитие человека как личности производно от развития общества, процесс «персонализации» не является линейным, однонаправленным. В полемике с Михайловским и Струве В. И. Ленин указывал, что «абстрактное рассуждение о том, в какой зависимости стоит развитие (и благосостояние) индивидуальности от дифференциации общества, — совершенно ненаучно, потому что нельзя установить никакого соотношения, годного для всякой формы устройства общества. Само понятие «дифференциации», «разнородности» и т. п. получает совершенно различное значение, смотря по тому, к какой именно социальной обстановке применить его»⁴. Сравнивая под этим углом зрения разные общества, нужно учитывать не только степень дифференциации индивидов (насколько велики и осознанны индивидуальные различия, признается ли индивид частью органического целого, автономным членом коллектива или самостоятельным микрокосмом), но и ее качественные характеристики (по каким признакам осуществляется это деление, как конкретно мыслится соотношение индивидуально-природных, социально-групповых и индивидуально-личностных свойств и какая ценность приписывается индивидуальным различиям, хорошо или плохо отличаются от других).

Древнейшей формой дифференциации индивидов, от которой производно и их самосознание, были, разумеется, природные различия. Они определяют разделение функций и иерархическое положение особи в стаде животных, от них же зависит и место индивида в первобытной человеческой общности. Однако отношение древнего общества к индивидуальности было противоречивым. С одной стороны, первобытное общество было консервативно, оно жило традицией и не жалело сил для поддержания единообразия своих членов, сурово осуждая и карая любые нарушения обычаев и ритуалов. С другой стороны, нуждаясь в лидерах и людях, прокладывающих новые пути, первобытное общество выделяло и поощряло смелого воина, хорошего работника.

² Томас Манн. Иосиф и его братья. М. «Художественная литература». 1968. т. 1, стр. 134.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 710.

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 431.

Кроме того, в обществе, основанном даже на самой тесной кооперации, существуют моменты индивидуальной соревновательности. Традиционное эскимосское общество социально слабо дифференцировано, разделение труда в нем практически ограничено половыми различиями. Тем не менее индивидуальная инициатива охотника, его способности и опыт признаются важной общественной ценностью и дают определенные преимущества при вступлении в брак. Дифференцированная социальная оценка членов общины неизбежно дифференцирует и их самоуважение, уровень притязаний, побуждает гордиться своими достижениями и стыдиться своих недостатков.

Первобытный человек отличался от современного не тем, что у него вообще отсутствовало чувство и сознание «я», а тем, что это «я» не имело еще самодовлеющего значения и допускало сравнение себя с другими членами общины только по ограниченному набору признаков, принятых самой общиной. Древнее общество не знало родового понятия «человек»; человек — только соплеменник, поэтому и собственное «я» представлялось индивиду просто суммой качеств, имеющих значение лишь в контексте групповой деятельности. Индивид был интегрирован в общине не как ее автономный член, а как частица органического целого, немыслимая отдельно от него. Эта включенность являлась одновременно и синхронической — судьба человека неотделима от судьбы его сородичей, соплеменников, товарищей по возрастной группе, в которой он воспитывался, и диахронической — он частица многих поколений предков, начиная с родителей и кончая мифическими родоначальниками племени.

Индивид ответствен, причем не фигурально, а физически (выкуп, кровная месть), не только за самого себя, но и за всех своих соплеменников и предков; в то же время ни в одном из своих действий он не являлся единственным, исключительным субъектом: в каждом его поступке соучаствовали его сородичи, предки, духи, боги. Тотальная принадлежность не знает ни понятия свободы, ни понятия зависимости.

Эту «зЫбкость» мифологического сознания, благодаря которой индивид не может (и не испытывает потребности) отделить собственное «я» от своих бесчисленных предков, исключительно тонко передает Томас Манн в «Иосифе и его братьях». Старый раб Елиезер с мельчайшими подробностями рассказывает «как случай из своей жизни, как собственную историю», как он сватал Ревекку в жены Ицхаку. На самом деле это был вовсе не он, а другой Елиезер, его предок, выполнявший в доме те же самые функции. «Иосиф слушал это с удовольствием, не ослаблявшимся никакими недоумениями по поводу грамматической формы рассказа Елиезера, ничуть не смущаясь тем, что «я» старика не имело достаточно четких границ, а было как бы открыто сзади, сливалось с прошлым, лежавшим за пределами его индивидуальности, и вбирало в себя переживания, вспоминать и воссоздавать которые следовало бы, собственно, если смотреть на вещи при солнечном свете, в форме третьего лица, а не первого»⁵.

Признавая индивидуально-природные различия между людьми, первобытное общество препятствовало их консолидации в устойчивые психологические структуры, которые могли бы претендовать на автономное от общины существование. Человек был неотделим от своей деятельности, среды и ситуации.

Проблема свободы и индивидуального действия возникает в истории человечества первоначально как проблема преступления, нарушения каких-то общепринятых норм. Хотя социальное действие, типичное для первобытного общества, коллективно, традиционно, мифы всех народов буквально кишат героями, которые не делают того, что делают все, не ходят или ходят не туда, куда нужно идти, не слушаются того, кого они должны слушаться, и т. д. Причем вопреки «нормальной» логике традиционного общества эти «отрицательные» персонажи представляют социально положительное начало. Героям позволено то, что нельзя другим. Почему?

Мифологическая мысль находит ответ в том, что герои реализуют волю богов, то есть высшего, более универсального начала, чем воля членов общины, вопреки которой они действуют. Тем самым подчеркивается исключительность индивидуального действия. Подвиг выступает сначала как случай, продиктованный прямым вмешательством богов, затем как следствие особого положения героя (например, его божественного происхождения) и лишь в конце концов появляется героический

⁵ Томас Манн. Иосиф и его братья, т. 1, стр. 134.

характер. Процесс становления индивидуального «я» теснейшим образом связан с социальной дифференциацией и разделением общества на классы.

Понятие «я» как в индивидуально-психологическом, так и в культурно-историческом контексте всегда имеет какой-то ценностный оттенок; уже в классической латыни слово «его» употреблялось, чтобы подчеркнуть значительность лица и противопоставить его другим. Здесь существует сложная психолого-лингвистическая проблема.

Известно, что усвоение местоимения «я» дается ребенку с большим трудом: ему трудно понять, почему разные люди обозначают себя одним и тем же словом «я», и он нередко пытается «монопользовать» это местоимение: пусть только я буду «я», а ты будь только «ты». Табуистическое использование личных местоимений, когда «я» фактически функционирует как собственное имя, характерно и для древнего сознания. Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский цитируют в доказательство этой мысли Библию: «Я тот же, Который сказал: вот Я!» (Исаия, 52, 6) — и Упанишады: «Вначале [все] это было лишь Атманом... Он оглянулся вокруг и не увидел никого кроме себя. И прежде всего он произнес: «Я есмь». Так возникло имя «Я». Поэтому и поныне тот, кто спрошен, отвечает сначала: «Я есмь», а затем называет другое имя, которое он носит»⁶. Слово «Атман» (дух, душа) употребляется в Упанишадах и как местоимение «я», «себя».

Эти факты проясняют историко-психологические истоки того смещения индивидуального «я» и абсолютного Духа, которое неоднократно встречалось в истории философии. Но «Я» с большой буквы в древних текстах обычно вкладывается в уста бога или царя, тогда как «я» рядового человека выглядит гораздо скромнее, а то и вовсе ступенька вывешивается. Существовало нечто вроде «права на я», принадлежавшего только тем, кто обладал высоким, даже исключительным социальным статусом.

Подобно прямому взгляду в глаза, который у многих животных служит знаком вызова, да и у людей тщательно регламентируется (подданным нередко запрещалось поднимать глаза на своего государя; по сей день считается неприличным и вызывающим пристально смотреть в глаза незнакомому человеку), обращение от первого лица независимо от своего содержания имеет оттенок самоутверждения. Чтобы избежать связанной с этим конфронтации, люди выработали сложную систему языковых ритуалов, в частности косвенную форму обращения, когда тот, к кому обращаются, называется не прямо («ты»), а в третьем лице или как-то описательно (например, «мой государь», «синьор» и т. п.). Эта «церемониальная речь», или «язык титулов», как назвал ее шведский исследователь И. Свеннунг, является очень древней и представлена во всех языках. Особенно изощренны ее формы в некоторых восточных языках (китайском, яванском и т. д.). Почтительность в обращении к высшему нередко дополняется уничижительными эпитетами по отношению к себе: вместо «я» человек пишет «покорнейший слуга», «недостойный раб» и т. п. В китайском и вьетнамском языках вообще не принято говорить о себе в первом лице: вместо «я» принято указывать то отношение, в котором говорящий находится к собеседнику. «Обычай говорить о себе в третьем лице воспроизводит вплоть до деталей существующую социальную иерархию. Индивид таким образом без конца напоминает себе, что перед лицом своего короля он подданный, перед лицом учителя — ученик, перед старшим — младший и т. д. Он, так сказать, не существует иначе как в связи с другим. Его «я» последовательно идентифицируется с его многочисленными семейными и социальными ролями»⁷.

В русском языке социальная и исторически производная от нее психологическая дистанция в отношениях выражается главным образом через форму второго лица («ты» и «вы»), в китайском и вьетнамском языках существуют также разные формы «я».

Разделение труда первоначально лишь оформляло и закрепляло природные различия — половые, возрастные, индивидуальные. В дальнейшем это отношение усложнялось. Возникновение классов и социального неравенства означало, что общественные функции уже не «выбираются» в порядке самодеятельности, а «даются» как что-то внешнее, обязательное. «В ходе исторического развития, — и как раз вследствие того, что при разделении труда общественные отношения неизбежно превращаются в нечто

⁶ Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, «Миф — имя — культура» («Труды по знаковым системам», 6. Тарту. 1973, стр. 290, 291).

⁷ «Phan Thi Dac Situation de la personne au Viet-Nam». Paris 1966, p. 153.

самостоятельное, — появляется различие между жизнью каждого индивида, поскольку она является личной, и его жизнью, поскольку она подчинена той или другой отрасли труда и связанным с ней условиям»⁸.

Отсюда несовпадение социальных и природных характеристик и проблема зависимости индивидуального от социального (свойства человека как производные от его социального положения). Правда, это осознается далеко не сразу. Наследственный характер социальных привилегий позволял (вплоть до эпохи капитализма) считать их естественными, природными — индивид наследовал свое общественное положение вместе с кровью и способностями своих предков. Платон даже приписывал людям разного социального статуса разные качества души. Однако осознание «искусственности» рабства пробило брешь в этой концепции.

На определенном этапе развития в каждом обществе на первый план выдвигаются проблемы личности. Но постановка этих проблем и тем более их решение могут быть разными.

Европейская цивилизация начиная с эпохи Возрождения не только признала абсолютную ценность индивидуального «я», но и провозгласила его право на полную земную самореализацию. Напротив, почти на всем протяжении истории Древнего Китая высшей добродетелью считалось подчинение человека обычаю и подавление своего «я», которое трактовалось как отрицательная ценность. Но религиозно-философские установки многозначны. Например, индийская философия придает «я» огромное, решающее значение. «Когда солнце садится, когда заходит луна и когда гаснет огонь, лишь Я имеет свой свет», — говорится в одной из Упанишад⁹. Однако телесное и эмпирическое «я» трактуются при этом как низшие ступени абсолютного сверхличного «я». Ни индуизм, ни буддизм не проводят резкой грани между индивидуальным «я» и природой, животными, другими существами. Идея переселения душ означает, что бытие является открытым, проходящим через бесконечное множество отдельных существований, ни одно из которых не может претендовать на абсолютную ценность. В системе традиционных индийских социальных и юридических институтов индивид также не занимал самостоятельного места.

Наша европейская культура, считающая человека автономным субъектом деятельности, подчеркивает главным образом единство, цельность, тождественность «я» во всех его проявлениях; раздробленность, множественность образов «я» воспринимается как нечто болезненное, ненормальное. Напротив, традиционная японская культура, подчеркивающая прежде всего зависимость и принадлежность индивида к определенной социальной группе, воспринимает человека скорее как множественность, как совокупность нескольких различных кругов обязанностей: круг «тю» (обязанности по отношению к императору), круг «ко» (обязанности по отношению к родителям), круг «гири» (долг благодарности к людям, которые что-то для нас сделали), круг «дзин» (обязанности человечности и верности) и круг «ниндзё» (область чувств и физических удовольствий). Мы привыкли оценивать личность в целом, считая ее поведение в разных ситуациях внешними проявлениями одной и той же сущности. В Японии любая оценка соотносится с контекстом, «кругом» оцениваемого действия. «Японцы, — замечает В. Овчинников, — избегают судить о поступках и характере человека в целом, а делают его поведение на изолированные области, в каждой из которых как бы существуют свои законы, собственный моральный кодекс»¹⁰. О человеке не скажут, что он вообще хороший или плохой, а что он знает «дзин», но не знает «гири». Европейская мысль объясняет поступок человека «изнутри»: предполагается, что он действует из чувства благодарности, из патриотизма, из корысти и т. д.; в нравственном плане мотив для нас часто важнее содержания поступка. В Японии поведение выводится из общего правила, нормы: индивид поступает так или иначе на основании «тю», «ко» или «гири». Важно не то, почему человек так поступает, а только поступает ли он правильно или неправильно соответственно принятой обществом иерархии обязанностей.

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 77.

⁹ С. Радхакришнан. Индийская философия. М. Издательство иностранной литературы. 1956, т. 1, стр. 127.

¹⁰ Всеволод Овчинников. Ветка сакуры. М. «Молодая гвардия». 1971, стр. 59.

Это различие существенно и пронизывает все формы культуры. «Характер европейского искусства,— пишет Т. Григорьева,— в значительной мере определен антропоцентризмом, японского — идеей «не-я», отсутствующего, как бы заглушенного «я»...»¹¹. Но при ближайшем рассмотрении национально-региональные различия при всей своей устойчивости оказываются в какой-то мере исторически стадийными. Как справедливо заметил А. Я. Гуревич, японская модель человека, тонко обрисованная Т. Григорьевой, во многом близка к представлениям, свойственным западноевропейскому средневековью. Древняя Греция, которую в XIX веке считали родиной индивидуального «я» и понятия личности; фактически не имела даже термина для обозначения человека как индивидуального субъекта деятельности; «человеческое в античности есть телесно человеческое, но отнюдь не личностно человеческое»¹².

Это не значит, что различия между цивилизациями сводятся в конечном счете к различию стадий одного и того же процесса развития. Напротив, каждую культуру надо изучать как самостоятельный, внутренне единый цикл. Но как индивидуальность каждого отдельного человека не исключает того, что все люди проходят одни и те же стадии развития и имеют общие базовые психические свойства, так и «в разных культурах нужно разграничивать относительно статичные, повторяющиеся и в этом смысле как бы «вневременные» структуры и более динамичные, индивидуализированные и неповторимые феномены»¹³. Поэтому история образа человека и открытия автономного «я» в европейской культуре нового времени, хотя изучена она еще очень слабо, кажется нам весьма поучительной.

* * *

«Мир маленький; я говорю, что мир не так велик, как думают простые люди»,— писал Христофор Колумб с Ямайки в 1503 году. Такое утверждение в устах человека, только что раздвинувшего границы открытого мира, кажется странным. Но факт расширения физически достижимого пространства снимает ореол таинственной безграничности, которым было окутано в сознании средневекового человека все, что не входило в его ближайшее окружение. Кроме того, масштабы мира соотносятся с масштабами самого человека и с его представлением о своем месте во вселенной.

«Подъем чувства личности»¹⁴ на заре капиталистической эпохи означал появление у человека нового, субъективно-личностного мироощущения, которого не знало феодальное средневековье. Не знало не в том смысле, что средневековый человек не обладал самосознанием, но в том смысле, что его самосознание, как и сама его личность, имело сословно-ограниченный характер и строилось вокруг его принадлежности к определенной социальной группе.

Как убедительно показывает А. Я. Гуревич в книге «Категории средневековой культуры», основой самосознания средневекового человека было чувство неразрывной связи с его общиной, сословием и социальной функцией. Вся жизнь человека от рождения до смерти была регламентирована. Он почти никогда не покидал место своего рождения. Его жизненный мир был ограничен рамками его общины и сословной принадлежности. Как бы ни складывались обстоятельства, дворянин всегда оставался дворянином, а ремесленник — ремесленником. Социальное положение для него было так же органично и естественно, как собственное тело. Каждому сословию присуща своя система добродетелей, и каждый индивид должен знать свое место.

Капитализм подорвал этот порядок вещей. Как писал Маркс, «в этом обществе свободной конкуренции отдельный человек выступает освобожденным от естественных связей и т. д., которые в прежние исторические эпохи делали его принадлежностью определенного ограниченного человеческого конгломерата»¹⁵.

Общественное разделение труда и товарное производство делают связи между

¹¹ Т. Григорьева, «И еще раз о Востоке и Западе» («Иностранная литература», 1975, № 7, стр. 253).

¹² А. Ф. Лосев. История античной эстетики (Ранняя классика). М. «Высшая школа». 1963, стр. 60.

¹³ А. Гуревич, «Мировая культура и современность» («Иностранная литература», 1976, № 1, стр. 214).

¹⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 434.

¹⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 709.

людьми поистине всеобщими, универсальными. Индивид, который может свободно изменить свое местожительство и не связан рамками сословной принадлежности, уже не столь жестко привязан к своей социальной роли, поэтому «различные формы общественной связи выступают по отношению к отдельной личности просто как средство для ее частных целей, как внешняя необходимость»¹⁶.

Превращение социальных связей в средство достижения частных целей индивида повышает меру его свободы, давая ему возможность выбора, мало того, этот выбор становится необходимым. Но в то же время эти связи выступают по отношению к личности как внешняя, принудительная необходимость.

«Сословный» индивид не отделял себя от своей социальной принадлежности, «классовый» индивид обязательно делает это, пытаясь определить свое «я» не только через свое общественное положение, но часто вопреки ему. Социальные роли, которые в средние века казались просто разными ипостасями лица (точнее, само лицо было совокупностью ролей), теперь приобретают как бы самостоятельное существование. Чтобы ответить на вопрос «кто я?», человек должен сначала «разоблачить», снять с себя свой социальный наряд. Л. М. Баткин¹⁷ удачно иллюстрирует эту проблему ренессансной мысли известной новеллой Саккетти о мельнике, переодевшемся аббатом и ловко ответившем на трудные вопросы государя; в этой новелле индивиды отделяются от своих социальных ролей, которые оказываются «съемными» и, следовательно, допускающими перемену.

Средневековый человек, выполняя множество традиционных ритуалов, видел в них свою подлинную жизнь. Человек нового времени, наоборот, проявляет повышенную чувствительность и даже неприязнь к тому, что кажется ему «заданным» извне. Это делает его «я» гораздо более значимым и активным, но одновременно и гораздо более проблематичным. Характерны в этом смысле рассуждения Монтеня. Повторяя стих Петрония, что «весь мир занимается лицедейством», Монтень пытается отделить свое «я» от «заданной» социальной роли: «Нужно добросовестно играть свою роль, но при этом не забывать, что это всего-навсего роль, которую нам поручили. Маску и внешний облик нельзя делать сущностью, чужое — своим. Мы не умеем отличать рубашку от кожи. Достаточно посыпать мукою лицо, не посыпая ею одновременно и сердца... Господин мэр и Мишель Монтень никогда не были одним и тем же лицом, и между ними всегда пролегла отчетливо обозначенная граница»¹⁸.

Но кто от чего эмансцируется? Индивид от роли или роль от индивида? Монтень и его современники уверены в том, что это они становятся «выше» своих социальных функций. Но пройдет три столетия — и людям начнет казаться, что, напротив, это их социальные роли отчуждаются от них, превращая их в марионеток и вызывая чувство внутренней опустошенности.

Разрушение феодальных связей расширяло сферу сознательного самоопределения индивида и объективно и символически. Необходимость самостоятельно принимать решения в многообразных меняющихся ситуациях и в самом деле требует человека с развитым самосознанием и сильным «я», одновременно устойчивым и гибким. В эпоху Возрождения личность начинают превозносить как высшую социальную ценность, по отношению к которой любые общественные институты и нормы являются только средствами.

Автономизация личности, «запрограммированная» на макросоциальном уровне, реализуется и в микросреде, в быту. У средневекового человека вся жизнь проходила среди одних и тех же людей, на виду у членов своей общины. Теснота и прочность этих связей никому не позволяли пренебрегать ими, оставляя человеку очень мало пространства для чего-то только своего, интимного. Городской быт постепенно разрушает эту цельность. Отдельные семьи все больше обособляются внутри общины; внутри семьи происходит обособление индивидов. Это обособление людей и их функций материально, зримо выражается, например, в изменении организации жилого пространства.

¹⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. т. 12, стр. 710.

¹⁷ Л. М. Баткин, «О социальных предпосылках Итальянского Возрождения» («Проблемы итальянской истории». М. «Наука». 1975. стр. 243).

¹⁸ Мишель Монтень. Опыты. М.—Л. Издательство Академии наук СССР. 1960. кн. 3, стр. 291.

Средневековый человек часто использовал свой дом как крепость, чтобы спастись от врагов, но он не стремился спрятать за его стенами свою повседневную жизнь. Все ее драмы и комедии происходили открыто, на глазах у всех, улица была продолжением жилища, и важнейшие жизненные события (свадьбы, похороны и т. п.) совершались при участии всей общины. Двери дома в мирные дни не запирались, и все уголки его были открыты для обозрения. В новое время положение постепенно меняется, семья начинает ограждать свой быт от непрошеного вторжения, обзаводится замками, дверными молотками и колокольчиками, позже о визитах начинают договариваться заранее письменно или устно, еще позже — созваниваться по телефону.

Дифференцируется и само жилое пространство. В раннем средневековье жилище состояло из одного помещения, в котором рыцарь размещался вместе со всеми своими чадами и домочадцами и даже вместе с домашними животными. Затем оно делится на жилую комнату, в которой члены семьи спят, едят и развлекаются, и кухню (в крестьянских семьях этот тип жилища просуществовал вплоть до XIX—XX веков). В начале нового времени входит в обычай разделение спальни и столовой. Слуг и детей поселяют теперь отдельно, для приема гостей оборудуются специальные гостиные и т. д. Если раньше индивид чувствовал себя частью семьи, общины и т. д., то теперь он сознает себя автономным субъектом, который лишь частично входит в эти многообразные общности.

Еще теснее связано развитие индивидуального самосознания с чувством времени. Развитие капитализма колоссально повысило субъективную скорость течения времени и его ценность. В XVI—XVII веках в английском языке появляется как никогда много новых слов, относящихся к историческому времени и его дискретным единицам, — слова «столетие», «десятилетие», «эпоха», «готический», «первобытный», «современный» и т. д. Параллельно этому происходит трансформация «личного» времени. «Понимание значимости времени пришло вместе с ростом самосознания личности, начавшей видеть в себе не родовое существо, а неповторимую индивидуальность, то есть личность, поставленную в конкретную временную перспективу и развертывающую свои способности на протяжении ограниченного отрезка времени, отпущенного в этой жизни»¹⁹.

Идея необратимости времени тесно связана с проблемой смерти. Философское мышление в разные эпохи по-разному ставило эту проблему. Древняя индийская философия «преодолеывает» конечность индивидуального существования с помощью идеи переселения душ, делающей смерть в принципе невозможной. Как говорит Кришна в «Махабхарате»:

Мудрец, исходя из законов всеобщих,
Не должен жалеть ни живых, ни усопших.
Мы были всегда — я и ты, и, всем людям
Подобно, вовеки и впредь мы пребудем.
Как в теле, что нам в сей юдоли досталось,
Сменяются детство, и зрелость, и старость,—
Сменяются наши тела, и смущенья
Не ведает мудрый в ином воплощенье*.

(Перевел С. Липкин)

Ветхий завет утверждает эпически спокойное отношение к смерти: «И умер Иов в старости, насыщенный днями» (кн. Иова, 42, 17). Средневековое христианство находит утешение в идее спасения: смерть постигает только тело, для души она лишь переход в потустороннее бытие.

Гуманистов эпохи Возрождения такое решение уже не удовлетворяет. Земная жизнь начинает восприниматься как нечто самостоятельное, независимое от небесного блаженства. Отсюда поиски светских форм приобщения к вечности (например, благодаря переживающей человека славе). Если для христианина смерть — освобождение от земной юдоли, то в гуманистических трактатах, пишет итальянский историк Альберто Те-

¹⁹ А. Я. Гуревич. Категории средневековой культуры. М. 1972, стр. 137.

* Махабхарата. Рамаяна. Перевод с санскрита. М. Издательство художественной литературы. 1974, стр. 174.

нейти, «искусство хорошо умереть» выражало новое чувство времени и ценности тела как организма, разрешаясь в идеале активной жизни, центр тяжести которой уже не выходит за пределы земного существования. Споры о преимуществах жизни и смерти приводят к выводу, что кто хорошо живет, тот и умирает хорошо, а кто живет плохо, плохо и умирает (Беллармин). Резко обостренное по сравнению с прежними поколениями чувство текучести и необратимости времени активизирует мысли о смерти, страх старости и т. д. Но как раз принятие абсолютности и неизбежности собственной смерти побуждает человека заботиться о смысле и направленности своего единственного земного бытия. Проблема смерти оборачивается вопросом о смысле жизни.

Вопрос этот имеет не только морально-этический, но и практический аспект. В раннекапиталистическом обществе резко усиливается мотивация, связанная с личным успехом, потребностью в достижении. Средневековой мысли чужда сама идея выхода за рамки «данного». Слова апостола Павла: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван (1-е послание к коринфянам, 7, 20)—обосновывали одновременно и сословное неравенство и личную привязанность к делу. Слово «свобода», которое обычно употреблялось во множественном числе, означало для средневекового человека не независимость, а привилегию включенности в какую-то систему, «справедливое место перед богом и перед людьми». Немецкая нравоучительная история XIII века о крестьянском юноше по имени Гельмбрехт рассказывает, что сначала, подражая молодым дворянам, он отстригал белокурые локоны до плеч и надел красивый берет. Затем, презрев советы отца и крестьянскую жизнь, решил жить как дворянин, был отвергнут отцом, стал бандитом и кончил на виселице. Мораль этой притчи очевидна: не в свои сани не садись.

Вместе с сословным строем капитализм отвергает и мораль самоограничения. На каждые сто строчек английской драмы, описаний путешествий и народных баллад, проанализированных Д. Мак-Клееландом, в 1400—1500 годах приходилось в среднем 4,6 строчки, связанных с мотивом достижения, в 1501—1575 — соответственно 4,79, в 1576—1625 — 4,81, в 1776—1830 — 6 строчек. Потребность в достижении, в противоположность установке на спасение души или стоическому идеалу «спокойной жизни», занимает теперь центральное место в системе социальных и личных ценностей, давая человеку новый и очень важный (особенно в свете кальвинистского учения о предопределении) критерий самооценки.

Но если все течет и меняется, неизбежно возникает и проблема развития собственной личности. Средневековая мысль не знала этой идеи. Для нее «возрасты жизни» так же естественны и неустраимы, как времена года. Детство в понимании средневекового человека не какой-то особый период «подготовки к жизни», а ее естественный этап. Человек естественно вырастает, подобно дереву, все фазы роста и конечный результат которого даны заранее. Однозначно привязывая индивида к его семье и сословию, феодальное общество строго ограничивало рамки его «свободного самоопределения», ему не нужно было выбирать ни род занятий, ни мировоззрение, ни даже жену. Все это делали за него другие, старшие.

В новое время человек становится чем-то в результате своих собственных усилий. Развитое общественное разделение труда и выросшая социальная мобильность существенно расширили рамки и масштаб индивидуального выбора. По выражению Н. Я. Берковского, «старый режим направлял человека в жизнь согласно его сословию и имущественному цензу, профессии, им полученной от предков. Правило было таким: на одного человека только один выход в жизнь. Сейчас выходов много, и ведется спор внутри человека: какую же из собственных личностей, какую из собственных возможностей ему выпустить в свет»²¹.

Но призвание, которое становится результатом выбора, невозможно без самоанализа и оценки своих способностей.

Для средневекового человека, пишет Л. М. Баткин²², «знать самого себя» значило прежде всего «знать свое место», иерархия индивидуальных способностей и возможностей здесь совпадала с социальной иерархией. В эпоху Возрождения положение

²¹ Н. Я. Берковский. Романтизм в Германии. Л. «Художественная литература». 1973. стр. 54.

²² Л. М. Баткин, «О социальных предпосылках Итальянского Возрождения», стр. 245.

меняется. Презумпция человеческого равенства и возможность изменения своего социального статуса означают, что «познание себя» есть прежде всего познание своих внутренних, психологических возможностей. Самопознание становится предпосылкой и компонентом самоопределения. Это расширение сферы индивидуального, особенного, только своего «яе вписывается» в старую систему социальных категорий и вступает с ними в жестокий конфликт.

В феодальном обществе нет ничего важнее родового имени. В нем сущность человека, по сравнению с которой все его индивидуальные свойства ничего не значат. Юная Джульетта силой своей любви открывает, что все обстоит как раз наоборот: наследственное имя — прах и тлен по сравнению с индивидуальностью любимого:

Одно ведь имя лишь твое мне враг,
А ты — ведь это ты, а не Монтекки.
Монтекки — что такое это значит?
Ведь это не рука, и не нога,
И не лицо твое, и не любая
Часть тела. О, возьми другое имя!
Что в имени? То, что зовем мы розой,
И под другим названьем сохраняло б
Свой сладкий запах! Так, когда Ромео
Не звался бы Ромео, он хранил бы
Все милые достоинства свои
Без имени. Так сбрось же это имя!
Оно ведь даже и не часть тебя²³.

(Перевела Т. Щепкина-Куперник)

Но в чем состоит эта индивидуальность? Человек нового времени не только яснее видит и подчеркивает свои отличия от других, но и в самом себе ищет и утверждает нечто внутреннее, интимное, автономное.

Символический мир средневекового человека непсихологичен. Человеческая деятельность кажется средневековому историографу-хронисту полностью предопределенной божественным провидением. Индивидуальные черты не только не привлекают к себе внимания, но «конструируются» по заранее заданному сословному образцу, будь то внешность (всем знатым лицам приписываются, например, светлые или «золотые» кудри и голубые глаза) или морально-психологические качества. Описания человека в средневековых текстах обычно сводятся к одному и тому же обязательному набору сословных качеств. Шесть или восемь прилагательных и их антонимы практически исчерпывали этот набор, причем все характеристики были сословно-специфическими. Мужчины были смелыми, любезными, разумными (или трусливыми, грубыми и безрассудными). Качества женщин исчерпывались красотой, изяществом и скромностью. «Нейтральных», «неоценочных» качеств не было.

Историки прошлого века удивлялись, как мог рыцарский культ благородства и великодушия сочетаться с тем эпическим спокойствием, с каким средневековые хронисты повествуют о массовом истреблении населения захваченных городов, опустошении деревень и т. д. Но дело в том, что «мы» средневекового человека, а следовательно, и его способность к сопереживанию замыкались его собственным религиозным и сословным кругом. Открытие, что «и крестьянки чувствовать умеют», сделано только в новое время.

То же самое в житиях святых. Для средневекового клирика, пишет У. Брандт, «индивиды были собранием качеств, и их поступки вырастали из этого собрания, а не из целостной индивидуальности»²⁴. Жития святых так похожи друг на друга потому, что авторы их описывают не жизнь святого, а его святость.

При всей специфике разных форм сознания последовательность этапов «открытия индивидуальности» подчинена определенной общей закономерности, тонко уловленной Д. С. Лихачевым в истории древнерусской литературы и искусства. Сначала человек изображается как ряд поступков, которые, в свою очередь, интерпретируются в свете его социального положения. Например, русский лето-

²³ Вильям Шекспир. Трагедии. М. «Детская литература», 1964, стр. 74.

²⁴ W. J. Brandt. The shape of medieval history. NY. 1973, p. 157.

писец XI—XIII веков описывает не психологию князя, а только его политическое поведение. «Нет добрых качеств князя без их общественного признания, ибо самые эти качества неразрывно связаны с их внешними постоянными проявлениями. Вот почему летописец не знает конфликта между тем, каким на самом деле является тот или иной князь, и тем, каким он представляется окружающим»²⁵. Затем (на Руси это конец XIV — начало XV века) осознаются отдельные психологические свойства и состояния человека — его чувства, эмоциональные отклики на события внешнего мира и т. д. Эти психологические состояния уже не вытекают полностью из сословной принадлежности, но и не складываются еще в единое целое, они существуют как бы сами по себе и осмысливаются в моральных терминах. И наконец, открывается внутреннее единство, связующее звено и производящая сила этих психических свойств — индивидуальный характер, сохраняющий свою структуру независимо от меняющихся ситуаций²⁶.

Лишь после этого, уже за рамками средневековья, возникает психологическая интроспекция, потребность и способность анализировать собственные переживания и чувства. Разумеется, интроспекция не является монополюсной собственностью европейского человека нового времени. Какие-то формы самосознания, включая самоконтроль и внутренний диалог, имманентны человеческой психике, и их динамику можно обнаружить в ходе развития любой культуры в специфических для нее формах. Например, у гомеровского грека понятие «самости» как чего-то внутреннего еще отсутствует, он не может беседовать «сам с собой». Но уже Гераклит говорит о «поисках себя» и «познании себя». У софиста Горгия появляются выражения «предать самого себя», «причинить зло себе», которые, не будучи интроспективными, выражают, однако же, субъектность «я». Антифон говорит о необходимости «властвовать собой» и «преодолевать себя», считая самообладание необходимой предпосылкой справедливого отношения к ближнему. Сократическая философия уже прямо подразумевает внутренний диалог. Среди рефлексивных формул, употребляемых Платоном, встречаются и «самопознание», и внутренняя удовлетворенность, и «самопреодоление», доходящее в некоторых случаях до «войны» с самим собой, и «самоусовершенствование». И пусть «беседа с самим собою, в понимании Платона, отнюдь не предполагает какого-то особого отношения к себе самому (отличного от отношения к другому)»²⁷, а многообразные рефлексивные формулы, как подчеркивает югославский филолог К. Гантар, не образуют последовательной системы, поскольку под «самостью» в разных контекстах понимаются разные вещи, их дифференциация все-таки свидетельствует о развитии индивидуального самосознания.

Не было безличным и европейское средневековье. Уже ветхозаветное отношение к физическому страданию и учение о конечных судьбах мира и человека, как показал С. С. Аверинцев, стимулировали гораздо более индивидуальное самоощущение, чем античность. Античный космос не имел внутреннего центра, не было его и в судьбе отдельного индивида. Для христианина такой центр существует. Личностный характер божества и возможность непосредственного общения с ним, надежда на чудо придают вере особую психологическую напряженность. «Ибо чудо, по определению, направлено не на общее, а на конкретно-единичное, не на универсум, а на «я»; на спасение этого «я», на его извлечение из-под вещной толщи обстоятельств и причин»²⁸. Эта страсть и трепет с необычайной силой выражены в «Исповеди» блаженного Августина, для которого открытие собственного «я» есть одновременно и открытие бога.

Но как ни сильно индивидуальное самоощущение Августина, «Исповедь» не внутренний диалог, а обращение к богу, которому Августин рассказывает о своих греховных заблуждениях и позднейшем прозрении. По выражению французского философа Ж. Гюсдорфа, трибунал церковного покаяния торжествует здесь над исследованием совести. Христианское понятие самости было изначально отмечено знаком греха:

²⁵ Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси. М. «Наука». 1970, стр. 59.

²⁶ Там же, стр. 72—73.

²⁷ М. В а х т и н. Вопросы литературы и эстетики. М. «Художественная литература». 1975, стр. 285.

²⁸ С. Аверинцев, «На перекрестке литературных традиций» («Вопросы литературы», 1973, № 2, стр. 172).

индивидуализация, отделение от целого представлялось несчастьем человека, болезнью души. Внимание к собственному «я» было признаком греховной суетности. Данте даже считал нужным оправдывать искренность «Исповеди» Августина тем, что «образцовое и поучительное превращение его жизни из нехорошей в хорошую, из хорошей в лучшую, а из лучшей в наилучшую»²⁹ служит примером и назиданием для других. Без такой назидательной цели или цели самооправдания говорить о себе и обнажать свою душу даже с близким другом, по мнению Данте, не следует.

Сам термин «персона» в средневековой латыни крайне многозначен: он обозначал и театральную маску, и индивидуальные свойства человека, и его душу, но особенно его социальную ценность, положение, ранг («персона короля»). Характерно, что глаголы *dispersonare* и *deresponare* обозначали в средние века не абстрактное «обезличивание» и не психическое расстройство («деперсонализация» современной психиатрии), а потерю чести (сравни выражение «потерять лицо»), причем не в морально-психологическом, а в социальном смысле — как реальную утрату своего места, статуса в феодальной иерархии.

Поэтому сдвиг, происшедший в новое время, был поистине фундаментальным. Речь шла не только об открытии внутреннего мира, но и о повышении его ценности. Самым надежным и объективным свидетельством этого является история языка, отраженная в этимологических словарях и специальных исследованиях (например, в книге О. Барфилда «История в английских словах»). В староанглийском языке насчитывалось всего 13 слов с приставкой *self* (сам), причем половина из них обозначала объективные отношения. Количество таких слов — самолюбие, самоуважение, самопознание и т. д. — резко возрастает начиная со второй половины XVI века, после Реформации. Новые слова входят в быт одновременно с понятиями, описывающими внутренние чувства и переживания. В староанглийском языке слова *person* (лицо) или *soul* (душа) употреблялись главным образом в контексте отношений к обществу, церкви или космосу. В XVII веке появляется слово «характер», относящееся к человеческой индивидуальности. Слова *disposition* (расположение), *humour* (настроение), *temperament* (темперамент), которые раньше имели объективное, физико-астрономическое значение (например, расположение звезд), теперь приобретают субъективно-психологическое значение. Новые звучания приобретают многие моральные термины. Слово *duty* (долг) во времена Чосера еще имело значение объективного, внешнего «обязательства» (этимологически оно связано с понятиями налог, феодальная повинность); у Шекспира оно означает внутреннюю моральную обязанность.

Словарный фонд языка точно отражает эволюцию общественных интересов. «Нет более плодотворного занятия, как познание самого себя», — писал Декарт³⁰, и этот интерес по-своему преломляется в разных формах общественного сознания.

В религии «интимизация» мира отчетливо выступает в протестантизме, в котором общение человека с богом принимает не ритуальный, а интимно-личностный характер. Индивид в протестантской религии не простое звено в цепи сверхличной церковной общности, а автономный субъект религиозного переживания. Личная вера противопоставляется внешнему (обрядовому, церковному) авторитету, благочестие же определяется не как подчинение церковному закону, а как индивидуальное внутреннее убеждение.

В философии нового времени проблема «я» ставится в двух различных планах. Одни авторы пытаются исследовать понятие «человеческой природы», происхождение «страстей души» и самой «идеи Я». Другие развивают философскую «мудрость», основанную на интроспекции, стремясь вывести из личного опыта нормы должного поведения. Из первого течения в XIX веке вырастает экспериментальная психология, из второго — этика.

Человеческое «я» не сводится к одной душе, оно всегда включает какие-то «телесные» компоненты; тело символизируется, с одной стороны, как вместилище и физическая граница «я», с другой — как средство коммуникации, обращенное вовне,

²⁹ Данте Алигьери. Малые произведения. М. «Наука». 1968, стр. 115.

³⁰ Рене Декарт. Избранные произведения. М. Политиздат. 1950, стр. 547.

к другим (внешность). Но соотношение этих значений, равно как и степень осознания отдельных компонентов своего телесного бытия, неодинаково в разных культурах.

Христианская мораль в ее наиболее аскетических формах относилась к телесности вообще и особенно к телесному «низу» враждебно, требуя подавления плоти. Поскольку это практически невозможно, массовое сознание средневековья справлялось с проблемой путем символического разграничения «верха» и «низа». Народные обычаи, пережитки язычества и вся в целом «карнавальная культура» позволяли поддерживать между «верхом» и «низом» относительное равновесие. Впрочем, и сама теология относилась к телесному началу неоднозначно. В противоположность платоновской формуле о душе, которая «пользуется» телом, Фома Аквинский писал, что «человек не есть только душа, но некое соединение души и тела». Хотя душа нематериальна, самосущестна и субстанциальна, «полным» человеком она становится только в соединении с ею же животворимым телом.

Возрождение подрывает средневековую схему соотношения «верха» и «низа». С одной стороны, в противовес христианскому аскетизму происходит реабилитация плоти, которая перестает считаться низменной и греховной. С другой стороны, как показал М. М. Бахтин, в XVI—XVII веках в европейской культуре складывается «новый телесный канон», который предполагает «совершенно готовое, завершённое, строго отграниченное, замкнутое, показанное извне, несмешанное и индивидуально-выразительное тело»²¹. Этот канон резко отличается от древнего образа тела как открытого, незамкнутого, лишённого жесткой очерченности естества, слитного с природой и выставляющего напоказ свои плодородные глубины. Связь этой смены телесных канонов с более общим процессом индивидуализации и персонализации очевидна. А это, в свою очередь, имело важные психологические последствия.

Современная психология считает доказанным, что острое, гипертрофированное ощущение «закрытости» своего тела и забота о поддержании его «границ» связаны с избытком самоконтроля, эмоциональной скованностью, меньшей свободой самовыражения и т. д. Исторические данные указывают в том же направлении. Новый «телесный канон» сопровождался внедрением нового «канона речевой пристойности», препятствующего выражению переживаний телесного «низа» и особенно сексуальности. Эти сюжеты свободно обсуждались в быту и в искусстве эпохи Возрождения. Но уже во времена Монтезя на них начинаются гонения. К тому же новый «телесный канон» был внутренне противоречив.

Гуманистический идеал половой любви требует преодоления средневекового дуализма «верха» и «низа» путем слияния возвышенного чувства и физической сексуальности, поэтому традиционное изображение ее в деиндивидуализированном, природно-физиологическом ключе постепенно начинает вызывать моральное и эстетическое осуждение. С другой стороны, в игру вступают жесткие антисексуальные установки пуританства, требующие полного подавления телесного начала. В массовом сознании эти противоположные по сути тенденции странным образом соединились, породив явление, которого, как кажется, не знала прежняя культура, а именно — табуирование тела как такового. Нагота запрещается не только в общественных местах, но становится «неприличной» даже наедине с собой (свидетельство тому появление в XVIII веке различных видов ночной одежды — шлафроков, пижам и т. д.). Табуируются все разговоры, связанные с телесными отправлениями. В учебниках медицины XVIII—XIX веков появляется представление, сохраняющееся с живучестью предрассудка вплоть до наших дней, что человек ощущает какую-то часть своего тела только в случае болезни и т. п. Но все скрываемое неизбежно становится «внутренним», сегодня телесные переживания занимают одно из высших мест в иерархии сюжетов доверительной коммуникации наравне с тончайшими движениями души.

Нарастание интереса к собственному «я» четко отражается в искусстве. В средневековой живописи портрет как таковой отсутствует. Человек, не отделивший себя от своих социальных функций и не ощущавший себя изменяющимся во времени, не нуж-

²¹ М. Бахтин и. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М. «Художественная литература». 1965, стр. 346.

дался в том, чтобы зафиксировать свой облик и состояние в определенный момент времени. Жак Ле Гофф, а вслед за ним А. Я. Гуревич справедливо замечают, что «„неумение“ средневекового художника создать портрет человека с присущими только ему чертами было на самом деле выражением иного, нежели современное, понимания сущности человека, отделением „поверхностного“ и преходящего (то есть индивидуального) от глубочайшего и вечного (то есть родового). В человеке — для средневекового художника — ценность представляло лишь вечное и неизменное начало. Появление индивидуального портрета в эпоху Возрождения означало изменение отношения как к человеку (поскольку подчеркивалась ценность личного и неповторимого), так и ко времени (портрет в отличие от иконы фиксирует момент, а не вечность)»³².

Сдвиг в этом отношении начинается уже в XIII веке. Сначала склонность к портретному воплощению проявляют знатные и могущественные лица. Около 1300 года французский король Филипп IV Красивый резко упрекал папу Бонифация VIII за то, что тот велел воплотить в своей статуе не идею папства как таковую, а свои индивидуальные черты. В следующие столетия это стремление получает признание, на центральных площадях многих итальянских городов появляются портретные статуи кондотьеров (Скалигеров в Вероне, Коллеоне в Венеции и др.). Но хотя уже мастера Возрождения переходят от персонификации отвлеченных идеальных качеств к светскому портрету, они за редкими исключениями остаются бесстрастными, объективными наблюдателями природы; их мало интересует индивидуальность изображаемого лица, а его внутренний мир и вовсе не раскрывается³³. Прообраз интимного портрета XIX века, проникнутого определенным настроением, появляется уже у маньеристов XV века. Однако психологизм не соответствовал общему духу аристократической культуры, которая требовала индивидуальных, но обязательно благородных, идеализированных образов. «Героизированный индивидуализм» барочного портрета, как называет его В. Н. Лазарев, требовал строгого соблюдения социальной дистанции. «В светском портрете человек должен быть изображен не таким, каков он есть, а таким, каким он кажется или должен казаться, таким, каким он хочет или должен представиться»³⁴.

Социальная роль осмысливалась при этом как существующая до некоторой степени независимо от природных качеств индивида, который должен еще подняться до ее уровня. Только после того как эта задача выполнена, акценты смещаются и интерес художника обращается внутрь личности.

Эволюция портретной живописи соответствовала более общим внутренним тенденциям развития искусства. Любое повествование или изображение предполагает определенную точку зрения, которая может быть либо «внешней», либо «внутренней». В первом случае автор подходит к объекту как бы со стороны, во втором он занимает некоторую внутреннюю позицию, принимая точку зрения одного из участников описываемых событий или человека, находящегося на поле действия, но не принимающего в нем участия. Отличительная особенность древнего и средневекового искусства, замечает Б. А. Успенский, состояла именно в том, что «художник помещает себя как бы внутри описываемой картины, изображая мир в округ себя, а не с какой-то отчужденной позиции, — его позиция, таким образом, не внешняя, а внутренняя по отношению к изображению»³⁵. Это проявляется в характерной перспективе, в наличии внутреннего источника света, переходящего в затемнение на первом (периферийном) плане, и т. д. В эпоху Возрождения позиция художника меняется: он смотрит на изображаемое извне, с точки зрения предполагаемого зрителя. Отсюда и «объективность» ренессансного портрета, и рождение автопортрета, для написания которого

³² А. Я. Гуревич, «Социальная психология и история. Источниковедческий аспект» («Источниковедение. Теоретические и методологические проблемы». М. «Наука». 1969, стр. 418—419).

³³ См. подробнее: В. Н. Лазарев, Портрет в европейском искусстве XVII века. М.—Л. «Искусство». 1937; М. А. А. Андроникова, Об искусстве портрета. М. «Искусство». 1975.

³⁴ М. А. А. Андроникова, Об искусстве портрета, стр. 186.

³⁵ В. А. Успенский, Поэтика композиции. М. «Искусство». 1970, стр. 179.

художник обязательно должен видеть себя со стороны, сделать себя объектом наблюдения.

История автопортрета особенно важна для нашей темы. Его появление требовало как материальных (в виде хороших зеркал, которые в средневековой Европе появляются только в XIII веке; стеклянные зеркала были еще в Риме, но потом исчезли), так и социально-психологических предпосылок. Чтобы написать собственное изображение, художник должен был обладать не только развитым общим самосознанием, но и сознанием социальной ценности своей личности, достойной увековечения. Мастера Возрождения (Филиппо Липпи, Гирландайо, Боттичелли, Филиппино Липпи, Перуджино, Пинтуриккио, Рафаэль, Леонардо, Микеланджело, Мемлинг, Дюрер и другие) часто изображали себя в виде персонажей своих картин. Однако, как пишет Э. Бенкард, ни композиционно, ни психологически образ художника не занимал в этих картинах центрального положения, а его трактовка не отличалась от трактовки других персонажей. Во второй половине XV века появились первые самостоятельные автопортреты. Очень интересен, например, автопортрет мальчика Дюрера с его позднейшей надписью: «Таким я нарисовал себя по зеркалу в 1484 году, когда я был еще ребенком». Однако ни психологически, ни художественно автопортреты художника не отличались от его портретной живописи: воспринимая себя по нормам своей культуры, художник фиксировал в себе те же самые качества, которые казались ему существенными у его современников. Придворный художник и себя рисовал в обличье придворного, певец бюргерских добродетелей подчеркивал их и в себе и т. д. Соответственно варьировалась и степень психологизма. Характерно, что величайший мастер психологического портрета XVII века Рембрандт оставил также самую большую в истории живописи (около ста) серию автопортретов, как будто он хотел запечатлеть каждый момент своей биографии.

Тот же процесс индивидуализации, постепенного выделения «я» из безлично-социальных характеристик виден и в истории автобиографии в собственном смысле слова.

Немногочисленные сочинения автобиографического типа, оставленные европейским средневековьем — исповеди, различные самооправдания, и т. д., — выглядят довольно безличными. Георг Миш, изучивший важнейшие средневековые автобиографии, констатирует «несобранность» личности средневекового человека, который видел в себе не автономную индивидуальность, реализующую свой внутренний мир, а воплощение общей категории, описываемой посредством определенного набора штампов.

В XVI веке автобиография усложняется. Жизнеописания Бенвенуто Челлини, Джероламо Кардано, Томаса Платтера и его сына Феликса целиком посвящены личностям своих авторов. В отличие от средневековых хроник эти автобиографии индивидуальны, полны ярких бытовых и иных подробностей, иногда (например, у Челлини) весьма темпераментны. Но повесть о событиях, в которых участвовали авторы, в большинстве случаев довлеет над самоанализом. Рассказ о своей жизни и размышления о себе (как у Монтеня) очень редко сливаются. Автор (например, Кардано) может подробно, с мельчайшими деталями описывать свою внешность, походку, болезни, вкусы, даже фантазии, но он не ставит цель проследить становление собственной личности. Ситуации меняются, герой остается тем же самым. Потребность самоутверждения, часто подкрепленная верой в свое призвание и даже мистическую предопределенность всего хода своей жизни, для этого человека так же тишина, как для средневекового клирика — самоуничтожение. Но он еще не воспринимает свое «я» как внутренне дифференцированную, противоречивую и меняющуюся систему. В этом его «цельность», но одновременно и «простота».

XVII век с лихвой восполнил этот недостаток рефлексии. Любимым жанром становятся литературные «портреты», «характеры», мемуары, письма. Немецкий историк Норберт Элиас объясняет этот рост «психологизма» прежде всего особенностями придворной жизни, побуждающей ее участников (а именно представители господствующего класса задают тон в культуре) внимательно наблюдать за поведением других (а также и за своим собственным), ничего не принимая за чистую монету. Для средневекового человека ритуал и жизнь были тождественны. Теперь придворный ритуал воспринимается как условность, игра. Ирония и скепсис относительно человеческой

природы, столь тонко выраженные Ларошфуко или Лабрюйером, отчасти подсказаны именно опытом придворной жизни. Но от констатации игровых моментов поведения и от рефлексии по поводу своего положения в обществе человек неминуемо приходит к вопросу о природе своего «подлинного я».

«Что такое «я»? — спрашивает Паскаль. — У окна стоит человек и смотрит на прохожих; могу ли я сказать, идучи мимо, что он подошел к окну, только чтобы увидеть меня? Нет, ибо он думает обо мне лишь между прочим. Ну а если кого-нибудь любят за красоту, можно ли сказать, что любят именно его? Нет, потому что если оспа, оставив в живых человека, убьет его красоту, вместе с ней убьет и любовь к этому человеку.

А если любят мое разумение или память, можно ли в этом случае сказать, что любят меня? Нет, потому что я могу потерять эти свойства, не теряя в то же время себя.

Где же находится это «я», если оно не в теле и не в душе? И за что любить тело или душу, если не за их свойства, хотя они не составляют моего «я», могущего существовать и без них? Возможно ли любить отвлеченную суть человеческой души независимо от присутствия ей свойств? Нет, невозможно, да и было бы несправедливо. Итак, мы любим не человека, а его свойства.

Не будем же издеваться над тем, кто требует, чтобы его уважали за чины и должности, ибо мы всегда любим человека за свойства, полученные им в недолгое владение»³⁶.

Усложнение жизненного мира личности не только повышает ее интерес к самой себе, но и вызывает противоречивые, не допускающие однозначного толкования эмоциональные состояния.

Прежде всего привлекает к себе внимание феномен одиночества. В средние века, как уже говорилось, люди редко обособлялись друг от друга; даже схимники, принимавшие обет молчания, зачастую обосновывались вблизи монастырей, а то и прямо на городских улицах на страх и поучение верующим. Одиночество обычно понималось как физическая изоляция; ценность одиночества для сосредоточенного, интимного общения с богом подчеркивали только мистики вроде Экарта.

В новое время картина усложняется. Более богатая и многогранная личность, не отождествляющая себя ни с одной из своих предметных и социальных ипостасей, нуждается в обособлении от других, добровольно ищет уединения. В то же время она все чаще ощущает дефицит эмоционального тепла или невозможность выразить богатство своих переживаний. Отсюда поэтизация одиночества и одновременно страх перед ним.

Оттенки этих чувств имеют определенную логику развития. Так, в дворянской культуре XVII века любовь к одиночеству ассоциируется с эстетическими переживаниями (уединение — подруга муз); пиетизм считает его благотворным для углубления религиозного чувства; просветители обсуждают плюсы и минусы одиночества с точки зрения развития личности и ее разума (этому посвящен чрезвычайно важный для немецкой культуры четырехтомный труд «Об одиночестве» Иоганна-Георга Циммермана, вышедший в 1784 году), пропагандируя образ одинокого мыслителя, который удовлетворен собою и в то же время всегда готов помочь другим. Сентиментализм переносит центр проблемы на изучение внутренних чувств человека. Наконец, романтики делают одиночество своим программным дозунгом, понимая его, однако, по-разному — от байроновского вызова и бунта до пассивного поиска убежища от жестокостей мира.

Чем сложнее и проблематичнее внутренний мир человека, тем острее потребность в интимной, эмоционально значимой коммуникации. В истории идеала дружбы, о которой я уже писал на страницах «Нового мира» (1973, № 7), ясно виден рост ее избирательности и одновременно противопоставление эмоционально-экспрессивного компонента чисто «инструментальным» отношениям, основанным на расчете. Суть дружбы — «раскрытие своего Я другу», писал Ф. Бэкон, а «главный плод дружбы заключается в

³⁶ Франсуа де Ларошфуко. Максимумы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры. М. «Художественная литература». 1974, стр. 165.

облегчении и освобождении сердца от переполненности и надрыва, которые вызывают и причиняют всякого рода страсти»³⁷.

Увеличивается и ценность, придаваемая внутреннему диалогу. В XVIII веке впервые появляются интимный дневник и автобиографическая литература, предметом которой становится «былое» не само по себе, а в связи с «думами», то есть становление внутреннего мира, сокровенного «я» автора.

«Я предпринимаю дело беспрецедентное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, и этим человеком буду я. Я один. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не такой, как они» — этими словами начинается «Исповедь» Руссо³⁸. Какое отличие от «Исповеди» Августина! Там покаяние перед лицом всевышнего, смирение и самоотречение, здесь вызывающая гордость своей особенностью, уверенность в знании себя и в том, что это знание интересно другим. И одновременно неизбежное, мучительное одиночество...

Вопреки предсказанию Руссо начатую им эскалацию субъективности продолжили романтики, создавшие настоящий культ рафинированной субъективности и безоглядного самораскрытия.

* * *

Рождение «фаустовского человека» означало рост его социальной активности, готовность взять на себя всю полноту ответственности не только за свои собственные поступки, но и за судьбы мира, убеждение, что

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой.

Открытие «я» не «самодовольное нянчанье индивидуума со своими ему одному дорогими особенностями»³⁹, а напряженный поиск универсальных принципов деятельности. Идея «я» всегда имела ценностный смысл, и ответ на вопрос «кто я?» подразумевает не перечень свойств «случайного индивида», а социальное и моральное самоопределение личности, выясняющей, чем она может и должна стать. Индивид становится автономным от частной социальной группы только благодаря своей сопричастности какой-то более широкой общности, а единство его сознательного «я» есть прежде всего единство его ценностных ориентаций, фиксирующих его отношение к миру.

В средние века сопричастность индивида универсуму осмысливалась обычно в религиозных терминах. Теперь она мыслится как следствие всеобщей человеческой солидарности. «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной несет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также если смоем край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе», — писал английский поэт XVII века Джон Донн, и Хемингуэй не случайно взял эти слова эпиграфом к своему роману «По ком звонит колокол». Идея универсальности человеческой связи звучит в философии нового времени не менее сильно, чем идея личной автономии. Но трактовка ее никогда не была однозначной.

Разделавшись с сословной системой и освящавшей ее религией, человек буржуазной эпохи впервые почувствовал себя не частью органического целого, а самостоятельным целым, живущим по своим собственным законам. Но очень скоро он обнаружил, что «абсолютная свобода», на которой были основаны его притязания, на самом деле ограничена. Социально она лимитируется материальными условиями

³⁷ Фрэнсис Бэкон. Сочинения в двух томах. М. «Мысль». 1972, т. 2, стр. 412, 409.

³⁸ Жан-Жак Руссо. Избранные сочинения в трех томах. М. «Художественная литература». 1961, т. 3, стр. 9—10.

³⁹ Гегель. Сочинения. М. Политиздат. 1956, т. 3, стр. 26.

его существования, классовым неравенством и непредвидимыми последствиями его собственных действий, психологически — неосознаваемыми и неконтролируемыми процессами его собственной психики. Отсюда несовпадение внутреннего и внешнего, слова и дела, идеала и действительности, острая неудовлетворенность самим собой и окружающим миром:

Я утром просыпаюсь с содроганьем
И чуть не плачу, зная наперед,
Что день пройдет, глухой к моим желаньям,
И в исполненье их не приведет...
Вог, обитающий в груди моей,
Влияет только на мое сознание.
На внешний мир, на общий ход вещей
Не простирается его влияние.
Мне тяжело от неполноты такой,
Я жизнь отверг и смерти жду с тоской⁴⁰.

(Перевел Б. Пастернак)

Индивидуализм начинался с утверждения самоценности человеческой личности как творческого начала мира. Но социальные связи между индивидами в условиях капитализма имеют антагонистический характер, поэтому первоначальная широкая гуманистическая трактовка этого принципа скоро вырождается в гипертрофию индивидуального «я», которое не только отличается от всех других, но и противопоставляется им в качестве некоего абсолюта (как «Единственный» у Штирнера). Но если «другой» — только граница моего «я», имеющая ценность лишь постольку, поскольку может быть средством удовлетворения моих потребностей, то и «я» для него тоже только средство. Всеобщность социальной связи оказывается практически всеобщностью эгоистического интереса (слово «эгоизм», или «эготизм», появляется в английском и французском языках именно в XVIII веке). В результате в «прямом соответствии с ростом стоимости мира вещей растет обесценение человеческого мира»⁴¹, а только что обретенное «я» само становится проблематичным.

Проблему эту в полный голос ставят уже немецкие романтики. С одной стороны, трудности самореализации объясняются богатством личности. «Облик, в котором человек ходит перед нами,—резюмирует романтическую теорию личности Н. Я. Берковский,—не содержит в себе ничего непреложного, сквозь этот облик может проглядывать совсем иной, с не меньшими, а то и с большими правами на осуществление. У Э. Т. А. Гофмана в большом лице волшебника Проспера Альпануса просвечивало еще совсем иное, маленькое лицо. У Гофмана и у других романтиков к каждому персонажу даны еще варианты его же: один вариант сбывшийся, что не уничтожает значения несбывшихся»⁴². С другой стороны, романтики жалуются на отчуждающее влияние общества, которое обезличивает человека, заставляя его отказываться от своих наиболее ценных потенций в пользу менее ценных.

Таким образом, уже у романтиков «открытие» суверенного «я» незаметно начинает переходить в его саморазрушение. Процесс этот имеет свою внутреннюю логику.

Личность появляется в литературе раньше всего как активно действующее начало. Герой-деятель раскрывается всецело и исключительно через свои поступки, его человеческие масштабы измеряются масштабом его деяний, а его внутренняя цельность подразумевается сама собой. Но если личность есть некая автономная целостность, она должна существовать и вне своих конкретных деяний и может анализироваться независимо от них. Психологический роман разделяет мотив и поступок. Воображаемое убийство так же важно, как реальное. Более того, реальное убийство интересно лишь постольку, поскольку поняты его мотивы. Объектом исследования становится уже не деяние, а деятель, психологическая индивидуальность которого важнее ситуации, в которой она проявляется, и существует независимо от нее. Субъ-

⁴⁰ Гёте. Фауст. М. Издательство художественной литературы. 1957, стр. 101.

⁴¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М. Политиздат. 1956, стр. 560.

⁴² Н. Я. Берковский. Романтизм в Германии. стр. 54.

активное начало при этом усиливается, но сам субъект из монолитного, бесструктурного становится сложным, многогранным и многомерным. Возникает масса самостоятельных проблем: как варьирует поведение личности в зависимости от изменяющихся обстоятельств, каковы внутренние закономерности ее собственного развития (например, с возрастом), как сам герой воспринимает и оценивает себя. Сильнее всего это выражено у Достоевского. Как пишет М. М. Бахтин, «Достоевскому важно не то, чем его герой является в мире, а прежде всего то, чем является для героя мир и чем является он сам для себя самого... Следовательно, теми элементами, из которых складывается образ героя, служат не черты действительности — самого героя и его бытового окружения, — но значение этих черт для него самого, для его самосознания»⁴³. Это требует и новых методов художественного анализа. «Внешняя» точка зрения сменяется «внутренней».

Пытаясь понять героя изнутри, с позиций его собственного «я», писатель делает предметом художественного исследования самый процесс рефлексии. Некогда монолитное, цельное «я» оказывается теперь множественным и динамичным. Но тут же выясняется, что человек осознает только небольшую часть своих психических процессов и состояний. В результате поток сознания превращается в поток бессознательного, в котором нет ничего устойчивого и, самое главное, не остается места для реального действия. Активное, действенное «я» исчезает, расплываясь в многоступенчатой рефлексии. Уход в себя оказывается в конечном итоге уходом в никуда.

Трагедия Гамлета заключалась в непомерности его задачи: соединить в себе распавшийся социальный мир. Героический индивидуализм начала XIX века пытался найти подлинное существование и «настоящее я» путем разоблачения и отказа от фальшивых масок. Индивидуализм XX века приходит к выводу, что «подлинного я» вообще не существует, что люди просто «персонажи в поисках автора», а внутри человек только «система фраз».

Но вместе с личностью разрушается и психологизм как принцип художественного анализа. Не воплощенное в действиях «я» превращается в фикцию, а человеческая деятельность становится принципиально бессубъектной. В некоторых произведениях современной западной литературы общество все больше напоминает дезорганизованный муравейник, отдельные персонажи незаметно переходят друг в друга, их психологические, как и поведенческие, очертания умышленно размыты.

За эстетическими проблемами — литература умышленно заостряет некоторые черты изучаемого ею процесса, доводя их порой до гротеска, — стоят проблемы социальные. Сначала в полемике с феодальной доктриной «естественной принадлежности», а затем, отражая свойственные капиталистическому обществу реальную разобщенность и антагонизм интересов, буржуазный индивидуализм поставил проблему «я» главным образом негативно, как проблему границ, отделяющих индивида от всех остальных. Такие границы, природные и социальные, в самом деле существуют. Но всякая граница не только разделяет, а и соединяет объекты, является общей для них. Односторонний акцент на разделительной функции, попытка определить «я» путем «вычитания» из него всего того, что связывает его с другими, неминуемо заводит в тупик. Если «я» патриархального индивида складывалось из совокупности его «принадлежностей» к разным социально-природным общностям, то «я» буржуазного индивида напоминает скорее сумму отрицаний: это не природная сущность, не тело, не общественное положение, не е действительность, не совокупность стремлений. Не удивительно, что в конце концов это «я» оборачивается пустотой и дело доходит до того, что некоторые западные психологи (например, Б. Ф. Скиннер) предлагают даже изгнать это понятие из психологии.

Где выход? Проблемы, поставленные развитием человеческого общества, нельзя перечеркнуть, вернувшись в дорефлексивную дремоту древней общинности, как хотелось бы защитникам идеализированной патриархальщины или идеологам «казарменного коммунизма». Человек «свободен не вследствие отрицательной силы избегать того или другого, а вследствие положительной силы проявлять свою истинную индиви-

⁴³ М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского, стр. 63.

дуальность»⁴⁴. Чем быстрее темп общественного развития, тем важнее для индивида умение самостоятельно ориентироваться в стремительном потоке информации и принимать ответственные решения. Это требует и более сложных форм самосознания.

Раздробленность, расчлененность образа «я», типичная для современной буржуазной культуры, объясняется не столько сложностью отношений личности, сколько их антагонистичностью. Законодательно закрепляемый в проекте новой Конституции СССР коммунистический идеал «свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» означает не только расширение прав и материальных возможностей личности, но и поднимает на новый уровень ее самосознание. Подчеркивая универсальную ценность каждого отдельного «я», этот принцип тем самым снимает эгоистическое ячество, разделяющее людей и обрекающее их на одиночество и бессилие. Осознание своей особенности становится определением своего места в общей борьбе и совпадает с формированием активной жизненной позиции.

⁴⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 145.



ДНЕВНИКИ ВОСПОМИНАНИЯ

ГЕННАДИЙ ГЕРОДНИК



ВОСТОЧНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ*

ЧЕТВЕРТЫЙ «АНАБАСИС»

До сих пор исторической науке были известны три «Анабасиса», то есть описания великих военных походов: сочинение древнегреческого историка Ксенофонта «Анабасис Кира Младшего» (V—IV века до н. э.); сочинение другого древнегреческого историка, Арриана Флавия, «Анабасис Александра Македонского» (II век н. э.); сочинение чешского писателя Ярослава Гашека «Анабасис Швейка», более известное под названием «Похождения бравого солдата Швейка» (XX век н. э.). Я же хочу познакомить читателей с фрагментами из «Анабасиса обер-ефрейтора Брюггехорста».

Вообразите себе на минуту, что Дон Кихота или жюльерновского Паганеля облачили в форму гитлеровского пехотинца образца 1945 года. Тогда вы получите примерное представление о внешнем облике пленного Брюггехорста.

Доктор теологии и классической филологии Иоахим Брюггехорст — образованнейший человек. Кроме главных западноевропейских языков, знает латынь, древнегреческий, древнееврейский, арабский, санскрит, фарси... И этот перечень далеко не полный. Специалист по истории христианства Византии, по томизму и неотомизму, имеет многочисленные богословские труды.

Брюггехорст жил в юго-восточном предместье Берлина, на берегу живописного озера Гросер-Мюггельзе. В разгар войны работал над большой монографией о знаменитом католическом богослове XIII века Фоме Аквинском. Работа шла полным ходом, автор был в состоянии творческой экзальтации. Во время воздушных налетов продолжал трудиться в бомбоубежище. Однажды — это было уже в марте 1945 года — к профессорскому коттеджу подкатил на велосипеде пимпф, подросток из гитлеровской детской организации. Хозяин оторвался от занятий с большой неохотой. В этот момент он работал над главой монографии, посвященной примирению взглядов Фомы Аквинского и Тертуллиана. Теологу только что пришла на ум очень удачная мысль, и он взялся за перо, чтобы зафиксировать ее на бумаге. А тут звонок, мешают по всяким пустякам!

Однако пимпф потревожил профессора отнюдь не по пустяковому поводу. Он привез ему повестку. Иоахиму Брюггехорсту, пятидесяти пяти лет, необученному, до сих пор снятому с воинского учета, предписывалось немедленно явиться на призывной пункт для медицинского переосвидетельствования. Удачная мысль так и повисла в воздухе...

Возглавлявший врачебную комиссию престарелый майор медицинской службы всем своим видом говорил: если уж я до сих пор не сбросил военный мундир, то вы, голубчики, и подавно можете повоевать за фюрера и фатерланд! Едва взглянув на призывника, он дрожащей старческой рукой ставил на его учетной карточке штамп «тауглих» — годен...

Подгонка обмундирования в запасном полку происходила в скоростном темпе.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

Брюггехорсту попалась шинель, не достающая до коленей. Штаны, слишком широкие и короткие, скорее пришлись бы впору Санчо Павсе, чем призывнику донкихотской стати. Чтобы это произведение интендантского искусства не сползло с профессорских чресл, новобранец получил брючный ремень повышенной прочности. И только надпись на его штампованной латунной пряжке вполне устраивала новобранца: «Готт мит унс!» («С нами бог!»). Чего еще надо богослову!

Горластые фельдфебели рассортировали новичков на две партии. В один батальон выделили безусых юнцов из гитлерюгенда, в другой — новобранцев старших возрастов, в том числе инвалидов прошлой войны. Началась «гамашендингст» — гамашная служба. Так фронтовики иронически называют учебную муштру в тыловых частях. В течение недели новички учились маршировать, ползать ужом, перерезать колючую проволоку, разбирать и собирать карабин и пулемет, козырять старшим по званию, отвечать хором на приветствие начальства... На одном из занятий познакомились с новым оружием — фаустпатроном.

Освоили новички и несколько строевых песен. Юнцы из пимпфбатальона (так окрестил это подразделение постоянный персонал запасного полка) предпочитали агрессивно-захватский репертуар штурмовиков. А ветераны из «клистирного батальона» вспоминали незамысловатые, подчас немного фривольные солдатские песенки прошлой войны:

Девчонки наши
Прямо милашки.
Что за улыбки!
Что за мордашки!

Брюггехорсту не приходилось петь со студенческих лет. Да и содержание песни — про каких-то милашек — ученого мужа никак не воодушевляло. Уттер-офицер наметанным глазом приметил неактивного новичка и слегка подстегнул его:

— Эй, долговязый! Тебе сапожник рот дратвой зашил, что ли?

И богослов приобщился к коллективу, вместе с ротой гаркнул:

Девчонок наших
Давайте спросим:
Неужто летом
Штанишки носят?

Хотя за бесконечно длинный день Брюггехорст чертовски устал, он после отбоя долго не мог уснуть. Видел перед собой свой уютный кабинет, письменный стол и на нем чистый лист бумаги, ожидающий откровений о Фоме Аквинском и Тертуллиане. А когда наконец уснул, ему привиделся нелепый сон. Он шагал по длинным коридорам какого-то старинного монастыря и с упоением распевал: «Девчонок наших давайте спросим...» А в темных нишах стояли с аскетическими лицами Фома Аквинский, Тертуллиан, двенадцать святых апостолов и грозили ему пальцами.

За несколько дней муштры Брюггехорст из необученного превратился в обученного. Учитывая университетское образование, ему присвоили звание ефрейтора. А за докторскую степень набросили еще овера. В итоге получился обер-ефрейтор Брюггехорст.

После недельной блицподготовки новоиспеченных вояк посадили ночью в грузовики и повезли «нах остен». Борта их грузовиков пестрели лозунгами: «Германия и Берлин останутся немецкими!», «За фюрера и фатерланд — вперед, к победе!», «Секретное оружие фюрера готово нанести сокрушительный удар!», «Транспорт работает на победу!». С востока непрерывным потоком текли беженцы, у мостов создавались огромные пробки. Колонна машин с маршевыми батальонами делала вынужденные остановки. Когда рассвело, обер-ефрейтор Брюггехорст заметил, что машины с новобранцами привлекают всеобщее внимание: многие беженцы указывали в их сторону пальцами и смеялись, хотя обстановка для веселья была явно неподходящей. Оказалось, что на бортах машин между патриотическими лозунгами появились и другие надписи. Какие-то злонамеренные шутники начертали белой масляной краской: «Statt geheimer Waffen nur nassforsche Pimpfe und alte Affen!» («Вместо секретного ору-

жия — сопливые пимпфы и старые обезьяны!»). Пока искали, чем закрасить злокозненные надписи, задержались на лишних полчаса.

Далекий-предалекий остен на этот раз оказался под носом — в пределах самой Германии, на Одере. Сразу же после прибытия на Ха-ка-эль вооруженный карабином богослов с ходу попал в плен. Для него действительно получился блицкриг. Солдат-украинец, конвоировавший пленного в ближайший штаб, не подозревал об ученых степенях обер-ефрейтора и фамильярно называл его хрицем.

Таковы основные этапы анабасиса обер-ефрейтора Иоахима Брюггехорста. Вот он сидит передо мной. Глядя на него, трудно удержаться от улыбки. Сменившее не одного хозяина кургузое обмундирование, засаленная до блеска пилотка, сморщенные тряпичные погоны... Как будто профессор нарядился для какого-то шутовского маскарада. Но он с философским стоицизмом переносит посланные судьбой невгоды и даже находит в этом для себя немало полезного. По его словам, необычные ситуации, в которые он попадал последние месяцы, значительно расширили перед ним границы познания реального мира.

МИКРОКЛИМАТ ПРОФЕССОРА БРЮГГЕХОРСТА

Беседовать с Брюггехорстом на отвлеченные темы мне трудно. Не хватает запаса слов, особенно абстрактных понятий. Еще труднее постигнуть логику его рассуждений, его мировоззрение. Оно чрезвычайно путаное, противоречивое, эклектическое. Однако я иногда без сожаления трачу свободное время на дискуссии с этим представителем западного мира. Знаю, такая возможность вряд ли представится еще раз.

— Человек подобен песочным часам, — рассуждает профессор. — Непрерывной струйкой сыплются сверху вниз секунды-песчинки. Только вниз, только вниз! Это буддисты верят, будто судьба, карма, поворачивает песочные часы человеческой жизни столько раз, сколько ей заблагорассудится.

— Но позвольте, герр профессор! — удивляюсь я. — Ведь вы как правоверный католик верите в загробную жизнь, где секунды-песчинки текут вечно нескончаемой чередой...

— Что будет в загробном мире, лучше всего осведомлены приходские священники и богомолки, — с горькой усмешкой отвечает профессор. — И меньше всего представляют себе обстановку в небесных эмпиреях дипломированные теологи вроде меня.

Оказывается, и в религии, и в социологии, и в науке Брюггехорст — прагматик. Истина, с его точки зрения, это такое предположение, такая гипотеза, которая наиболее удобна, выгодна для нас. Отрицать существование бога неразумно, так как эта идея для мировой цивилизации оказалась не только плодотворной, но прямо-таки необходимой. Есть и атомы, есть и всемирное тяготение, есть и бог. Но что они собой представляют, человеческому разуму познать не дано. И не следует из-за этого впадать в отчаяние. И научные гипотезы, и социальные теории, и религиозные учения — всего лишь условности, более или менее удобные для практической деятельности человеческого общества.

Любит профессор Брюггехорст рассуждать о «микроклимате» в собственной философской трактовке. И человечество во Вселенной, и всякий народ, и социальные группы, и каждый человек в отдельности существуют в определенном микроклимате. Менять его рискованно. Опасно человеку выбираться в космос, опасно одному государству навязывать свой социальный строй другому, опасно отдельному человеку пробивать себе путь в чужую социальную среду. Особенно опасно насильственно менять микроклимат социальных групп и народов. На этом потерпели фиаско и египетские фараоны, и римские императоры, и Чингисхан, и Наполеон, и Гитлер... Пусть человечество и народы развиваются самопроизвольно. Можно подумать, будто эту точку зрения опровергли Маркс и Ленин... Но ведь их дерзкий социальный эксперимент не закончен!

— Разрешите, герр профессор, сделать существенное уточнение. «Новый микроклимат» советским людям со стороны никто не навязывал. Маркс и Энгельс открыли

законы развития человеческого общества и смены социальных формаций. Ленин развил это учение и возглавил пролетарскую революцию...

И мы начинаем дискутировать о роли личности в истории.

Профессор Брюгтегорст осуждает гитлеризм. Но к деятельности лагерных антифашистов относится сдержанно. Если бы судьба свела его с Лоренцем, Шольцем, Кенингером, Кноблаухом несколько ранее, когда еще шла война и фюрер был жив, тогда бы их объединяла более широкая платформа. Но сейчас война закончена, гитлеризм разгромлен, фюрер мертв. Сейчас антифашистов больше всего волнует социальное устройство послевоенной Германии. Основное ядро антифашистов называет себя единомышленниками Вильгельма Пика, Вальтера Ульбрихта, Эриха Вайнерта. И тот «микроклимат» в новой Германии, за который они ратуют, профессора чем-то не устраивает.

Ладно, а в каком же «микроклимате» предпочитает обитать сам профессор? Его планы на этот счет мне представляются какой-то клерикальной маниловщиной. Да, новая Германия будет миролюбивой и демократической. Об этом позаботится церковь. Под ее эгидой бурную деятельность развернут всевозможные общества, союзы и организации — рабочие, женские, молодежные, детские, профсоюзные, спортивные... Только религия способна излечить исковерканные нацизмом души немцев!

— Мне очень трудно, герр профессор, представить себе церковь в роли защитника и рассадника демократии, — возражаю я. — Тем более католическую. Ведь она способствовала установлению фашизма в Италии, Испании и Германии. Ватикан в свое время заключил печально известный всему миру конкордат с Гитлером...

Чтобы подкрепить свою точку зрения более убедительной аргументацией, я к следующей своей беседе с богословом запасуюсь некоторыми документами. В моем фронтовом архиве в числе прочих трофеев хранится экземпляр «Пастырского послания военнослужащим вермахта католического вероисповедания по случаю решающей битвы на Востоке». Оно попало мне в руки еще в начале 1942 года на Волховском фронте. Передаю отпечатанную на добротной бумаге листовку профессору и, пока он читает, слежу за выражением его лица. Раблепная стряпня высших католических иерархов третьего рейха сплошь состоит из дифирамбов фашизму:

«Братья! Кто усомнится, что ныне мы, немцы, стали высшей расой в Европе в том понимании, которое выходит далеко за рамки географических и геополитических категорий! Ныне, как уже не раз в истории, Германия стала спасителем Европы, воин, охраняющим ее форпосты. Кровь наших братьев, павших в борьбе против большевизма, красноречивее всяких слов, и все цивилизованное человечество не может не внять ее голосу или предать ее забвению».

К посланию приложен текст молитвы немецких военнослужащих католического вероисповедания. Начинается она такими словами: «О боже! Благослови немецкий вермахт, призванный хранить мир... Особенно благослови нашего фюрера. Пусть все, кого он ведет, видят свою священную миссию в самоотречении во имя нации и отечества».

— Вот видите, герр профессор, — сказал я, когда богослов закончил чтение. — Эти панегирики гитлеризму писали ваши католические генералы от алтаря. Можно ли рассчитывать на то, что люди с такими профашистскими убеждениями поведут новую Германию по демократическому пути?!

К моему удивлению, ни послание, ни молитва не произвели на богослова ожидаемого впечатления.

— Да, такого рода документы при нынешнем ходе мировых событий выглядят явным анахронизмом, — согласился Брюгтегорст. — Однако не стоит придавать им большого значения. И послание и молитву писал наш кардинал, писали наши архиепископы и епископы. Но это всего-навсего тоже смертные и, следовательно, им также свойственно ошибаться. Да, и они временно поддались общему психозу и переоценили фюрера. Но реальные факты окажут отрезвляющее воздействие и на наших церковных руководителей. Скоро все войдет в норму, как говорили древние, вернется на круги своя.

Доводы богослова меня ничуть не убеждают.

— Добрыми пожеланиями ад вымощен, — возражаю ему. — Как будут протрез-

вляться от нацистского психоза ваши духовные пастыри всех рангов, мы с вами еще увидим. Возьмем более близкий пример, он у нас перед глазами. В нашем лагере около трех десятков военных священников. И пока не заметно, чтобы хотя бы один из них приобщился к лагерной антифашистской работе. Все, как сычи из дупла, неприязненно наблюдают из своего О-Ка-Ве-барака...

Казуистической демагогией профессор Брюггехорст пытается выгородить и взвод капелланов из О-Ка-Ве-барака. И главное оправдание в отношении святых отцов: их скрывает необычная для них лагерная обстановка. Поставить их на свои места — дать им приходы, храмы, амвоны, — и они развернутся вовсю.

Что они «вовсю развернутся», я профессору вполне верю. Но как это они делают, я и богослов, видимо, представляем себе по-разному.

— А для Лоренца и Шольца, — говорю я, — для всех прочих антифашистов бараки, нары и лагерный клуб-барак разве обычная и привычная обстановка? Однако они не ждут комфортабельных залов и ясеневых трибун, а не покладая рук работают в той обстановке, какая есть.

Богослов опять юлит, опять пускается в велеречивую словесную эквилибристику. И надо отдать ему должное — язык у него подвешен неплохо. Оно и понятно: еще на студенческой скамье он изучал такие дисциплины, как элоквенция, то есть красноречие, искусство вести диспуты, и другие.

Впоследствии, когда Брюггехорст уже уехал на родину, я не раз пытался представить себе его дальнейшую судьбу. Остался он в своем коттедже на юго-восточной окраине Берлина, или «микроклимат» ГДР не подошел ему и он перебрался в ФРГ? Судя по высказываниям профессора в лагере, можно почти с уверенностью сказать, что наиболее близкой оказалась ему программа образованной в 1945 году партии Христианско-демократический союз, ХДС. Излагая свои политические взгляды, Брюггехорст ставил такие густые дымовые завесы, разводил такую демагогию, что угадать его место в послевоенной Германии было нелегко. Пожалуй, находясь в лагере, профессор сам очень смутно представлял свое будущее. Это уточнилось для него после возвращения на родину, когда от общих фраз и абстрактного философствования пришлось перейти к конкретным делам.

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ЭРУДИТА

Однако вернемся, как говорят французы, к нашим баранам. Пока что Брюггехорст в лагере. Его очень удручает тот факт, что песчинки-секунды текут и текут впустую. Там, в коттедже на берегу Гросер-Мюнгельзе, профессора ждут белый лист бумаги и фаберовская авторучка. Богослов хотел бы продолжить работу над монографией в лагере. Но без своей теологической библиотеки он как без рук. А я даже при всем желании не смог бы выручить профессора. Фома Аквинский и Тертуллиан явно не те фигуры, литературу о которых можно достать в скромных библиотеках Валги. Но все же я сумел несколько разнообразить профессору Брюггехорсту его нудное лагерное бытие. Дал ему карандаши, бумагу и предложил:

— Записывайте, что придет на ум — афоризмы, крылатые выражения, пословицы, изречения из Библии и Корана, исторические были и анекдоты...

Правда, сделал я это не совсем бескорыстно. Решил как-то использовать такую ходячую энциклопедию, как профессор.

Это занятие буквально захватило его. Он бродит по лагерю, как лунатик, возбужденно бормочет про себя, размахивает руками, присев на скамейку, что-то записывает и опять идет, натываясь на людей и стены бараков. Другие пленные называют Брюггехорста *ein verrückter Professor*, то есть чокнутый профессор.

А диапазон знаний у Брюггехорста поистине энциклопедический и память завидная. Приводя, например, библейские сентенции, он указывает номера глав и стихов. Помнит сотни мудрых изречений античных и средневековых мыслителей.

И вот у меня целая папка — коллективный труд темпераментного обер-ефрейтора Брюггехорста и майора фон Дорна, который превосходно владел русским языком, перевел и переписал по-русски эти сентенции. Слева трудночитаемая скоропись на немецком, справа каллиграфически четкие буквы и строчки на русском. Профессор

превзошел мои самые оптимистические ожидания. В частности, богослов сделал подборку афоризмов и занятных историй, отражающих приход к власти Гитлера.

Начало 30-х годов. Некоторые предвыборные плакаты коммунистов и левых социал-демократов выглядели так. Большое стадо телят и баранов, перед ними мясник с засученными рукавами и с ножом в руках, очень смахивающий на будущего фюрера. Текст гласил: «Не будьте глупыми телятами и баранами — не выбирайте на свою голову этого мясника!»

1933 год. Издающийся в Лондоне знаменитый юмористический журнал «Панч» приход Гитлера к власти отметил такой карикатурой. На вершине горы стоят в национальных тирольских костюмах Гитлер и Геринг. На горизонте восходит багрово-красное солнце, лучи — пушечные и пулеметные дула. Геринг: «Какой чудесный восход!» Гитлер: «О да! Он предвещает очень жаркий день!»

У профессора Брюгтегорста нашлось чем отметить все этапы восхождения фюрера и его заката вплоть до позорной гибели «им дрек».

УКРАЛИ ВЗВОД ПЛЕННЫХ

Сейчас на Западе такие звучащие несколько парадоксально выражения в моде: «Украли пароход», «Украли остров», «Украли министра», «Украли футбольную команду»... Но в то время, когда у нас в лагере случилось это прискорбное ЧП, подобные словесные обороты были еще в новинку. Надо же — украли взвод пленных! И не в каком-то переносном смысле, а в буквальном. Уперли! Похитили! Как сказал один солдат из лагерной охраны: «Это, брат, всем чепам чепе!»

Осень 1946 года. Лагерь запасается овощами и картофелем. Прокормить «семейку» в 20 тысяч ртов дело нештучное. Колхозов в Эстонии еще нет, обязательные госпоставки от крестьян-единоличников поступают на приемные пункты. Наш лагерь прикреплен к такому пункту в городе Тырва. Это в тридцати километрах от Валги. Каждое утро лагерный грузовик отвозит в Тырву «гемюзеккомандо», то есть овощную команду, состоящую примерно из 30 пленных. Мы отобрали для этой цели преимущественно крестьян, притом старших возрастов. Они перебирают картошку и морковь, свеклу и брюкву. Второй взвод работает в лагерных овощехранилищах, третий занят на погрузке и транспортировке.

Начало октября, бабье лето. Замечательное погожее утро. В Тырву отправляется трехтонка с «гемюзниками». Машину ведет шофер-немец, рядом с ним конвоир-автоматчик. Еще четыре конвоира в кузове машины вместе с пленными. Хотя народ для «гемюзеккомандо» отобран вполне надежный, без вооруженной охраны никак нельзя. Так положено по инструкции. Автоматчики нужны не столько для устранения пленных, сколько для отражения нападений со стороны бандитов. Обстановка в Прибалтике, в частности в Эстонии, еще беспокойная. По лесам бродят шайки недавних фашистских лакеев из местных националистов. К ним присоединились не успевшие бежать гитлеровцы, власовцы, доморощенные эсэсовцы и прочая нечисть. Для окончательной ликвидации бандитизма в республике действовали специальные истребительные батальоны.

Итак, грузовик с пленными идет из Валги в Тырву, позади уже большая часть пути. Дорога типична для Южной Эстонии: то небольшие, протяженностью в два-три километра хвойные леса, то холмистые поля и сосновые рощицы. Вот машина опять въезжает в лес... Вдруг на повороте дорогу ей преградило поваленное дерево. И только шофер успел затормозить, как раздались автоматные очереди. Из-за деревьев обстреляли кабину. Конвоиры пытались отстреливаться, но оказать серьезного сопротивления не смогли. У бандитов было и численное преимущество и несравненно более выгодная позиция. Перебив охрану, они угнали машину в неизвестном направлении — сразу же свернули с шоссе на проселочные дороги.

О деталях этой трагедии мы узнали позже. А пока что события развивались так. Убитых и смертельно раненных солдат обнаружили на шоссе идущие по грибы эстонские старушки. Они немедленно сообщили об этом в ближайший сельсовет, оттуда позвонили в Тырву. На место происшествия прибыли представители милиции и «скорая помощь». Однако ни одного из пяти конвоиров спасти не смогли.

В Валге по боевой тревоге подняли истребительный батальон и милицию. Наш лагерь выделил поисковую опергруппу. Но сразу напасть на след бандитов, к сожалению, не удалось. Только спустя несколько дней одна из опергрупп обнаружила нашу машину в соседнем районе. Сброшенная с обрыва, она лежала вверх колесами в поросшем лозняком болоте.

Между прочим, нашли машину не случайно. Ехал по лесному проселку старик эстонец и увидел на дороге немецкую форменную фуражку. Подобрал ее, привез домой и отдал участковому милиционеру. Это и навело на след угнанной машины. Истребители предположили, что шапку с головы пленного сорвало ветром или веткой.

Прошла еще одна очень тревожная для работников лагеря неделя. В ту пору в западных районах Эстонии, примерно в ста пятидесяти километрах от Валги, несколько истребительных батальонов проводили крупную совместную операцию против окопавшихся в лесах бандитов. Операция началась внезапно, глубокой ночью. Застигнутые врасплох бандиты пытались бежать в запасные тайники. Но это им не удалось — на всех направлениях их ждали засады. И вот оказалось, что наши похищенные «темюзники» находились именно в этом разбойничьем гнезде. Более десятка немцев сразу выловили истребители во время прочесывания болота. Живые трофеи они передали нам. Затем в течение недели в наш лагерь поступили и остальные пропавшие пленные.

Ведем следствие. Показания пленных сходятся, по всему видно, не врут. Да и ситуация такова, что заподозрить их в сговоре с бандитами мудрено. Чего им добровольно лезть в эстонские болота? С какой стати обрекать себя на верную гибель, когда их вот-вот отправят по домам? О своих злоключениях «экскурсанты» рассказали следующее.

Перебив конвоиров, бандиты свернули с шоссе и погнали машину в глубь леса. Немцев заставили лечь на дно кузова. Пригрозили: кто высунется над бортом, тому пуля в лоб. Дорога была прескверная, сильно трясло. Один из пленных сообразил: чтобы облегчить нам поиски, выбросил через борт свое кепи. Наконец машина остановилась, послышалась команда: «Вылезай! Можно оправиться!». Среди бандитов оказалось неплохо владеющие немецким. Осмотрелись пленные: небольшая поляна, вокруг густой лес, болото. Здесь, выполняя распоряжение бандитов, «темюзники» столкнули машину с обрыва.

Затем пленным завязали глаза и повели куда-то лесными тропами. Идти было трудно, то и дело спотыкались, падали. Сколько прошли — определить не так-то просто. Наконец пришли, с разрешения главаря банды сняли с глаз повязки. Лес, в густом ельнике замаскированные землянки: над ними тоже зеленеют елочки. В одной землянке продуктовый склад, в другой кухня, остальные жилые, с двухъярусными нарами. В землянках ни души. Однако по ряду признаков видно, что еще недавно здесь было многолюдно. В этом запасном лагере пленные провели двое суток. Затем ночью откуда-то приехали два грузовика. В кузовах много сена. Немцам приказали улечься на сено и не показываться над бортами. Ехали долго, несколько часов. Среди туч иногда показывались звезды, и тогда удавалось определять, что машины держат путь на северо-запад. Под утро выгрузились и опять пошли с завязанными глазами. Под ногами хлюпала вода, кодуном ходила зыбкая болотная почва.

Итак, немцы оказались в логове крупной бандитской шайки. Их разместили в трех землянках и начали обрабатывать. Мы, мол, вызволили вас из русского плена. Война с большевистской Россией не закончена. Скоро, очень скоро против цитадели мирового коммунизма выступят Америка и Англия. И тогда наступит наш час! А пока что надо держаться, надо ждать. Как только немного освоитесь, получите оружие и начнете действовать вместе с нами. И не вздумайте убежать! Наш трибунал действует постороже, чем гестапо.

Слушают немцы и поддакивают: яволь да яволь. Возразить «освободителям» бытся — и в самом деле прихлопнут. Зажигательные речи бандитов их ничуть не воодушевляют, будущее рисуется в самых мрачных красках.

Трудно предугадать, как дальше развивались бы взаимоотношения между «темюзниками» и их «освободителями». Еще до того, как немцам было доверено оружие, для бандитского логова и его обитателей наступил судный час. Глубокой ночью вдруг

начался сильный минометный обстрел болотного острова. Затем перебравшиеся через болото истребители стали забрасывать землянки гранатами. Бандиты заметались, бросились наутек. Воспользовавшись заварухой, «гемюзники» выбрались из своих землянок и распозались по болоту...

Вскоре после окончания заготовительной кампании «гемюзники» уехали с очередным эшелонам на родину.

Но было в этой истории и непоправимое: из управления лагеря в различные уголки страны ушло пять похоронок... И это случилось не в разгар войны, а в конце сорок шестого...

ЧЕРНИГОВСКИЙ НЮРНБЕРГ

Die Vergeltung, возмездие... Это слово гитлеровцы склоняли на всевозможные лады в последний год войны. О фергельтунге без устали твердила геббельсовская пропаганда, запугивая немецких солдат и офицеров ужасами большевистского плена.

Еще более страшные, поистине апокалипсические картины фергельтунга воображение гитлеровцев рисовало после того, как советские армии вторглись в пределы третьего рейха. Тут уж и без пропаганды души оккупантов охватил панический страх. Воспитанные в духе фашистской морали, они видели только одну возможность: советские солдаты будут вести себя в Германии точно так, как они сами вели себя на Востоке.

Но вот миллионы гитлеровцев оказались в советском плену, Советская Армия оккупировала значительную часть Германии, однако вопреки геббельсовским прогнозам ничего даже отдаленно похожего на фашистский вандализм не произошло. Осмотрелись фашистские захватчики, увидели, что их страхи были напрасными, и запели иные песни. Никакого фергельтунга не должно быть! Ибо главный ответчик, фюрер, покончил с собой, а мы всего лишь подневольные исполнители...

Настало время разочаровать зарвавшихся фашистских громил. Нет, господа, фергельтунг будет. О возмездии взывают миллионы замученных вами людей. На Нюрнбергском процессе осуждены фашистские обер-преступники. Они тоже сваливали вину на Гитлера. Должны быть осуждены преступники всех рангов. Да, фергельтунг обязательно будет! Но не таким, каким он рисовался в вашем воображении, господа фашисты. Мы не будем расправляться с беззащитными пленными без разбора, оптом, как поступали вы. Вас накажут лишь после того, когда будет доказано ваше личное участие в фашистском терроре.

Но сами военные преступники к нам на исповедь, разумеется, не идут. Их надо уличать, изобличать, что называется, припирать к стенке. Работа исключительно кропотливая. Но не безнадежная. Потому что нам, советским офицерам, помогают сами пленные. В итоге из Валгаского лагеря многие десятки матерых гитлеровцев получили командировки в те места, где они творили беззакония. «Малые Нюрнбергские трибуналы» судили их по месту совершенных преступлений. Расскажу о наиболее значительном и результативном следствии по разоблачению гитлеровских военных преступников, в котором мне довелось принимать участие.

Готовим к отправке в Германию очередной эшелон плененных. В такие дни в лагере царит большое возбуждение. Одни радуются, другие уже не в первый раз испытывают горечь несбывшихся надежд. Каждому пленному хочется как можно скорее сказать своему бараку, своим нарам: ауфвидерзеен! Но у провидения и лагерного начальства свои соображения. Они учитывают и возраст пленного, и состояние его здоровья, и гражданскую специальность, и в какую зону оккупации он желает вернуться. Остаются пока в лагере и те военнопленные, военная биография которых еще требует выяснения.

Каждый счастливчик превращается в почтальона: везет на родину кучу писем. У каждого уйма поручений от остающихся однополчан и земляков.

Во время моего дежурства со мной разговорился ефрейтор Дагобер Майер из рабочей команды, восстанавливающей на Валгаском железнодорожном узле водокачку. Прямо со слезами на глазах жалуется на вопиющую несправедливость. Дескать, старых социал-демократов, честных тружеников и противников фашизма вроде него

задерживают в лагере, а отъявленных нацистов, карателей отправляют по домам. Газве не обидно!

На следующее утро проговорившегося ефрейтора уже допрашивает майор Гиндин. Я ассистирую ему.

Майор. Говорите конкретнее. Каких карателей имеете в виду?

Майер (мнется, краснеет, пыхтит, наконец решается). А хотя бы ротмистра фон Мальтцана из 6-го батальона.

Майор. Какие же у вас основания назвать фон Мальтцана карателем?

Майер. Я встречал его на Украине, когда служил в саперном батальоне. Он командовал тогда кавалерийским эскадронам. Этот эскадрон никогда не был на фронте, он воевал против партизан.

Майор. В нашем лагере еще есть кто-либо из этого эскадрона?

Майер. Утверждать не могу, но думаю, что да. У ротмистра фон Мальтцана есть несколько друзей, фамилий их не знаю. Они постоянно держатся вместе, часто играют в скат. Слышал, как другие пленные называют их тевтонскими рыцарями. Видимо, потому что все они служили в кавалерии.

Майор. За подсказку большое спасибо. Но, герр Майер, упрека вы заслуживаете больше, чем похвалы. Ведь вы, в нашем лагере уже полтора года, и все это время помалкивали, держали в секрете, что рядом с вами разгуливают каратели.

Майер (смущенно ерзая на стуле). Так, герр майор... так... Очень уж не хотелось быть доносчиком.

Майор. Да, доносчики — презренные твари! Но разоблачать фашистов можно и вполне благородным путем. То, что вы рассказали нам сегодня с глазу на глаз, следовало уже полтора года назад заявить публично. Примеров у вас достаточно, так поступали и поступают капитан Шольц, лейтенант Лоренд и многие другие.

Майер (вобрав голову в плечи и пугливо посмотрев по сторонам). С этими наци лучше не связываться! Моя родина — земля Баден-Вюртемберг, это американская зона оккупации. И там, сами знаете, герр майор, бывшим фашистам вольготнее жить. Здесь скажешь против них слово — так дома они тебя со свету сживут. Войдите в мое положение, герр майор: у меня четверо детей. Кроме того... Когда фашизм добивался власти, была настоящая война, приходилось не раз врукопашную схватываться со штурмовиками. Победил Гитлер — я дрожал от страха, как бы не угодать в концлагерь или на виселицу. Затем пять лет воевал, три раза ранен, вдобавок уже полтора года в плену. До смерти осточертела такая жизнь! И после всего пережитого опять начинай сначала: снова веди войну с проклятыми наци. Когда же в конце концов наступит мирная жизнь?!

Майор. Вот что герр Майер. Вас жизнь столько била, столько учила, что пора уже сделать определенные выводы. Вернетесь на родину, осмотритесь — и там на месте будет виднее, как дальше бороться за мир для себя, для своих детей и внуков. А сейчас, учитывая ваше настроение, могу пообещать: этот разговор о ротмистре фон Мальтцане останется между нами. Хотя мне такая трусливая позиция претит.

Майер. И когда же я могу надеяться на отправку домой?

Майор. Скоро. Но не с этим эшелонам. По-моему, герр Майер, сейчас вам даже неудобно претендовать на какие-то льготы. Это выглядело бы так, будто вы разоблачили фон Мальтцана лишь ради того, чтобы занять в эшелоне его место. Вы квалифицированный каменщик. Это очень нужная нам специальность. Как только закончите водокачку, сразу же поедете в ваш Баден-Вюртемберг. Так и товарищам по рабочей команде передайте.

Майер. Яволь, герр майор! Разрешите идти?

Майор. Идите.

Проверяем учетную карточку фон Мальтцана. В ней о «ратных подвигах» ротмистра на Украине не упоминается. Был снят с военного учета ввиду достижения предельного возраста. Но в 1944 году, когда наступила эра тотальной мобилизации, престарелого ротмистра все же вытащили защищать фатерланд. Однако воевать ему так и не довелось: в Польше, еще на пути к фронту, попал в плен.

Вызываем фон Мальтцана на допрос и сразу берем его на пушку. Дескать, мы получили точные сведения: ротмистр фон Мальтцан командовал отдельным кавале-

рийским эскадронем уже в 1942—1943 годах. Имя, возраст и все прочее сходится. Почему скрыли этот период своей службы в вермахте? Фон Мальтцан не отрицается. Но в свое оправдание приводит явно наивные доводы. Да, этот период он действительно упустил. Потому что не придавал ему особого значения. Ведь его эскадрон не сражался на фронте, а нес вспомогательную сторожевую службу в глубоких тылах... Уточняем. Кого и что сторожил эскадрон? Кому непосредственно подчинялся? Охранял безопасность коммуникаций и военных гарнизонов. Подчинялся 399-й черниговской оберфельдкомендатуре.

Предлагаем фон Мальтцану рассказать все, что ему известно о 399-й оберфельдкомендатуре. Оказывается, этот гигантский фашистский спрут душила не только всю Черниговщину — его щупальца протягивались и в соседние области Украины, Белоруссии и Российской Федерации. Кроме кавалерийского эскадрона фон Мальтцана, в ее распоряжении были всевозможные охранные и полицейские батальоны, зондеркоманды и сельскохозяйственные службы, подразделение бронев автомобилей и отдельная танковая рота. Но «для охраны коммуникаций и военных гарнизонов» и этого воинства не хватало. Для расправы с партизанами и мирным населением эта межобластная комендатура использовала также воинские части, в том числе 5-ю и 105-ю венгерские пехотные дивизии. Когда под ударами Советской Армии гитлеровские дивизии и корпуса принялись в спешном порядке «выравнивать линию фронта», фашистский спрут в том же быстром темпе стал уползать на запад.

По регламенту «выравнивания линии фронта» между оберфельдкомендатурой и передовыми частями должен был постоянно соблюдаться определенный интервал. Но фронтовые части драпали иногда так быстро, что нагоняли тыловые службы. И тогда все смешивалось в кучу. Так, в частности, случилось в Польше. Наши танкисты, прорвавшись вперед, «замели» всех вместе. Сортировать пленных у них не было времени. Один такой эшелон, представляющий собой винегрет из фронтовиков и тыловиков, в начале 1945 года прибыл из Польши в Валгаский лагерь. Воспользовавшись неразберихой, многие комендатурщики и каратели выдали себя за фронтовиков. Такой трюк проделал и фон Мальтцан. Вот мы и расхлебываем кашу: отделяем овец от козлий.

Без особого труда устанавливаем компаньонов фон Мальтцана по игре в скат. Нам, несомненно, гораздо важнее, что они сослуживцы ротмистра по кавалерийскому эскадрону. Один из кавалеристов оказался то ли более откровенным, то ли более наблюдательным, чем его командир. Он по секрету поделился с нами своими подозрениями. Ему, дескать, кажется, будто в венгерском батальоне есть несколько пленных из отдельной танковой роты, которая была в подчинении у 399-й оберфельдкомендатуры. Знакомые лица заметил он в 11-м немецком батальоне и в О-Ка-Ве-бараке. Правда, тогда, на Украине, некоторые из них ходили в более высоких званиях. А казалось бы, должно быть наоборот...

Предположения кавалериста полностью подтвердились. В бараке «Унгария» мы обнаружили нескольких танкистов из венгерской танковой роты, в том числе ее командира. В 11-м немецком батальоне оказалось несколько гитлеровцев от унтер-офицера до гауптмана включительно, служивших в различных комендатурах, подчиненных черниговской оберфельдкомендатуре. Но главной улов нас ждал в О-Ка-Ве-бараке. Там удалось разоблачить начштаба 399-й ОФК подполковника Бруно Байера, начальника особого отдела той же комендатуры подполковника Стефана фон Тюльфа, бывшего начарта 8-го венгерского оккупационного корпуса полковника Ференца Амона, который, кроме того, в разное время был военным комендантом Чернигова, Минска, Бобруйска и Бреста.

Итак, ухватившись за небольшой кончик, мы вытащили на свет божий десятка два махровых карателей — бывших штабистов черниговской оберфельдкомендатуры, офицеров и унтер-офицеров из приданных к ней воинских подразделений, а также из подчиненных оберфельдкомендатуре фельд- и ортскомендатур. Предварительные допросы ведем наспех, так сказать, пунктирно. Нас подгоняет предстоящая отправка эшелона. Пока что главная задача не упустить из рук военных преступников.

Выясняется, что из выявленных «черниговцев» около десятка намечено к отправке. Накладываем на них свое вето. Подымается настоящий тарарам. Именные списки

уже начисто переписаны, путевая документация оформлена, паек на дорогу выпишай. Завтра подадут вагоны — и тогда извольте начинать погрузку немедленно, счет времени пойдет на минуты.

Начальник управления лагеря майор Королев, офицеры-хозяйственники вовсю ругают нас, особистов, за нерасторопность. Даже наша секретарь-машинистка ворчит. То, что карателей надо во что бы то ни стало задержать, всякому понятно. Но почему это делается в последнюю минуту? Почему майор Гиндин со своими помощниками так безбожно копаются?

И майор Королев и майор Гиндин оба вспыльчивые, но очень быстро отходят. Вот они уже мирно обсуждают ситуацию.

— Ведь у каждого оккупанта на лбу не написано, что он вытворял до пленения, — говорит майор Гиндин. — У меня всего три помощника, а пленных двадцать тысяч. Да еще трижды столько прошло через наш лагерь. Так что ничего удивительного, что мы не всегда справляемся. А в данном случае надо не расстраиваться, а радоваться. Эдаких фашистских негодяев обнаружили, не допустили, чтобы они ускользнули без наказания! Давайте не будем ссориться, а вместе подумаем, как лучше выйти из положения. Сделаем так: в течение двух часов мы подберем кандидатов для замены. А затем всем придется дружно поработать — и к прибытию вагонов обязательно успеем.

Поработали, успели. На следующее утро, ставя печать на переписанные заново списки, начальник лагеря шутливо говорил майору Гиндину:

— Вот теперь — окончательно и бесповоротно! Хоть самого Бормана откопаете, переделывать не станем. Вагоны уже в Тарту, через три часа будут здесь. Сразу после завтрака давайте команду на построение.

Эшелон ушел. Как будто наступило время основательно заняться отсортированными козлицами. Но нет, есть еще одно неотложное дело. Во время предварительных допросов выяснилось, что часть «черниговцев», пройдя через наш лагерь, попала в Тарту, Таллин, Кохтла-Ярве, Нарву и в другие города Эстонии. Просим республиканский ОПВИ¹: «Всех карателей, имеющих отношение к 399-й ОФК, желательно собрать в одно место, а именно — в Валгаский лагерь. Списки прилагаем». Наша просьба была удовлетворена.

Наконец начинается «черниговская страда». Перекрестными допросами постепенно устанавливаем картину тех опустошений, которые произвел чудовищный фашистский спрут за время хозяйничанья на Черниговщине и в сопредельных с ней областях. Сотни уничтоженных селений, десятки тысяч советских людей, угнанных на принудительные работы в Германию, расстрелянных, повешенных, живо сожженных. Чаще всего упоминаются селения Олино, Елино, Гулино, Майбутня, Рейментаровка, Журавлева Буда, Корюково... В качестве оплотов черниговских партизан фигурируют Елинский и Рейментаровский леса...

Чтобы лучше разбираться в географии тех мест, где разбойничали оберфельдкомендатурщики, с большим трудом раздобыли карты. Увеличили их, размножили в нескольких экземплярах. Сейчас совсем другое дело! Вот они, Елино, Олино, Гулино, Рейментаровский лес... Карты помогают ориентироваться не только нам, но и подследственным. По тем маршрутам, где несколько лет назад оккупанты со спесивым видом покорителей мира разъезжали в «опель-адмиралах» и «опель-капитанах», в «опель-олимпиях» и на броневтомобилях, они сейчас водят дрожащей от страха рукой. Ищут памятные Савенки, покаянно-заикливыми голосами рассказывают, как жгли Олино, Елино, Гулино... Разумеется, «не по своей доброй воле: таков был приказ свыше».

В ходе следствия у нас возникла такая идея. Надо послать на Черниговщину специального следователя. Пусть он побывает в тех селениях, которые чаще всего фигурируют в показаниях оберфельдкомендатурщиков. Пусть побеседует сцелевшими жителями, запишет их свидетельские показания. В памяти у многих должны сохраниться имена местных комедантов, номера и названия приданных воинских частей и подразделений. Пусть привезет копии актов чрезвычайных государственных комис-

¹ Отдел по делам военнопленных и интернированных.

сий, которые подводили итоги фашистского разбоя и в областном масштабе и в каждом районе в отдельности.

Я без всякой надежды сунул было с просьбой к майору Гиндину: пошлите меня. Но Лев Маркович и слушать не захотел. Никого из своих помощников в Чернигов он не направил. Дескать, вы втянулись в дело 399-й ОФК, вы и доводите его до конца.

На Черниговщину командировали следователя из Таллина. По пути на юг он заехал денька на три к нам. Прочитал протоколы допросов, посмотрел, как выглядят подследственные. Снабдили мы его картами и подробными инструкциями: нам в первую очередь нужны, мол, такие-то и такие-то данные.

Около месяца наш военный следователь путешествовал по Черниговщине, Гомельщине, Брянщине. Материалы присылал нам небольшими порциями спецпочтой. После этого мы, ведущие следствие, почувствовали себя намного увереннее. А подследственным, изобличаемым документами и фактами, пришлось признаваться и в том, о чем они раньше предпочитали умалчивать.

Около трех месяцев длилась «черниговская страда». Наконец получаем приказ из Таллина: «Всех бывших немецких и венгерских военнослужащих из 399-й ОФК и приданных к ней подразделений вместе с личными делами и следственными материалами направить в гор. Чернигов Украинской ССР».

Отправили. И сразу же с головой окунулись в другие, порядком подзапущенные за три месяца дела. О дальнейшей судьбе наших оберфельдкомендатурщиков долгое время не было никаких вестей. Наконец 19 ноября 1947 года — я к тому времени уже демобилизовался и стал работать директором русской средней школы в Валге — в центральных газетах появилась информация: в Чернигове начался процесс по делу немецко-венгерских захватчиков на территории Украины и Белоруссии. Но о черниговском процессе немецко-венгерских оккупантов я знал не только из газет. Республиканский отдел по делам военнопленных и интернированных в качестве своего представителя направил в Чернигов моего товарища по работе в Валгаском лагере переводчика И. Ландмана. Он-то и рассказал мне подробности о ходе процесса.

Военных преступников, имеющих отношение к 399-й ОФК, в Чернигов доставили из нескольких лагерей. Для основного процесса было отобрано 16 подсудимых, которые особенно отличались в зверских расправах над мирным населением и по своему положению несли наибольшую ответственность за совершенные злодеяния. Из валгасцев в числе 16 главных оберфельдкомендатурщиков оказались немецкие подполковники Бруно Байер и Стефан фон Тюльф, а также венгерский полковник Ференц Амон.

Процесс длился неделю. Обвинители огласили акты чрезвычайных государственных комиссий. Только в Черниговской области за время оккупации было повешено, расстреляно, сожжено, замучено 104 тысячи мирных жителей и 24 тысячи военнопленных. Десятки тысяч оккупанты угнали на принудительные работы в Германию. Перед трибуналом прошли сотни свидетелей. Выступали вдовы и сироты, выступали люди, получившие во время пыток тяжелые увечья... Свидетельствовали обреченные на смерть и чудом выскочившие из горящих домов... Свидетельствовали преждевременно поседевшие юноши, девушки, дети... Выступили перед трибуналом три православных священника... Гитлеровцев и хортистов уличали и обвиняли их же соотечественники...

25 ноября 1947 года военный трибунал вынес приговор: каждый из 16 обвиняемых осуждался на двадцатипятилетнее заключение в исправительно-трудовых лагерях. Для этих фашистских разбойников фергельтунг состоялся.

ВСТРЕЧА НА СТРАНИЦАХ КНИГИ

Прошло еще несколько лет. Попалась мне в руки книга дважды Героя Советского Союза Алексея Федоровича Федорова «Подпольный обком действует». Читаю и прямо не могу оторваться. В этом документальном произведении рассказывается о героических делах черниговских партизан. Я в свое время о перипетиях этой борьбы узнавал из показаний карателей. А сейчас о тех же событиях, но, разумеется, по-своему, с противоположных в прямом и переносном смыслах позиций рассказывает секретарь Черниговского подпольного обкома партии. То и дело встречаю знакомые названия

селений. Нахожу я и знакомые фамилии. Одну из них особенно хорошо помню! Во второй главе второй книги «Подпольного обкома» читаю:

«Во время боя в Савенках мы захватили чемодан штабного офицера Августа Тюльфа. Там были планы, карты, разные служебные записки... Внизу лежали еще не распределенные фронтовые фотографии: Тюльф надевает петлю на шею польской крестьянки; Тюльф стреляет в затылок человека со связанными руками; Тюльф с группой офицеров поднимает бокал перед портретом Гитлера... И увеличенный снимок: Тюльф веселится в кругу друзей. Их там, этих друзей, человек пятнадцать. Тюльф — самый старший. Остальные — гитлеровская молодежь».

Правда, автор «Подпольного обкома» называет Тюльфа Августом. А у нас в лагере и на процессе фигурировал Стефан. Остальное сходится: тот и другой штабные офицеры. Маловероятно, чтобы в штабе черниговской ОФК оказались два старших офицера с редкой у немцев фамилией Тюльф. Скорее всего речь идет об одном и том же офицере — начальнике особого отдела штаба 399-й ОФК подполковнике Стефане фон Тюльфе. А путаница с именем каким-то образом вкралась при использовании документов трофейного чемодана.

Итак, в Савенках фон Тюльфу удалось ускользнуть от черниговских партизан. Там он потерял только свой драгоценный чемодан. Но в конце концов матерый фашист не избежал ни плена, ни возмездия.

Когда мы расследовали преступления черниговских оберфельдкомендатурщиков, книги А. Федорова еще не было. А жалы! Описание фотографий, обнаруженных в чемодане, очень помогло бы следствию. Ведь мы предъявляли фон Тюльфу обвинения как высокопоставленному штабному офицеру 399-й оберфельдкомендатуры, искали преступные приказы за его подписью. Оказывается, этот садист охотно выступал и в роли палача-исполнителя, собственноручно расстреливал и вешал советских и польских патриотов.

Впоследствии я не раз подумывал: надо бы написать автору «Подпольного обкома» о моих встречах с нашими общими знакомыми — черниговскими оберфельдкомендатурщиками. Но все не доходило руки. Свое намерение осуществил только недавно, работая над «Восточными университетами». В ответном письме Алексей Федорович подтвердил мое предположение. Во время тяжелых боев у села Савенки трофейный чемодан был потерян. Содержание его воспроизведено по памяти...

ВСПОМИНАЕТСЯ «ПЛАМЕННЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ»

Сколько бы ни отнимали у нас времени следственные дела, мы по-прежнему огромное внимание уделяем воспитательной, антифашистской работе. И дело не только в том, что этого требует республиканское начальство. Конечно, антифашистская работа не ведется стихийно, на этот счет официальных указаний хватает. Но главный тон задает орган Национального комитета «Свободная Германия» — «Фрайес Дойчланд». Да и сама жизнь беспрестанно выдвигает все новые и новые требования.

Хотя пленные внешне изолированы от остального мира колючей проволокой и сторожевыми вышками, они в курсе того, что происходит в большом мире, и чутко реагируют на малейшие изменения мировой погоды. Антифашистам надо все время быть начеку, откликаться немедленно, полагаясь на свое чутье, свою интуицию. Приходят советоваться. Совместно обсуждаем вновь возникшую ситуацию и составляем план действий.

На воспитательной работе среди пленных очень положительно сказалось введение в лагерях специальной штатной единицы — инструктора по антифашистской работе. К нам на эту должность прислали старшего лейтенанта Ефима Шоймера. Он во всех отношениях оказался на своем месте. Человек культурный, эрудированный, вполне удовлетворительно владеет немецким. На фронте служил полковым и дивизионным переводчиком, до войны много лет преподавал русский язык и литературу в вузах Петрозаводска. И навык обращения с военнопленными и большой педагогический опыт на такой работе тоже оказались очень кстати. Так что старший лейтенант Шоймер быстро вошел в курс дела и поладила с антифашистским активом. После его

прихода антифашистская пропаганда в нашем лагере стала еще более организованной и действенной.

Иногда сравниваю антифашистов лагерных с антифашистами фронтовыми. В 1943 году на Ленинградском фронте и в 1944-м под Псковом, в мою бытность радиосолдатом, я работал диктором на ОГУ — окопных говорящих установках и МГУ — мощных говорящих установках. Вместе с нами часто выступали по радио и немецкие пленные-антифашисты. Обычно такие пленные на фронте не задерживались. Скажем, выступит свежий язык или перебежчик несколько раз на различных участках переднего края — и его направляют в тыл, в лагерь. Однако после образования Национального комитета «Свободная Германия» по фронтовому радио стали систематически выступать и постоянные пропагандисты, специально подобранные для этой цели, политически грамотные, обладающие даром слова, уже зарекомендовавшие себя на антифашистской работе в лагерях.

В июле сорок третьего Национальный комитет направил своих полномочных представителей на каждый из 16 советских фронтов. На Ленинградском фронте таким уполномоченным стал лейтенант Эрнст Келер. Он сразу же завоевал симпатии политработников. Умный и тактичный, без заискивания и чрезмерного солдафонского усердия, чем страдали многие пленные немцы, лейтенант Келер, общаясь с нами, соблюдал необходимую для военнопленного субординацию, не унижая собственного человеческого достоинства. В характере Эрнста Келера очень удачно сочетались неторопливость, спокойствие и кипучая энергия. Каждую ночь, иногда в двух различных точках, он выступал с ОГУ или МГУ. Его не смущали никакие трудности, никакие опасности, которые неизбежно сопутствовали ночным визитам на передний край. Подымаясь с земли после минометного налета, он улыбался и отпускал какую-нибудь шутку: «Вот мои соотечественники и поприветствовали меня».

Рассказав о положении на фронтах и в Германии, Келер переходил к разъяснению задач «Свободной Германии», зачитывал «Манифест» Национального комитета, опубликованный в № 1 «Фрайес Дойчланд». Мы эту деликатную тему в свои передачи предпочитали не включать. Считали, что в данном случае эффекта можно ожидать только от выступлений самих немцев.

Келер начинал читать несколько монотонно, с каким-то напряжением, казался слишком связанным текстом. Но скоро «разогревался», воодушевлялся, в его глазах загорались огоньки. Он все чаще и чаще отрывался от листа бумаги или газеты, десятки раз читанный «Манифест» передавал почти наизусть:

— «Быть или не быть нашему отечеству — так стоит сейчас вопрос. Германский народ нуждается в немедленном мире и жаждет его. Но с Гитлером мира никто не заключит. Никто с ним переговоров вести не станет. Поэтому образование подлинно национального правительства является неотложной задачей. Только такое правительство будет пользоваться доверием народа и его бывших противников. Только оно сможет принести мир».

Голос Эрнста Келера с каждым новым абзацем звучал все более убежденно и страстно. Свое выступление он обычно заканчивал чтением стихов немецких поэтов-антифашистов Иоганнеса Бехера, Вилли Бределя или президента Национального комитета «Свободная Германия» Эриха Вайнерта.

Мы, политотдельцы и радиосолдаты, между собой называли Эрнста Келера «пламенным лейтенантом».

Присутствуя при выступлениях Келера, я внимательно прислушивался к его произношению. А раза два-три он провел со мной специальные занятия. Я читал ему написанные для немцев информационные сообщения и листовки, он внимательно, терпеливо слушал меня и очень тактично поправлял.

Приходилось мне встречаться с Эрнстом Келером и в другой обстановке: на дивизионных и армейских совещаниях, семинарах, посвященных пропаганде среди войск противника. «Пламенный лейтенант» информировал нас, политотдельцев и радиосолдат, о настроениях в действующей гитлеровской армии и среди немецких военнопленных. Его выступления отличались страстной убежденностью, умением тонко анализировать обстановку и очень логично аргументировать свою точку зрения. Впоследствии я часто вспоминал эту проникновенную глубоким анализом и насыщенной

интересными примерами информацию «пламенного лейтенанта». И на фронте и особенно в Влагаском лагере, где довелось работать со многими тысячами пленных.

В послевоенные годы я поддерживаю с Эрнстом Келером письменную связь. С 1945 года он живет в Берлине. Активный коммунист, избирался в городской магистрат, обер-директор берлинской почты. Вырастил сына и трех дочерей, имеет внуков. Всю свою искрометную энергию Эрнст Келер отдает претворению в жизнь тех идеалов, которые он так страстно проповедовал в плену — по радио на переднем крае, беседуя с пленными в лагерях и выступая на страницах антифашистской печати. Лейтенанта перевели в запас, затем, по достижении предельного возраста, в отставку. А пламенным патриот новой, демократической Германии будет оставаться до конца своих дней.

КОМАНДА ЛОРЕНЦА

Иногда я думаю об отношении наших фронтовиков к пропагандистской работе среди войск противника. Первую половину войны у многих офицеров и особенно у солдат оно было скептическим. Бывало, приходит наша команда ОГУ вместе с радиоаппаратурой на передний край. Скажем, в район Пулкова, Пушкина или Ижоры. Комбат и комроты уже предупреждены из политотдела дивизии. Нам предоставляют землянку, оказывают всяческое содействие. Но чувствуем, что это делается только во исполнение приказа свыше. А в эффект нашей работы хозяева не особенно-то верят. Иногда над нами откровенно подтрунивали, называли нашу команду «артелью на-прасный труд». Некоторые бывалые фронтовики с большим сомнением относились к визитам на передний край пленных немцев. Разумом они понимали, что это немцы особые — проверенные, надежные, перешедшие на нашу сторону антифашисты. Но, увидев гитлеровскую форму, они инстинктивно настораживались. Им трудно было смириться с тем, что какой-то немецкий лейтенант или фельдфебель свободно расхаживает по траншеям, иногда в кромешной тьме вместе с радиосолдатами прибирается в боевое охранение и даже выполняет на нейтралку.

Правда, было еще одно существенное обстоятельство, почему хозяева переднего края встречали радиосолдат очень сдержанно. Мы для них были возмутителями спокойствия. В ответ на наши передачи противник часто огрызался минометными и артиллерийскими обстрелами. Другое дело приходящие из тыла снайперы. Из-за них тоже часто начинался тарарам. Но задача снайперов была понятна каждому и результаты их трудов подсчитывались с предельной простотой и наглядностью — количеством убитых фашистов. Они воевали не словами, а прицельными пулями. Так что снайперов на переднем крае встречали с большим гостеприимством, чем радиосолдат.

Положение коренным образом изменилось во время большого наступления летом сорок четвертого года. Наши фронтовики воочию убеждались, что гитлеровцы начали сдаваться в плен, не только попадая в безвыходное положение, как бывало раньше. Многие перебежчики и добровольно сдающиеся в плен в качестве пропуска предъявляли листовки Национального комитета «Свободная Германия». Некоторые на допросах заявляли: «Услышал по радио выступление своего однополчанина такого-то и решил последовать его примеру». Соответственно наш авторитет в армии возрастал.

В эту же пору радио и газеты принесли известие о крупнейшем антигитлеровском заговоре в Германии и о покушении на фюрера 20 июля 1944 года. Оно произвело огромное впечатление не только на самих немцев, но и на нас, фронтовиков. Вывод напрашивался сам собой: значит, худо обстоит дело в стане врага, если против Гитлера восстают его фельдмаршалы и генералы, генштабисты и высшие чиновники, и не где-нибудь в лагере военнопленных, а в сердце Германии! После этого даже самым заядлым скептикам стало ясно, что слова нашей радиопропаганды не летят бесплодно по ветру, а находят своих внимательных слушателей.

И вот наступила пора: гитлеровцы безоговорочно капитулировали, попали в плен. Однако политическая пропаганда среди войск противника по-прежнему необходима. Она только приобрела новые формы. Над нашей работой уже никто не иронизирует. Но все же недавние фронтовики не прочь и сейчас проехаться на наш счёт в снисходительно-шутливом тоне. Некоторые наши солдаты и офицеры хозяйственной

и караульной служб антифашистский актив фамильярно называют то «лоренцевской командой», то «шоймеровской командой». И убеждены, что ведущая роль в лагере принадлежит хозяйке и караульной роте. Дескать, в первую очередь пленных надо кормить, поить и стеречь. И уж во вторую заниматься лекциями и концертами.

Между тем Вилли Лоренц — наш лучший оратор, настоящий артист трибуны. Лоренц выступает перед многолюдными аудиториями в особо торжественных случаях. Это он открывал на апельплацу митинг в день капитуляции гитлеровской Германии, это он зачитывал тысячам пленных «Манифест» Национального комитета «Свободная Германия» и другие чрезвычайной важности документы и сообщения, публикуемые в газете «Фрайес Дойчланд». Из всех лагерных антифашистов Лоренц больше всего напоминает мне «пламенного лейтенанта» Эрнста Келера.

Выступления ораторов движения «Свободная Германия» обычно проникнуты пафосом. Но это не выпренность, а естественное выражение эмоций высокого накала. Патетический тон речей ораторов и ряда статей газеты «Фрайес Дойчланд» действительными антифашистами, полностью захваченными идеей борьбы с нацизмом, воспринимается как должное. Но тех пленных, которые капитуляцию гитлеровской Германии считают катастрофой нации и сейчас пребывают в трауре, оптимизм антифашистов, мажорно-приподнятый тон их речей пока что сильно раздражает.

Лоренц был призван в действующую армию с третьего курса юридического факультета. Вернувшись домой, намерен завершать образование. Но ведь одновременно надо кормить старенькую мать, надо поддерживать сестру и брата. Будут ли государственные стипендии? Можно ли будет совместить учение и работу?..

В отличие от Лоренца капитан Ульрих Шольц больше тяготеет к добротным, хорошо обоснованным интересными, убедительными фактами докладам и лекциям. Текущие военные и политические обзоры, проблемы послевоенного устройства Германии и вообще Западной Европы — вот его стихия. И еще Ульрих Шольц считается непревзойденным мастером индивидуальных и групповых собеседований. Все свое свободное от выступлений в антифашистском клубе время он проводит в красном уголке и библиотеке, у щита с газетой и в жилых бараках. Отвечает на вопросы, разъяряет, втолковывает, спорит... В спорах полагается прежде всего не на эмоции, а на логические доводы и факты. Родина Ульриха Шольца — Рур. Шольц не кадровый военный, капитанское звание ему теперь ни к чему. После освобождения намерен вернуться в металлургию, где до войны работал на заводе сменным инженером. Но заранее предвидит: после «восточного университета» поладить с капиталистическими порядками будет исключительно трудно, а быть может, и невозможно. Какой интерес лезть из кожи ради обогащения хозяев концерна или фирмы! А не работать с полной отдачей сил не позволит сама организация производства. Да и политическая атмосфера в Западной Германии для таких, как Ульрих Шольц, видимо, окажется неблагоприятной.

У рядового Альберта Кноблауха, столяра-краснодеревщика из Саксонии, нег ораторских талантов Вилли Лоренца и эрудиции Ульриха Шольца. Солдат Кноблаух силен другим: он очень наблюдателен, язвительно-остроумен, замечательный рассказчик. Вокруг него часто собирается компания, чтобы послушать забавные были о немецких бюргерах, помещиках, гитлеровских офицерах. Критикуя нацизм и вермахтовскую муштру, Кноблаух не вдается в высокие материи — по любому поводу вспоминает подходящую историю из собственной солдатской практики. Негодный к строевой службе, Кноблаух всю войну прослужил в санитарной роте. Но работать санитаром в лагерном лазарете не пожелал, попросился в столярную мастерскую. Свой выбор объяснил так:

— За четыре года я насквозь провонял хлорной известью, лизоформом и парашами. Хочется, чтобы к моему возвращению домой вся эта пакость полностью выветрилась...

МАЛАЯ ПИНАКОТЕКА

В числе главных достопримечательностей Мюнхена путеводители обязательно упоминают две всемирно известные картинные галереи — Старую и Новую пинакотеку. А в нашем лагере существует малая пинакотека. Так пленные баварцы прозва-

ли небольшую комнату-боксовушку в антифашистском клубе, вокруг которой группируются лагерные художники.

Значительную часть продолговатой комнаты занимает длинный стол с гладкой столешницей. Это на нем картограф Курт Кеннингер вычерчивает карты. Здесь же художники рисуют плакаты и лозунги для клуба и жилых бараков, раскрашивают декорации для клубных постановок.

Шутки шутками, а возглавляет малую пинакотеку дипломированный художник, академик Якоб Петерс-Рейзер. В годах, болезненный, физически немощный, он одна из жертв тотальной мобилизации. Страдает сильной близорукостью, осложненной астигматизмом. Во время кратковременного пребывания на фронте потерял единственные очки. А без них он совершенно беспомощен.

Старший лейтенант Шоймер обнаружил художника в одном из батальонов. Ефрейтор Петерс-Рейзер был в состоянии глубокой депрессии. Без очков он наткнулся на стены, с трудом ходил в строю на аппельплац. Слезая однажды со второго яруса нар, сорвался вниз и повредил себе плечо. Он не мог ни читать, ни рисовать. Невозможность заниматься любимым делом с трудом переносит любой человек. А для творческой природы такая беда превращается в настоящую пытку.

Шоймер раздобыл в Таллине нужный номер очков. Правда, они корректировали только близорукость. Антиастигматические очки делаются по индивидуальному заказу, и в сорок пятом за столь сложную работу таллинские оптики не взялись. Но и такие очки, какие удалось достать, спасали художника от полного бездействия. Он буквально воспрянул духом. Петерс-Рейзер руководит группой художников-прикладников, работающих для текущих нужд лагеря. И сам рисует. Особенно удачны у него портреты. Помогает начинающим художникам.

Раза два-три я слушал рассказы Петерса-Рейзера о его жизни. О ней можно было бы написать интереснейшую книгу. До прихода Гитлера к власти художник вращался в кругу прогрессивной творческой интеллигенции Мюнхена. Дружил с известным немецким писателем-антифашистом Оскаром Марией Графом. После фашистского переворота Граф обратился к нацистскому правительству с открытым письмом-памфлетом «Сожгите меня!». Он требовал, чтобы его книги сжигали наравне с произведениями других писателей-антифашистов. Оскар Мария Граф показывал Петерсу-Рейзеру рукопись памфлета. Они вместе горячо обсуждали проект, Петерс-Рейзер от себя внес несколько предложений, которые вошли в окончательный текст. А потом Оскар Мария Граф эмигрировал, а Петерса-Рейзера, его жену и детей стали преследовать нацисты. И сейчас художник ничего не знает о судьбе своих родных.

— И за все неисчислимые беды, которые принес мне гитлеризм, я получил от него взамен лишь одно вознаграждение — чин ефрейтора! — закончил с горькой иронией свой печальный рассказ художник.

У Петерса-Рейзера есть любимый ученик — юный лейтенант Вольфганг Майер. У начинающего художника множество планов, но на пути к их осуществлению грозятся труднопреодолимые препятствия. В плену Вольфганг стал убежденным антифашистом. А отец его был эсэсовским генералом. И семья, и родственники, и знакомые до недавнего времени были насквозь пропитаны духом нацизма. Вернуться в такую обстановку — так заживо съедят! А куда деваться после освобождения из плена, если нет никакой гражданской специальности, если так хочется учиться на художника? Пожалуй, придется сразу проситься в восточную зону, хотя родители попали в западную...

А тут еще вплелась романтическая история! В сорок четвертом лейтенант был ранен и лежал в госпитале в Лодзи. В составе вольнонаемного персонала работала медсестра Люция. Вольфганг влюбился в красавицу польку, и та ответила ему взаимностью. Видимо, немалую роль сыграло то обстоятельство, что Вольфганг признался Люции в ненависти к фашизму. Они поклялись во взаимной верности и договорились после окончания войны искать друг друга невзирая на любые препятствия. В лагере Вольфганг так и не дождался ответа от Люции. Обосноваться на постоянное жительство решил в восточной зоне.

Заканчивая свой рассказ о малой пинакотеке, хочу заметить, что и сам Якоб Петерс-Рейзер, и молодые художники, которые группировались вокруг него, сыграли немалую роль в антифашистском воспитании пленных Вальгасского лагеря № 287.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СЕМЕСТРЫ

Я уже упоминал, что один из наиболее активных и политически грамотных антифашистов Вальгасского лагеря, Вилли Лоренц, свое участие в гитлеровском нашествии на Советский Союз и пребывание в плену назвал «восточным университетом». Этот университет с различной степенью успеваемости прошли и миллионы других соотечественников Лоренца. Проследим же важнейшие этапы их многотрудной учебы.

После образования в июле 1943 года Национального комитета «Свободная Германия» и до конца войны задачи антифашистов и их тактика были в общих чертах такими, какими изложил их нам Эрнст Келер. Большинство антифашистов объединялось лозунгами: долой Гитлера и фашизм, надо немедленно кончать войну, надо строить Германию — демократическую, миролюбивую. Военная присяга, данная в свое время фюреру, утратила силу.

Но говоря о новой Германии, различные антифашисты представляли ее себе по-разному. Одни: это будет республика трудящихся, о которой мечтали и за которую боролись Карл Либкнехт, Роза Люксембург и Эрнст Тельман. Другие: это будет уважаемое буржуазное государство, как Голландия, Дания или Швеция. Третьи: немцы должны быть богобоязненной нацией, процветающей в лоне христианской церкви. Четвертые: русские и их союзники расправятся с кликой Гитлера, с эсэсовцами и гестаповцами, нам останется заменить свастику другой национальной эмблемой и переименовать вермахт, а остальное пусть остается по-старому — Германия превыше всего! Были и такие антифашисты, которые в упоении кричали: «Долой Гитлера! Конец войне!» — а чего им хотелось бы вместо фашизма, сами толком не знали. В своих истинных симпатиях и антипатиях разобрались, только вернувшись на родину.

Любой немец, прибывая на восточный фронт, так сказать, автоматически зачислялся на подготовительный курс «восточного университета». А попав в плен, переходил к изучению дисциплин «основного университетского курса».

Следует отметить, что гитлеровец со шмайссером или фаустпатроном в руках, управляющий «юнкерсом» или «тигром», и тот же гитлеровец в плену — фигуры принципиально разные, отличающиеся друг от друга качественно. И дело не только в том, что у него из рук выбит главный аргумент фашизма — оружие. Он оглушен совокупностью прочих обстоятельств. Его, точно знающего свое место в вермахтовской военной машине, привыкшего действовать только по приказу старшего начальства, вдруг с треском вышибло из привычной обстановки. Он охвачен почти мистическим ужасом, убедившись на своей шкуре, что Советская Армия, якобы полностью уничтоженная, на самом деле существует. Более того, она в состоянии брать в плен полки, дивизии и даже армии, способна гнать на запад «непобедимую» стальную армию вермахта. Он долго не может свыкнуться с непостижимой умом реальностью: еще недавно высокомерные и, казалось, всемогущие майоры, оберст-лейтенанты и оберсты сегодня наравне с низшими и средними чинами стоят в очереди за своей порцией лагерного супа, живут в таких же бараках, строем ходят на утренние и вечерние ашпели.

Пребывание в плену можно подразделить на два основных этапа: первый — война еще продолжается, второй — после капитуляции фашистской Германии. Первый период можно условно назвать младшими курсами «восточного университета», второй — старшими. Мы уже знаем о том, какими заботами заполнены университетские будни и у студентов и у их наставников — антифашистского актива. Но нелишне будет рассказать и еще кое о чем.

Перед стендом у входа в антифашистский клуб в дозволенные лагерным режимом часы, как и раньше, толпятся пленные. Читают свежий номер «Фрайес Дойчланд», обсуждают карту Германии. Извилистых линий фронтов на карте уже давно нет, но поговорить, поспорить по-прежнему есть о чем, есть из-за чего поволноваться. Сейчас внимание пленных приковывают зоны оккупации, особый статус Берлина

и, конечно же, новые границы Германии. И надо в какой-то мере быть политически грамотным, обладать государственной мудростью и гражданским мужеством, чтобы реальные факты принять как свершившуюся историческую справедливость. И чтобы, приняв это как должное и неизбежное, не озлобиться на историю, на судьбу и зарубежных соседей, не затаить в себе тайную надежду на сулящие реванш «лучшие времена». Особенно трудно согласиться с решением истории тем гитлеровцам, которые еще недавно планировали восточные границы рейха по Уралу и с вождением мысленно нарезали себе на нашей земле поместья в сотни моргенов. На эту тему — о новых границах послевоенной Германии — у стенда то и дело стихийно вспыхивают блицдиспуты.

ПАДЕНИЕ «ЦИТАДЕЛИ»

Я имею в виду О-Ка-Ве-барак. В первые месяцы существования лагеря, пока еще шла война, мы не знали, как подступиться к старшим офицерам, среди них у нас не было опоры. Майоры, оберст-лейтенанты и оберсты еще пользовались авторитетом среди значительной части пленных и негласно держали их в руках. Так, в начале сорок пятого выяснилось, что в О-Ка-Ве-бараке тайно функционирует суд чести. «Семерка старейшин» вызывала к себе «провинившихся» офицеров и выносила им порицание. Причем очень прозрачно намекалось, что это всего лишь аванс. Основное же наказание ждет подсудимого по возвращении на родину. Самым тяжким проступком, вернее преступлением, считалось принятие программы «Свободной Германии». И поначалу находились такие офицеры, которые послушно шли на это судилище и всерьез относились к запугиванию шантажистов. Но нашлись такие, что послали «семерку старейшин» «цум тойфель» и обратились к администрации лагеря с просьбой пресечь деятельность этих судей-самозванцев. Майор Гиндин сделал семерке строгое внушение, и с судом чести было покончено.

Куда сложнее оказалось наглухо позатыкать щели О-Ка-Ве-барака, сквозь которые наружу просачивалась «флюстерпропаганда» — пропаганда шепотом. И скоро мы пришли к выводу, что «затыкать щели» — безнадежное дело. Тем более что под О-Ка-Ве-бараком наши антифашисты понимают не только помещение, в котором живут старшие офицеры. Это понятие служит у них символом совокупности всех реакционных, прогитлеровских элементов в Валгаском лагере. А поэтому надо, во-первых, более энергично и оперативно прививать пленным иммунитет против «флюстерпропаганды». И делать это не угрозами и приказами, а средствами антифашистской контрпропаганды. Надо, во-вторых, вплотную заняться самим О-Ка-Ве-бараком.

Наша работа со старшими офицерами давала весьма скудные плоды до тех пор, пока мы смотрели на них как на некую однородную группу, монолитную касту, исповедующую одну общую веру. Дескать, все они там, в О-Ка-Ве-бараке, одним миром мазаны. Дело пошло намного успешнее, когда, овладев методом «структурного анализа», мы более или менее разобрались, что представляет собой прослойка старших офицеров вермахта. И надо отдать должное: в этом велика заслуга старшего лейтенанта Шоймера, инструктора по антифашистской работе.

Прежде всего бросаются в глаза две основные группы старших офицеров. С одной стороны — старые кадровики, ветераны первой мировой войны, получившие лейтенантские, обер-лейтенантские и гауптманские звания еще в догитлеровские времена; с другой — выскочки, сделавшие быструю военную карьеру прежде всего благодаря своим «заслугам» в партии национал-социалистов. Первые из них вовсю обвиняют сейчас фюрера и его ставленников в незнании азов военного искусства.

И еще одна невидимая трещина проходит по нарам О-Ка-Ве-барака. Она делит старших офицеров на фронтовиков и тыловиков. Первые из них обвиняют вторых: «В то время когда мы на Ха-ка-эль проливали кровь и жертвовали жизнью, вы околичивались в тылу, спали в мягких постелях, чревоугодничали и распутничали, обсчитывали и объедали нас. Вдобавок обогащались за наш счет: подбирали за нами военные трофеи...»

А начиная с сорок пятого отношения между гитлеровцами-фронтовиками и гитлеровцами-тыловиками еще более осложнились новым конфликтом. Это случилось

после того, когда весь мир узнал о гитлеровских фашистских комбинатах смерти. Всю ответственность за эти злодеяния фронтовики стали сваливать на мертвого фюрера и живых тыловиков. Мы, дескать, воевали как настоящие солдаты, а вы — палачи, сподручные Гимmlера, по вашей вине великая немецкая нация ввергнута в бездну позора.

С нашей точки зрения, принципиальной разницы между теми и другими гитлеровцами нет. Собственно, вся война, развязанная Гитлером, была невиданным по своим масштабам грабежом. И поле деятельности для фашистов-тыловиков завоевывали и обеспечивали с оружием в руках именно фашисты-фронтовики. Но, как гласит мудрая немецкая поговорка, удача имеет многих родителей, а неудача — сирота. Пока вермахту сопутствовал успех, фронтовики и тыловики жили дружно и с немецкой педантичностью действовали синхронно. И только после провала гитлеровской авантюры стали обвинять друг друга.

Итак, антифашистская пропаганда среди старших офицеров сейчас проводится с учетом всех этих противоречий. Из-за распри секреты лагерного прогитлеровского подполья в среде реакционеров долго не удерживаются. И вообще все попытки организовать такое подполье кончаются неудачей. Без особого труда мы узнали о незаконной деятельности офицерского суда чести. Весной сорок пятого нам стало известно, что группа оберстов отмечала какое-то знаменательное событие. Уединившись в углу барака, они долго о чем-то беседовали, чокались алюминиевыми кружками, наполненными черным кофе, в честь чего-то или кого-то полушепотом провозглашали тосты. Из угла приглушенно доносилось: «Хайль! Прозит!» Сами оберсты свое торжественное кофепитие объяснили так: отмечали юбилей нашего коллеги — оберста Адольфа фон Лимбаха. Но мы в эту версию не поверили. Очень уж подозрительным показалось такое совпадение: оберст Лимбах якобы родился в один день с Гитлером. Но если это даже и так, то нетрудно догадаться, что все многочисленные прозиты и хайлы были адресованы главным образом другому Адольфу — фюреру.

Между прочим, торжественное апрельское кофепитие в О-Ка-Ве-бараке косвенно помогло нам разоблачить в лагере шайку жуликов. Казалось бы, у пленных нет никаких возможностей, чтобы поживиться за счет своих товарищей. Оказывается, истинные жулики находят для себя почву в самой неблагоприятной обстановке, как лишайники на голых скалах за Полярным кругом.

О возможных злоупотреблениях проговорились сами обитатели О-Ка-Ве-барака, те, которые были не в ладах с командой фон Лимбаха. Им показалось, будто оберсты пили не только кофе. Слишком уж они оживились, лагерный кофе такого эффекта никогда не давал. Скорее всего это был эстонский шнапс. И закуски были роскошные. Правда, оберсты утверждали, будто они до этого целую неделю копили, откладывали от своего пайка. Но с соседних нар кое-кому удалось подсмотреть: перед оберстами лежали такие солидные куски ветчины и копченой рыбы, что из индивидуальной пайки их никак не урвешь.

Нам пришлось взяться за непривычное для нас дело: расследовать хищения продуктов на лагерной кухне. Выяснилось, что там окопалась группа объедал. Они до того обнаглели, что стали подкармливать своих дружок из О-Ка-Ве-барака и обменивать в городе продукты на самгон. Сообщники для таких операций нашлись в рабочих командах. Злоумышленники устроили на кухне тайник. В одной из стенок кухонного помещения они вынули несколько квадратных метров теплоизоляционного слоя, заполнив пустое пространство между досками консервными банками, брусками свиного сала, вяленой рыбой, пакетами с сухарями и сахаром. Этот «натюрморт» гармонично дополнялся несколькими бутылками с эстонским шнапсом.

Шайку жуликов во главе с «кюхенфюрером» Томасом Рунге и шеф-поваром Алоизом Грильпарцером мы немедленно изгнали из «кюхенпарадиза», кухонного рая, в карцер. Замену им нашли без особого труда. Кого-кого, а поваров у нас в лагере всегда было с избытком. Из кухонных ветеранов в порядке исключения оставляли на своих местах только кота Маркиза и кошку Маркизу.

Был серьезный разговор и с оберстами. Вот они сидят перед нами, участники апрельского «гебуртстага», во главе с подставным юбиляром оберстом Лимбахом. Майор Гиндин отчитывает их, как нашкодивших школяров:

— Вы тоже, господа, заслуживаете наказания, как и ваши кухонные друзья. Но главное не в этом. Мне хочется, чтобы вы поняли всю глубину вашего морального падения. Связались с мелкими воришками, принимали от них подачки. Мы живем впроголодь, делимся с вами, военнопленными, последним. Наши отцы и матери, наши дети получают каждый грамм по карточкам. А вы в это время устраиваете пирушки. И в честь кого! Отмечаете день рождения проклятого всем миром Гитлера!

Оберсты выслушивают нотации советского майора с окаменевшими лицами. На них непроницаемые маски, слепленные из полковничьей надменности и профессионального безразличия к таким сантиментам, как старики, женщины и дети противника. Это выводит майора из себя. Он повышает тон и высккивает в броне оберстов уязвимые места:

— Нет, видимо, напрасно зываю я к вашей совести, господа! Судьба наших детей, стариков меньше всего трогает вас. Это вы очень убедительно доказали за годы войны. Но ведь вы же тащили куски из общего лагерного котла! Вы обкрадывали ваших соотечественников, ваших однополчан! Между прочим, я вижу среди вас членов упраздненного нами офицерского суда чести. Как же вы, господа, присваивали себе право судить других офицеров, если у вас самих с офицерской честью дело обстоит столь неблагополучно?

Наконец-то проняло! Так галапагосская черепаха, защищенная толстым панцирем, кажется неприступной. Но стоит перевернуть ее на спину — и она становится беспомощной. Лица оберстов багровеют. Поборники офицерской чести, занкаясь, лепечут в свое оправдание наивную чушь.

Причастность оберстов к хищению продуктов на кухне еще более подорвала их и без того подмоченный авторитет среди остальных военнопленных. Следующим очень чувствительным ударом по их престижу было разоблачение группы карателей-оберфельдкомендатурщиков. Однако наступая на «цитадель», мы прежде всего рассчитываем не на благоприятные для нас случайности, а на систематическую, хорошо продуманную воспитательную работу. Разумеется, на нас работает и время. То, что происходит сейчас во всем мире, тоже оказывает сильнейшее воздействие на психологию пленных немцев.

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ..

Служба службой, а у нас, работников лагеря, и своих семейных забот хватает. Война давно закончилась, по домам разъехались даже участники разгрома японских самураев, а когда наступит наш черед, неизвестно. У кого есть возможность, вызывает свою семью в Валгу. Приехали жены к майорам Королеву и Гиндину. Вызвали свои семьи старшие лейтенанты Шоймер, Абрамов, Плавинский и переводчик Ландман. О жене Абрамова я уже упоминал. Тамара Васильевна Кирсанова была одним из наиболее опытных врачей в лагерном лазарете. Жене Ландмана Софье Григорьевне нашлась работа в управлении лагеря. Это она отправляла и принимала довольно солидную лагерную почту, раздавала письма по баракам. Софья Григорьевна очень скоро стала у пленных популярной фигурой, они прозвали ее «почтовым ангелом» — «айн постэнгель».

Плавинский до войны был артистом оперетты. И вот он встречает свою супругу, тоже артистку, и дочь Сою, которую оставил в сорок первом шестнадцатилетней школьницей. Я сопровождаю старшего лейтенанта, чтобы помочь ему управиться с вещами. Подходит псковский поезд... Женщина лет сорока прежде всего подала Плавинскому из тамбура примерно годовалого ребенка:

— На, держи!

Движения решительные, голос властный. Приняв на руки младенца, мой коллега растерянно и смущенно пробормотал мне:

— Ей-богу, не имею понятия: то ли это мой сын, то ли дочка, то ли внук, то ли внучка...

О количественном составе своей семьи старший лейтенант был почему-то недостаточно информирован. Но уже на обратном пути загадка была разгадана: внук.

В отличие от Плавинского состав моей семьи я представлял довольно ясно:

жена Агнесса Борисовна, или попросту Ася, мать жены Берта Львовна и дочь Таня. С женой мы расстались на третий день войны, ее призвали как врача и направили в военный госпиталь. Поначалу этот госпиталь был прифронтовым, затем его перебросили в глубокий тыл — в городок Кировград Свердловской области. В сорок втором после длительного лечения в тюменском госпитале я получил трехмесячный отпуск и провел его у жены в Кировграде. А в сорок третьем, уже находясь на Ленинградском фронте, получил с Урала радостную весть: родилась дочь Таня. В сорок четвертом кировградский госпиталь снялся с насиженного места и вместе с нашими наступающими армиями двинулся на запад. Осенью сорок пятого госпиталь жены расформировали в Кэдиевке. В конце сентября я получил двухнедельный отпуск, чтобы привезти из Донбасса семью. Там, в краю арбузов, кукурузы и каменного угля, я впервые познакомился со своей дочкой. Тане было тогда два с половиной года. Три месяца она упорно называла меня «дядей папой».

И вот началась в Валге моя хлопотливая семейная жизнь. Без квартиры с удобствами, с хлебными карточками и промтоварными талонами. Но трудности как-то не замечались, жилось легко и радостно, любые планы, мечты казались по плечу. Дескать, если уж фашизм победили, то с любыми другими бедами справимся и по-прежнему.

Как-то осенью сорок шестого собрались мы, трое педагогов — Шоймер, Жилин и я. Идем по улице Уус. И вдруг видим: у двухэтажного каменного здания полно детворы. Шум, гам, цветы, красные галстуки... Слышны возгласы: «Йгоры!.. Сережка!.. Наташа!..» Значит, школа русская.

— А ведь сегодня первое сентября! — вспомнил капитан Жилин.

Остановились мы, стали наблюдать. Из школы вышли учителя, построили учеников по классам. На два десятка педагогов-женщин всего двое мужчин. Один седовласый старец, другой лет двадцати пяти. Молодой в военной форме, но без погон. От этой картины у меня подкатил комок к горлу. Посмотрел искоса на своих товарищей — и они стоят взволнованные, растроганные. Вздохнули мы и молча пошли дальше...

Но стоп, хватит! Эдак если увлечешься, то о жите-бытье работников нашего лагеря можно написать большую самостоятельную хронику. А ведь передо мной стоит иная задача. Поэтому опять возвращаюсь к нашим лагерным заботам и хлопотам.

ЭШЕЛОНЫ, ЭШЕЛОНЫ, ЭШЕЛОНЫ...

Наступило долгожданное время — началось массовое возвращение пленных на родину. Через Валгаский железнодорожный узел проходят переполненные составы из Эстонии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей... Когда пришла пора, у нашей страны нашлись средства, чтобы доставить пленных по домам. Культурно! А не так, как предлагал в конце сорок пятого года пленный майор Кесслер.

Обычно мы получаем два-три вагона, которые затем прицепляют к транзитному эшелону. Но были случаи, когда нам выделяли целый эшелон. Вагоны или целиком эшелон подают на специальную железнодорожную ветку, подходящую почти вплотную к лагерю.

Итак, на этот раз нашему лагерю № 287 предоставляют полный эшелон. Отправка пленных приносит всем нам уйму новых забот. Едут они домой далеко не в новеньких мундирах, то, что имеется, надо привести в полный порядок: выстирать, залатать, заштопать, почистить. Капитан Жилин еще и еще раз перетряхивает лагерные склады трофейного обмундирования, выбирает то, что получше. Полным ходом работают портняжная и сапожные мастерские, прачечная, баня и парикмахерская. Каждый пленный должен иметь для хранения личных вещей или ранец, или вещевой мешок.

Начальник ПФС старший лейтенант Плавинский готовит пищеблок. Он будет размещаться в двух вагонах. В одном склад продуктов на весь путь следования эше-

лона, в другом походная кухня. У каждого кандидата на отправку обязательно должны быть миска, ложка и кружка.

И еще одна забота: к прибытию вагонов (имеется в виду теплушек) надо приготовить солому. Для подстилки на нарах. Хозяйственники выбивают наряды у местных властей, у воинских частей, ищут солому на хуторах. Заранее подвозят ее к погрузочной платформе.

Начальник лазарета Береснев готовит эшелонный медпункт: комплектует дорожную аптечку, выделяет для сопровождения пленных медсестру. На этот раз едет эстонка Эрмина Юхман, прошедшая большой боевой путь вместе с Эстонским национальным корпусом.

Наконец все лагерные службы к отправке эшелона готовы. Списки счастливых окончательного утрясены, документация оформлена. До погрузки осталось совсем немного.

В нашем лагере как-то сама собой выработалась церемония проводов возвращающихся на родину пленных. Дежурный офицер объявляет внеочередное общелагерное построение. Батальоны — те, которые пока остаются, — выстраиваются огромным четырехугольником по периметру аппельплаца, маршевая колонна в центре. Отъезжающие в полной «боевой готовности»: за плечами вещевые мешки или ранцы, к поясным ремням приторочены солдатские котелки, ботинки начищены, лица сияют. У провожающих настроение, разумеется, не столь праздничное. Но большинство из них понимает: надо запастись терпением, скоро наступит и наш черед. В сегодняшней маршевой колонне вижу особенно много знакомых лиц. Вместе сгруппировались друзья по «гемюзеккомандо», не по своей воле побывавшие в бандитском логове. Этих сельских работяг ждут поля и нивы. Едут домой рабочие из «вассертурмкомандо», закончившие постройку станционной водонапорной башни. Их ждут лежащие в развалинах немецкие города. Возвращается в Гамбург наш главный диспетчер рабочих команд обер-фельдфебель Штиглиц. Его родному городу особенно досталось от англо-американской авиации. Строительной фирме, в которой он до войны работал, недостатка в заказах не будет.

А чья это голова возвышается над всей колонной? Ах да, сегодня едет и профессор Иоахим Брюгтехорст. Богослова тоже ждет прерванная работа — монография о Фоме Аквинском и Тертуллиане. На мой взгляд, при нынешней ситуации в Германии это дело далеко не первой необходимости. Но автор иного мнения. Он уверен, что его исследование осчастливит не только немцев, но и все человечество.

В первом ряду маршевой колонны — Вилли Лоренц. Он возвращается в восточную зону. Какая же работа ждет его? Удастся ли опять сесть на студенческую скамью и закончить прерванный войной курс наук? Жизнь покажет...

Стоят в маршевой роте многочисленные будочники, хлебопеки, мельники, кондитеры, мясники, колбасники, пивовары, мелкие торговцы. Что думает эта публика? Что собирается делать? Но устройство исковерканной войной жизни — это потом. А сейчас главное: война закончена, фашизм разгромлен, судьба оставила мне жизнь, остались считанные часы пребывания в плену...

Ульрих Шольц открывает короткий митинг. Антифашисты говорят отъезжающим на родину напутственные слова. С ответным словом выступает Лоренц. Затем он обнимает своих друзей, стоящих на трибуне.

Дежурный офицер разрешает тем, кто еще не успел передать на родину письма или устные приветы, выйти из строя и подойти к отъезжающим землякам. Позади и эти волнующие минуты. Помощник начальника эшелона из пленных подает команду. Провожаящие машут руками, звучат приветствия, пожелания, просьбы: привет Германии! привет Штральзунду! привет Эйзенаху! Хорст, выпей и за меня кружку пива в «Золотом якор»!.. Тысяча выпускников «восточного университета»! Конечно, слишком обольщаться не следует. Не для всех годы учения проходили с одинаковым успехом. Одни закончили университет с отличием, другие хорошо, третьи посредственно. А есть и такие, которые только прослушали курс наук, но равным счетом ничего не поняли, вернее не хотели понять. Но хочется верить, что наши общие усилия, советских офицеров и пленных антифашистов, не окажутся бесплодными.

Вот и эшелон. Посадка проходит быстро и организованно. Створки дверей не задвигаются, только поперек дверного проема специальными скобами закрепляется толстая жердь. Предохранительный барьер, чтобы кто-либо не вышал по неосторожности. Распределившись по нарам и положив в головах свои вещмешки, пленные толпятся у этих барьеров, прощаются с Валгой. Некоторые машут нам, провожающим офицерам, рукой. Паровоз дает сигнальный гудок, и эшелон, плавно набирая скорость, уходит на юго-запад, в сторону Риги...

ОПЯТЬ НА АППЕЛЬПЛАЦУ

Есть у меня несколько излюбленных прогулочных маршрутов за город. Один из них в ближайший лес Приймакса. Прохожу по северной окраине Валги, по тем местам, где когда-то стояли бараки шталага № 351, а затем лагеря № 287. Останавливаюсь примерно в центре бывшего апельплаца...

Да, немало перемен произошло за три десятилетия! На этих окраинных пустырях, некогда обнесенных колючей проволокой, вырос новый микрорайон Валги. Там, где были восточные ворота, сейчас высится многоэтажное здание второй средней школы.

Куда ни брошу взгляд, невольно вспоминаю о прошлом. Обязательно хочется разобраться: а что же было на этом месте тогда, тридцать лет назад? По ассоциации в памяти возникают эпизоды из лагерной жизни, вспоминаю конкретных людей.

Вон растет густая роща — березы, липы, черная ольха, тополя. Деревья уже солидные, вровень с двух- и трехэтажными домами. Если подойти к роще вплотную и внимательно присмотреться, то можно обнаружить своеобразную геометрию посадки деревьев. Вот ольшины и тополя вытянулись, словно по линейке, двумя параллельными рядами. Они были посажены по обочинам внутрилаторных дорожек. А березы образуют различных размеров прямоугольники. Их сажали вокруг антифашистского клуба и жилых бараков, вокруг отделений госпиталя. Бараки давным-давно снесены, на их месте растет трава, кустарник, а деревья, образуя прямоугольники, вымахали на десять — двенадцать метров. Сажали эти деревья в несколько приемов. Помню, одна из посадок происходила осенью сорок пятого года. В пятнадцати километрах от Валги, возле деревни Уникюла, у нашего лагеря имелось подсобное хозяйство. В начале октября хозяйственники возили отсюда в лагерные овощехранилища капусту. И вот пленные-хоззаводовцы и конвоиры договорились: из уникюльского леса привезли в лагерь несколько десятков молоденьких деревьев, преимущественно лиственных пород.

Вот четырехугольник из статных берез, которые были посажены вокруг клуба. Их сажали антифашистские активисты Шольц, Лоренц, Кноблаух, Баухингер, Гунерт... Им помогали другие пленные. Вот это угловое дерево, на котором сейчас висит скворечник, по-моему, сажали Иоахим Брюггехорст и Вольфганг Майер. Профессор держал полуметровую березку, а юный лейтенант работал лопатой. Быть может, из всего того, что создано маститым богословом, самым значительным творением окажется не высоконаучная монография о Фоме Аквинском, а именно эта эстонская береза?..

Между прочим, в наследство валгасцам осталась березовая аллея и там, где располагался лагерный лазарет времен оккупации. Она на два с лишним года старше этой рощи. Историю этой аллеи я услышал от бывших узников шталага.

Это было ранней весной сорок второго года. Так называемая хольцкоммандо заготавливала для лазарета дрова в соседнем лесу. Гужевым транспортом служили крестьянские телеги, тягловой силой — пленные. Однажды караван из телег вернулся из леса в таком виде: поверх дров лежали вырытые с корнем молодые березки. Завхоз Фураев попросил у шеф-врача Хазельнхорста разрешение посадить деревца по обе стороны главной дороги, проходящей по лазарету. Немец не возражал, но вместе с тем пригрозил:

— Но учти, как только деревья посадите, они будут взяты на учет и станут

имуществом шталага. Если кто из пленных сломает веточку или сорвет листок, сгною негодяя в карцере. А не укажешь мне виновного, сам вместо него сядешь.

Фураев испугался, но бить отбой было поздно. Он заверил Хазельнхорста, что все будет в порядке.

А испугался завхоз не без основания. Умиравшие с голоду пленные съели на территории лазарета всю растительность до последнего листика, до последней травинки. Они руками вырыли из земли все корешки, обгрызли кору деревьев. Кроме того, некоторые из-за отсутствия курева страдали больше, чем от голода. А высушенные березовые листья вполне могли сойти за табак. Одним словом, над новоселами нависла смертельная опасность.

Врачи и санитары провели с больными специальные беседы, напомнили о карах, которые ожидают тех, кто покусится на молодые деревца. Передали им грозное предупреждение шеф-артца. Но не угрозы Хазельнхорста спасли юные саженцы от гибели. Строгие правила и приказы на этот счет были и раньше. И все же пленные с риском для жизни ночью по-пластунски незаметно подбирались к деревьям, к запретной полосе вдоль колючей проволоки, на которой еще сохранились отдельные травинки. Но с березками получилось иначе.

Когда на безжизненно-голой, покрытой серым прахом земле зазеленела березовая аллея, сразу преобразился весь лазарет. Пленные воочию убедились: и сюда, в царство смерти, проникла жизнь. Даже внутри мрачных бараков стало уютнее и светлее. Во время плановых прогулок больные старались прохаживаться только по березовой аллее. А тяжелые дистрофики, прикованные к нарам, часами смотрели на аллею сквозь зарешеченные барачные окна. Для них эти юные березки олицетворяли все самое дорогое в жизни — и далекую родину, и семью, друзей, земляков, и свободу.

Вот какое тревожное детство выпало на долю березовой аллеи на улице Пикк. А теперь эти деревья уже вполне взрослые. В их кронах щебечут птицы, под ними резвится детвора, ими любят гулять горожане.

Необычна судьба у пяточка эстонской земли, на котором я сейчас стою. В этом краю тысячелетия шумел первозданный бор. Затем здесь, вырубив лес, поселились древние эсты. Поселок постепенно перерос в городок. Сотни лет на северной окраине его был пустырь. Сюда горожане вывозили мусор, здесь валгаские старушки пасли коз...

И вот в заповедник лопухов, крапивы и чертополоха гитлеровцы согнали десятки тысяч людей. Здесь узники фашизма принимали мученическую смерть. Здесь погибли многие будущие ученые, художники, музыканты, педагоги, врачи, агрономы, инженеры... И не только будущие. Здесь загублена жизнь десятков тысяч советских воинов, которых до сих пор оплакивают матери, вдовы, дети и о которых где-то в военных архивах записаны слова еще более страшные, чем сообщение похоронной: «Пропал без вести».

Три года здесь неистовствовала смерть. А затем на этом пяточке появились десятки тысяч иных людей, представители почти всех стран Западной Европы. Здесь приступил к работе валгаский «восточный университет». Под крышами бараков, как и в предыдущие годы, разыгрывались многочисленные трагедии и драмы. Но они были иного рода. Их порождали не пытки и голод, а крушение ложных идеалов и кумиров, шоковое похмелье после кровавого опьянения, рождение в муках нового мировоззрения...

И теперь, работая над книгой воспоминаний, я особенно часто перебираю в памяти имена наиболее запомнившихся мне военнопленных, с которыми познакомился в лагере № 287. Вспоминаю и пытаюсь представить себе, какую тот или иной из них занял позицию в конкретной ситуации политической жизни ГДР и ФРГ... Пытаюсь представить. Но полностью ручаться за правильность своих предположений, естественно, не могу. Ведь прошло столько времени! А вместе со временем меняются и люди. Вот почему, едва приступив к работе над «Восточными университетами», я сразу же задумался над одной проблемой: а имею ли я моральное право назвать действительные имена всех без исключения военнопленных, о которых хочу расска-

зять? И пришел к выводу: нет, не имею. И этому есть целый ряд причин. Главная: я могу оказать медвежью услугу некоторым бывшим военнопленным лагеря № 287, проживающим ныне в ФРГ. И поэтому нецелесообразно назвать, скажем, капитана Ульриха Шольца его подлинным именем. Ему на месте виднее, пусть он сам решает, что и в какой обстановке рассказывать о своей деятельности антифашиста в советском плену.

Не хочется незаслуженно причинять неприятности и некоторым бывшим военнопленным лагеря № 287, проживающим в ГДР. Я отрицательно охарактеризовал кое-кого из них. И тридцать лет назад они того заслуживали. Но не исключено, что ныне это вполне достойные граждане новой Германии. Я предоставляю им самим рассказывать родным и друзьям о своих былых заблуждениях.

Упоминаются в «Восточных университетах» и такие военнопленные, щадить которых у меня нет оснований. Например, я назвал подлинные имена таких военных преступников, как подполковники Стефан фон Тюльф и Бруно Байер из черниговской оберфельдкомендатуры или переводчик порховской фельдкомендатуры Пауль...

Только теперь, спустя десятилетия, я до конца осмыслил все значение той миссии, которую выполнял наш небольшой коллектив советских людей — офицеров, солдат, медицинских работников, вольнонаемных — в лагере № 287. А таких коллективов по всей стране были разбросаны сотни.

Война чревата массовыми вспышками шовинизма. А это далеко не одно и то же, что взлет благородных патриотических чувств. Ескоре после начала первой мировой войны великий интернационалист и гуманист Ромен Роллан обратился с открытым письмом к известному немецкому писателю Герхарду Гауптману. В этом послании были и такие строки: «Вы бомбардируете Малин, вы сжигаете Рубенса. Лувен уже не больше как куча пепла... Но кто же вы такие? Чьи внуки вы — Гёте или Атиль? Жду от вас ответа, Гауптман, ответа, который стал бы поступком».

Ожидаемого «поступка» Гауптман не совершил. Зато с резким ответом Ромену Роллану выступили 93 видных немецких интеллигента — писатели, философы, художники, деятели культуры. Все они с узких националистических позиций оправдывали нападение империалистической Германии на другие страны и варварские действия кайзеровских войск.

По этому же поводу — о массовом шовинистическом психозе — Ромен Роллан писал: «Великий народ, втянутый в войну, должен защищать не только свои границы: он должен защищать и свой разум. Он должен спасти его от галлюцинаций, от несправедливостей, от глупости, которые это бедствие спускает с цепи».

В годы второй мировой войны шовинизм в гитлеровской Германии забушевал с невиданной в истории человечества силой. Он принял поистине чудовищные формы. Чудовище, которого так опасался Ромен Роллан, сорвалось с цепи. Вернее, не сорвалось — его умышленно спустили с этой цепи гитлеровцы.

А советский народ и в разгар смертной битвы не поддался низменным страстям. На протяжении всей войны мы четко различали разницу между немецким народом и фашизмом. И это понимание выражалось в конкретных делах: и в уважительном отношении к культурным ценностям, созданным немецким народом, и в содействии антифашистскому движению «Свободная Германия», и в поведении Советской Армии на территории Германии, и в создании для немецких военнопленных нормальных бытовых условий.

Вот эту мудрую политику осуществлял на практике и наш небольшой коллектив лагеря № 287. Да, мы сторожили пленных, кормили их, водили на работу, организовывали их досуг. Мы были достаточно иммунизированы против расизма и припадков шовинизма. Поэтому наши взаимоотношения с пленными складывались легко и естественно. Я имею в виду психологические, моральные и социальные аспекты. Другое дело экономика. Ведь время было голодное, трудное...

В связи с этим вспоминается мне такой эпизод. Весна сорок шестого года. Я дежурю по лагерю, медсестра Зарецкая — по лазарету. Вдвоем снимаем пробу на лагерной кухне. Все в порядке. Похвалили мы поваров за отличную работу, вышли на ап-

пельплац, идем по направлению к лазарету. Смотрю, моя спутница почему-то очень расстроилась. Крепко прикусила нижнюю губу и в глазах слезы.

— Что с тобой, Шура? — спрашиваю у нее.

Она не ответила мне, только махнула рукой. Дескать, на душе так худо, что и говорить не могу. Подходим к лазарету... И вдруг она останавливается и сквозь слезы начинает говорить порывисто, взволнованно, с выстраданной душевной болью.

— Аллес ин орднунг! — повторила она слова, сказанные мною поварам после снятия пробы. — Ну конечно, все в порядке! Суп наваристый, каша рассыпчатая, хлеб ржаной, без всяких примесей. А у нас на Порховщине с хлебом ой как туго! Каждую картофелину в землю сажают, каждое зернышко тоже на посев. Лебеду варят, кору в ступах толкут. На пожарищах — а у нас их хватает! — раскапывают старые картофельные ямы и из гнилой картошки вываривают вонючий крахмал. Вдобавок в землянках пока живут... Ой, что ж я так разнижилась! — утирая слезы, спохватилась Александра Федоровна. — Не подумайте, будто я такая крохоборка, что на суп наших пленных позарилась! Просто вспомнила про наше трудное житье — и разжалобилась до слез. Ведь я понимаю, что так надо, что иначе нельзя, жоть и очень трудно нам...

Я сопоставил этот страстный монолог медсестры Зарецкой с ее философскими рассуждениями о критериях и пределах нашей доброты, нашего мягкосердия.

Нелегко далось решение этой сложной проблемы медсестре Зарецкой. Однако она пришла к правильному выводу, поняла, что в данном случае так надо. И надо не только в силу каких-то дальновидных политических соображений и наших международных обязательств. Воспитанная в духе советского гуманизма, Александра Федоровна не могла поступать иначе.

В послевоенные годы я вновь и вновь убеждался в том, что такие люди, как медсестра Зарецкая, не были у нас каким-то редким исключением. Многие тысячи немцев, находясь в советском плену, своими глазами видели, как трудно, холодно и голодно жилось нашим людям в годы войны. Они видели, что победители делились с побежденными буквально последним куском хлеба. И бывшие офицеры, солдаты вермахта — те, у которых сохранилась хоть капля человеческой совести, — оценили благородство и самопожертвование советских людей. В периодической печати ГДР и отчасти в левых газетах ФРГ можно найти сотни правдивых свидетельств немцев на этот счет.

Но совестью обладали не все немцы, бывшие в советском плену. Это, с нашей точки зрения, необходимое качество человеческой души у определенных категорий офицеров и солдат вермахта оказалось начисто вытравлено германским милитаризмом и гитлеровским фашизмом. Вместо благодарности советским людям за их незапамятный характер они стали вовсю оханавать жизнь в советском плену. Одни это делают на страницах правой шпрингеровской печати, другие — выступая на неофашистских сборищах, третьи разразились мемуарами. Так, например, сделал граф Генрих фон Эйзиндель. В своем «Дневнике искушения» этот ренегат антифашистского движения задним числом возмущается тем, что в советском плену и сервировка стола и апартаменты не соответствовали его графскому титулу. И наконец, западногерманские мемуаристы из числа бывших военнопленных объединили свои усилия, так сказать, скооперировались и выдали на-гора коллективную стряпню. В декабре 1975 года в ФРГ под эгидой бундестага вышла двадцатидвухтомная «Документация научной комиссии по истории немецких военнопленных» во время второй мировой войны. Десять ее томов по несколько сот страниц каждый посвящены положению немецких военнопленных в советских лагерях. Вопреки общеизвестным фактам авторы вовсю нагнетают «ужасы советского плена».

Таким образом, западногерманская реакция предприняла очередную попытку фальсифицировать историю второй мировой войны. Авторы «Документации» с явно провокационными целями тщатся доказать, будто в зверском обращении с пленными в равной мере повинны не только гитлеровцы, но и союзники, особенно Советский Союз.

Много томов насчитывает боннская «Документация», но при сопоставлении с Правдой Истории это так называемое научное исследование выглядит очень легковес-

ным и лживым. Подобную клеветническую страпню опровергают миллионы немцев, побывавших в советском плену, а ныне здравствующих в ГДР и ФРГ. Опровергают ее и многие миллионы военнопленных и мирных жителей Советского Союза и стран Западной Европы, замученных в фашистских лагерях смерти. Одно из таких свидетельств совсем недалеко от того места, где я сейчас стою, предаваясь воспоминаниям. Здесь возвышались северные ворота шталага № 351. Еще сотни три метров — и я выхожу к братскому кладбищу, на котором покоятся 30 тысяч замученных фашистами узников шталага.

Братское кладбище представляет собой сильно вытянутый эллипс с большой осью в двести метров и малой в шестьдесят. Вокруг по периметру растет живая изгородь из елей. В посадке деревьев весной сорок седьмого года принимали участие и ученики моей школы. Тогда елочки были ростом с первоклашек, а сейчас вымахали так, что соперничают со старожилами окружающего леса. В центре эллипса мемориальный ансамбль. У подножия мраморной фигуры Матери Скорбящей работы эстонского скульптора Антона Старкопфа свежие цветы, венки. Их возложили горожане вчера, в День Победы. Рядом со скульптурой Матери мраморная стела и на ней известные всему миру слова Юлиуса Фучика. На русском языке: «Люди, будьте бдительны». На эстонском: «Inimesed, olge valvsad!»



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Октябрь и литература

М. ПАРХОМЕНКО



МАГИСТРАЛЬ ПОИСКОВ

*Эстетический идеал и нравственный пафос
современного советского романа*

Понятие эстетического идеала не случайно поставлено в подзаголовке этой статьи в прямую связь с нравственным пафосом современного советского романа. Время, в котором мы живем, гигантские масштабы социальных преобразований, завоеваний и побед научной мысли, контексты исторического прошлого и коммунистического будущего, в которых осмысливается современность,— все это требует простора и эпического размаха художественной мысли, обращения к жанрам, располагающим максимальными возможностями художественно-философского обобщения.

Для того чтобы наш социалистический идеал выступил, как хотел того В. И. Ленин, «во всем его величии и во всей его прелести»¹, образ героя, система образов, в которых писатель вознамерится дать ему прямое и полное выражение, должны отличаться ясностью и широтой замысла, глубиной художественной разработки.

Не принижается ли, однако, подобными соображениями значение малых жанров прозы и поэзии? Ни в какой степени! Но несомненно, что произведения малых жанров тем увереннее вписываются в большую литературу, чем полнее удается писателю, поэту отразить современность на малом плацдарме новеллы, рассказа, стихотворения.

На VI Всесоюзном съезде писателей была отмечена «потребность многомиллионного читателя в произведениях, дающих широко-

охватное отражение жизни — событий, конфликтов, проблем, характеров». Слово бы в ответ на эту потребность за последние годы «форма большого романа получила развитие не только в литературах, имеющих прочные и давние традиции такой прозы», но и в литературах молодых, а главной тенденцией романистики здесь было «стремление к синтезу, к овладению художественной полнотой, той полнотой, которая делает произведения средоточием мысли и чувства, поэзии и правды, выражает и время, и человека, и народ»². Современный роман отмечен ростом эпичности, стремлением, скажем словами Белинского, выразить народную жизнь в ее «мировом содержании», углублением психологического анализа, умелым соединением эпических и психологических возможностей реализма, утверждавшихся в русской классике гением Льва Толстого, Максима Горького, Михаила Шолохова...

Однако же при всех столь выразительно наметившихся тенденциях вполне справедливы суждения критики на еще недостаточно полное их развитие. В дискуссии о проблемах современной художественной прозы³ подчеркивалось, что еще не так много в нашей прозе произведений, которые пе-

¹ «Литературная газета», 23 июня 1976 года.

² Дискуссия эта, открывшаяся статьей Е. Сидорова «На пути к синтезу», длилась в «Вопросах литературы» целый год (1975, №№ 6, 8, 9, 10; 1976, №№ 3, 5, 6) и, несомненно, входит в творческий актив нашей сегодняшней критики.

¹ В. И. Ленин и др. Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 103.

редавали бы не просто какую-нибудь одну или несколько граней действительности, а целое жизни, понятое как история и будущее, что еще не вполне удовлетворена жгучая потребность в масштабном, синтетическом; философском искусстве.

И, глядя правде в глаза, нельзя не отметить, что сама критика не так уже часто и усердно пыталась помочь литературе подняться от излишне утилитарного истолкования явлений действительности до художественно-философского их осмысления. Не об этом ли свидетельствует заметное ослабление внимания критики к проблеме эстетического идеала и способам его утверждения в литературе? За последнее время, почти за целое десятилетие, критика как бы вслед за эстетикой, не предложившей ни одной не только монографии, но даже заметной статьи об эстетическом идеале⁴, крайне редко обращалась к этому понятию как важнейшему из ценностных критериев искусства, к эстетическому идеалу как наиболее емкой художественно-мировоззренческой категории, через которую, мы знаем, столь отчетливо заявляют о себе принципы партийности и народности в литературе. Думается, что к положению дел на этом участке нашей эстетической мысли имеют самое прямое отношение слова из постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» о том, что «критика все еще недостаточно активна и последовательна в утверждении революционных, гуманистических идеалов искусства социалистического реализма...»⁵.

Во всяком случае, задача дальнейшего совершенствования метода социалистического реализма предполагает обостренный интерес как теоретиков, так и практиков нашего искусства к проблеме эстетического идеала, значение которого в современной идеологической борьбе трудно преувеличить. В процессе этой борьбы социалистический реализм все глубже входит в сознание творческой мировой интеллигенции, а советское искусство завоевывает все большие симпатии трудящихся всего мира и утверждает социалистический реализм в качестве самого прогрессивного и ведущего направления в развитии мирового искусства.

⁴ Единственная монография 70-х годов (Н. А. Ястребова, «Формирование эстетического идеала и искусство». М. «Наука». 1976) прослеживает преимущественно исторические изменения эстетических идеалов прошлых эпох.

⁵ «Правда», 25 января 1972 года.

Чем привлекает симпатии зарубежных читателей, чем завоевывает их сердца советская литература? Прежде всего оптимистической концепцией человека и завтрашнего дня человечества, которая воплотилась в ее герое и утверждает ценность и радость человеческой жизни, уверенность в возможности человеческого счастья и торжества прекрасного на земле. Всем этим наше искусство, литература противостоят идеологическим и эстетическим концепциям современного буржуазного искусства, сеющего неуверенность и страх перед будущим, навязывающего человеку и человечеству сознание бессилия перед «неумолимым» ходом истории. Для западного модернизма чрезвычайно характерно признание Самюэля Беккета: «Материал, с которым я работаю, — бессилие, незнание...» Люди в мире такого искусства разобщены, каждый одинок и «в конечном счете, — справедливо комментирует один из прогрессивных зарубежных критиков, — не может сделать ни шага в жизни или установить связь с другими существами»⁶. Главная задача такого искусства, заявляют его апологеты и пропагандисты, — «возбуждение страха», особенно перед завтрашним днем, перед будущим. «Отчаяние есть последняя идеология, обусловленная исторически и общественно, — пишет Теодор Адорно в своей «Негативной диалектике». История иррациональна, и она не оставляет места для надежд, вторит ему Ионеско. Этот пессимизм, как отмечают прогрессивные зарубежные мыслители, ведет к «отказу от поисков целей и идеалов.. верно отражает состояние общества, которое не может надеяться на будущее»⁷.

Эстетика социалистического реализма отвергает пессимистические концепции буржуазных художников и теоретиков. Советская литература и искусство проникнуты пафосом построения нового, коммунистического общества. С этим связано коренное отличие эстетического идеала в искусстве социалистического реализма от всех предшествующих ему концепций.

На протяжении вот уже двух столетий, с тех пор как в XVIII веке понятие эстетического идеала вошло в философию искусства, его истолковывали как постоянную, обяза-

⁶ Давид Крейг. Хаос и одиночество — модернизм в литературе. М. «Прогресс». 1964, стр. 359.

⁷ Джон Льюис. «Предрасудки в ранге истины» («Проблемы мира и социализма», 1974, № 1, стр. 49).

тельную, но неосуществимую цель. Можно выстроить длиннейший ряд домарксистских определений эстетического идеала в исторической последовательности их возникновения. И обо всех справедливо будет сказать, перефразируя одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе: до сих пор философы-эстетики только объясняли эстетический идеал, а задача состоит в том, чтобы, осуществляя его, участвовать средствами искусства в том изменении мира, которое Маркс определил в упомянутом тезисе как главную задачу и философии и практического развития человечества.

Величайшая заслуга основоположников марксизма состояла в научном обосновании реальности социальных идеалов коммунизма. Еще при жизни Маркса и Энгельса коммунизм как социальный идеал, все более четко осознававшийся передовыми писателями в качестве синонима гуманизма, стал определять и эстетический идеал той части искусства (в первую очередь литературы), которая связала себя с народным, освободительным движением рабочего класса.

Это был медленный и трудный процесс, но для искусства самый перспективный и наиболее плодотворный. И притом не навязанный искусству, как утверждают западные противники социалистического реализма и ревизионистские отступники от марксистско-ленинской эстетики, а естественный, спонтанный для него. Не об этом ли свидетельствует, например, то обстоятельство, что, когда Маркс и Энгельс закладывали основы марксистской эстетики и предвещали рождение социалистического искусства, в котором «мятежный отпор рабочего класса угнетающей среде» займет «свое место в области реализма», русские революционные демократы — представители критического реализма в художественной литературе и литературной критике перенесли понятие идеала на реальную почву (полемизируя при этом с его идеалистической интерпретацией в эстетике Гегеля) и связали эстетический идеал с демократическими, народными представлениями о желаемой действительности. «Прекрасное есть жизнь», — писал Чернышевский. «Прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова она должна быть по нашим понятиям».

Более того, в художественном творчестве Чернышевского происходило оплодотворение реализма социалистическим общественным идеалом. В еще не свободном от утопизма варианте этот идеал представал в «фан-

тастических снах» Веры Павловны (роман «Что делать?»). Рахметов связывал его осуществление с революцией и готовил себя к участию в ней. Кирсанов, Лопухов (а потом и Вера Павловна) всей своей жизнью тоже стремились приблизить прекрасное будущее родины и человечества. Новые люди, а тем более «особенный человек» Рахметов предстают у Чернышевского в «отблеске сияния» социалистического идеала.

Но только марксизм окончательно освободил понятие «идеал» от налета утопизма. Классики марксизма начисто отвергли умозрительные идеалы, как бы предписываемые действительности (вспомним, к примеру, «категорический императив» Канта), и потому иногда даже избегали употреблять понятие «идеал» применительно к коммунизму. «Коммунизм для нас, — писали они в «Немецкой идеологии», — не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразоваться действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние. Условия этого движения порождены имеющейся теперь налицо предпосылкой»⁸. А представляя коммунизм как будущее, Маркс называл его «плодом, который зреет в недрах настоящего»⁹. Комментируя такое понимание идеала, Г. В. Плеханов писал об Энгельсе в примечаниях к его книге «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»: «У него тоже был «идеал»; но он не был оторван навеки от действительности. Его идеал это была та же действительность, но действительность завтрашнего дня, действительность, которая будет иметь место не потому, что Энгельс идеален, а потому, что свойства нынешней действительности таковы, что из нее по ее собственным, внутренним законам должна развиться та действительность завтрашнего дня, которую можно назвать идеалом Энгельса»¹⁰.

Понятие идеала обретает реальный смысл и действительное значение в общественном движении, в человеческой жизни и в искусстве только тогда, когда оно выражает реальные исторические потребности и опирается на уже имеющиеся «предпосылки», под которыми нужно понимать в первую очередь си-

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 34.

⁹ Там же, т. 1, стр. 378.

¹⁰ Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения в пяти томах. М. Госполитиздат. 1956, т. 1, стр. 490.

лы, способные бороться за цель, выраженную в идеале. В. И. Ленин имел в виду такие исторические потребности и наличие таких сил, когда говорил в 1919 году: «Преследуя социалистический идеал, мы хотим бороться за полное осуществление социализма»¹¹.

Шестью десятилетиями борьбы, девятью трудовыми, творческими пятилетками советский народ доказал осуществимость этого идеала. «Впервые в истории мировой цивилизации,— говорил Л. И. Брежнев в докладе, посвященном столетию со дня рождения В. И. Ленина,— социализм победил полностью и окончательно, построено развитое социалистическое общество и созданы условия для успешного строительства коммунизма»¹².

Советская литература всегда была не только художественной летописью исторического движения советского народа к заветным целям, но и активной участницей социалистического созидания и формирования новой исторической общности людей, завершающей осуществление социалистического идеала, как его определил В. И. Ленин. Герои советской литературы предстают уже не только в «отблесках сияния» социалистического идеала — они заняты его практическим осуществлением, он входит в их повседневную жизнь, он определяет их нравственный мир. Между социальным и эстетическим идеалами устранены преграды и противоречия, разъединявшие их до победы Октября. Октябрьская революция, открыв новую эпоху в истории человечества, вместе с тем положила начало новому соотношению категорий должного и сущего в социальной действительности, диалектически сняла несоответствие между потребностями и возможностью их удовлетворения, социальными идеалами и направлением развития общественных отношений, а в искусстве она утвердила принципиально новый тип соотношений эстетического идеала и эстетически осваиваемой реальности.

К этому вело как движение самой жизни, так и развитие эстетики. Еще в эпоху господства идеалистической философии искусства на самой ее вершине, какой стало учение Гегеля, было теоретически осознано, что идеал без опоры на действительность ста-

новится бесплодной игрой воображения, «ложной и пустой абстракцией» (Гегель). По убеждению Гегеля, идеал в искусстве должен воплощаться в «живой индивидуальности», должен представлять «полным, живым человеком, а не аллегорической абстракцией».

Именно здесь знаменитое определение Чернышевского «прекрасное есть жизнь» примыкает к положениям эстетики Гегеля¹³. В одном из фрагментов своей диссертации Н. Г. Чернышевский писал о ненужности «приводить подробности» в доказательство, «что прекрасное есть жизнь, и ближайшим образом, жизнь, напоминающая о человеке и о человеческой жизни... потому, что и Гегель, и Фишер (как интерпретатор Гегеля.— М. П.) постоянно говорят о том». «Прекрасное в природе,— продолжал Чернышевский,— имеет значение прекрасного только как намек на человека,— и добавлял к этому: — Великая мысль, глубокая! О, как хороша была бы гегелевская эстетика, если бы эта мысль, прекрасно развитая в ней, была поставлена основной мыслью вместо фантастического отыскивания полноты проявляемой идеи!» Но, как отмечал великий русский эстетик, Гегель «бессознательно принимал прекрасным в природе говорящее нам о жизни, а сознательно «поставляя красоту в полноте проявления идеи». А с этой точки зрения действительность представляла в эстетике Гегеля идущей не к сближению с идеалом, а наоборот, все более отдаляющейся от него.

На перспективы искусства в современном мире Гегель смотрел пессимистически. «Бек героев», «идеальное, героическое состояние» мира оставалось в невозвратном прошлом, в античности и «золотом времени позднего средневековья». Ближе подошла к осознанию враждебности капиталистического миропорядка прогрессу искусства, Гегель не мог дать истинного объяснения причин этой враждебности и ее следствий для искусства. Не предвещая полного заката искусства и даже указывая на новые возможности последнего, в особенности на перспективы романа, Гегель явно преувеличивал ограничение сферы интересов современного искусства рамками «семейственности», «добропорядочности», «честности» личных отношений, отмечая при этом его неспособность к

¹¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 202.

¹² Л. И. Брежнев. О коммунистическом воспитании трудящихся. Речи и статьи. М. Госполитиздат. 1974, стр. 306.

¹³ Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Эстетика. В четырех томах. М. «Искусство». Т. I. 1968. См. предисловие Мих. Лифшица, стр. IV и др.

утверждению полноценных идеалов. Живя в переходную эпоху, когда классы нового, капиталистического общества еще не вполне сформировались, а классовые антагонизмы не проявились в организованной классовой борьбе, Гегель не мог включить классовую борьбу ни в понятия «ситуация» и «коллизии», ни в границы «действия» как «единого, целостного в себе движения, содержащего акцию, реакцию и разрешение их борьбы». Таким образом, за пределами внимания Гегеля-эстетика осталась главная сфера самовыявления героических характеров нового типа, эстетических идеалов принципиально нового содержания.

Основоположники марксизма-ленинизма осознавали всю глубину и драматизм противоречий между идеалами и действительностью в капиталистическом обществе, но они не делали из этого пессимистических выводов. Впереди виделся им и новый Данте, «который запечатлеет час рождения... новой, пролетарской эры»¹⁴, и другие таланты и гении. Энгельс предвидел рождение литературы, в которой будет достигнуто «полное слияние большой идейной глубины, осознанного исторического содержания... с шекспировской живостью и богатством действия»¹⁵. А В. И. Ленин вскоре после победы Великого Октября в самой отсталой из стран Европы по общественному устройству и уровню образованности¹⁶ уверенно говорил, что на почве новых общественных отношений «должно вырасти действительно новое, великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию»¹⁷.

И это искусство действительно формируется на наших глазах, отражая живую практику осуществления социалистических идеалов, которыми воодушевлялся рабочий класс, шедший на штурм капитализма. Эстетический идеал искусства, литературы социалистического реализма, родившейся в России еще в недрах двух предоктябрьских десятилетий, переходит из мечты в реальность.

¹⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 22, стр. 382.

¹⁵ Там же, т. 29, стр. 492.

¹⁶ «Такой дикой страны,— писал В. И. Ленин в 1913 году,— в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и знания,— такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России» (Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 127).

¹⁷ В. И. Ленин. О литературе и искусстве. М. «Художественная литература». 1967. стр. 666.

Сложилось новое соотношение реального и идеального начал в искусстве: они уже не противостоят друг другу. Когда идеальное настойчиво зовет вперед, оно вместе с тем помогает глубже познать реальность, раскрывая в ней ростки будущего. В этом смысле справедливо утверждение, что чем больше в идеальном начале открывается перспектива будущего, тем глубже изображение реальности (В. Ванслов). Окрылая «потребителей» искусства зримой целью, эстетический идеал становится активной формой общественного сознания, содействует росту духовной энергии, направленной на внедрение элементов будущего в действительность. Социальный идеал впервые в истории человечества служит не отрицанию, а совершенствованию уже сложившихся общественных отношений и связанных с ними нравственных критериев. На такую нерасторжимость социального и нравственного указывал В. И. Ленин, видевший в идее коммунизма нравственный пафос программы вполне реальных общественных преобразований: «В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма»¹⁸. Это высказывание — ленинский завет и указание на органическое единство политического и нравственного идеалов советского общества, единство, в свою очередь определяющее эстетический идеал и нравственный пафос советской литературы и искусства.

Справедливо мнение, что эстетический идеал так относится к идеалу социальному, как образ к понятию. Нравственный идеал, сочетая черты социального и эстетического идеала, представляет собой как бы «модель» их воплощения в человеческих образах¹⁹, ибо «человеческая личность есть высшая красота в мире», а «самая высшая сфера прекрасного — человеческое общество»²⁰.

Советские писатели, воодушевленные нравственными идеалами социалистического общества, создают образы вполне реальных героев, прозревая в уже сложившихся или

¹⁸ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 313.

¹⁹ «В области прекрасного,— писал Чернышевский,— господствует образ, и... все общне понятия в области искусства должны облекаться в живые лица и выражаться посредством событий и ощущений, а не оставаться сухими общими понятиями» (Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 15 томах. М. «Художественная литература». 1949, т. 2, стр. 152).

²⁰ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 132.

складывающихся чертах современника полное их осуществление, и тем самым участвуют в формировании творческого, созидательного отношения к будущему. Эстетический идеал в этом процессе — равнодействующая всех объективных и субъективных начал искусства: он и обобщенная идея, и нравственный критерий, и субъективированный образ художественно пересозданной действительности. Словом, он «высшая красота в мире» и «живая индивидуальность», художественно-конкретный представитель «самой высшей сферы прекрасного».

Перенос теоретические положения на живую почву современной советской литературы, можно сказать, что ее эстетический идеал наиболее прямо выражает образным воплощением и утверждением идеи гармонически развитой личности. Почему так издавна — «идеи», а не просто «изображением гармонически развитого человека»? Потому что эстетический идеал — диалектически развивающаяся категория. Приближение к нему так же вечно, как постижение абсолютной истины в философии. Между тем искусство, литература воплощают его во вполне конкретных чертах современника, прозревают его совершенствование в доступных художественному осмыслению границах завтрашнего дня, одновременно становится богаче само понятие всесторонности развития и гармоничности человеческой личности. Причем искусство не только «регистрирует» этот процесс — оно деятельно участвует в нем: реализация эстетического идеала в искусстве, литературе является одновременно разработкой и выдвижением высоких, «идеальных» представлений о человеке и человеческом обществе.

Эту диалектику отлично учитывает то определение эстетической программы социалистического реализма и его эстетического идеала, которое было сформулировано А. М. Горьким в докладе на I съезде советских писателей: «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать всю как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью». Истинность этого глубокого определения уже была под-

тверждена к тому времени почти двадцатилетним опытом всей советской литературы, в лучших произведениях которой основные принципы социалистического реализма и его эстетический идеал уже и тогда нашли убедительное выражение.

Литературу справедливо называют чело- вековедением. Естественно, каждое новое направление в литературе, каждый новый творческий метод выдвигает и свою концепцию личности, нового героя, сущность которого раскрывается в его отношении к действительности, к миру, обществу. Социалистический реализм начал свое существование великим художественным открытием нового человека, который, как сказано в поэме Горького «Человек» (1903), пришел в этот мир «затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное и грязное, все злое,—и новое создать на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и — уваженья к людям!».

Один за другим появились в рассказах и новеллах Горького люди, которых он увидел в русской действительности и о которых в публицистической статье того же времени сказал: «Вокруг нас закипает жизнь, пробуждаются новые сознания, возникают новые смелые запросы, нарождается новый человек, он... требует ответа на коренные вопросы жизни и духа, он хочет знать, где правда, справедливость, где искать друзей, кто враг»²¹. В начале 900-х годов в творчестве Горького эти коренные запросы «нового человека» приобрели характер цельной социальной программы и философии жизни. Они прозвучали в речи Павла Власова на суде, они воплощены в революционной борьбе и нравственном облике героев романа «Мать». Павел говорил, что порвать цепи самодержавия, «сковавшие тело страны», — только первая и ближайшая цель пролетарского революционного движения. А главная его цель — в полном обновлении жизни в соответствии с социалистическим идеалом. «Социализм, — говорил он судьям, — соединяет разрушенный вами мир во единое великое целое». Позже, в докладе на I Всесоюзном съезде советских писателей, Горький вернется к этому определению идеала, чтобы сказать о социалистическом будущем земли как «прекрасном жилище человечества, объединенного в одну семью».

²¹ М. Горький. Забытые произведения (1895—1901 гг.). Горьковское книжное издательство. 1959, стр. 143—144.

Герои романа «Мать» посвятили себя борьбе за осуществление этого идеала. В их образах возникает тот в дальнейшем исторически развивавшийся синтез политики и нравственности, который выступает как одна из важных граней эстетического идеала искусства социалистического реализма. Художники социалистического реализма утверждают, что коммунизм и есть подлинный гуманизм, потому что он приводит к ликвидации классового общества, уничтожает антагонизм общества и личности, политики и нравственности, утверждает гармонические отношения нового, свободного общества и нового, свободного человека. Нил в пьесе «Мещане» (1901), Синцов, Греков, Левшин в пьесе «Враги» (1906), Павел Власов, Ниловна и ряд других героев романа «Мать» — все это были вполне реалистические образы рабочих, несших в своих сердцах ту отвагу, с которой шел на бой Сокол, которую символизировал романтический Буревестник.

Романтико-символическая обобщенность сменилась исторической, социальной и национальной конкретностью. В пьесе «Мещане», а еще больше в романе «Мать» новый герой обрел типическое и индивидуализированное воплощение в образе русского пролетария. Нил, герой пьесы «Мещане», выражает в сущности ту же программу, что и горьковский Человек. «Нет такого расписания движения, которое бы не изменялось!» — говорил он, пользуясь образом, черпнутым в рабочем опыте машиниста-железнодорожника. И готов вмешиваться в самую гущу жизни, чтобы изменить ее «расписание», пересоздать ее облик. В романе «Мать» это активное, действенное отношение к жизни уже освещено высоко развитым классовым самосознанием героя-революционера, члена партии борющегося пролетарията. «Человеком партии» называет себя Павел Власов и говорит на суде «по поручению товарищей», чтобы воспользовавшись судебной трибуной, открыто изложить программные цели своей партии.

Так в русской литературе формировалась новая концепция человека. Одновременно это была и новая концепция отношения искусства к действительности: искусство не ограничивало себя отображением и даже критическим анализом жизни, оно ставило перед собой задачу активного участия в перестройке действительности, и прежде всего в формировании, воспитании человека, способного ее перестроить. Критикуя действительность, оно выдвинуло идеал социали-

стический, основанный на научном познании законов развития общества, и звало читателей к участию в его осуществлении.

Однако на том этапе, когда победа пролетарской революции была еще где-то впереди, на образах героев, в которых воплотился эстетический идеал литературы социалистического реализма, лежала печать сурового времени лишений и аскетических самоограничений, заметно сужавших возможности всестороннего и гармонического проявления личности. Такую печать несут на себе и наиболее программные для пролетарской литературы, а вместе с тем исторически конкретные образы революционеров в романе Горького «Мать». Примечателен в этом отношении подход пролетарских революционеров к проблеме семьи и брака. «Семейная жизнь, — говорит один из них в романе Горького, — понижает энергию революционера, всегда понижает! Дети, небеспеченность, необходимость много работать для хлеба. А революционер должен развивать свою энергию неустанно, все глубже и шире. Этого требует время — мы должны идти всегда впереди всех, потому что мы — рабочие, призванные силою истории разрушить старый мир, создать новую жизнь». Читая это, нельзя не вспомнить те самоограничения и испытания, которым подвергал себя Рахметов в романе Чернышевского, и прежде всего приходят на память его объяснения с любимой женщиной: «Такие люди, как я, не имеют права связывать чью-нибудь судьбу с своей... я должен подавить в себе любовь: любовь к вам связывала бы мне руки».

Между тем идеалам коммунизма, к осуществлению которых мы стремимся, аскетизм чужд. И если резкая печать аскетизма лежала на облике героев — подвижников пролетарской борьбы на ранних, полных драматизма этапах ее истории, то такова была вынужденная дань необходимости, времени. «Эта аскетическая строгость нравов, — писал Ф. Энгельс, — это требование отказа от всех удовольствий и радостей жизни, с одной стороны, означает выдвигание против господствующих классов принципа спартанского равенства, а с другой — является необходимой переходной ступенью, без которой низший слой общества никогда не может прийти в движение»²².

В одной из статей в нашей периодике отмечалось недавно, что высказывание Энгель-

²² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 377—378.

са характеризует нравственные моменты главным образом стихийных выступлений народных масс при капитализме. «Но не бросают ли слова Энгельса о «необходимой переходной ступени» свой отсвет и на время перехода от капитализма к социализму после Октябрьской революции?» — спрашивал автор (Ю. Кузьменко, «Чем жив человек». «Вопросы литературы», 1976, № 7).

Это, конечно, справедливо. В советской литературе 20-х годов немало мотивов и образов, несущих такой «отсвет». Однако же ведущая тенденция действительности была иной. Она подтверждена уверенностью, с которой В. И. Ленин задолго до Октября говорил, что после победы пролетарской революции станет возможным и будет построено общество, главной заботой которого станет обеспечение «полного благосостояния и свободного всестороннего развития в с е х членов общества»²³.

Павел Корчагин в романе Николая Островского расстается с Ритой Устинович, руководствуясь принципом самоотречения революционера (как делал это наиболее близкий ему из литературных персонажей — Овод), но затем поднимается до критического взгляда на аскетизм этого самоотречения. Однако Островский, оставаясь верным действительности, не торопит своего героя. Оглядываясь назад, Павка скажет: «...отброшен только ненужный трагизм мучительной операции с испытанием своей воли. Но я за основное в Оводе — за его мужество, за безграничную выносливость, за этот тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их всем и каждому. Я за этот образ революционера, для которого личное ничто в сравнении с общим». При всем этом образ Павла Корчагина и эволюция взглядов самого Николая Островского на проблему личного в корне отрицали махистские и «богостроительные» прогнозы, согласно которым при социализме «будут изгнаны из познания бесчисленные «я» — эти торгующие в храме общечеловеческого, безличного творчества».

В советской литературе возобладала тенденция, плодотворно сказавшаяся в творчестве Николая Островского, в образах коммунистов в романах Ф. Гладкова «Цемент», А. Головки «Бурьян», в «Разгроме» и особенно в образах Петра Суркова и Алексея Чуркина (роман А. Фадеева «Последний из удэге»).

²³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 232.

Конечно, было бы упрощением думать, будто представление о гармонически развитой личности полностью утвердилось в советской литературе уже в 30-х годах. Суровые 20-е и 30-е годы поставляли литературе прототипы, отмеченные сознательным отказом от многого, что необходимо для полного и всестороннего развития личности. Однако в «Последнем из удэге» это выступало именно как временная дань обстоятельствам. Литература утверждала, как верно отметил В. Озеров в монографии о творчестве А. Фадеева, что подчинение личных интересов общественным не тождественно аскетическому самоотречению: «Наоборот, на этих путях утверждалась личность борца, общественника, которому развитие жизни сулило и его духовное обогащение»²⁴.

Проблемы нравственного обновления человека, формирования новой личности, борющейся за общее счастье, определяют нравственную атмосферу романа, они в центре внимания автора и его героев-коммунистов. «Надо добиться такой жизни, — говорит Алеша Чуркин, — чтобы каждый человек мог расправить свои силы и возможности не за счет другого, а к общей радости и пользе». А его внешне суровому другу Петру Суркову, как сказал однажды автор романа, «самая мысль о возможности разделения себя на две половины, из которых одна, хотя бы и бóльшая, отдана так называемой жизни общественной, а другая, хотя бы и меньшая, отдана так называемой жизни личной, показалась бы ложной. Не потому, что он отвергал для себя всю огромную область переживаний любви, дружбы, семейных обязанностей, физических и интеллектуальных удовольствий — нет, он был жаден к этим проявлениям жизни, — а потому что все области его жизни были сращены в цельное и нераздельное одной господствующей думой — страстью, которая давала им свое моральное содержание, обогащала или урезывала их, если того требовали условия борьбы и жизни людей...»²⁵.

В образах Алеши Чуркина и Петра Суркова открыта перспектива развития и обогащения эстетического идеала литературы социалистического реализма. Фадееву удалось создать характеры, как бы соединяющие исторически обусловленные критерии перио-

²⁴ В. Озеров. Александр Фадеев. М. «Советский писатель». 1970, стр. 257.

²⁵ Цит. по кн.: В. Озеров. Александр Фадеев. М. «Советский писатель». 1968, стр. 256—257.

да гражданской войны с эпохой полного преодоления «частичности» человека.

Эстетический идеал, повторяем, — вечно развивающаяся и обогащающаяся категория. Искусство запечатлевает его на различных ступенях, точнее витках диалектической спирали, и активно участвует в восхождении к его наиболее полному и совершенному осуществлению.

Но история искусства знает моменты, когда взору художника удается схватить и запечатлеть идеал в его максимальном приближении к совершенству. Таково, например, то прозрение грядущей действительности и места человека в ней, которое исторгло из уст гётевского Фауста восторженное восклицание: «Мгновенье, прекрасно ты, продлись, постой!»²⁶.

А жизнь и сама иногда формирует такие индивидуальности, в которых человеческое достигает полноты и всесторонности в их максимальном приближении к идеалу. Таково в истории человечества, например, величайшие революционеры и мыслители Маркс и Ленин. В этих случаях перед художественным гением человечества возникает «натура», в наибольшей мере способствующая художественному воплощению эстетического идеала не только в его временном, но в вековом и вечном значении. Горький великолепно сказал об этом в очерке «В. И. Ленин», вспоминая о встрече с Владимиром Ильичем на лондонском съезде партии: «Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре — точно произведение классического искусства: все есть, и ничего лишнего». Вот почему в советской литературе, как отметил еще на I Всесоюзном съезде писателей Н. Тихонов, особое место среди героев занимает «грандиозный образ Ленина». Говоря это, он имел в виду советскую поэзию, но то же можно сказать и о советской прозе, в особенности о советской романистике.

На том этапе, когда в романистике ленинская тема еще не определилась, поэты, писатели изображали Ленина преимущественно романтическими средствами, стремились

образно представить его как «громадное духовное явление в том смысле, в каком Маркс употреблял слово «дух» (Луначарский). Но уже тогда, вполне одобряя и такой подход к художественному решению темы, Луначарский предвидел время, когда «самая личность Владимира Ильича, Ленин-человек, делается предметом внимательного и любовного изучения», а для этого потребуются прежде всего реалистические художественные средства. Теперь это время пришло. В романе М. Шагинян «Семья Ульяновых», в диалогии В. Канивца «Ульяновы» и «Утро гения», в известных повестях М. Прилежаевой Ленин дан в семейном окружении, в годы учения в гимназии и университете. На различных этапах и периодах его революционной, партийной и государственной деятельности Ленин-вождь, Ленин-человек представлен в книгах 50-х — первой половины 60-х годов: Е. Драбкиной «Черные сухари», С. Дангулова «Дипломаты», Е. Лучанова «Самый короткий путь», Д. Еремина «Золотой пояс», М. Шагинян «Четыре урока у Ленина», В. Катаева «Маленькая железная дверь в стене», А. Коптелова «Возгорится пламя» и его же романе «Точка опоры», совсем недавно (1975) появившемся и завершающем трилогию, начатую «Большим началом».

Не порывая с романтическими традициями, наши романисты отдают предпочтение реализму, изображая Ленина и как «средоточие величайших идейных и эмоциональных сил многомиллионных масс» (Луначарский), и самую его личность, Ленина-человека. При этом они стремятся к исторической и психологической достоверности изображения, реалистической глубине раскрытия ленинской мысли, ее размаха и силы, стремятся выразить тот «могучий пафос», которым полна величественная поэма Маяковского²⁷, открывая родословную эпической Ленинины в советской литературе.

Пафос. Мы вынесли это слово в подзаголовок нашей статьи, потому что без пафоса нет по-настоящему цельной личности, нет художественного характера в романе и, наконец, не может быть и речи об эстетическом идеале в искусстве. В 1933 году Г. М. Кржижановский, один из ближайших друзей и соратников Владимира Ильича, справедливо отмечал, что еще никому не удалось отобразить «концентрированную, не-

²⁶ Перекличку Гёте с нашим временем и идеалами, несомненно, имел в виду А. В. Луначарский, когда собирался «написать довольно большую книгу... под названием „Фауст“ Гёте в освещении марксизма-ленинизма» и надеялся в ней «изложить пафос, этику и, главное, эстетику нашего мирозерцания» (цитирую по сборнику «И дум высокое стремление...». М. «Молодая гвардия» 1972, стр. 350).

²⁷ Так писал о ней Мартин Андерсен Нексе («Литературная газета», 13 апреля 1941 года).

обычную мощь его интеллекта». Сегодня он уже не мог бы так сказать. Советская романтика стремилась (и в лучших своих созданиях сумела) показать ленинскую личность в ее всесторонности и могучем пафосе.

Стремлением к созданию образов, выражающих высокий пафос революционного преобразования мира, объясняется появление в 70-х годах ряда романов о соратниках Ленина. «Великие революции,— говорил Владимир Ильич в речи памяти Я. М. Свердлова,— в ходе своей борьбы выдвигают великих людей и развертывают такие таланты, которые раньше казались невозможными»²⁸. Эти слова можно предпослать в качестве эпиграфа к повестям и романам, написанным о Николае Баумане (В. Долгин, «Книга о счастливом человеке»), В. Ногине (Ю. Чернов, «Любимый цвет — красный»), Леониде Красине (В. Аксенов, «Любовь к электричеству»), Иосифе Дубровинском (С. Сартаков, «А ты гори, звезда»), как и к ранее появившимся книгам о Феликсе Дзержинском, Сергее Кирове, Якове Свердлове — людях мужественных, воодушевленных идеалами революции и социализма, умевших мыслить не только категориями настоящего, но и будущего. Самому миросозерцанию их был органически свойствен пафос революционного оптимизма, столь важный и в эпоху развитых социалистических отношений.

«Бывают и у меня минуты тяжелых переживаний,— писал Яков Свердлов из туруханской ссылки 20 января 1917 года.— Но все они вызваны лишь различными «житейскими мелочами», не являющимися основой существования. Это, так сказать, временный налет. Основа же — жизнерадостное отношение к жизни, вытекающее из миросозерцания, дающего бодрость при самых тяжелых условиях. При моем миросозерцании уверенность в торжестве гармоничной жизни, свободной от всяческой скверны, не может исчезнуть».

Эстетика этого миросозерцания опиралась на прочную основу, она была научно осознанной, социалистической. В другом письме из той же туруханской ссылки Я. М. Свердлов, советуя своему адресату, начинающему скульптору, «изучать современность... отражать в своем творчестве грядущую жизнь», писал: «Чем сознательнее будет становиться Ваше отношение к настоящему, тем полнее Вы будете отделять в нем зародыши буду-

щего... В современной жизни не может быть совершенного человека, не таковы условия, чтобы он мог развиваться. Но уже в настоящее время у ряда людей можно найти отдельные черты, которые переживут современную антагонистическую жизнь. Будущий гармоничный человек как тип может быть провиден из этих черт отдельных людей. Изучение истории развития человечества порождает уверенность в пришествии царства этого человека».

Все это отнюдь не редкие, не обособленные высказывания. Они были глубоко типичны и характерны для революционеров ленинской плеяды. В доказательство еще две выдержки из писем. Первая из письма В. П. Ногина, прошедшего за четырнадцать лет революционной борьбы 50 крепостных казематов. 8 января 1913 года он писал из Верхоянска: «Будущее мне рисуется таким красивым, интересным и полным настоящего человеческого счастья. Вот я и рвусь к этой жизни и думаю о ней». А вторая — из письма Александры Михайловны Коллонтай к писательнице Т. Л. Щепкиной-Куперник. Оно было написано в другое время (в 1939 году), но в нем тот же нравственный пафос и эстетика того же миросозерцания: «...в каждую эпоху люди думали, что их эпоха особенно тяжелая, особенно кровавая и особенно полная перемен. Просматривая историю главу за главой, видишь, что редкому поколению удавалось прожить и не быть свидетелем тех или иных потрясений и борьбы. И все же человечество идет вперед, медленно, по колено в крови, но идет по ступенькам истории вверх, к более человеческому будущему; но ступенек этих еще много впереди, и наши достижения еще малы по сравнению с нашей целью: счастье трудящихся и труд как счастье!..»

Да простит нам читатель столь пространные цитаты; они представляются необходимыми не только для того, чтобы раскрыть родословную эстетического идеала и нравственного пафоса советской литературы, но еще и для того, чтобы показать, как тесно эти категории, из которых одна эстетическая, а другая этическая, взаимосвязаны, как эстетический идеал, можно сказать, реализуется в нравственном пафосе, который в связи с этим и выступает как, скажем словами Белинского, «любовь к идее, полная энергии и страстного стремления», а в искусстве социалистического реализма не только стремления, но и действия — борьбы и труда.

²⁸ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 78.

Изображая революционеров-ленинцев, советские писатели раскрывают великие гуманистические ценности нашей революции, которые так органично воплотились в этих людях и нашли свое историческое развитие в сфере общественно преобразующей деятельности нашего современника, трудом и борьбой формирующего и себя и новую жизнь. Таков и современный герой советского романа.

Известный английский литературовед-марксист Ральф Фокс, погибший в 1939 году в борьбе за свободу испанского народа, справедливо отметил особое значение этого героя еще на первом этапе его утверждения в советской романистике. «Эпический человек, — писал он, — это человек, в котором нет больше средостения между ним самим и сферой его практической деятельности. Он живет и изменяет жизнь. Человек создает себя». Так выковывал и закалял свой характер Павел Корчагин, а за ним и по его примеру эстафету героического самовоспитания подхватили молодогвардейцы Александра Фадеева, Мересьев Бориса Полевого и многие, многие их последователи и в литературе и в самой жизни. И все это люди, которым свойствен не «героизм на час», а «героизм на всю жизнь». Цитируя эти выражения из «Заметок читателя» А. М. Горького (1927), хотелось бы напомнить, что такой героизм Горький связывал не только с поведением человека в исключительных обстоятельствах, но и в условиях обычных и в связи с этим писал о «необходимости поэтизации труда», где наш современник обнаруживает свой нравственный потенциал. Труд как подвиг на всю жизнь, рост творческих начал в труде и все возрастающее значение труда как потребности, важнейшей составной человеческого счастья, — в таком движении предстает тема труда в советской литературе на всех этапах ее исторического развития. В качестве памятных вех назовем «Цемент» Ф. Гладкова, «Время, вперед!» В. Катаева, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Танкер «Дербент» Ю. Крымова, «Битву в пути» Г. Николаевой, «Тронку» О. Гончара, «Утоление жажды» Ю. Трифонова, «Знакомьтесь, Балубев» В. Кожевникова, а на нынешнем этапе романы В. Попова «Разорванный круг» и «Обретешь в бою», романы В. Собко, Ш. Бикчурина, С. Ханзадяна, Р. Файзи, цикл индустриальных романов М. Колесникова, «Седьмое небо» Г. Панджикидзе...

В труде с наибольшей полнотой и глуби-

ной раскрывается ведущая черта личности, которую утверждает советская литература, — «героическое, мужественное отношение к действительности», стремление, продолжаем цитировать А. М. Горького, «внушить человеку, что это он — творец и хозяин мира и на нем лежит ответственность за все грехи земли, точно так же как ему слава за все прекрасное в жизни».

От одного этапа к другому меняются материал и отвечающие ему средства художественной выразительности в решении этой генеральной темы советской литературы. Но на каждом этапе остается неизменной глубокая вера в созидательную энергию человека и человеческого общества, утверждение конструктивных, творческих моментов социалистического труда как важнейшей сферы самораскрытия и самоутверждения личности.

На нынешнем этапе развития романа такой нравственный пафос, такая поэтизация созидательного труда глубоко соответствуют заботам партии о воспитании нового человека, о его активном участии в поистине исторических свершениях. «Каждое утро десятки миллионов людей, — говорил об этом Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС, — начинают свой очередной, самый обыкновенный рабочий день: становятся у станков, опускаются в шахты, выезжают в поле, склоняются над микроскопами, расчетами и графиками. Они, наверное, не думают о величии своих дел. Но они, именно они, выполняя предначертания партии, поднимают Советскую страну к новым и новым высотам прогресса»²⁹.

В романах-эпопеях на предыдущих этапах истории советской литературы и в романах на современном этапе главное внимание уделяется процессу формирования новой исторической общности людей — советского народа. А наиболее специфической призмой, через которую литература преломляет этот процесс, чтобы получить все многоцветие его спектра, является новый человек эпохи развитого социализма. Задача всестороннего изображения нового человека настойчиво требует от прозы повернуться лицом к «форме большого романа». Необязательно многогомого, «широкоформатного», но обязательно в его духовные горизонты должны быть включены не только ближайшие годы и десятилетия минувшие, а и перспективы

²⁹ «Материалы XXV съезда КПСС». М. Политиздат. 1976. стр. 38.

нашего исторического движения. Действие романа «Вечный зов» А. Иванова охватывает три четверти нашего века (с 1902 года до наших дней), «Судьба» П. Проскурина — пятнадцать лет (с начала 30-х годов), а «Циклон» Гончара — тридцатилетие, открывшееся Великой Отечественной войной. Но в каждом из этих романов раскрыта связь времен, движение народа и отдельной личности к социальному, духовному, нравственному осознанию новой исторической общности.

В особенности показательно, на наш взгляд, стремление младописьменных литератур освоить жанровые возможности современного романа и художественно воссоздать романскими средствами процесс включения народов (в течение веков как бы оставшихся на обочине истории) в социальный, культурный и духовный прогресс человечества. В центре содержания большинства романов молодых и младописьменных литератур (назовем «Амур широкий» Г. Ходжера, «Вершины не спят» А. Кешокова, «Род Шогемоковых» Х. Тиунова, «Ханидо и Халерха» и «Новые люди» С. Курилова, «Иней на пороге» Ю. Рыхзу...) — революционный перелом, Октябрьская революция как начало подлинной истории народа, которой предшествуют в романах впечатляющие картины жизни и трагические судьбы героев в страшное «доисторическое» время. А история народа прослеживается на страницах упомянутых романов вплоть до наших дней. В таком развороте событий, конфликтов, характеров младописьменный роман убедительно свидетельствует, что нарастание эпичности является всеобъемлющей тенденцией развития многонациональной советской литературы, а возрождение личности, ее движение к подлинно человеческой жизни, ее духовное обогащение и стремление к полноте и всесторонности исследуется в рамках важнейших исторических процессов, освещено общим эстетическим идеалом, реальность которого не вызывает сомнений, потому что мы уже создали новое общество, подобного которому человечество еще не знало. «Это — общество... зрелых социалистических отношений... где господствует научное материалистическое мировоззрение. Это — общество твердой уверенности в будущем, светлых коммунистических перспектив. Перед ним открыты безграничные просторы дальнейшего всестороннего прогресса»³⁰.

³⁰ «Материалы XXV съезда КПСС», стр. 87.

Словом, в младописьменном романе раскрывается та же связь времен, ему свойствен тот же нравственный пафос, что и в романах писателей, развивающих сложившиеся (а то и вековые) традиции национального романа — русского, украинского, литовского, латышского, эстонского, армянского, грузинского и других. Одновременно это значит, что осознанный историзм романного мышления отличает сегодня роман как в русской, так и в кабардинской, чукотской, нанайской и других молодых и младописьменных литературах.

Единство процессов формирования новой исторической общности людей и формирования нового человека нередко «персонифицируется» в личности главного или одного из главных героев. Таков в первой книге «Вечный зов» А. Иванова один из братьев Савельевых — Иван. Через этот характер, характер человека трудной и сложной судьбы, с особенной полнотой и убедительностью заявляет о себе нравственный пафос романа. Иван Савельев безотказно откликается на «вечный зов» — «великую и таинственную силу, вечно и неодолимо живущую в человеке, которая в трудные, самые критические моменты заставляет человека поворачиваться к жизни самой сильной, самой благородной, самой справедливой своей стороной». В первой книге романа показано, как «вечный зов» помог Ивану стать выше личных обид. В недавно появившейся второй книге Иван Савельев с беззаветным мужеством советского человека сражается за родину (и тем опрокидывает сложившееся недоверие к нему), а вернувшись после войны инвалидом, так же беззаветно и поистине талантливо трудится в колхозе. Его путь от рядового труженика до руководителя колхоза глубоко типичен, духовное обогащение личности героя, его вступление в партию символизируют самое существенное в нравственной эволюции широчайших народных масс.

Все сказанное не означает, что автор статьи не видит досадных просчетов романиста, от которых заметно пострадала вторая книга этого произведения и многие из которых были отмечены нашей критикой. Но это предмет особого разговора.

Нравственный пафос и народность характера коммуниста в романах последних лет диалектически неразрывны (вспомним сказанное прежде о том, что без пафоса нет цельной личности, а значит, нет крупного художественного характера в романе). Такое

единство со всей очевидностью выступает в романе П. Проскурина «Судьба», где выведен образ Захара Дерюгина — коммуниста, выдвинутого народом из самых своих глубин и выражающего истинно народные интересы.

Критики справедливо относят «Судьбу» к новому циклу эпических произведений, составивших художественную «историю социализма в нашей стране» (Ф. Кузнецов). И в самом деле, строительство новой жизни может быть прослежено поэтапно в таких произведениях последних лет, как «Истоки» Г. Коновалова, «Вишневый омут» М. Алексеева, «Судьба» П. Проскурина, «Межа» А. Ананьева, в известных трилогиях Ф. Абрамова и И. Мележа. Достоверность этой художественной летописи основана прежде всего на том, что в центре «истории социализма в нашей стране» оказывается наиболее активный ее герой — коммунист. Еще в романе Горького «Мать» этот герой назвал себя «человеком партии». Таким он оставался и на всех этапах строительства социализма.

Разнообразны герои произведений, где художественно воплощен тип коммуниста, как различны в жизни яркие индивидуальности, а в литературе подлинно художественные характеры. Но всех их, по справедливому утверждению В. Озерова, автора работы «Коммунист наших дней в жизни и в литературе», сближает и роднит великое чувство партийности, неодолимое стремление быть в авангарде борьбы. И закономерно, что именно в них находят наиболее яркое выражение нравственный пафос советской литературы на всех этапах развития социалистического общества, где «ничто так не возвышает личность, как активная жизненная позиция, сознательное отношение к общественному долгу, когда единство слова и дела становится повседневной нормой поведения»³¹.

Широкое обсуждение упомянутых выше произведений на страницах печати позволяет нам, не повторяя уже известных читателю суждений, остановиться лишь на некоторых из новинок романистики. А конкретнее — на образах коммунистов в двух названных нами трилогиях. Критика весьма единодушно признала художественной удачей Ф. Абрамова образ первого секретаря райкома партии Подрезова, справедливо усмотрев в нем «по-настоящему крупный и сильный народный характер, воплощающий

истовость, нравственную чистоту и силу коммунистических убеждений» (Ф. Кузнецов). Вместе с тем верно было отмечено, что характер этот при всей своей крупности исполнен драматизма и противоречий: прочный запас идейной «истовости» и нравственной силы позволяет Подрезову и самому осознать, что в условиях наступившей технической революции человеку с четырехклассным образованием, способному разбираться «только в тех машинах, которые от копыт заведятся», руководить районом уже невозможно, нельзя.

Как видим, положительный герой, образ коммуниста в трилогии Ф. Абрамова отнюдь не идеален. Не идеален и другой главный герой всей трилогии «Пряслины» — Михаил. Но развитие каждого из них устремлено к эстетическому идеалу и выражает соответствующий ему нравственный пафос социалистического гуманизма. Такова логика развития положительных характеров советского романа. Прекрасное в образе положительного героя не только в уже сформировавшихся моральных качествах, но и в самом процессе выработки, становления этих качеств, сопровождающемся внутренней борьбой и победой здоровых тенденций и светлых начал. И в этом отношении современный роман продолжает традиции Д. Фурманова, А. Фадеева, Н. Островского, даже если его центральные характеры не столь завершены художественно и не столь близки к полноте воплощения эстетического идеала, как для своего времени Чапаев, Корчагин или молодогвардейцы.

Знакомство с новой (и, к сожалению, незавершенной) книгой трилогии безвременно скончавшегося Ивана Мележа тоже подтверждает эту мысль. «Мне хочется, — сказал в одном интервью сам романист, — видеть Апейку настоящим коммунистом, в котором развито чувство высокой правды, активного, революционного гуманизма». Замысел вполне удался. Коммунист ленинского склада, правдивый, чуткий, принципиальный, Апейка не только чертами своей биографии, но и всем складом характера, жизненным опытом связан с народом: как художественный тип он словно бы аккумулирует в себе высокие этические качества своего народа, его энергию, мечты и надежды. «Это, — по мнению одного белорусского критика, — эпический персонаж романа, эпический, народный образ, наиболее полно вобравший в себя проблемы и тревоги времени, основное содержание и живую сущность переломной

³¹ «Материалы XXV съезда КПСС», стр. 77.

эпохи (эпохи коллективизации.—М. П.) исторически важной, драматической в свойственных ей формах» (Федор Кулешов). Характер Апейки дан в развитии. Герой идет к полноте проявления своих человеческих качеств и принципов через преодоление нерешительности, сомнений, порой драматических.

При всех различиях характеров и общественных положений герои большинства упомянутых произведений — люди, мыслящие в масштабах государственных, исполненные чувства ответственности, глубокого понимания долга коммуниста. Таковы не только руководители, но и рядовой колхозник коммунист Михаил Пряслин в трилогии Ф. Абрамова. Завершая трилогию, Ф. Абрамов так передает его мысли: «Перед глазами его встала родная страна. Громадная, вся в зеленой опуши молодых озимей. И это он, все эти тяжкие годы вместе с пекашинскими бабами поднимал ее из развалин, отстраивал, поил и кормил города. И новое, горделивое чувство хозяина росло и крепло в нем».

Это самосознание и творческое отношение к труду формируют комплекс наиболее существенных черт социалистической личности, определяя активный характер ее участия в производстве, культуре и управлении страной. Не случайно возрос интерес нашей литературы, романистики прежде всего, к людям науки, в деятельности которых сочетание творческого подхода к труду с широкими, государственными масштабами мышления, с ответственностью «за все на свете» очень часто выступает с особой наглядностью.

Здесь у советской романистики (романа и повести) было и есть немало значительных достижений. Среди них «Скутаревский», «Русский лес» Л. Леонова, ближе к нашим дням — романы «Иду на грозу», «Искатели» и повести «Эта странная жизнь», «Однофамилец» и «Кто-то должен» Д. Гранина, диалог украинского писателя Н. Рыбака «Пора надежд и свершений», роман литовского писателя М. Служика «Адамово яблоко», а из самых новых — романы украинских писателей П. Загребельного «Разбег» и Ю. Мушкетика «Белая тень»...

В романе «Разбег» внимание автора максимально сосредоточено на художественном анализе духовного мира, идеалов человека науки.

Главное в романе не то, какие конкретные проблемы решает крупный ученый и сотрудник его института, а личность советского

ученого, его духовное богатство, самоопределение деятеля науки в современном обществе, понимание человеческой жизни в «универсальных... масштабах, в ее бесконечности», то есть в категориях специфических для, скажем, «олимпийских» вершин теоретического мышления.

Роман проникнут верой в безграничное могущество человеческого разума, он утверждает оптимистическую концепцию научно-технического прогресса, будущего земли и человечества. «Человечество не может остановиться,— говорит академик Карналь, критикуя пессимистические концепции западных ученых на международном конгрессе.— Оно взяло слишком большой разбег, движение для него — это высший закон жизни. Не бояться лавинных процессов научно-технической революции, а, наоборот, радоваться и гордиться невиданными достижениями человеческого гения — с этим чувством должен жить человек конца XX века». В романе показано, как в жизнь человека, мыслящего такими масштабами, привыкшего к напряженному интеллектуальному поиску, входят любовь, музыка, природа, без которых человек не может быть счастливым, разносторонним даже на олимпийских высотах науки.

Всем этим герой романа как бы противостоит одной из характерных разновидностей «делового человека» в романах, повестях и пьесах 70-х годов. Интерес нашей литературы к «деловым людям» вполне понятен и оправдан. Произведения, открывшие «делового человека», внесли свежую струю в развитие советской литературы, театра, кино. Но в некоторых из романов и повестей заметна попытка провозгласить «деловитость» превыше всего, игнорируя при этом многое, без чего образ «делового человека» не может участвовать в обогащении и утверждении нашего эстетического идеала.

В повести украинского писателя М. Сумишина «Ось» («Молодь», 1976, № 9) один из главных и симпатичных автору героев, Крамарский, «руководитель новой формации», как рекомендуют его в повести, отрешается, в сущности, от всех желаний и стремлений живого человека. Его интересует только производство. Ради дела он даже семью бросил, чтобы уж ничто не мешало его «деловитости».

В повести другого украинского прозаика, И. Падалки, «Глубины» («Донбасс», 1976, № 3) примерно так же представлен главный инженер геологической экспедиции Кашук.

Днюет и почует он на производстве, и на личную жизнь у него нет ни минуты, а вместе с тем в его натуре, характере, отношении к людям не остается.. человечности. Его жесткая требовательность к подчиненным не знает пределов. Она входит в его «программу-максимум». Его совсем не смущает, что он может прослыть бездушным человеком. Однако же автор полностью солидарен с героем.

П. Загребельный написал свой роман раньше, чем эта тенденция явственно наметилась и в украинской прозе. Но нет сомнения, что его роман по существу своему полемичен по отношению к ней.

О главным герое романа «Разбег» можно сказать примерно теми же словами, какими оценивает молодой ученый Крылов (роман Д. Гранина «Иду на грозу») академика Данкевича: «Человек из будущего». Но перед читателем романа «Разбег» отнюдь не отвлеченная идея, не умозрительная модель, а живая, конкретная личность, вырвавшаяся вперед к «высоко организованному миру гармонии». За свои принципы Карналю приходится вести упорную борьбу (и не без драматических и даже трагических осложнений), прокладывая дорогу к прекрасному будущему. В этом и состоит нравственный пафос романа, жизни героя, его борьбы против «загрязнения науки случайными людьми», которое, по мнению Карналя, так же нетерпимо и опасно, как «загрязнение окружающей среды».

Наряду с произведениями о людях науки, где в авторском подходе к героям видна высота гражданских и этических критериев, у нас появился ряд удачных романов и повестей о людях искусства. Наиболее значителен среди них роман Ю. Бондарева «Берег». И здесь авторская концепция личности просветлена эстетическим идеалом и нравственным пафосом общества развитого социализма. За сложными коллизиями романа вырисовывается идеал духовно богатого человека, свободного от догматических самоограничений, верного глубоко осознаным нравственным принципам; вырисовывается концепция активного, творческого отношения к жизни, значение которого так выразительно подчеркнуто в материалах XXV съезда КПСС.

В утверждении этой концепции участвует вся система образов романа, в особенности образы Никитина, Самсонова и Княжко. Конечно, каждый по-разному. Например, Самсонов прежде всего как художественная ан-

титеза концепции личности, утверждаемой в романе. Пытаясь руководствоваться в своих действиях высокими идеалами, он невольно низводит их на уровень догмы. Схематическая упрощенность, узость выступают здесь характерными признаками личности, типа. Образ Самсонова как антагониста Никитина контрастно подчеркивает превосходство утверждаемого в романе эстетического идеала.

Еще более значительную роль в утверждении эстетического идеала играет в романе «Берег» образ лейтенанта Княжко. Он тоже контрастен по отношению к образу Никитина, но не как его отрицательная противоположность, а как воплощение тех, скажем словами Достоевского, черт «положительно прекрасного человека», которых недостает Никитину: гармоническая цельность в отличие от времени заметной у Никитина раздвоенности, волевая собранность в отличие от склонности к рефлексии, последовательная и строго контролируемая сознанием верность нравственным принципам в отличие от подчинения эмоциональным порывам... Заметим кстати, что сам Никитин безоговорочно признает превосходство Княжко, ставит его себе за образец и на всю жизнь сохраняет к нему чувство любви, почти обожания. Княжко участвует в событиях романа только в его второй, военной части, но в композиции романа его роль более значительна, он проходит, в сущности, через весь роман, оставаясь для Никитина идеальным выражением человеческого в человеке.

Чтобы наш социалистический идеал выступил «во всем его величии и во всей его прелесть» (В. И. Ленин), образ героя, в котором писатель вознамерился воплотить его, должен отличаться жизненностью и убедительностью. Только на высоком уровне художественности искусство обретает драгоценную способность «вдохновлять современников и передавать потомкам память сердца и души о нашем поколении, о нашем времени, его тревожениях и свершениях»³².

Подчеркнем в этой связи, что концепция личности, соответствующая эстетическому идеалу советской литературы, утверждается не только с помощью образа положительного героя, а всей художественной системой произведения, в том числе и отрицательными образами, характерами, если, разумеется, писателю удалось показать их внутреннюю несовместимость с идеалом. (В этом смысле

* «Материалы XXV съезда КПСС», стр. 80.

необходимо различать воплощение эстетического идеала и его утверждение. Второе, несомненно, шире первого и достигается всем многообразием средств и приемов художественной реализации конфликта.)

Однако же наиболее действенным способом утверждения эстетического идеала является именно образ героя, в котором эстетический идеал искусства социалистического реализма находит прямое художественное воплощение. Действительность нуждается, как справедливо писал Александр Твардовский, в «подтверждении и закреплении, и до того, как она явится отраженной в образах искусства, она как бы еще не совсем полна и не может с полной силой воздействовать на сознание людей... Разве война и победа русского оружия в 1812 году,— размышляет Твардовский, далее,— означала бы столько для национального патриотического самосознания русских людей, если бы они знали о ней только по учебникам истории и даже многотомным научным трудам»³³, то есть если бы она не вошла в их сознание с образами героев бессмертной эпопеи Толстого? Так стремились и стремятся советские писатели «подтвердить» образами своих лучших героев победу революции и первых пятилеток, Великой Отечественной войны и построения развитого социалистического общества. Это о ней, поистине чудодейственной и могучей силе искусства, было сказано на XXV съезде КПСС: «Вместе с героями романов, повестей, фильмов, спектаклей участники войны как бы снова проходят по горячему снегу фронтовых дорог, еще и еще раз преклоняясь перед силой духа живых и мертвых своих соратников. А молодое поколение чудодейством искусства становится сопричастным к подвигу его отцов или тех совсем юных дев-

чат, для которых тихие зори стали часом их бессмертия во имя свободы Родины»³⁴.

На этом пути советская литература решает свою самую трудную и самую высокую задачу художественного воплощения эстетического идеала. Полные успехи в решении этой задачи, как свидетельствует история литературы, не так уж часты. Но поистине велико их значение и роль в духовной жизни народа. Такую роль в жизни целых поколений советского общества играли образы героев Горького, Александра Фадеева, Николая Островского, Михаила Шолохова и других писателей, кому удалось художественно «подтвердить» наши победы, достижения и идеалы с той силой, какой обладают образы Чапаева, Кожуха, Левинсона, летчика Мересьева, генерала Серпилына, лейтенантов Кузнецова и Княжко, инженера Басова, председателя райисполкома Апейки, колхозника Михаила Пряслына...

Создание подобных характеров — наиболее действенный способ участия литературы в формировании мировоззрения, нравственных убеждений человека в обществе развитого социализма, где социалистическая демократия, как сказано в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции», «распространяется на всю общественную жизнь — экономическую, политическую и духовную, создает условия для всестороннего расцвета личности». И чем полнее представлена в произведении связь духовного мира современника с положительным содержанием народной жизни, важнейшими задачами и устремлениями времени, тем полнее будет соответствовать литература социалистического реализма своему назначению, тем глубже, сильнее выразится ее нравственный пафос, тем убедительнее предстанет ее эстетический идеал.

³³ А. Т. Твардовский. Собрание сочинений в пяти томах. М. «Художественная литература». 1971, т. 5, стр. 277—278.

³⁴ «Материалы XXV съезда КПСС», стр. 79.



ВАДИМ БАРАНОВ



ЖИЗНЕННЫЕ КОРНИ*

О труде современного литератора

Жа мой взгляд, профессионально-критическое восприятие и толкование текста не только не могут полностью совпадать с «просто» читательским, но имеют и качественное отличие от него. Литературовед, а неплохо, если и критик, должен учитывать и ту, как говорят теперь, информацию, что читателю мало-доступна.

Появление романа Ю. Трифонова «Нетерпение» для многих было полной неожиданностью. Перед этим все зачитывались его повестями, настолько погруженными в современный быт, что, казалось, откуда тут взяться сюжету «Нетерпения».

Повестей этих было три, и появились они в такой последовательности: «Обмен» (1969), «Предварительные итоги» (1970), «Долгое прощание» (1971). Когда появилась третья вещь, сразу бросилась в глаза ее отличительная особенность: действие происходит не в наши дни, а перенесено в прошлое, в начало 50-х годов. Внутренняя хронология работы писателя над ними оказалась несколько иной: первой была начата повесть, ставшая завершающим звеном цикла, — «Долгое прощание», и приступил писатель к работе над ней тогда же, когда происходит в ней действие, то есть в начале 50-х. Был написан «театральный» запов, а потом движение сюжета прервалось, автор взялся за другие дела. Вернулся он к ней спустя более полутора десятилетий, обогащенный новым опытом, тем, который придал повести новое дыхание, да, пожалуй, и окончательно оформил ее концепцию.

В момент появления «Обмена» и «Пред-

варительных итогов» критика не обратила внимания на одну их особенность, которая, как мы понимаем сейчас, весьма существенна, если посмотреть на нее сквозь призму общелитературного опыта рубежа 60—70-х годов. В «Обмене» появляется дед Федор Николаевич, который не может понять, на каком основании незнакомому сорокалетнему человеку, пусть это и просто рабочий, перетягивающий диван, говорят «ты». Также не укладывается в его сознании, как это можно совать продавцу в радиомагазине деньги, чтобы тот «оставил» приемник. Дед — юрист, окончивший Петербургский университет, в молодости принимал участие в революционном движении, сидел в крепости, бежал за границу, был знаком с Верой Засулич. Он привык опираться на систему прочных нравственных ценностей. Для него рыцарская верность собственным убеждениям важнее материального благополучия. Федор Николаевич в «Обмене» — фигура эпизодическая, но важная. А если учесть последующие произведения, то весьма важная, ибо вместе с ним в бытовые повести Ю. Трифонова входит История.

В «Предварительных итогах» история предстает в виде антитезы: мы видим иных наших соотечественников, которые, словно проснувшись, с головой бросаются в старину. «Нет, конечно, никакой верой в настоящем смысле тут и не пахло, а вот так: томленье духа и катастрофическое безделье. И даже, пожалуй, мода. Все эти книжонки, монастыри, путешествия по «святым местам» на собственных «Волгах» сделались модой и оттого пошлостью. Раньше все скопом на Рижское взморье валили, а нынче — по монастырям. Ах,

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

иконостас! Ах, какой нам дед встретился в одной деревеньке!» Ясно, что в таком увлечении стариной мало что от подлинного интереса к истории. Скорее это форма ухода от современности, форма капитуляции перед сложностью ее проблем. Так дело обстоит в «Предварительных итогах», где мотив прошлого звучит более интенсивно, чем в «Обмене».

Вот теперь мы и можем вернуться к «Долгому прощанию», как вернулся к нему Ю. Трифонов, обогащенный опытом работы над двумя повестями. Думается, знание обстоятельств создания этой вещи в большей мере поможет понять ее отличия от повестей-предшественниц и внутреннее содержание отношений Ляля — Ребров.

Как-то в ответ на слова Реброва о том, что он написал притчу, его собеседник саркастически заметил, что притчи пишут не авторы, а народы. Как это ни удивительно на первый взгляд, в «Долгом прощании» в отличие от первых двух повестей тоже есть нечто от притчи, только «притчеобразное» начало так плотно заслонено бытом, что его можно вообще не различить. Но оно все-таки есть и выражается в обращении автора к неким обобщенно-философским категориям, таким, как жизнь и существование, сущность и видимость, личностное и безличное и т. д. Мне кажется, «Долгое прощание» вообще можно было бы определить как философско-бытовую повесть.

При всей своей внешней очевидности образ Ляли не лишен сложности. Прежде всего Ляля добрый, отзывчивый человек, который не стремится подчинять соображениям карьеры интересы других людей. Жертвуя своим положением ради Гриши, она готова была покинуть столицу и уехать в Барнаул. Как мы помним, ее роман со Смоляновым вначале вовсе не вдохновлялся расчетом. Но беда Ляли в том, что она не способна хотя бы на малейший самоконтроль и самокритику. «Она очень быстро, пожалуй, даже мигом, привыкла к происшедшей перемене и думала, что теперь так будет всегда и в дальнейшем может быть только лучше». У людей, подобных Ляле, не возникало и мысли, что творческий успех накладывает на них новые обязанности, что достигнутое нужно окупить дополнительным трудом, дальнейшим профессиональным совершенствованием. Такие натуры очень

любят утешать себя тем, что «не боги горшки обжигают». Просто «пришло Лялино время — а почему бы и нет?». Ляля плывет по волнам. Ей везет. И наоборот, у Гриши «какое-то невезение». Какое же именно? И отчего оно возникло? И почему кому-то везет, а не везет именно ему? Не только ответить на такие вопросы — даже поставить их Ляля не в состоянии. Бедь вопрос обязывает искать, преодолевать, думать. В восприятии Ляли вещи и люди словно теряют четкие контуры, становятся смазанными, неопределенными. «Была вечером как а-я-то встреча со зрителями... Смолянов выступал, почему-то и Гриша там оказался, а потом ужинали в «Поплавке». Был еще Сергей Леонидович, кто-то из актеров. Возник спор, что-то высокоумное...» И где уж Ляле понять, почему с такой яростной убежденностью Гриша кричит Смолянову про опыт истории, которого не помнит и не хочет помнить Смолянов, человек, лишенный исторической памяти.

Вопреки таким, как Ляля и Смолянов, Гриша все глубже погружается в историю. Примечательно при этом, что сведения об интересах Реброва Ю. Трифонов вводит в повествование, прибегая к закону контраста. «Людмила Петровна, а не подвезти ли вас? Я на машине». Этой репликой Смолянова завершается одна из «телепневских» частей повествования. И сразу: «Ребров, конечно, на спектакль не пошел. Еще чего: ходить на Смолянова! С одиннадцати часов засел в Библиотеке Ленина в третьем, научном зале и читал об Иване Гавриловиче Прыжове».

К Ляле абсолютно неприменимы такие категории, как «творческий рост». Роста никакого не было. Было просто нарастание успеха вследствие благоприятного стечения обстоятельств. Напротив, Гриша изображается в труде часто: полуголодный сидит в Ленинке, читает какой-нибудь «Русский архив», выписывает, конспектирует, сопоставляет факты. История для него не способ достижения успеха, как сцена для жены, а призвание. То он задумывает повесть о декабристах, то размышляет о Прыжове, авторе «Истории кабаков» и «Нищих на святой Руси...».

Среди фигур и событий исторического прошлого особенно яркое, неотразимое впечатление произвел на Реброва человек, начисто лишенный какого-либо внешнего романтического ореола, — Николай Василье-

вич Клеточников, один из народовольцев. «Явился неожиданно, чалый, полубольной, никому не ведомый, провинциальная чиновничья крыса в круглых очках, и предложил свою помощь революции». Сомневались: ведь решительно ничего героического. «Был исполнителем. Исполнял чужую волю, которую несколько человек называли «народной». Внедрился в полицейское чрево, проник под панцирь, просочился в самую глубь, в кишки, в сердцевину Третьего отделения и оттуда — спасал, выручал, убивал. Исполнял волю собственной совести». Он сознательно приносил себя в жертву будущему, стремясь принести наибольшую пользу настоящему. «История Николая Васильевича была примером того, как следует жить...» Клеточников, ставший одним из важных героев «Нетерпения», так сказать, перешедший из книги в книгу, как мы это наблюдали ранее, — полнейшая антигеа теплепневым и смоляновым с их эфемерным сиюминутным успехом, не подкрепленным ни подлинным талантом, ни упорным трудом.

Опыт жизненного пути такого героя как бы говорит нам: надо ориентироваться на прочные, стабильные ценности, те, что выдержали суд истории, и те, что окажутся способными выдержать этот беспощадный суд. Нельзя целью бытия делать удобство быта, комфорт, включая и духовный, сиюминутный успех, связанный с особенностями сложившейся ситуации, предавая забвению прочность подлинных духовных ценностей.

Важность исторических мотивов в своем творчестве Ю. Трифонов подтвердил в интервью «Современность — сплав истории и будущего» («Литературная газета», 19 июня 1974 года). А спустя несколько дней в другом интервью («Книжное обозрение», 28 июня 1974 года) он сказал: «Пишу повесть о современности, но, как всегда, стараюсь насытить современность прошлым». В признании писателя важна не голая информативность, а внутренняя сущность. Сущность же в данном случае состоит в том, что для писателя синтез истории и современности в рамках одного произведения мыслится как нечто естественное и даже неизбежное, то есть становится как бы нормой внутреннего творческого самочувствия.

...Как и в других сферах науки, поиски на границе смежных областей сулят много

нового и литературоведению. Думается, сейчас как никогда обнаруживает свою ограниченность узкожанровый подход к творчеству того или иного писателя, при котором оно аккуратно, как очищенный апельсин, размазывается на дольки: проза, поэзия, драматургия, публицистика и т. д. И если каждая долька апельсина сохраняет вкус целого, то рассечение творчества писателя «на составляющие» нередко очень существенно обедняет представление о нем.

Произведем небольшой эксперимент. Допустим, что неожиданно найдены два неизвестных ранее произведения — роман «Мать» и драма «Враги» и мы не знаем, кто их автор. Наверняка не обошлось бы без предположения, что написали их два разных человека, более опытные исследователи сказали бы о разных периодах в творчестве одного автора... Но ведь мы-то знаем, что «Мать» и «Враги» Горький написал одновременно! Почему же мы не удивляемся этому? Не потому ли, что привыкли рассматривать произведения по различным «рубрикам» — одно проза, другое драматургия?

М. Б. Храпченко в статье «Размышления о системном анализе литературы» справедливо пишет: «Одна из важных особенностей системного анализа — раскрытие внутренних связей той или иной совокупности явлений, связей отдельных компонентов различных социальных феноменов, исследование их структурного единства». При этом в отличие от типологического подхода, исследующего художественные явления вне зависимости от их происхождения, системный анализ подразумевает учет их генезиса.

Хорошо известно, что материал для романа «Мать» и пьесы «Враги» давали одни и те же обстоятельства нарастания революции 1905 года. Однако точную дату зарождения замысла того и другого произведения определить мы не можем, как вообще невозможно точно определить начало прорастания зерна, находящегося в почве. Но после того как ростки пробились наружу, мы визуально можем проследить процесс их роста.

Первые наброски «Матери» сделаны в середине февраля 1905 года, а примерно через месяц рождаются первые эскизы «Врагов». Что и в каком стилевом ключе писать? Горький не может отдать решительного предпочтения ни той, ни другой

манере. Параллельность движения творческой мысли сохраняется. В июне 1906 года, после 16-го числа, в Америке М. Горький приступает к написанию «Матери». А уже в середине августа он заканчивает «Врагов». Причем любопытно: упоминая одно произведение, он тут же по тому же поводу как бы невольно упоминает и другое. Из горьковских писем И. П. Ладыжникову, не позднее 6[19] июня 1906 года: «Посылаю еще две статьи, со следующей почтой получите еще две. И т. д. Потом получите пьесу, роман...» Из письма К. П. Пятницкому, середина [конец] августа 1906 года: «Ладыжникову послана пьеса моя „Враги“... Кончаю повесть „Мать“». Е. П. Пешковой, август 1906 года: «Только что кончил пьесу „Враги“. Пишу повесть „Мать“». Сплошь и рядом упоминая «Мать» и «Врагов» одновременно, М. Горький словно боится отделить их друг от друга, как будто существуют какие-то скрытые связи между ними, он словно опасается, не перестанут ли произведения существовать каждое по отдельности, как сямские близнецы, если их отделить друг от друга.

Взаимосвязь двух произведений оказалась столь тесной, что несолько позже М. Горький хотел продолжить сюжет «Матери» и опять — одновременно! — размышлял о новой пьесе. «Составил план романа «Павел Власов» — в трех частях: Ссылка, В работе, Революция. Это буду писать с удовольствием. И, кажется, напишу приличную вещь... Буду писать пьесу «Безумцы». Герои — все рабочие, время — московское восстание. Драк — не будет, но — будет пафос. Впрочем — это журавль в небе».

Итак, оба произведения, если смотреть на них с точки зрения законов психологии писательского труда, представляют некую единую эстетическую систему.

Сочетание типа «Мать» — «Враги» вовсе не является исключительным. Нечто подобное мы встречаем у того же Горького (реализм «Мещан» — романтическая символика «Весенних мелодий»), у классиков XIX века, например у Пушкина (начало «Евгения Онегина» — «Цыганы»).

Но если «Мать» и «Враги» живут в сознании Горького параллельно, то отношение его к тому и другому произведению весьма различно. Пьеса в целом удовлетворила Горького. Что же касается «Матери», то хорошо известно: несмотря на

большую интенсивность и подъем в работе над этой вещью, с самого начала он не был романом доволен. И к критическим суждениям Горького о своей книге, известным ранее, добавились те, что впервые увидели свет в очень интересных комментариях к восьмому тому полного собрания сочинений.

Если далеко не все удовлетворяет в одном из двух параллельно создаваемых произведениях, чего проще: брось один сюжет, работай во втором направлении — и дело с концом! Но нет, Горький не мог не написать «Матери», и, в общем, такой, какой мы ее знаем. Тем самым он удовлетворял потребность в романтически-возвышенном изображении процесса роста человека, пришедшего в революцию, и патетические краски, выбранные им, отвечали настроениям значительной части пролетариата, твердо и безоговорочно решившего изменить существующее положение вещей.

Важно было Горькому реализовать и другую часть своих представлений о человеке революции. Во «Врагах» находит отражение уже не столько романтический пафос революции, сколько ее рабочие будни, ее практика. Здесь на первый план выходят иные черты психологии трудящегося человека, его отношение к делу, и прежде всего своеобразная деловитость революционера.

В творческом сознании Горького «Враги» уравнивали некоторые романтические стороны «Матери». В сочетании произведений он видел и чувствовал больше, чем читатель и зритель, воспринимающий их по отдельности. Но это его состояние очень важно понять исследователю. В ходе подобного рода скрытого взаимодействия совершенствовалась, подвергалась идейно-эстетической корректировке горьковская концепция образа революционного героя. Не имея возможности подробно проследить ее развитие, отмечу лишь, что позже, в 20—30-е годы, при изображении революционера основной акцент Горький ставит на его спокойной уверенности в себе и своем деле, на профессиональной компетентности исполнения общественного долга. Чернорабочий, мастеровой революции — так говорит о себе Степан Кутузов. Так бы мог сказать и Синцов. Однако подобные слова Горький вряд ли мог вложить в уста Павла Власова.

В значительной мере в направлении большей простоты и реалистичности Горь-

кий перерабатывал роман «Мать», возвращаясь к тексту неоднократно. Само же по себе подобное взаимодействие свидетельствует о том, что при всех внешнестилевых отличиях художественное мышление писателя представляет собой прочное органическое единство.

Свое и «чужое»

Прежде у нас шла речь о писательских «самоповторениях». Ну а как быть, если литератор «покушается» на чужое? Вот на тему о «своем» и «чужом» (так назвал свою любопытную статью А. Борщаговский) мы и поговорим в завершающем разделе.

Откуда писатель черпает материал? Само собой — из жизни. А что такое жизнь? Нет, вопрос этот все же не столь уж абсурден, как может показаться по-первоначально. Точнее — каков объем понятия «жизнь» применительно к художнику?

Толчком для создания психологической повести Г. Бакланова «Карпухин» послужил случайный разговор в электричке. Припоминается в этой связи такая история. Писатель создавал повесть. Случайно — и тоже в электричке — он услышал обрывок разговора незнакомых ему людей, в котором было высказано несколько любопытных соображений, попадались неожиданные словечки. Поторопившись домой, писатель все это мгновенно вставил в свое сочинение. Он не знал только одного: случайный попутчик сообщал содержание недавно прочитанного рассказа, незнакомого нашему писателю: обнаружилось это уже после того, как его повесть была опубликована.

Виноват ли в чем-либо наш автор? Разве только в том, что он не читает подряд всех журналов и газет, где публикуются рассказы, а поскольку это задача явно неразрешимая, не виноват ни в чем. Можно ли сказать, что «жизнь» для писателя — это просто «нелитература»? Или бывают такие ситуации, что литература, созданная кем-то, для него, писателя, становится частью самой жизни? Да в конце концов не ради ли того и создается литература, чтобы стать жизнью: чьим-то убеждением, поступком, привычкой, которые в свою очередь могут стать предметом размышления писателя? Очевидно, такого рода усложнившиеся взаимосвязи литературы и жизни характерны именно для того обще-

ства, где книга стала общенародным достоянием.

«В понятие «знание жизни» органическим образом входит знание культуры. Вопрос «что мы пишем?» теснейшим образом связан с вопросом «что мы знаем?»...» (Е. Евтушенко). И тот же автор повести «Карпухин» говорит: «Вообще толчком может явиться любое событие, даже строчка, прочитанная в книге».

Опровергая слишком прямолинейное противопоставление жизненного опыта тому, что почерпнуто из книг, В. Каверин говорит: «Я мог бы довольно убедительно доказать пользу так называемой книжности на примерах хотя бы произведений Лермонтова. С другой стороны, не предполагал, что время, проведенное мной в библиотеках, все мои книжные увлечения со временем будут открыты не как заимствованный, а как жизненный материал. Это открытие и привело меня к реалистической прозе».

Что же касается Лермонтова, то напомним попутно о статье молодого Ю. Тынянова «Литературный источник „Смерти поэта“», в которой девятнадцатилетний студент Петербургского университета на основе тщательных текстологических сопоставлений установил определенную зависимость Лермонтова от традиции, в частности от Жуковского, зависимость, «пробивающуюся» путем реминисценции даже в момент творческого экстаза. В то же время Ю. Тынянов полагал, что такое влияние традиции не может стать основанием для отрицательной оценки вновь родившегося художественного произведения.

Вообще литература прошлого дает изобильное количество примеров использования современниками опыта Друг друга. Просматривая принадлежащий П. Вяземскому том сочинений Пушкина, исследователи обнаружили следующий комментарий владельца к неточно напечатанной строке из «Медного всадника», «Россию вздернул на дыбы»: «Мое выражение, сказанное Мицкевичу и Пушкину, когда мы проходили мимо памятника. Я сказал, что это памятник символический. Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнал ее вперед».

Т. Г. Цявловская напомнила недавно в связи с юбилеем восстания декабристов происхождение хрестоматийно известной пушкинской строки «Храните гордое терпенье». В довольно слабой и даже косно-

язычной «Прощальной песни воспитанников Царскосельского лицея» Дельвига есть такие строки:

Храните, о друзья, храните
 Ту ж дружбу с тою же душой,
 То ж к славе сильное стремленье,
 То ж правде—да, неправде—нет,
 В несчастье—гордое терпенье
 И в счастье—всем равно привет!

Объединяя в одно выражение разделенные тремя строками слова, Пушкин стремился к тому, чтобы они сильнее действовали на декабристов Пущина и Кюхельбекера, хорошо знавших стихотворение Дельвига. Но все это стало историей. А видоизмененное выражение Дельвига воспринимается ныне как пушкинское: именно под его пером, в его поэтическом контексте строка обрела свою подлинную энергию, новую жизнь. Чужая строка была как бы ничьей, настолько она оказалась незаметной под грудой других строк, доверху набитых изношенными, стершимися словами. Но сотворчество писателей порою обретает куда более своеобразные и «многоступенчатые» формы. Л. Скорино в книге «Писатель и его время» рассказала некоторые существенные подробности творческой истории повести-хроники В. Катаева «Время, вперед!» и происхождение самого названия. Оказывается, В. Катаев повстречал однажды В. Маяковского, и тот прочитал ему только что написанный «Марш времени» к комедии «Баня», в котором властно звучал призыв: «Вперед, время! Время, вперед!» В. Катаев сказал, что слова «время, вперед!» могли бы стать хорошим названием для романа, на что Маяковский тут же ответил: «Вот вы и напишите. Я романов не пишу».

В своих воспоминаниях Л. Славин свидетельствует: «Пьесы «Клоп» и «Баня» появились после романа «Двенадцать стульев», которым Маяковский всегда восхищался, и было бы интересно проследить, как это отношение Маяковского к роману Ильфа и Петрова отразилось в его сатирических пьесах».

Но ведь сюжет «Двенадцати стульев» И. Ильфу и его соавтору Е. Петрову, младшему брату В. Катаева, «подарил» В. Катаев! Так что когда он встретился с В. Маяковским и, в свою очередь, получил от него литературный «подарок» в виде зерна-заголовка, не был ли это бумеранг, в преображенном до неузнаваемости виде вернувшийся к исходной точке?..

Подчеркнем еще раз, что степень творческой активности отношения писателя к отстоявшемуся опыту прошлого, в котором ничего уже изменить нельзя, и к исканиям современности, в которых изменить можно еще очень многое путем личного включения в создание, если можно так выразиться, будущих традиций, очень различна.

Ценные соображения по интересующему нас вопросу содержатся в книге Ю. Либединского «Современники». «Мы сейчас много говорим о необходимости учебы у классиков, и правильно делаем... Однако следует также сказать о том огромном значении, которое для воспитания и роста будущего писателя имеет современная ему литература. По своему опыту знаю, как может изумить и пронзить слово писателя-современника и в особенности сказанное им о современности. До того как это слово услышал, ты, оказывается, был все равно что немой, чувства и мысли теснились в тебе, но выхода им не было. И вот пришло слово, оно пришло со стороны, но стало твоим словом, ты твердишь его без конца и заучиваешь наизусть».

Если поставить рядом две системы «традиция — современность» и «современность — современность», то, надо полагать, будет ясно следующее: чем ближе к нашим дням, тем сложнее изучать вторую сравнительно с первой. Но советская литература уже прошла в своем развитии несколько этапов, накопила богатый опыт, и, по крайней мере применительно к тем периодам, которые стали пусть и недавней, но историей, изучение внутренних взаимосвязей литературных явлений, их эстетических притяжений и отталкиваний становится задачей и актуальной и практически выполнимой.

Вероятно, особенно важным и сложным является тот случай взаимодействия опыта современников, когда чья-то книга попадает в поле зрения другого автора в самый разгар его работы и приходится, что называется, очень «ко двору», так как обнаруживает в ряде моментов родственность рождающемуся творению. Так было с Ю. Олешей, когда он писал «Зависть» и когда ему попался в июльской книжке журнала «Новый мир» за 1926 год рассказ Жана Жироду «Святая Эстелла» с кратким предисловием А. В. Луначарского. Позднее Ю. Олеша так оценивал это событие в своей жизни: «Мне очень много приписыв-

вали влияние французских писателей. Я с этим не согласен. Мне говорят, что я находился под влиянием Жана Жироду. Есть такой очень интересный, блестящий писатель. Но я говорю с полной откровенностью, что нет. Доказать это трудно. Когда я писал «Зависть», то мне попалась книжка «Нового мира», где был напечатан рассказ Жана Жироду «Святая Эстелла». Я его прочел и буквально взвыл, увидев, что кто-то так же пишет. Для меня это было большим ударом. Я думал, что я работал свой стиль, а оказалось, что кто-то во Франции тоже так пишет». Эта заметка извлечена из архива Ю. Олеши и впервые опубликована В. Перцовым в его очень своеобразной книге «„Мы живем впервые“». О творчестве Юрия Олеши», изданной в 1976 году. В. Перцов приводит разительные совпадения стилистических приемов у двух писателей, но решительно возражает против прямолинейных выводов критиков о том, что Олеша — «лучший француз среди русских», подчеркивая национальную первооснову проблематики и конфликта «Зависти». Что же касается знакомства Ю. Олеши с Ж. Жироду в момент работы над «Завистью», то оно, очевидно, лишь укрепило его в намерении работать в избранном направлении.

В иных случаях сквозь индивидуальные искания и находки писателей в конечном счете проступает своего рода «коллективная» первооснова их труда. Об этом говорит, например, такой курьезный случай. Михаил Светлов написал озорную частушку для кинофильма:

С неба звездочка упала
На прямую линию.
Меня милый превзвел
На свою фамилию.

А вскоре Светлову по телефону сообщили, что почти в точности такую же частушку еще раньше сочинил Алексей Недогонов.

Светлов растерялся. «Будь жив Алеша, — сказал все же поэт в заключение, — он на меня не обиделся бы... Ей-богу, я полагал, что это фольклор...» Любопытно, что в своем предположении Светлов оказался прав. Как обнаружилось позднее, и сам-то Недогонов отталкивался в своем стихотворении от фольклорных куплетов. Следовательно, Светлов в строках, принадлежащих перу поэта-профессионала, так сказать, сквозь оболочку его индивидуальной манеры, различил народную первооснову.

Хорошо известно, что в отличие от профессионального творчества, которое всегда индивидуально, устное народное творчество коллективно, анонимно. Но, оказывается, бывают такие ситуации, когда и профессиональное творчество обнаруживает своего рода коллективность (которая, разумеется, ничего не имеет общего с плагиатом). К. Поздняев вспоминает случай, произошедший с Недогоновым. Сотрудник газеты «Советский воин» поэт Харьюзов прислал в редакцию свое стихотворение, в котором была такая строка: «И поехал к Волге воин по Европе на коне...» Недогонова она привела в восторг. Его поэтическое воображение заработало с такой интенсивностью, что он увидел за строкой гораздо больше, чем ее автор. Недогонов уговорил сочинителя весьма среднего стихотворения «уступить» ему строчку и написал вскоре действительно отличную поэму «Флаг над сельсоветом». В начале ее были широко известные строки:

От зари и до зари
через сотни синих рек,
сквозь чужие пустыри
едет, едет человек.

Тишина оглушена,
бьют копыта в тишине:
едет, едет старшина
по Европе на коне.

Запев действительно оказался великолепен. И, наверное, не своей богатой звукописью, а прежде всего содержательностью масштабной характеристики... Человек может ехать на коне по дороге, полем, лесом... И вдруг — «по Европе на коне». Всадник становится крупным, монументальным, выдающим как бы одновременно всю Европу: возможность такой точки зрения и право на нее дало ему положение освободителя народов целого континента от фашистского ига.

Этот случай раскрывает некоторые любопытные особенности творческого поиска, его неожиданные рабочие повороты, в известной степени «коллективный» характер индивидуального сочинительства.

Вполне естественно, что творческие контакты писателя с современниками отнюдь не сводятся только к различным формам усвоения их опыта, здесь непременно имеет место и полемическое отталкивание.

В. Астафьев вспоминает, как однажды в 1945 году на занятии литературного кружка при местной газете услышал рассказ о войне, написанный, кстати сказать, быв-

шим фронтовиком. «Взбесил меня тот рассказ,— с присущей В. Астафьеву прямо-той и темпераментностью признается он спустя многие годы.— Герой его, летчик, сбивал и таранил фрицев, как ворон. Потом благополучно приземлился, получил орден, вернулся домой. Его встречали родные, невеста и вся деревня, да так встречали, что хоть перескакавай из жизни в этот рассказ». Сочиненьце это сыграло определенную роль в активизации литературных намерений и способностей В. Астафьева и тверже определило его собственный путь — правдивого до полной бескомпромиссности изображения жизни со всеми присущими ей противоречиями. Во всяком случае, сразу же после занятия кружка он долго перебирал в памяти своих товарищей по оружию, видел, что все в их жизни выглядело куда менее нарядно и вместе с тем внутренне более значительно. И тут же, за ночь написал свой рассказ «Гражданский человек». Все в нем было по-другому. Но прямой полемики-опровержения по отношению к услышанному на заседании кружка рассказу не было. Было противостояние концепций. Вообще полемический момент, явившись определенным стимулом для творчества, не может быть для писателя самоцелью. Как верно заметил М. Слущик, «контр книги» никогда не удаются.

Случается, один из персонажей разветвленного повествования, словно отпчковавшись от него, дает жизнь новому произведению, главным героем которого становится.

Выступая на I съезде писателей, А. Фадеев говорил о том, каким интересным могло бы стать произведение, если бы Никиту Гурьянова из панферовских «Брусков» сделать героем произведения-путешествия, что позволило бы дать разрез всей страны социализма. В этих рассуждениях — исток замысла «Страны Муравии». Поэма А. Твардовского явилась в советской литературе произведением новаторским во многом благодаря исключительной цельности, компактности. Но это можно объяснить, на мой взгляд, не только талантом поэта, но и логикой творческого отталкивания от противоположных литературных явлений, от тех же «Брусков» Ф. Панферова. Основанный на прекрасном знании жизненного материала, роман Ф. Панферова исключительно многопроблемен и многогероев, на что указывала критика. Но он далеко не лишен известной хаотичности в

организации этого материала, в соотношении сюжетных линий. Возводя свой замысел к Никите Гурьянову, А. Твардовский, как мы можем предполагать, стремился избежать тех художественных недостатков, которые были присущи панферовским «Брускам».

Как известно, впоследствии А. Твардовский воспринимал манеру Ф. Панферова еще более полемично, и это было связано со стремлением доказать, что литература прежде всего должна рисовать обыкновенных людей, а не выдающиеся личности: «Герою «Тихого Дона» Григорию Мелехову его «заурядная» казачья натура, чуждая всяких претензий на титаничность характера, не помешала стать в ряд мировых литературных образов. И у шолоховского Давыдова, коммуниста из рабочих, опять же нет никаких черт исключительности. И тем не менее он благодаря правдивости, жизненности изображения приобретает куда более надежную долговечность, чем, скажем, Кирилл Ждаркин или позднейшие Кораблев, Морев и многие другие их сверстники в литературе с приданными им чертами «сильных личностей»...»

Примечательно, что и у некоторых других писателей, например у К. Симонова, возникало столь же контрастное восприятие манеры Шолохова и Панферова: «С такими... героями, как Кирилл Ждаркин, я — отчасти и осознанно, а гораздо больше неосознанно, по внутренней необходимости, — полемизировал, когда писал свои «Дни и ночи». Я не верил в реальность таких героев; они казались мне неправдыми, приподнятыми на котурны».

В таких героях, как Кирилл Ждаркин (каким он предстает в двух последних книгах романа), А. Твардовского в первую очередь, вероятно, не могла устроить облегченность продвижения по лестнице должностей и званий, не подкрепленная соответствующей динамикой внутреннего развития.

* * *

В сегодняшней практике наших писателей обнаруживают себя все более многообразные жанрово-стилевые формы выражения индивидуально-личностного начала. Но, может быть, именно эта-то все возрастающая многообразность, если хотите, пестрота картины еще более помогает понять, высветлить некую авторскую пер-

вооснову. То есть творчество писателя, обладающее обилием внутренних сцеплений, связей, ассоциаций, предстает перед нами как единство, целостная эстетическая система. Она интересна не только «по частям» (по произведениям), не только как их совокупность, но именно как неповторимое живое единство, как своего рода организм. С другой стороны, все отчетливее проступают формы внешних связей данного художника с творчеством других (то есть предшественников и современников). Может показаться, что индивидуальное творчество как бы уравнивается, «гасится» за счет «коллективного» начала, интегрирующего опыт других.

Но только на первый взгляд эти две тенденции могут показаться противоположными и уж тем более взаимоисключающими друг друга. Наоборот! Высокая степень выражения индивидуального немалыма без опоры на опыт, выработанный коллективно. Этот коллективный опыт не только не сковывает настоящего художника в его исканиях но, наоборот, активизирует их. Чужой опыт сковывает только эпигонов.

Итак, мы можем сказать, что в восприятии данного художника диалектическое единство индивидуальных исканий и коллективного опыта тоже образует эстетическую систему (так сказать, эстетическую систему номер два). И единство двух эстетических систем дает нам о художнике и его труде именно то знание, без которого его место в искусстве и собственный вклад в это искусство постичь невозможно.

Тут-то и обнаруживается решающая зависимость работы писателя от характера современной ему социальной действительности. Главные, ведущие проявления художественного сознания выводят нас на такие уровни состояния литературы в целом, которые имеют наиболее широкий общественный и гражданский интерес, позволяют с новых сторон подойти к проблеме «писатель и социалистическая действительность».

Развитие многонациональной литературы страны зрелого социализма характеризует не только исключительное многообразие жанрово-стилевых поисков и художественных средств, но и рост профессионального самосознания тех, кто творит ее. Рассуждения советских писателей о литературном труде противостоят как упрощенным представлениям о нем, сводящим все или к тому самому ремеслу, на основе которого

на Западе штампуются изделия так называемой массовой культуры, или к элитарным концепциям, проповедующим непознаваемость творческого процесса (И. Кант: «...того, каким образом гений создает свой продукт, даже и нельзя описать или указать научным образом») и, следовательно, неподвластность «гения» интересам «толпы».

Идеи непознаваемости творческого процесса отнюдь не ушли безвозвратно в прошлое. Преодоление агностицизма, исследование реальных путей рождения образа требуют от нас сугубо критического отношения к «исследованиям» замкнутых художественных структур, вычлененных из времени в духе небезызвестной западной «школы интерпретации». Важно представить не только эстетическую весомость достигнутого художественного результата, но и закономерность его рождения. Это-то и позволяет сделать опыт одного достоянием всех (другой вопрос, что использовать на практике опыт большого художника дело отнюдь не простое).

Конечно, в творчестве каждого настоящего писателя много сугубо индивидуального присущего только ему одному. И все же не будет преувеличением, если мы скажем, что нечто наиболее важное в способах создания образа (индивидуальное) так или иначе, но ведет в конечном счете к категории метода (общее). Замечу попутно, что сплошь и рядом под понятием метода подразумевают совокупность тех или иных основных качеств, устойчиво присущих литературе в целом. Но метод прежде всего не состояние, а принцип, рождающий его, это путь, способ, в результате использования которого и возникают те или иные качества.

Как же опыт индивидуальных исканий, обретаемый при использовании метода, приводит к постепенной кристаллизации новых свойств метода? Вот пример. Мы помним, как у Ю. Трифонова где-то в глубинах его творческого состояния пробился, подобно робкому весеннему ручейку, интерес к истории. В своем обращении к прошлому писатель отнюдь не был одинок. Тут я имею в виду не тех, кто создает исторические романы, а тех, кто работает на современном материале, но включает теперь непосредственно в него реалии исторического прошлого. Вспоминаются в этой связи «Межа» А. Ананьева, «Запах спелой айвы» И. Друцз, «Циклон» О. Гон-

чара, «Люблю тебя светло» В. Лихоносова, «Другая жизнь» того же Ю. Трифонова, «Возвратная любовь» С. Шуртакова, «Морской скорпион» Ф. Искандера, «Любовь учителя истории» Ю. Авдеенко. Есть среди таких произведений спорные (повесть В. Лихоносова) или малоудачные, на мой взгляд (повесть Ю. Авдеенко). Но в данном случае для нас важен сам интерес к прошлому.

Тут действуют причины серьезные, носящие общезначимый характер. В художественном сознании писателей прошлое — как предыстория современности, как средоточие национального опыта предшествующих поколений — приобретает не только все более широкую распространенность, но, главное, более существенный качественный интерес. Нельзя, конечно, утверждать, будто литературные герои 20—30-х годов совсем не оглядывались назад. Но жизнь поглощала их с головой («Время, вперед!»), не пробуждая еще той потребности осмыслить закономерную связь времен, какую властно испытываем мы сегодня.

Особенности литературы последних лет связаны с категорией метода не только через тип героя. Здесь и публицистические экскурсы в прошлое (то есть явления композиции) и насыщение текста авторского повествования теми или иными реминисценциями, придающими книге особый колорит (явления стиля). А в некоторых случаях уже не история вводится в структуру повествования о современности, а, наоборот, совершается прямое вторжение современности в историю (я имею в виду романы П. Загребельного «Диво» и «Первомост», образ Клио-72 в трифоновском «Нетерпении»).

Нет, не просто о расширении хронологических рамок повествования или о новациях в области формы идет речь. Имеется в виду существенное изменение и углубление взгляда на мир, совершенствование принципов его осмысления. За всем этим мироощущение человека — труженика, ком-

муниста, хозяина своей страны, осмысляющего с воистину хозяйской озабоченностью не только текущие дела, но и кровно заинтересованного в разумном, марксистски грамотном использовании духовных ценностей прошлого для формирования новой личности.

Художественный метод можно назвать своего рода саморегулирующейся эстетической системой, которая постоянно вбирает, впитывает в себя, как губка, главное в индивидуальном опыте многих (отнюдь не говорю — всех!), концентрирует, обобщает, укрупняет это главное до масштабов общезначимого, формируя тем самым общие принципы творческой деятельности писателей-современников.

Разумеется, реальный путь превращения индивидуального опыта в черты, грани метода сложнее и многообразней, чем здесь сказано: путь более зигзагообразен, преемственность и полемика постоянно меняются местами и т. д. И все же в принципе реальный динамизм связи индивидуального художественного мышления, с одной стороны, и метода литературы — с другой, таков.

Метод социалистического реализма — живое, движущееся, чутко реагирующее на сдвиги в жизни явление. В этом смысле он продукт самодвижения искусства. Представляя собой способ создания художественных ценностей, он одновременно есть следствие практики и ее орудие. Отсюда очевидна убогость построений буржуазных советологов, которые без усталости повторяют одно и то же, тщась доказать, что социалистический реализм — результат некоего искусственного конструирования.

Социалистический реализм как метод художественного мышления тончайшими волосками корневой системы уходит в глубины писательской практики, питаясь живительными соками жизни и опыта. Этим обусловлены его безграничные возможности познания жизни и утверждения передовых идей века.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Турбин. За други своя.— Наталья Капиева. Верен пути.—Л. Аннинский.
Цена синтеза.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Н. Мор. Девять месяцев одного года.— Г. Федоров. Лампа Аладдина.

Литература и искусство

ЗА ДРУГИ СВОЯ

Чингиз Айтматов. Пегий пес, бегущий краем моря. Повесть. «Знамя», 1977, № 4.

«Пегий пес...», несомненно, сказание, повесть-сказание с присущими сказанию признаками. С форсированием специфически национальных моментов общественной жизни и быта: русский человек в сказании выступит в старинной одежде, допетровски бородатым, степенным, а нивхи, северный притихоокеанский народ, естественно, открываются в сказании в своей, нивховской необыкновенности: нивхи — рыболовы, охотники, и одежда на них «вся из шкур и кож», а обуты они в торбаса. Нивхи — язычники: подвизается среди них шаман, и окружают их злые духи — кинры, а в беде океанского безветренного тумана нивхи клянут бога-жадюгу, «хозяина ветров», осыпая его непристойностями; потому что он попридержал ветер и четверо нивхов (старик, двое мужчин-родичей и мальчик, впервые вышедший в море) обречены погибать в каяке от жажды и голода. Космогония в сказании всепроникающая: о чем бы ни повествовало оно, события будут возведены ко дням сотворения мира. Поэтому и мир в сказании — слитный какой-то мир и причудливый: рассматриваемый вне жанра сказания, он легко может быть развенчан как нелепое суеверие, темный домysel. В учебнике зоологии чадо у человека и рыбы родиться не может, а в

сказании может, и родился же мальчик у Рыбы-женщины и нивховского юноши, и было положено начало поселению нивхов на берегу океана, на срезе земли и воды. Сказание имеет дело с душою стихий и вещей, отсюда, кстати, и гипнотизирующий, завораживающий (а не аналитически убеждающий аргументами и доводами) ритмический стиль сказания.

Четверо отправились в каяке на загоризонтные острова на нерпу охотиться, четверо заблудились в наползшем на море тумане. В бочонке кончалась вода, и трое взрослых один за другим из жизни ушли, чтобы спасти жизнь мальчику, даровав ему свою долю тухлой воды: шаг за борт — и долг исполнен, и ты освобождаешься от жизни, а других освобождаешь от лютой смерти. Впрочем, по внутреннему убеждению трех нивхов, не вовсе они уходят из жизни: их мечтания, вера в лучшее, их поэтические сны «должны быть бессмертными» и для них это ясно так же, как для нас ясно, что вода состоит из кислорода и водорода.

Образы в сказании порождают друг друга, идут непрерывною цепью. Есть, положим, у Айтматова образ, ныне уже не кажущийся — привыкли! — бесцеремонным, физиологичным: чрево.

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Твое жаркое чрево—зачинает жизнь,
Твое жаркое чрево—нас породило у моря,
Твое жаркое чрево—лучшее место на свете.
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?—

поет на празднествах нивхов шаман. Поет он о чреве Рыбы-женщины, породившей нивхов. А окажутся охотники-путники в густом тумане, и сказано будет: «Снова наступила ночь в чреве тумана». Туман — тоже чрево. А бочонок с водой? Тот, который сохраняют тогда, когда из ладьи, из каяка приходится выбросить все, дабы не утонуть? И он — чрево, поящее, дарующее жизнь, но медленно иссякающее. Так повторяются у Айтматова образы, и на повторении их — каждый раз в новом свойстве — зиждется повествование. Повторяются картины, мысли, завораживающие слова: «И наутро никаких перемен... И никакого ветерка, и никаких перемен...» Словом, сказание у Айтматова. И в спокойной напористости, в настойчивом утверждении присущего сказанию понимания мира — его, Айтматова, новизна. К сказаниям обращались, например, Лесков, Короленко, Пришвин. К ним обратятся еще не раз и превзойдут, вероятно, сделанное сейчас. Однако любое обращение к присущему сказанию мирознанию уже всегда будет осуществляться с оглядкой на прецедент, возникший сейчас, в сказании о четырех мудрых нивхах; и Айтматов здесь поставил отчетливую веху и в собственном творчестве и в литературе вообще.

Но «Пегий пес...» и бесспорная повесть: все локализовано в социальном времени. Дело происходит в конце прошлого — начале нынешнего столетия. Мелькает упоминание о приходивших к нивхам купцах; о винчестерах, обмененных на сто соболиных шкурок за каждый; фигурирует и диковина — занесенный в приокеанье купцами табак. Критическое отношение к событиям почти вековой давности, сердитый их анализ явствен у Айтматова: нахальство торгового капитала, ставшие уже хрестоматийными примеры жульничества и обмана полярных народов, а за всем тем бессовестность капитализма как такового. Отголоски этого в новой работе писателя, конечно, не от сказания, а от историографической и социологической точности, строгости, которая закрепилась за жанром повести. Но строгая повесть здесь сходится с вольным сказанием.

Неожиданность повести Айтматова, ее

этапность, ее загадочность и, наконец, ее художественная обделительная перспективность — в такой стереоскопичности зрения, видения мира. В понимании, что герои его живут в своем нравственном мире, в мире сказаний; моральное и художественное для них синкретически нераздельны, едины. И если им сказали, что род их восходит к Рыбе-женщине, даровавшей жизнь, то для них оно так и есть. И старик Орган, первым шагнувший за борт каяка, понимает свой поступок как уход к пра матери рода, как возвращение в лоно ее; поэт-сновидец, художник, он и умирает художественно; и подвиг его как бы двусоставен, двучленен и двуедин: да, конечно, и жизнь малыша сохранить, но и веру свою воплотить в энергию действия, в дело, ибо вера без дел, как известно, мертва. Подвиг Органа тесно связан с его языческой верой, для просвещенного сознания разве что причудливо-экзотической. Можно ли понять его целью, не воспринимая в его деяниях подлинно добрые дела, сквозь то, что для нас предрассудки и темные суеверия?

Порывы к умению понимать другого, к преодолению разъединенности характерны для литературной мысли нашего времени. Но мало порыва: было бы искать методы, даже, я бы сказал, технологию этого понимания, его общую и частную этику и эстетику. Двужанровость повести-сказания Чингиза Айтматова имеет актуальный общественно-нравственный смысл. Мы понимаем нивхов — мы, воспитанники романа и повести с ее исторической точностью, определенностью суждений о мире. А нивхи с берегов Тихого океана ни одной повести в жизни своей не прочли. В их сознании иное понимание мира, иные жанры; и быт в восприятии их сливается с космосом, и высшие силы сопутствуют им на каждом шагу, и стихии продолжают в человеке, слышат его. Земля и вода для нивхов не химические соединения, а нечто живое, мыслящее. Земля и вода ссорятся, порою враждуют: сказание, в котором живут четверо, распадается на ряд сказаний поменьше; и все начинается со сказания о происхождении земли из перьев лгавшей над первозданным морем волшебницы утки. Земля — искусственное образование, вторгшееся в царство воды; и хотя с тех пор вода терпит землю, выносит ее соседство, стихии все же не мирно живут, а бунтуют. Да, земля прекрасна, но вода роднее лю-

дям, старше. «Мать сыра земля» — закрепилось в русском, сухопутном сознании; здесь же скорее что-то другое, «мать вода», и уход троих взрослых в недра воды — возвращение их к изначальному состоянию, оттого-то и смерть их так проста и естественна. Один благоговевает перед водой, другой злится, но все трое — в воду, домой: туда, откуда пришли. С землей расставаться, конечно, мучительно: на земле их жены, их дети, все их привязанности. Но вода зовет. И земли достиг только мальчиж, достиг ценой жертвы, принесенной воде тремя взрослыми; плыл, изнемогая от жажды, пока не увидел Пегого пса — большую скалу, формой похожую на собаку, причем стихия сказания была с ним до последнего шага, до последнего взмаха весла: начинается с присутствия птицы, утки, создавшей землю, и кончается птицей, совой, пролетевшей над сиротою и указавшей ему дорогу домой.

Как понять этих людей, причем, повторю, понять целиком, ибо понимать другого нельзя «по частям»? Видимо, только войдя в их жанровый мир, потому что жанр (понятый, разумеется, не статически, а динамически, как явление социального бытия и общественной психологии) разграничивает времена, но и соединяет их, являясь как бы их общим знаменателем. Нивхи у Айтматова странно не одиноки. Они изолированы, казалось бы, они заброшены историей на край света. Но они аргонавты какие-то, несущие в сознании кладу трехтысячелетней культуры: кусочек языческой давности, заброшенный в окраинный уголок Российской империи и, конечно, не узнанный, потому что, положим, античность за тысячи лет обросла эпическим авторитетом, патетикой, а от этих аргонавтов разит табачищем и дымом костра и вместо золотого руна у них жирная нерпа, вместо Итаки — неустроенное стойбище, а беременная малышом Пенелопа в томлении по ушедшему в море мужу «ходила в его старых кожаных штанах, выдавших виды, латаных-перелатаных. Это для того, объясняла она, чтобы присутствовал его мужской дух, когда он уходит на промысел, а то плохо будет расти тот, кто должен появиться». Нивхи не похожи ни на кого из тех, кто знаком европейской традиции, не похожи ни расово, ни по языку, ни по обычаям. Но именно они в неприкосновенности сохранили то, к чему мы влечемся сейчас, пытаясь мысленно восстанавить

античность, славянское язычество или европейское средневековье. Но нам-то все это в лучшем случае удастся лишь более или менее точно и полно реконструировать, а для них это просто образ жизни и образ деятельности. «Древние греки не знали о том, что они древние», — грустно пошучиваем мы, а тут перед нами вживе плывущие по волнам собратья и словно бы современники древних греков, и впрямь не знающие о том, что атрибуты их быта и мироощущения достойны занять место в музеях, в антологиях и хрестоматиях, трактующих о Геракле и Прозерпине. Их жизнь — сказание, еще не нашедшее своего Гомера, а их мирозерцание еще не отделилось в диалоги Платона.

И нивхи у Айтматова живут да живут в своем жанре. И хорошо им — хорошо не в бытовом, разумеется, смысле, а в нравственном. Хорошо уже потому, что подвиг для них не подвиг даже: завораживает естественность, непринужденность их подвига, глубина их веры и их духовная чуткость к миру.

Земля и вода — в соперничестве. Но человек для нивхов — мироносец уже потому, что он соединяет землю и воду: соединяет тогда, когда пьет, лаская божественную воду устами; соединяет тогда, когда плывет, опираясь на воду и тем самым придавая ей свойства земли. Отсюда — постоянное нагнетание и усложнение в повести устоявшейся, омертвелой метафоры «ходить по воде» (мы не задумываясь говорим: «ход корабля», «учиться в мореходном училище»). Заклинает, положим, старец выдолбленную им ладью, созданный им как: «Если я умру, ходи долго, ходи далеко...» Тут же по поводу гребли: «По морю ведь на руках ходишь»...

«Пегий пес, бегущий краем моря», — в трезвых традициях отечественной, русской повести, социологически строгой, этнографически любознательной; «инородец» неизменно привлекал ее внимание, вызывая ее восхищение. Она любила открывать, обнаруживать непосещенные уголки обширной страны; и сквозь страницы художественных описаний неизменно проглядывала записная книжка, в которой накапливались колоритные обороты речи, тексты песен и характеристики обычаев, нравов (проглядывает она и здесь, и даже слишком уж явно: повесть оснащена попутными комментариями, поясняющими сносками). Писатель-художник был и этнографом, и

филологом-фольклористом, и переводчиком. Все так, и все у Айтматова по-хорошему традиционно. Но повесть его не только повесть, монологически утверждающая свое воззрение на мир в качестве единственно правомерного. Она на распутье. Она в колебаниях. Она отступает перед сказанием, оставляя неприкосновенной его странную правду.

И нивхи умирают, оставаясь такими, каковы они есть: тружениками-язычника-

ми, верящими в Рыбу-женщину и в Курнга, высшее божество. Мы тоже будем собою самими, но, может быть, чуть-чуть тревожнее станет нам за наше знание о мире. Не окончательно же оно. И не только впереди нас, но и где-то позади нас есть вещи, которые нам предстоит открывать, понимать, постигать. Постигать их и торопит нас повесть-сказание о четырех мореходах.

В. ТУРБИН.



ВЕРЕН ПУТИ

Алим Кешоков. *Талисман. Стихи и поэмы. Перевод с кабардинского. М. «Советская Россия». 1976. 384 стр.*

Алим Кешоков. *Кубок неба. Стихи и поэма. Перевод с набардинского Якова Козловского. М. «Советский писатель». 1975. 134 стр.*

В годы Великой Отечественной войны молодой тогда поэт Алим Кешоков написал стихотворение «Путь всадника». Стихи эти, как мне кажется, и сегодня остаются одними из вершинных достижений горской поэзии:

В ночном просторе Путь протянут Млечный,
Монисто звезд мы видим наяву.
Широкий путь, блестящий, бесконечный,
Он опоясал неба синеву.

Какой скакал здесь всадник знаменитый?
Какая цель сияла седоку?
Коня какого звонкие копыта
Сумели звезды высечь на скаку?

Никто не знает, кто он и откуда,
Не сохранилось имя седока,
Лишь путь его, сверкающий, как чудо,
Незыблемый, остался на века.

Наездников умелых много тысяч
Добром земля могла бы помянуть,
Но лишь один сумел отважно высечь
На вечном небосводе Млечный Путь...

(Перевел С. Липкин)

Что так пленительно в этих стихах? Космический взлет образности? Высокая романтическая мысль? Радостное предчувствие победы? Написанные в 1944 году на фронте, они впрямую не говорят о событиях Великой Отечественной войны. Но они должны были родиться и родились именно в эту пору. В них отзвук победных боев, подъема народного духа, гордое упоение величием подвига... Стихи неповторимы в своем национальном колорите. Они навеяны древним горским мифом, и создать их, естественно, было предопределено горцу, кабардинцу, чьи предки издревле слово «всадник»

почитали синонимом слова «герой» и чьи скакуны, «шаулохи», славились далеко за хребтами Кавказских гор.

Это стихотворение Кешокова я позволила себе привести почти полностью. Для меня оно как бы точка отсчета. По нему я сопоставляю, сравнивая, написанное Кешоковым позже, в пору творческого расцвета и зрелости: так ли? верен ли всадник своему пути?

Книга «Талисман» — томик избранного, напечатанный в серии «Поэтическая Россия», и в нем облик поэта видится особенно полно, раскрывает новые свои свойства.

По-новому, например, открылась мне влюбленность поэта в красоту природы. Я как-то не замечала ранее у Кешокова особой приверженности к лирике пейзажа, той очарованности прелестью земли, о которой он сам говорит в стихотворении «Семицветие». Есть в его стихах о родной земле какое-то мало поддающееся толкованию равновесие красоты в двуединстве, «золотое сечение», соединяющее богатство двух сфер: духовной жизни и природы. Кешоков чуждается мелкого штриха, детальной прорисовки. Все вольно, крупно в его стихах. Радуга — «творенье солнца и дождя», безмянный ручей — с серебром на устах и с небом в объятьях и, конечно же, горы... Горная родина поэта, как некий нар-г-великан, пьет «зарю из кубка неба над белой скатертью снегов».

«Кубок неба», «небо-чаша» — образы, к слову сказать, знакомые русской поэзии еще с XIX века. Для горской метафорической системы это переход в новое качество отвле-

чения, принципиально новый прием. Да и на русский слух троп «кубок неба» в ряду с «белой скатертью снегов» приобретает необычное в своей локальности звучание.

По-новому звучит любовная лирика Кешокова последних лет с ее выстраданностью, трудной и счастливой страстью, нежной бережливостью к женщине. Лирика, сильная жизненным опытом и уязвленная печалью героя по уходящей молодости. При полном отсутствии внешних аналогий ключ к таким лирическим стихам Кешокова, как «Подобна ты маю», «Зажги, любовь, еще одну звезду», лежит, быть может, в тютовском «О как на склоне наших лет», в ответах классической «зари вечерней». Нет былой легкости, безглядности чувств. Счастье трудно и тем дороже...

Было время, Кешоков щедрую дань отдал повествовательности, сюжетности. Можно назвать десятки его стихотворений, полностью скомпонованных на реальной бытовой коллизии или на очерке конкретной человеческой судьбы. Поэт словно бы портреты кистью пишет со своих героев: «Зариля», «Доктор», «Девушка, которая печет хлеб». Нередко «предметность» стихов определялась какой-то одной, точно выбранной многозначительной вещной деталью. В такой манере написано не одно стихотворение военной поры, да и более поздних годов («Шахтерская лампочка», «Канатная пассажирская»). Сам по себе прием ни плох, ни хорош. Все дело в том, что за скромной реальией стоит дальний второй план, ибо сама она, реалья, — лишь исходный момент для рассказа о чем-то значительном, затронувшем сердце поэта.

В последнее десятилетие Кешоков к стихам повествовательным обращается редко. Пришла пора самораскрытия, размышлений над сложнейшими загадками и самой сущностью бытия. Пожалуй, сильнее всего скажутся эти новые свойства в книге «Тавро» и особенно в «Кубке неба» (двух завершающих разделах сборника «Талисман»).

Читатель найдет здесь углубленное, философическое восприятие жизни. Многозначна в этом смысле трансформация метафор. Один из любимых образов Кешокова — образ стремительного потока горной реки. В ранние годы это шустрый монолог, обращенный к спутнице детства маленькой речке Шалушке. Повторенный через десятилетия — «Не грусти, моя Шалушка...», — он будет уже иным, не без оттенка элегичности. Затем, в 60-х, в стихотворении «Баксан» воз-

никнет параллель: «Судьба реки — как судьбы человек». И в 70-е придет новый образ — «река жизни». Течение этой реки — поток времени, поток бытия, и лирический герой поэта стоит на ее стремнине:

Я в союзе с ее глубиной,
Мне по грудь она только бывает,
Потому что волна за волной
Прямо в сердце мое ударяет.

(Перевел Я. Козловский)

Лирика Кешокова последнего десятилетия переполнена пронзительным ощущением времени, «ударяющего прямо в сердце». Образы времени и движения варьируются, поворачиваются различными гранями. Время как извечная категория бытия в его остановимом, необратимом течении. Время и человек. Ответственность поэта перед временем — эпохой с ее беспримерными целями. Время — современность во всем планетарном размахе, беспокойно и требовательно от имени Страны Советов взывающее к человечеству: «Плечо к плечу, товарищи мои!» Время — это и ощущение общности «сынов, находящихся в братском союзе», народов, строящих коммунистическое завтра Земли.

В этот сложный мир пытливой и тревожной поэтической мысли, порожденный высокими нравственными поисками и гражданственными помыслами, входил сопереживая и расстаешься с ним в намерении вновь полистать страницы книги.

С пристрастием осмысляя жизнь, по-новому выражая отношение к ней, Кешоков остался верен ранним вершинным стихам, вернее, от них шел к нынешнему дню. Его поэтическому слову свойственны масштабность художнического видения, смелость и национальная оригинальность образности, все, что некогда так вдохновенно вспыхнуло в «Пути всадника».

«Вечным движением мир одержим» и «конь мой летит» — синонимы в поэтике Кешокова. Образ летящего скакуна — в обращении к другу-стихотворцу («Мы всадники, что стремя в стремя летят, избрав нелегкий путь»), в думах о неуловимости, неподатливости слова, когда мечтается «речь взнудать, как коня», в мыслях о себе, о своем труде и его месте в жизни родины:

Пишу и думаю в тревоге
Сегодня так же, как вчера,
Оценят всадники ль в дороге
Вас — кони моего тавра?

(Перевел Я. Козловский)

И это не самоповторение. Это очень личностная, с годами ветвящаяся от «пракорня» поэтическая речь. Разумеется, метафорический мир поэта не уместить в границы какого-то одного круга образов. Свой особый лад у любовной лирики Кешокова, у цикла стихов об Индии «Синдур», связанных не только с живыми впечатлениями от знакомства со страной (впрочем, это скорее ощущение близости, а не знакомства), но и с древней индийской поэзией и песней. Просто я больше останавливаюсь на том, что кажется мне наиболее естественно присущим Кешокову.

Особняком стоит в «Талисмане» цикл четверостиший «Стихи-стрелы». Древний жанр стихотворного четверостишия-афоризма, однажды возродясь, буквально заполнил горскую поэзию. Не миновал его и Кешоков. В цикле «Стрелы» — эпиграммы, лирические миниатюры, сатиры, есть вариации на фольклорные темы:

Не тот ученый, кто в среде ученой
Со степенью и званием живет:
Увы, нередко по воде плывет
Пустой кувшин, в нее не погруженный.

(Перевел С. Липкин)

Цикл написан в 60-е годы. Тематически отдельные его четверостишия в чем-то предшествуют позднейшей лирике раздумий поэта о времени и о себе. Но и содержание и эмоциональная тональность «Стрел» пестра,

а дидактичность слишком откровенна. Есть в них, кроме того, нечто слишком уж традиционное, и отгиск личности поэта в них неизмеримо менее выразителен, нежели в лирических стихах.

Очень не хотелось бы вскользь, отписочной фразой говорить о переводчиках Кешокова, об их давнем содружестве с поэтом. Его переводили и переводят мастера — М. Петровых, С. Липкин, Н. Гребнев, Я. Козловский (две книги, «Тавро» и «Кубок неба», Я. Козловский перевел полностью). Подавляющее большинство переводов отмечено строгим вкусом и взыскательностью. Об этом следовало бы писать особо. Хочу лишь заметить, что при удачных переводах не всегда удачно состыковываются творческие индивидуальности переводчиков. Очень чувствуется, например, разностильность переводов Козловского и Липкина. У первого энергичный, резковато-красочный стих, изысканность рифмы, эпитета, у второго плавная, тяготеющая к ясности классики строка...

В последние годы Алим Кешоков — прозаик, романист, автор эпических книг о своем народе как бы потеснил несколько Кешокова-поэта. Тем радостнее встреча с его последними сборниками, с новыми стихами, свидетельствующими: путь всадника продолжается.

Наталья КАПИЕВА.

Пятигорск.



ЦЕНА СИНТЕЗА

Игорь Золотусский. Час выбора. М. «Современник». 1976. 319 стр.

Не узнать Золотусского. Длинные периоды, проповеднические интонации, старинные обороты, отдающие нарочитой архаикой, а главное — сложное сопряжение чувств, чуткая балансировка иной раз просто противоположных эмоциональных импульсов, тонкое учитывание разных, но возможных точек зрения... И — любовь, любовь, любовь: лейтмотивом через текст, прямым призывом, почти заклинанием. Люди, помнящие, как входил Золотусский в критику лет пятнадцать назад, найдут, наверное, о чем тут пожалеть: жесткий был дебютант, среди сентиментальных и мечтательных критиков своего поколения выделялся резким нравом и крупным характером, среди искусных тактиков журнальной борьбы был воплощением стратегической

прямоты взгляда, писал короткими тяжелыми фразами, будто что бульжниками мостил. И не стеснялся в приговорах. К другим возможным точкам зрения не применялся. Прямой удар — и дальше. Как боксер среди фехтовальщиков. Да и среди боксеров для таких есть особое словечко — «файтер», боец, уверенный, что все решается одним свинцовым ударом. Не скрою, мне жаль простаться с тем, исчезнувшим Золотусским.

Может быть, это во мне ностальгия по нашей недавней молодости. Может быть, обыкновенная печаль, охватывающая всякого человека при мысли о необратимости времени. Но это не желание возврата, нет. «Печаль моя светла». Внутренняя эволюция одного из самых своеобразных критиков

послевоенной волны кажется мне знаком замечательных перемен в общей литературной и духовной ситуации. Вряд ли Золотусский переменялся оттого только, что занялся Гоголем, — скорее тут обратная логика: он искал Гоголя и нашел его, потому что самим ходом внутреннего развития был подведен к новому жизнеощущению, о котором и пойдет речь.

Это новое для И. Золотусского жизнеощущение пронизывает в книге все — от лучших, сильнейших ее страниц до необязательных и слабых. Можно сказать, что оно создает и достоинства и недостатки книги — создает из сборника статей книгу. Перед нами текст, последовательно проникнутый единым нравственным отношением к материалу.

Пятнадцать лет назад И. Золотусский говорил: пусть бездарность отступит перед талантливостью и тогда сама собой получится настоящая литература! Сейчас он говорит: талант есть лишь первое условие творчества — главное, чтобы был содержательный контакт с миром. Талант — это и мироотношение. Ему нужна традиция, нужна почва, судьба. Если мир дробен и подчиняется лишь количественной калькуляции, то такой мир вполне исчерпывается наукой, где каждая новая истина отменяет, снимает, поглощает предыдущую. В искусстве же новая истина не съедает старую, а продолжает ее, воскрешает. Потому что для искусства мир не система количеств, а живое целое. Здесь подлинное не умирает с уходом времени, а преображается. Прошлое нужно нам не затем, чтобы перекраивать и переписывать его на новый лад, пишет И. Золотусский. Мы обращаемся к прошлому, чтобы осознать свои корни, истоки нашего настоящего, нашего будущего. Мир интересен как целое, во всяком случае разрывы в нем не могут быть целью. Целью может быть только мирозидание. Синтез. Преемство. Долгая традиция. Любопытно, что, оборачиваясь назад, И. Золотусский оборачивается не ко временам своей бурной критической молодости, где видится ему теперь одна злорадия. Через головы своих непосредственных предшественников он обращается дальше — к классике, ценности которой проверены вечностью. И. Золотусский подкрепляет себя пушкинским заветом: мало независимости мнений, мало остроумия — нужно уважение к преданию. Независимость мнений, остроумие минуты —

вот чем мы довольствовались в нашей молодости. Это было объяснимо. Но это было лишь предисловие к настоящему опыту.

В соответствии со своей гипотезой И. Золотусский весь входящий в круг его внимания материал поверяет антитезой, которая звучит у него чаще всего так: минутное — вечное. Эта антитеза у него почти не варьируется и создает тот самый лейтмотив, которым объединен в книге весь материал, подчас весьма разнородный.

В статьях о Гоголе (одна из них, где «Записки сумасшедшего» сопоставлены с болгаринской «Северной пчелой», по признанию некоторых специалистов, есть научное открытие) И. Золотусский стремится раскрыть и прочувствовать не сатирическую злободневность, которая и без того великолепно разработана исследователями, а духовную боль художника, бессильного вернуть добру его неискаженный облик, — он видит в Гоголе отнюдь не прагматика минутных задач... В статье об экранизациях Достоевского он остро переживает контраст между драмой идеей, одухотворяющей наследие великого писателя, и бытовой типологией, к которой это наследие сведено на экране. В статьях о современной литературе он решает ту же задачу — ищет «знак вечности». Ощущение целого. Ощущение родства с миром. Илч, как охотнее всего говорят И. Золотусский, он ищет любви. Ищет, ожидает, требует любви в этом пестром потоке. В этом спешащем потоке количество.

Давайте на современности и сосредоточимся. Оставим гоголевские исследования, вошедшие в «Час выбора», для другого разговора, в ходе которого специалисты оценят их в связи с другими работами И. Золотусского о Гоголе. Оставим и кинематограф: мне кажется, что идея Золотусского, будто кино по самой своей природе призвано дать адекват философским исканиям Достоевского, потому что оно «тайное обращает в явное» и «невидимое делает видимым», «причем в буквальном смысле этого слова», есть плод либо слишком наивной веры во всеилие монтажа, либо слишком изысканного расчета на Эйзенштейна с его принципом образных иероглифов на экране, — этот спор уместнее вести в кинематографическом журнале.

Меня интересует здесь Золотусский-критик. Его столкновения с материалом теперешней прозы. И то, как поддается проза попыткам рассмотреть ее, говоря по-

старинному, «под знаком вечности». Синтез не вызывает сомнений как призыв и лозунг. Самое интересное — это когда он испытывается в деле. За все надо платить.

Лучшие разборы, вошедшие в книгу, привлекают не просто зоркостью критического глаза (это у Золотусского было всегда), а прежде всего тонкостью нравственного отношения к предмету.

Великолепно почувствован Виктор Конечский с его устремленностью к идеальному, с его боязнью «эмпирей», с его готовностью всякий раз укрыться в сиюминутном. Уловить робость в сильных, просоленных морских волках Конечского — тут нужен действительно зоркий глаз. И. Золотусский не просто хорошо видит и чувствует объект, он находит здесь точную интонацию разговора о творчестве другого — понимание и сочувствие.

И так же тонко понят и соотнесен с «вечностью» Юрий Грифионов, автор «Обмена», «Предварительных итогов» и «Долгого прощания» — виртуозный психолог, выжидающе отстраняющийся от своих героев: вы их пожалейте, а я постою по-смотроу...

Прекрасно разобран и Олег Куваев — автор «Территории», певец железных Решений. Я думал: куда качнет Золотусского — в апологию деловитости? в гневные филиппики против ее бездушия? В критике нашей по поводу куваевского Чинкова (и Чешкова, собрата его) только эти два вердикта и слышались... Нет, нашел точную интонацию. Понял, что не от зла люди жестоки, а от жесткой работы, которая ведь тоже вечна, и, значит, не осудил, хоть и не принял, а, развернув обыгранные у Куваева пушкинские строки об отцах-путешественниках и женах непорочных, произнес вослед: «Да брат мой от меня не примет осужденья...» Это и есть понимание.

И. Золотусский безошибочен там, где его моральная тема легко — позитивно или негативно — согласуется с материалом, там, где он находит быструю пищу для своей всеразрушающей антитезы «минутное — вечное». Здесь критик действительно «освобождает» в материале как бы заложенное там духовное устремление, видит хорошо и претястствия ему. Но только далеко не всегда живой материал укладывается в антитезу.

Допустим, я понимаю, почему И. Золотусскому так нравится роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», где, как пишет

критик, «черти служат богу», а крайности находят друг к другу путь. Но почему в таком случае у Василя Быкова он приветствует максимализм? Я не хочу сейчас углубляться в разбор произведений, я хочу только понять логику критика.

Если В. Тендряков, как хочет показать И. Золотусский, весь построен на служении злободневному, а служение одному только сиюминутному, как он же доказывает на протяжении книги, плохо, то почему в данном случае это хорошо? Наверное, потому, что, решая злободневные задачи, В. Тендряков делает это искренне, открыто, горячо? Да, я верю — это подкупает Золотусского, я его понимаю, но тогда я хочу уточнить его послышки: выходит, прав и праведен не тот, кто ищет целое, абсолют, синтез, а тот, кто может быть, об этом и не думает, а решает злободневные, актуально-социологические проблемы, но делает это горячо?

Ну а если человек по природе своей, по темпераменту, по традиции, наконец, не пылок, а спокоен, сокрыт и даже холоден, но все же ищет целое, и устремлен к людям, и стремится к любви — этот вариант Золотусский поймет? Уверен ли он, что понял Энна Ветемаа?

«Маленькие романы» проанатомированы в книге Золотусского с какой-то хирургической брезгливостью. Герой Ветемаа — «тип человека неверующего, сладострастно укоренившегося в своем неверии и вместе с тем вызывающего к вере. Вызывающего с озлобленностью...». Интересно, почему же этот злодей все-таки вызывает к вере? Но даже если все так, неужели этого достаточно, чтобы героев Ветемаа свести к приземленной калькуляции и к низменной, чуть не скотской игре вождельний? Да помнит ли Золотусский ту сцену из романа «Яйца по-китайски», где мальчик, еще не тронутый ни «калькуляцией», ни «озлоблением», плачет на хорах от умиления, прощая своих однокашников, которые только что на школьном вечере унизили и осмеяли его с его возвышенными чувствами? Или и это ни о чем не говорит, кроме как о «сладостном неверии»?

Впрочем, И. Золотусский под конец разбора, кратко изложив некоторые мечтания героя «Реквиема для губной гармоник», оставляет ему нечто вроде слабой надежды, вынося следующий безапелляционный приговор: «Что ж, не поздно еще и для него... От уверенности этого суждения,

признаться, я совсем растерялся. Есть же вокруг всякой личности черта, которую переступать нельзя, неловко, запретно. Золотусский это знает. Неужели он считает себя вправе вот так снисходительно резать, поздно уже или не поздно еще прозреть героям Ветемаа? Сомнительная фигура из тех, что появляются в тексте для прикрытия слабых звеньев в рассуждении.

А слабые звенья есть.

В книге И. Золотусского, построенной на глобальных нравственных антитезах, плохо разработаны звенья средние, где крайние позиции взаимодействуют практически. В деле критика среднее звено — литературная ситуация. Есть великие истины и капитальные заблуждения. Есть конкретные произведения, в потоке которых в конечном счете обнаруживаются и истины и заблуждения. И есть мосты от эмпирики к глобальности: литературные направления и школы, конкретные традиции и уровни освоения материала, разные варианты опыта и специфика путей к нему — все то, что я и называю литературной ситуацией. Лет пятнадцать назад, в годы, так сказать, нашей молодости, И. Золотусский ситуацию чувствовал остро, он был ее частью, дрался во имя нее, влиял на нее — перечитайте «Рапиру Гамлета»... Он и теперь учитывает ситуацию. Для XIX века. Для Гоголя, Пушкина и Белинского. Но не для нынешних писателей. Этим как повезет. Кто работает в близкой, родной, так сказать, традиции — вроде В. Тендрякова, — тот будет понят, конечно. А кто работает в иной традиции? Энн Ветемаа, например? Тут вряд ли. Тут ведь надо учитывать весь северный, точнее североευропейский, темперамент, своеобразный склад эстонской литературной и психологической традиции — тут перенастраиваться надо, вживаться заново... если хотите, от себя, от своего отказываться, в далековатое вращаться, неблизкое полюбить, понять. Тут, простите мне высокопарность, от критика подвиг духа нужен. Незаметный, но подвиг.

В тексте И. Золотусского вообще мало-мало того, что называется структурностью письма, — я имею в виду главы современные. Имена и произведения не выявляются как необходимые узлы в сетке анализа, а неожиданно проступают, как из тумана, из потока авторской речи. В этом потоке много одушевления, искреннего и правед-

ного; и по большей части ощущаешь в языке ту «терпкость», ту печать личности, какая свойственна хорошо написанному тексту, когда он не порчен безликой правкой. Однако кое-где установка на ораторский поток мешает. Рефрен «вспомните Анну Каренину», вспомните «Мертвые души», «Шинель», «Карамазовых»! — монотонен; призывы, повторяемые слишком часто, начинают отдавать заклинанием. Речь катится слишком легко, и по необъяснимым признакам я кое-где подозреваю, что текст написан не живой рукой, а машинкой... конечно, это вопрос чистой технологии, но с моей-то точки зрения для настоящего литератора «машинное» письмо — грех. Да и небрежности в потоке возникают — для И. Золотусского с его обычной словесной точностью — почти невероятные. Пусть И. Золотусский, например, объяснит, что такое «бьющая н а о т м а ш ь п р у ж и н а»... на словах, конечно.

Но это, допустим, мелочи. Речь же идет о вещах более существенных: о том, что при таком подходе к материалу аналитическая структура то и дело подменяется «приведением примеров», «мозаикой» имен. «Вдруг» вспоминается И. Золотусскому рассказ Е. Носова. Почему, в какой связи? Да вот просто пример одухотворенной прозы. Далее из шести страниц разбора три заняты пространными цитатами, которые И. Золотусский сопровождает восклицаниями восторга: «Какое раздолье и свет! И как хочется вдохнуть этого воздуха, этого простора!..»

Носов — интересный писатель, достойный серьезного разбора в большей степени, чем такого школьного цитирования. При подобном цитировании может получиться обратный эффект: когда велят восхищаться, взгляд ловит что-нибудь неловкое вроде г у л а м о т о ц и к л а...

Кстати, о технике критического разбора: обилие цитат вообще странно у такого критика: в принципе он «авторитарен» и не любит впускать в свой текст гостей. Тем интереснее: у Золотусского текст запруживается цитатами как раз там, где слабеет внутреннее напряжение мысли. Берет, например, проходное чтение, дорожные издания какие-то, и цитирует, цитирует, чтобы убедить меня, читателя, что это плохо. Да надо ли меня убеждать в этом? Я такую серятину вообще стараюсь не читать, мне ее скучно читать в оригинальном исполнении, скучно и в цитатах у

Золотусского, хотя он и сопровождает все это остротами. Ну хорошо, в журнале «Дон», где эта глава была напечатана в качестве статьи, она была уместна как эпизод «борьбы за качество». Но в книжке-то зачем? Для развития нравственной темы этот материал ничего не дает. Более того, он эту нравственную тему искажает. По отношению к «средней литературе» нравственная позиция И. Золотусского очень спорна, а это уже не мелочь.

Его позиция — абсолютное и заведомое отрицание. Вся эта беллетристика (И. Золотусский называет ее «комфортной литературой») есть профанация духа, профанация жизни и профанация искусства. Ее не должно быть!

Вот не уверен... Бездуховна? Допустим. Но я не понимаю, зачем эта «отрицательная величина» Золотусскому-то в его искании «вечности». Особого вкуса к разбору недостатков и немощей так называемой серой продукции у него нет; он делает это без всякого увлечения, с усталой брезгливостью, — так его ли это дело? На все ведь нужна своя склонность, а тут какой-то отхожий промысел, искажающий общий план книги, задуманной как гимн высокому. Вот в свете этой-то задачи отрицать и «уничтожать» так называемую беллетристику — занятие бесперспективное и, я бы сказал, бутафорское: в сложном литературном хозяйстве она ведь тоже не случайна и выполняет свою неизбежную роль. Ни в одной стране ни в одну эпоху искусство не состояло, не может и не должно состоять из одних шедевров и откровений духа. Потому что к высоким ценностям всегда ведут уровни, ступени. Есть ступень информативная, социологическая, воспитательная, есть, в конце концов, и школа вкуса, и заполнение досуга, и злоба дня, и отвлечение индивида от глупости. Да, это не вершины духа. Но не для того существуют вершины, чтобы долу в презренье лежать, а чтобы освещена была вся лестница.

Апология «высокого», «вечного», «идеального» у И. Золотусского таит одну опасность. В старину это называли гордыней. Оборачиваясь назад, качает критик головой: господи, и чем только мы занимались в молодости! Какая суета, какое мелкое самовыражение, какая слепая сиюминутность! В такой самооценке есть глубоко трогательный мотив личного покаяния, но есть и тревожащий меня оттенок благодости: ну наконец-то! очистились! сподобились! вспомнили наконец о предании!

Нет, так не бывает. Не верю я в эту благодать. Не хочу, чтобы идущие нам вслед избежали наших ошибок. Нет, пусть они всё пройдут сами, пусть погрузятся в злободневность и суету, в минутное и проходящее, в калькуляцию анализа и в повседневность литературной борьбы. Трудом и мучительным счастьем проб и ошибок пусть выходят к синтезу. Ибо не бывает рая в сфере истинной духовности, а лишь непрерывная драма вочеловечения, непрерывное преодоление материала. За все надо платить: и за ощущение целого, и за абсолют, и за синтез. На всех этапах и на всех уровнях. И всегда заново и всегда полную цену. Легкой любви не бывает.

Слово «любовь» — ключевое в этике И. Золотусского. Закончу этим словом и я.

Я люблю этого критика независимо от того, соглашаюсь или не соглашаюсь с ним по тем или иным поводам, независимо от того, лучше или хуже он написал ту или иную статью. Больше скажу: из критиков моего поколения это самый близкий мне и, с моей точки зрения, пожалуй, один из самых интересных сейчас.

Почему я так думаю?

Потому что те ценности, к которым он пришел и которые кажутся ему столь ослепительно светлыми, в его-то собственном пути оплачены тяжелой монетой и долгим, черным трудом.

Л. АННИНСКИЙ.



Политика и наука

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ОДНОГО ГОДА

Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 7. Март—ноябрь 1919. М. Политиздат. 1976. 700 стр.

События и дни, запечатленные в неразъясненной последовательности, образуют хронику. Хроника обладает удивительным свой-

ством: она воссоздает поток времени. Вслушиваясь в его течение, приглядываясь к нему, живо ощущаешь пульс эпохи. Это осо-

бое «притяжение» и владеет читателем, раскрывшим очередной, седьмой том биографической хроники «Владимир Ильич Ленин»¹.

Великими годами назвал Владимир Ильич девятьсот восемнадцатый и девятьсот девятнадцатый. И так определил их суть: свершалось «величайшее всемирное историческое дело»². Дело это, беспримерное в минувших веках, теснейшим образом было связано с личностью Ленина, с ленинской мыслью и трудом.

В рамках тома, о котором идет речь, охвачены девять месяцев одного года: март — ноябрь 1919-го. Более трех тысяч фактов запечатлено на страницах книги. 790 новых ленинских документов — писем, записок, телеграмм, пометок, резолюций, вставок в различные документы и т. д. — впервые вводится в научный оборот и становится достоянием читателя. С первых строк, помеченных не только датой («март, 18»), но и взглядом, брошенным на циферблат («в 19 час. 10 мин.»), читатель оказывается в Круглом (теперь Свердловский) зале кремлевского здания бывших Судебных установлений: В. И. Ленин открывает VIII съезд РКП(б) и руководит его работой, завершившейся 23 марта восьмым заседанием («с 15 час. 21 мин. до 23 час. 57 мин.»). О невероятно напряженной деятельности Ленина в те дни говорит уже один перечень, только на первый взгляд «голый»: к съезду Владимир Ильич написал проект новой Программы РКП(б); произнес на съезде речи — вступительную, заключительную; по военному вопросу; сделал доклады — отчет Центрального Комитета, о партийной программе, о работе в деревне; участвовал в образованных съездом комиссиях да плюс краткие выступления в качестве председателя (только на первом заседании 18 раз)... К тому же повседневные дела, от которых он не отрывался ни на час. Прочтем, например, лапидарные строки, относящиеся ко всем месяцам, отобразенным в томе: «Ленин ежедневно по утрам заслушивает краткое сообщение секретаря о срочных текущих делах и о выполнении сделанных им накануне распоряжений; просматривает материалы и дает соответствующие указания; подписывает постановления; просматривает русские и иностранные газеты».

¹ О предыдущих томах см. «Новый мир», 1976, № 4.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 99.

«Биографическая хроника» фиксирует заседания пленумов ЦК, Политбюро, Оргбюро, в том числе и такие, о каких прежде не было сведений в литературе, и читатель получает отчетливое представление о работе руководимых Владимиром Ильичем высших органов нашей партии в те грозные, многотрудные месяцы. Взяты, скажем, апрель. Колчаковские войска приближались к Волге. Социалистическая отчизна находилась в крайней опасности. 11 апреля Ленин пишет «Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта» — программу мобилизации рабочих через профсоюзы, а также крестьян на борьбу с армией Колчака. В тот же день он приезжает во второй Дом союзов («Петровские линии, д. 2» — помечено в томе) и выступает на пленуме ВЦСПС с докладом о задачах профсоюзов в связи с мобилизацией на Восточный фронт. 13-го собрался пленум ЦК РКП(б). Ленинские «Тезисы», как и меры, намеченные пленумом Центрального Комитета, сыграли решающую роль в концентрации сил, необходимых для разгрома Колчака³. Названный пленум в числе других вопросов обсудил также доклад наркома продовольствия А. Д. Цюрупы о продовольственном положении в стране, в прениях участвовал Ленин. Далее он сделал доклад о задачах партийной работы в связи с мобилизацией и сообщил присутствующим тезисы заместителя председателя Реввоенсовета Республики Э. М. Склянского о мобилизации. Пленум ЦК обязал все партийные организации мобилизовать на фронт не менее 20, а в прифронтовых районах не менее 50 процентов своего состава. В поле зрения ЦК всегда находилась и внешняя политика правительства. Ленин ознакомил участников заседания с проектами инструкций наркома иностранных дел Г. В. Чичерина и члена коллегии наркомата М. М. Литвинова о работе Наркоминдела. Кроме того, Пленум обсудил вопросы о созыве съезда Советов, о продовольственном положении рабочих Петрограда и Москвы, о рабочей кооперации, о бумажном кризисе и выпуске газет, о возможности мирных переговоров с эстонским буржуазным правительством и целый ряд других.

Неизгладимое впечатление производят также страницы, отображающие роль Ле-

³ Прошло немногим более двух недель, и в конце апреля южная группа войск Восточного фронта под командованием М. В. Фрунзе, разбив лучшие колчаковские дивизии, перешла в успешное контрнаступление.

нина в качестве председателя двух высших правительственных органов — Совета Народных Комиссаров и Совета Рабоче-Крестьянской Обороны. В томе помещены сведения о 56 заседаниях Совнаркома и 54-х — Совета Обороны. Число обсужденных ими вопросов превысило 1800.

Здесь нам стоит обратиться к сочинениям В. И. Ленина, к воспоминаниям его сподвижников, проливающим свет и на общую обстановку работы правительства, и на стиль ее, и на многие важные частности. Подчеркнем главное: все заседания были тщательно, вдумчиво подготовлены, все обсуждения строго регламентированы. Укладываться в жесткий регламент, за соблюдением которого Ленин как председатель следил неукоснительно, было нелегко, «и случалось, — писала позднее секретарь СНК Л. А. Фотиева, — что, желая выгадать хотя бы еще минуту для выступления, тот или иной член СНК брал слово «к порядку». Но Владимир Ильич останавливал его, говоря, что это не к порядку, а к беспорядку»⁴. В воспоминаниях Н. Л. Мещерякова мы находим емкую деталь: на заседаниях Владимир Ильич посматривал на часы и нередко напоминал: «Тут, товарищи, не митинг; агитацией заниматься нечего, нужно говорить только дело»⁵. А. В. Луначарский подтверждает: от каждого, кто брал слово, «требовалась чрезвычайная сжатость и деловитость», именно потому-то «так много фактов, мыслей и решений вмещалось в каждую данную минуту». «В Совнаркоме было дельно, — пишет первый нарком просвещения и добавляет еще одну характерную черточку: —...и оживленно». Работали, продолжает он, бодро и с шутками, особенно часто улыбался Владимир Ильич. Поймав кого-нибудь на противоречии, он принимался хохотать, «а за ним смеялся и весь длинный стол крупнейших революционеров и новых людей нашего времени». Однако через несколько мгновений вновь воцарялась рабочая атмосфера. Отсутствовала и тень чинопочитания, «не было заметно ни самомалейшего привкуса бюрократизма, игры в высокопоставленность», вопросы решались коллегиально, конечно, наилучшие резюме, как правило, предлагал Ленин, но он не претендовал на то, чтобы «искусственно проявить свое первенство», и, услышав целесообразное предложение, восклицал:

«Ну, диктуйте, это у вас хорошо сказано-лось»⁶.

Нередко обсуждение вопросов затягивалось за полночь. Так, заседание Совнаркома, начавшееся вечером 26 апреля, закончилось в 0 часов 55 минут 27-го. Наркомы разошлись, а Ленин продолжал работать; он, в частности, просмотрел черновики протокола недавно закончившегося заседания, обнаружил ошибку и оставил наутро распоряжение секретарю (новая публикация): «Исправьте протокол, записанный неверно».

Вчитываясь в хронику, невольно задаешься вопросом: каков же был рабочий день Ленина? Вот один из примеров. Около 2 часов 30 минут в ночь с 8 на 9 июня Владимир Ильич знакомится с телеграммой о том, что положение на Петроградском фронте ухудшилось. Тут же он пишет записку Э. М. Склянскому о необходимости немедленной переброски на оборону Петрограда двух полков с Архангельского фронта и полка с Восточного; Склянскому, кроме того, поручается от имени Председателя СНК послать телеграммы уполномоченным Совета Обороны в Харьков и на Южный фронт. Одновременно Владимир Ильич пишет телеграмму реввоенсовету Восточного фронта, в которой, в частности, объясняет: «Сильное ухудшение под Питером и прорыв на юге заставляют нас еще и еще брать войска с вашего фронта. Иначе нельзя»⁷.

Держишь в руках рецензируемый том и постоянно ощущаешь учащенный, вулканический ритм событий. Шутка ли сказать: в девятнадцатом году Красная Армия, отстаивая великие завоевания Октябрьской социалистической революции, сражалась на 6 фронтах протяженностью в восемь тысяч километров! Особенно опасное положение создалось осенью. Значительные силы наших войск были еще сосредоточены на Восточном фронте, в Сибири недобит Колчак. На юге развернул наступление Деникин, нацелившийся на Москву, ему удалось захватить Курск, Орел, белая конница в двух направлениях прорвала фронт, овладела Тамбовом, Воронежем, рядом других городов. А с запада на Петроград надвигалась еще одна грозная опасность — Юденич. С пометкой «сентябрь — октябрь»

⁴ «Воспоминания о В. И. Ленине» в пяти томах. М. Политиздат. 1969, т. 4, стр. 128.

⁵ Там же. т. 2, стр. 99.

⁶ Там же. т. 3, стр. 233—234.

⁷ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 343—344.

том фиксирует: Ленин знакомится с оперативными сводками и другими документами, направленными ему главкомом, Реввоенсоветом республики, главным штабом. В «Биографической хронике» всесторонне освещены эти критические дни и недели.

Тогдашний главком С. С. Каменев свидетельствует, что «в тысячах случаев осведомленность Владимира Ильича о действительном положении вещей была больше, чем у штаба РВС». И другое ценнейшее его наблюдение — о полных драматизма днях между 11 и 16 октября. «Более сложной обстановки я за весь период гражданской войны не помню. Непоколебимое спокойствие Владимира Ильича в это время являлось самой мощной поддержкой главнокомандования»⁸. (Как известно, 16 октября Красная Армия нанесла белым точно рассчитанный и мощный удар, вышвырнула врага из Орла, после чего армия Деникина стала под натиском наших героических войск откатываться на юг.)

В октябре («...между 6 и 13») из Тулы приехал Луначарский, находившийся там в качестве представителя Реввоенсовета Республики. Владимир Ильич подробнейшим образом расспрашивал его о положении в Тульском укрепленном районе, о настроениях рабочих, о работе городской партийной организации. Вероятно, Луначарский имел в виду и эту беседу, когда позднее писал, что «в самые страшные минуты, которые нам приходилось переживать, Ленин был неизменно ровен...»⁹.

«Неизменно ровен...» — вспоминает старый революционер. «Непоколебимо спокоен...» — указывает старый военспец. Выдержка, самообладание, столь характерные для Ленина, необычайно ярко раскрывались именно в наиболее тревожные, опасные, критические моменты. И это спокойствие, эту уверенность в победе он вселял в миллионы своими речами, докладами, письмами, статьями. А энергия миллионов, разбуженная социалистической революцией, в свою очередь питала его нравственной и духовной силой.

Ленин всегда считал для себя крайне важным и нужным непосредственное общение с людьми труда, с представителями демократической интеллигенции (причем не

всегда обязательно с единомышленниками, но в первую очередь, конечно, с ними). Свидетельством тому и документальные данные, сообщаемые читателю настоящим томом «Биографической хроники». Взять, допустим, первую майскую декаду. Владимир Ильич беседовал с секретарем МК РКП(б) В. М. Загорским и с группой партийных работников Благуше-Лефортовского района, с уезжавшим в Тверскую губернию поэтом Демьяном Бедным о положении тамошних крестьян, с делегацией крестьян из Ярославской губернии, с ответственным руководителем РОСТА П. М. Керженцевым, с видным деятелем революционного движения П. А. Кропоткиным (в разговоре затрагивались темы: роль кооперации в Советской России и в капиталистических странах, о борьбе с бюрократизмом в советском государственном аппарате, о переиздании книги Кропоткина по истории Французской революции 1789—1794 годов), с бывшим питерским рабочим, членом партии с 1894 года Ф. И. Бодровым, с финскими коммунистами Л. П. Парвиайнен и Э. Рахья, с деятелем индийского национально-освободительного движения профессором М. Баракатуллой, с делегатами кооперативного съезда Северной области...

А ведь в эти же самые дни Ленин участвовал в пленуме ЦК партии, председательствовал на двух заседаниях СНК, двух заседаниях Совета Оборон и на заседании экономической комиссии при СНК, выступал в Центральной школе советской и партийной работы перед слушателями, направляемыми в деревню, после доклада отвечал на многочисленные записки. А заседания ЦК, высших правительственных органов, документы, которые к ним готовились, доклады, обмен мнениями, обдумывание различных, порой противоположных, предложений — все это тоже позволяло Ленину глубоко познавать действительность.

О настроениях народа, о партийной и советской работе в центре и на местах Ленин узнавал и из писем, телеграмм, жалоб, поступавших на его имя. Таким документам он придавал большое значение. Не случайно в начале девятнадцатого года Владимир Ильич распорядился: Управлению делами СНК о всех жалобах, поступающих в письменном виде, докладывать ему, Ленину, в течение двадцати четырех часов, а в устном виде в течение сорока восьми часов. Завести особую регистрацию жалоб и учредить тщательный надзор за исполнением

⁸ «Воспоминания о В. И. Ленине», т. 3, стр. 474, 478.

⁹ Там же, т. 2, стр. 139.

резолюций Председателя Совнаркома на них¹⁰.

В рассматриваемой книге немало ссылок на письма и жалобы трудящихся, внимательнейшим образом изученных Лениным. Упомянем две, взятые из апрельской хроники. Крестьянин Ф. Ф. Разгуляев из деревни Рудины Галицкого уезда Костромской губернии жаловался Председателю СНК, что его, Разгуляева, сын в рядах Красной Армии, а в это время отца чрезмерно обложили единовременным чрезвычайным революционным налогом. Владимир Ильич пишет (новая публикация): «т. Крестьянчик! Необходимо: 1) сразу приостановить взыскание, ибо случай вопиющий, доказательства налицо; 2) назначить проверку. 2.IV.1919 г. Ленин. Мне непременно пришлите ответ ваш». Две с небольшим недели спустя Ленин ознакомился с присланной ему из Тамбова телеграммой 252 человек; они сообщали, что члены общества потребителей не желают передавать общество в потребительские коммуну, как то предусматривал недавний декрет правительства. В ответ Ленин пишет специально для авторов телеграммы разъяснение смысла и значения декрета, пересылает полученную телеграмму и свое разъяснение Тамбовскому губисполкому, просит «устроить еще раз общее собрание» членов кооператива, прочитать на собрании написанное им разъяснение (и напечатать в газете), «поясните подробнее (и тактично, без резкости) сказанное мной. Телеграфируйте исполнение»¹¹.

В только что процитированных строках наглядно виден стиль работы, который Владимир Ильич считал обязательным для всех партийных и государственных учреждений. Здесь уместно напомнить, что в конце девятьсот восемнадцатого года Ленин, пересылая Тверскому губисполкому жалобу сельской учительницы В. С. Ивановой, подчеркивал, что если факты подтверждаются, то мало того что надо «публично выгнать» черносогтенцев, пробравшихся в комитет бедноты, но вместе с тем результаты проверки «опубликовать листком», потому что очень важно «обязательно приучить население к тому, что дельные жалобы имеют серьезное значение и приводят к серьез-

ным результатам»¹². Собственно говоря, речь шла об одном из факторов повышения общественной активности и самосознания людей труда...

Мы уже знаем, что рабочее утро Ленина начиналось с просмотра газет. Просмотра быстрого и вместе с тем углубленно-аналитического. Однако и книги — даже в беспримерно тяжелом девятнадцатом году — не оставались неразрезанными. Как и во все предшествующие десятилетия, Владимир Ильич — разностороннейший читатель. Хроника сообщает нам, например, что в августе он просматривал номера «Книжной летописи» начиная с апрельского семнадцатого и кончая майским девятнадцатого года, на полях отмечает интересные его книги и журналы, выписывает их номера на первых страницах «Летописей». Среди отмеченных Лениным книг были: «Естественные производительные силы России» (т. 4), «Полезные ископаемые», том 2 собрания сочинений П. Кропоткина, «Альбом портретов активных деятелей Великой русской революции» (вып. 3), «Преступление капитализма» Ш. Фурье, «Указатель № 1 периодических советских и коммунистических изданий, выходящих в РСФСР. 1919», тома 17—18 полного собрания сочинений А. П. Чехова.

Сошлемся далее на несколько взятых наугад названий, значащихся в томе. Весной (позднее марта) Ленин знакомится с книгой Г. Уотона «Фетишизм свободы» (на английском языке), вышедшей в Нью-Йорке в 1917 году, и брошюрой «Документы единства. Предыстория объединения социал-демократов и коммунистов. Письмо товарища Бела Куна о коммунизме и пролетарской солидарности», изданной на немецком языке в Будапеште в 1919 году; в мае читает изданную в Берлине книгу немецкого промышленника и политического деятеля В. Ратенау и некоторые высказывания автора (характеристика немецкого народа, слова о монархистах, о диктатуре пролетариата) приводит в статье «Герои бернского Интернационала»; приблизительно но месяц спустя («позднее июня») просматривает книгу П. П. Блонского «Трудовая школа», на одной из страниц делает подчеркивания, отчеркивания, ставит пометку «NB»; изучает атлас «Железные дороги России», делает цифровые подсчеты расстояний между отдельными населенными

¹⁰ См. «Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Июль 1918 — март 1919», т. 6, стр. 441.

¹¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 284—285.

¹² Там же, стр. 224.

пунктами и пометки (этим атласом Владимир Ильич пользовался, слушая доклады о положении на фронтах); в июле читает на французском языке «Ясность» Анри Барбюса, знакомится с журналом «Революция и церковь»; в августе просит «Голковский словарь» Даля...

И наконец, никогда не прерывавшаяся литературная работа. Она тоже зафиксирована в хронике, отсылающей нас к страницам томов Полного собрания сочинений, где наряду с устными выступлениями Ленина (в марте — ноябре их было свыше 40) помещены тексты его статей, брошюр, писем, записок и т. п.

Рамки журнальной рецензии не позволяют даже только перечислить произведения, которые и теперь, почти шесть десятилетий спустя, питают мысль передовых людей всех стран. Назовем две работы из тех, что по праву считаются классическими.

Груда дел, или, говоря словами Ленина, «сутолока повседневной работы», разумеется, не способствовала погружению в сосредоточенную тишину теоретических исследований. Но Ленин не был бы Лениным, если бы он постоянно не освещал путь революционной практике прожектором марксистской теории.

В конце июня Владимир Ильич завершает брошюру «Великий почин». В ней, всесторонне анализируя значение коммунистических субботников, он показал, что эта инициатива, идущая из гущи трудящихся масс, знаменует собой начало коренного перелома в сознании людей, «ибо это — победа над собственной косностью, распушенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину»¹³. Прозорливо увидев в суб-

ботниках ростки нового, коммунистического отношения к труду, В. И. Ленин выражает полную уверенность в том, что социализм создает новую, значительно более высокую, чем в предшествующих общественно-экономических формациях, производительность труда, чем окончательно и одержит победу над капитализмом.

Коротко о другой работе. Опыт политических и экономических преобразований, накопленный республикой Советов за два года, насущно требовал обобщения и осмысления. И вот в сентябрьско-октябрьские недели — в недели смертельной военной опасности — Ленин успевает составить подробный план труда именно теоретического, успевает написать и первые главы брошюры «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата». Ему, однако, как он предварил свою статью, пришлось ограничиться изложением только самого существенного — «дать постановку вопроса и канву для обсуждения его коммунистами разных стран». К сожалению, полностью написать задуманную (и тщательно продуманную) брошюру, даже журнальный ее вариант, Владимиру Ильичу не удалось. Очевидно, помешала причина, о которой сказано в начале статьи: «...в сутолоке повседневной работы мне не удалось до сих пор пойти дальше предварительной подготовки отдельных частей»¹⁴. Эти строки помечены датой «30.X.1919». Оставалась неделя до второй годовщины Великого Октября.

Дочитывая седьмой том, явственно слышишь поток бурной и знаменательной эпохи социалистической революции. Следующие вехи этого потока нам откроет очередная, восьмой том «Биографической хроники».

Н. МОР.



ЛАМПА АЛАДИНА

О научно-художественных книгах издательства «Детская литература»

Менее ста лет назад известный французский физиолог Клод Бернар писал: «Я убежден, что придет время, когда физиолог, поэт и философ будут говорить на одном языке и будут понимать друг друга». Оно пришло, это время: наука, литература

и искусство ныне все настойчивее и успешнее учатся говорить на одном языке и понимать друг друга. Новые процессы в науке, в общественной жизни породили и новые жанры литературы, и среди них, как нам представляется, наиболее важный

¹³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 5.

¹⁴ Там же, стр. 271.

и знаменательный — жанр научно-художественной литературы. Это один из самых любимых и читаемых видов литературы во всем мире, в том числе и в нашей стране.

Первые произведения, которые можно отнести к научно-художественным, появились еще в довоенное время: классические «Охотники за микробами» Поля де Крюи, многие из работ академика А. Ферсмана (1883—1945), в том числе его знаменитые «Воспоминания о камне», известные, наверное, во всех городах и селах нашей страны книги М. Ильина (1896—1953), Я. Перельмана (1882—1942). Однако окончательное становление научно-художественной литературы как жанра произошло, как нам представляется, несколько позднее, в середине нашего века, и, собственно, продолжается по сей день. Ее становление и рост, несомненно, своего рода примета времени, а вместе с тем и один из закономерных результатов той невиданно большой роли, которую наука играет в общественной жизни в условиях научно-технической революции.

Как явствует из самого названия, научно-художественная литература находится на стыке литератур научной, научно-популярной и собственно художественной. В отличие от художественной литературы она опирается на достоверные факты и события, на действительные, а не вымышленные персонажи и должна как можно более точно передать суть тех или иных научных проблем и явлений. Такие произведения, как, скажем, «Аэлита» Алексея Толстого, действие которой происходит на Марсе, а все персонажи и антураж вполне земные, здесь невозможны. Научно-популярная литература занята популяризацией различных наук. Но творец науки, человек, выступает в ней лишь опосредствованно, через дело своих рук, иногда называются еще имена ученых и дается их краткая биография. Задача же научно-художественной литературы шире: показать не только дело рук и ума человека, но и самого человека, не только науку, но и ее творца — ученого, приглашая читателя приобщиться к научному творчеству, пробуждая его собственную мысль, воображение, проводя читателя через все этапы научного познания к пониманию сути явления и взаимосвязей с другими явлениями в природе и обществе. Таким образом, научно-художественная литература, обращаясь как к уму, так и к сердцу читателя, обладает как бы двойной достоверностью: научной

и художественной. То есть обладает мощнейшими средствами воздействия на разум и чувства читателей. Помните у Д. И. Писарева: «Популяризатор непременно должен быть художником слова...»

Одна из наиболее притягательных черт научно-художественной литературы заключается в том, что читатель вместе с героем книги (который нередко и автор ее) пробует и ошибается, моделирует и воображает, экспериментирует и теоретизирует, подходит, казалось бы, к самому порогу открытия и понимания сложнейшего, интереснейшего явления и вдруг оказывается в тупике, ищет и находит в себе силы начать все сначала, «все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том». Читатель вместе с автором переживает горечь неудач, еще горшую горечь опустошенности и бессилия перед тайнами природы и ни с чем не сравнимую радость пусть смутного, неясного, еще закрытого темной, непроходимой чащею трудностей, но уже угадывающегося, уже неотвратимого открытия; он становится участником победы, на первый взгляд могущей казаться случайной, а на самом деле подготовленной всей предшествующей неистовой, неутомимой работой. Читая научно-художественные книги, не раз вспоминаешь гордые, печальные и счастливые слова выдающегося инженера и конструктора Мариуса Берлие: «Когда трудности кажутся непреодолимыми и препятствия множатся, это значит, что успех близок».

Еще одной особенностью и одной из самых значительных достоинств научно-художественной литературы является то, что в ее лучших книгах, по существу, присутствует, занимает важнейшее место исследование. Это научное исследование особого рода, которое не содержит ссылочного аппарата — цитат и сносок, зачастую и скрупулезной развернутой аргументации, но тем не менее исследование, произведенное на уровне широких обобщений, содержащее гипотезы и часто вещие предвидения, построенное по законам научного мышления, служащее мощным орудием связей между науками. Впрочем, сам «перевод» со специфического языка какой-либо науки на общедоступный язык является процессом глубоко творческим, прибавим: не только требующим художественных средств выразительности, но и соответствующей научно-исследовательской работы. Когда вся эта работа сделана на должном уровне, она, право, приобретает самостоятельную цен-

ность. Не будем голословны. Попробуем проиллюстрировать высказанные положения на примере ряда научно-художественных книг издательства «Детская литература». Почему именно этого издательства? Потому что, как нам представляется, научно-художественная литература, имеющая целью помочь выработать у читателя материалистическое мировоззрение, ознакомить его с самой сутью научного творчества и процессами развития и взаимодействия наук, приблизить его к миру науки и ученых, особенно важна для юношества, для формирующихся характеров и личностей.

Возьмем для примера творчество такого мастера научно-художественной литературы, как физик и писатель Г. Анфилов. В свое время я очень заинтересовался его книгой «Физика и музыка», и интерес этот не был случайным. Среди моих друзей есть несколько физиков-теоретиков. Я обратил внимание на то, что все они очень музыкальны, почти все не только знатоки и любители музыки, но и сами играют на различных инструментах, причем игра эта для них вовсе не пустое развлечение. Присмотревшись, я убедился в том, что среди моих знакомых — представителей других профессий нет такого большого процента знатоков, любителей и исполнителей музыки. Видимо, думал я, между физикой и музыкой существует какая-то связь. Но какая? В ответ на расспросы друзья-физики только отшучивались. И вдруг книга с названием прямо по интересующему меня вопросу — «Физика и музыка»! С нетерпением и надеждой приступил я к чтению, и надежда моя не была обманута. Легко, весело, непринужденно вводит автор читателя в интересующую его проблему, рассказывая о значении музыки в жизни разных народов, об истории изобретения и совершенствования различных музыкальных инструментов. Но вот мы вместе с автором добрались до скрипки, а там и до лучшей в мире кременской школы скрипичных мастеров, до знаменитых, нижем еще за двести лет не превзойденных скрипок Страдивари. Долгие годы в разных странах пытались раскрыть тайну этих скрипок, их ни с чем не сравнимого по красоте звучания. Стремилась копировать в точности форму скрипок Страдивари и тут столкнулись с удивительным явлением: ни одна из дошедших до нас 1150 скрипок по форме в точности не похожа на другую. Использовали для изготовления раз-

личных частей скрипок те же породы дерева и так же обработанные, как у скрипок Страдивари. Некий чудак, решивший, что тайна скрипок в покрывающем их превосходном лаке, отважился смыть лак с одной из бесценных скрипок — она звучала по-прежнему, пела все тем же непостижимо прекрасным голосом. Скрипичные мастера растерялись, начали ссылаться на мистику, сверхъестественные силы, якобы помогавшие великому кременцу. Прошло время, и тайна раскрылась. Вернее, оказалось, что ее и не было. Вот обратили внимание на то, что соседи Страдивари, очень его любившие и почитавшие, устилали улицу перед его домом соломой, чтобы никакие посторонние звуки не мешали великому мастеру. Постепенно открылось, что «тайна» Страдивари и других великих скрипичных мастеров заключалась в том, что они глубоко творчески подходили к своей задаче — добиться силы и красоты звука. Каждая скрипка Страдивари не только и даже не столько произведение золотых рук мастера, сколько прежде всего результат акустического исследования, ни в одной скрипке не повторяющегося. Скрипка не только произведение искусства, но и физико-акустический прибор. Так в книге впервые встречаются физика и музыка и, далее уже тесно переплетаясь, проходят через нее, раскрывая в обобщениях и гипотезах, в смелых предположениях и догадках теснейшую связь между математикой, физикой и музыкой, отвечая на десятки интереснейших вопросов, связанных с понятием гармонии, в том числе те, которые волновали меня, перед тем как я стал читать эту книгу.

А вот книга археолога и писателя А. Никитина «Распахнутая земля», также одна из наиболее удачных в своем жанре. Мне уже приходилось ее рецензировать в печати, останавливаясь сейчас лишь на одном частном вопросе. Автор высказывает интереснейшую гипотезу о связях между загадочными каменными лабиринтами Севера (Соловецкие острова и часть побережья Белого моря, Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Англия) и лабиринтами Средиземноморья. Огромные, в несколько десятков метров в диаметре каменные лабиринты, построенные в различные эпохи от конца каменного века, служили, видимо, культовыми жертвенными местами и входом в «царство мертвых». А. Никитин обратил внимание на то, что рису-

нок этих лабиринтов, их форма (двойная спираль) совпадает с изображением лабиринтов на древнегреческих монетах IV века до н. э., того лабиринта, который возвел Дедал царю Крита Миносу и в котором Тезей убил Минотавра, а также с изображением лабиринтов в древней каменной резьбе Дагестана. Они, как и лабиринт Миноса, были связаны с культом солнца. Белое море и Средиземное, Соловецкие острова и остров Крит! Их разделяют тысячи километров, совершенно различные климатические зоны, исторические условия. Но лабиринты-то в точности похожи. А культ солнца и культ мертвых, как яствует из той же древнегреческой мифологии, теснейшим образом связаны друг с другом. Минос — царь Крита, для которого был создан знаменитый лабиринт, Минос — сын Зевса, «солнечное божество», после смерти не был взят отцом на Олимп, а стал царем в обиталище мертвых. Не знаю, подтвердится ли гипотеза Нижитина. Знаю только, что это не досужий вымысел, а именно научная гипотеза, высказанная не только писателем, но и высококвалифицированным ученым, гипотеза, высказанная впервые на страницах научно-художественной книги.

Гипотезы не только захватывают интеллект, но и стоящие на высоком профессиональном научном уровне присутствуют и в книгах геолога и писателя Р. Баландина «Глазами геолога» и «По холодным следам», первая из которых посвящена общему знакомству с геологией, описаниям экспедиций, в которых участвовал автор в Забайкалье, Хакасии, на Чукотке, поискам золота, алмазов, составлению геологических карт и многому другому, а вторая — геологии четвертичного периода, четвертичным оледенениям — одной из самых спорных проблем современного естествознания. Проблемы эти рассматриваются с привлечением данных археологии, палеонтологии, географии, тектоники, геохимии, геофизики, петрографии, геоморфологии и других наук. В книгах Баландина читатель найдет интереснейшее описание и объяснение двух главных противоборствующих между собой геологических сил — сил разрушения и созидания, борьба между которыми заполняет каменную летопись земли. Перевес сил созидания определяет молодость рельефа земной поверхности — его разнообразие; перевес сил разрушения — старость рельефа, сла-

живание поверхности, придание округлости возвышенностям, плавности долинам, простора низменностям. В отличие от человека земной рельеф одновременно и молод и стар, его изменения, торжество то сил созидания, то сил разрушения происходят не только и даже не столько во времени, сколько в пространстве. В книгах рассказывается и о выделении и развитии из геологии дочерних наук — радиогеологии, основателем которой был выдающийся советский ученый В. И. Вернадский, инженерной геологии, гидрогеологии и других. Читатель вводится в курс интереснейших споров и гипотез о происхождении границ, возникновении и истории Байкала, противоречивых взглядов, объясняющих причины оледенений, в спор между гляционистами и антигляционистами. Р. Баландин не ограничивается этим, но и сам выдвигает увлекательную гипотезу о причинах смены ледниковых и межледниковых эпох в четвертичном периоде, в антропогене, выделяет в истории оледенений четыре этапа, которые условно называет временами геологического года. Гипотезы, высказанные в научно-художественных книгах Р. Баландина, моделирование им геологических процессов и их цикличности, по свидетельству специалиста геолога М. Ахметьева, опубликовавшего на них рецензию в журнале «Природа», — эти гипотезы смелы, интересны, обоснованны. Напомним в связи с этим замечательные слова Д. И. Менделеева о роли гипотез в развитии науки: «Они (гипотезы.— Г. Ф.) науке и особенно ее изучению нужны. Они дают стройность и простоту, каких без их допущения достичь трудно. Вся история наук это показывает. А потому можно смело сказать: лучше держаться такой гипотезы, которая может оказаться со временем неверной, чем никакой. Гипотезы облегчают и делают правильной научную работу — отыскание истины, как труд земледельца облегчает выращивание полезных растений».

Громадное большинство современных научных статей и книг посвящено даже не отдельным наукам, а частным вопросам отдельных наук. Это неизбежное веление времени: под влиянием открытия новых объектов исследования и специфических научных направлений все более сужается спектр исследования, все более специальным и углубленным становится язык и методология различных наук и направле-

ний внутри них. В противоположность научной литературе научно-художественная, как уже говорилось, в большинстве случаев имеет дело с широкими научными проблемами, которые изучают ученые различных специальностей. В специальной литературе произведения, освещающие такие проблемы, встречаются крайне редко и обычно знаменуют новый этап, новый уровень сознания и состояния науки в целом. В научно-художественной литературе эти произведения обычны, и на них лежит ответственнейшая задача поддерживать достигнутый уровень научного познания мира, служить связующим звеном между учеными различных специальностей, между различными науками и научными проблемами, помогать в выработке научного мировоззрения, пробуждая у читателя стремление к самостоятельному поиску.

Именно средствами научно-художественной литературы можно убедительнее всего показать и тот важнейший факт, что в центре НТР находится человек, что как раз он составляет сущность НТР, что НТР совершается человеком и во имя человека, что попытки дегуманизации НТР, которые имеют место на Западе, губительны и грозят самому существованию человечества на земле. Это хорошо прослеживается в книге Р. Бахтатова «Загадка НТР» — подлинном научном исследовании сложнейшего и важнейшего явления современности, исследовании многогранном, включающем в себя нравственный, исторический, социологический, технологический, психологический аспекты и написанном не только компетентным специалистом, но и талантливым художником.

Усвоение читателем огромных запасов информации, заложенных в рассматриваемых изданиях, обеспечивается не только художественной выразительностью изобразительных средств, но и самим принципом отбора и подачи информации. Все виды информации о больших научных проблемах в научно-художественной литературе оказываются как бы нанизанными на основной стержень повествования. Различным аспектам таких широких проблем, как исследование мозга (С. Иванов, «Лабиринт Мнемозины»), взаимоотношения живой природы и техники, перевод творческих идей природы на современный инженерный язык — бионика (И. Губерман, «Третий триумvirат»), проблемам и тайнам творчества, памяти, мышления, взаимо-

отношениям человека и созданной им техники, проникновению физики и химии во многие другие науки, в том числе и гуманитарные, движению, тяготению, причинности (Р. Бахтатов, «Для кого падают яблоки»), относительности, пространству, времени, Вселенной, кибернетике, этнографии и социологии (Р. Подольный) посвящены многие книги, опубликованные издательством «Детская литература». Но (такова их главная характерная черта) в них разнообразные виды сведений тесно переплетены между собой и подчинены освещению основной проблемы.

Вещи слова Писарева сбываются в наши дни. Теперь, когда в сжатые сроки то, что в прошлом было делом научных лабораторий, становится достоянием миллионов людей, когда наука практически входит в жизнь, быт и работу самых широких масс населения, именно научно-художественная литература призвана поднять массового читателя на уровень современных требований и категорий науки, доставляя ему в то же самое время и подлинное эстетическое наслаждение.

Обладая огромными средствами и возможностями, научно-художественная литература вносит свой немалый вклад в борьбу идей, в материалистическое воспитание, в защиту мира и социальной справедливости, гуманистических и демократических идеалов, в защиту интересов народов, трудящихся от всех видов эксплуатации, демагогии и шовинизма.

И вот что следует, как нам представляется, подчеркнуть: по самому своему существу, по своим средствам и целям, популяризируя какую-либо науку или научную проблему, помимо специфических именно для них критериев и параметров научно-художественная литература остро и прямо обязана применять и применять один-единственный нравственный критерий — во имя чего, для чего или против чего используется или может быть использовано то или иное свершение в области науки и техники, помочь читателю выработать четкие нравственные, морально-этические критерии.

Этот нравственный, морально-этический критерий и подход присутствует практически во всех научно-художественных книгах издательства «Детская литература», посвященных и законам диалектики, и научному материалистическому восприятию мира («Мир, в котором ты живешь» В. Сус-

лова), и истории наших пятилеток, героям революции, труда и науки от штурма Зимнего дворца до покорения космоса, и воплощению ленинских заветов в строительстве коммунизма («Излучать свет» М. Барановой и Е. Велистова), и различным трудовым профессиям, советскому рабочему классу («Работа у нас такая» А. Маркуши), и ордену Ленина, и трудовым и боевым подвигам советских людей («Самый главный орден» С. Медынского), и в книгах, посвященных авиации («Вам — взлет!» А. Маркуши), географии и астрономии («Земля и небо» А. Волкова), и во многих других.

Разберем еще один вопрос: попробуем посмотреть, как соотносятся друг с другом научно-художественные произведения, посвященные одной группе проблем. Возьмем для примера вопросы взаимосвязей человека с животными, птицами, рыбами, насекомыми, растениями — словом, проблеме человека и живой природы. Естественно, что среди научно-художественных книг издательства «Детская литература» книги эти занимают значительное место, их около 20 процентов от общей научно-художественной продукции. Любовь и внимание к «нашим братьям меньшим» — одно из самых сильных чувств, возникающих в человеке еще в раннем детстве и сопровождающее его всю жизнь. Читателям интересно читать книги о живой природе, а писателям их писать. Нужно сказать, что издательству удалось подобрать по этой тематике удивительно талантливых и разносторонних коллектив авторов и выпускать научно-художественные произведения для всех своих категорий читателей, начиная от самых маленьких, — книги, которые, впрочем, и вполне взрослые читатели, например автор этих строк, читают с большим удовольствием. Вот, например, «Когда звери говорили. Лесные сказки» Е. Сапариной. В краткой аннотации сказано — «научные сказки о поведении животных». Сказки безусловно. Звери очеловечены. Они занимаются сугубо человеческими делами: еж ведет врачебный прием своих беспокойных лесных пациентов, паук организует свадьбу, жук изобретает колесо, звериные дети ходят в школу, да еще самого современного типа. Одна за другой следуют забавные истории, приключения, иногда совершенно фантастические. Так что эти сказки и очень хорошие — добротный, испытанный в литературе прием: людям придано обличье все-

возможных зверей и зверушек, действие перенесено на лесные поляны и в заросли. Да, но ведь в аннотации сказано: «научные сказки...» Сказки есть, а есть ли наука? Есть, да еще как интересно поданная! Вот ежик-врач, окулист. Присутствуя на приеме, который он ведет, читатель узнает не только о странных и веселых недоразумениях, возникающих во время этого приема, но и о всевозможных удивительных особенностях зрения различных обитателей леса: о том, что лягушки видят только движущиеся предметы, что в глазах у кошки имеются зеркальца и шторки... Показано в книге, как именно особенности зрения приспособлены к образу жизни и поведению различных живых существ, и т. д.

Полны глубоких и тонких наблюдений, художественно выразительны произведения И. Акимушкина. В книгах «С утра до вечера» и «С вечера до утра» читатель, ознакомившись с суточным циклом существования различных животных, птиц, рыб, насекомых, увидит их под несколько неожиданным углом зрения — сходства и различия с человеком. Автор производит настоящее научное экологическое исследование различных живых существ, ведущих как дневной, так и ночной образ жизни, и в то же время в книгах есть и серия удивительно интересных новелл и глубокие философские заключения, проникнутые единой концепцией. Так, например, в первой книге в главе «Чистота — залог здоровья» рассказывается о роли гигиены в жизни животных, о том, как с утра и в течение дня умываются, очищаются от грязи и паразитов различные живые существа на земле, в воздухе и в воде, как на этой почве происходит симбиоз между совершенно различными созданиями; как тонут в воде утки, лишенные несколько дней возможности купаться, погибают рыбы, не очищенные, не обработанные специальными рыбами-санитарами, и т. п. Многочисленные герои книг Акимушкина очень остро индивидуализированы, хотя эта индивидуализация относится по большей части не к отдельным особям, а к целым видам. Однако у животных генетическое наследие, инстинкт играют неизмеримо большую роль, чем у человека, и такой обобщенный подход — видовое описание — не только имеет право на существование, но является одним из действенных способов дать возможность узнать и полюбить различных животных. С особенно захватывающим ин-

тересом читаются описания животных, ведущих ночной образ жизни, а потому большинству из нас вообще неизвестных или известных только понаслышке. А ведь речь идет прежде всего о самых обычных обитателях нашей среднерусской полосы: совах, козодоях, дергачах, выпях, жабах, сонях, барсуках, ежах, летучих мышах, волках, медведях, хорьках, оленях, ласках и т. д. Читатель узнает и о различных видах сна у животных — диффузном (в любое подходящее время, если устал) или монофазном (днем или ночью), о ночных обитателях джунглей Африки, Азии, Америки, Европы, об их повадках, о жизни в полярной ночи, в глубоководном мраке, в вечном мраке пещер...

Еще об одном авторе хотелось бы мне сказать в этой связи. Известный писатель и ученый с мировым именем, доктор биологических наук Н. Плавильщиков опубликовал несколько превосходных научно-художественных книг. В том числе и много раз выходящую «Юным любителям природы». Будучи ученым, он приглашает читателей к целой серии опытов и наблюдений в живой природе, опытов, разделенных по четырем временам года, блестяще придуманных и поставленных. Писатель, он своим мягким юмором, объемным, пространственным видением живой природы помогает читателю как бы слиться с нею, вместе с автором производить эти опыты и наблюдения, находясь в самой природе, а не со стороны, отделенным от нее своим интеллектом и предназначением. Наконец незаурядный, влюбленный в жизнь человек, он не перестает искренне удивляться многообразию, совершенству, неожиданным качествам живой природы, сообщая это радостное и острое чувство удивления и читателю. Читая книги Плавильщикова, я много раз ловил себя на желании вот сейчас же, немедленно направиться на луг, в лес или на берег реки и проделать хоть несколько из тех многих простых и удивительных опытов, о которых рассказывает автор. Происходит это не от недоверия к автору и желания проверить, верно ли у него все написано, а наоборот, от великого доверия к нему, от желания своими глазами увидеть, своими руками проделать то, что увидел и сделал он, от радостного предчувствия того удивительного в, казалось бы, самом простом, что тебя ждет. Кстати, в аннотации к книге сказано: «Для среднего и старшего школьного возраста». Если авторы аннотации

только данной возрастной категорией и ограничивают круг читателей подобных книг — не верьте им, уважаемый читатель. Это лишь отметка нижней возрастной границы. Верхней же, наверное, нет вообще, о чем мы скажем несколько слов ниже.

Попробуем теперь проследить, откуда берутся авторы научно-художественных книг, выявить, так сказать, гносеологические корни жанра. Еще несколько десятилетий назад популяризацией науки, как правило, занимались профессиональные писатели, а ученые встречались среди популяризаторов лишь как исключение, хотя и очень яркое. Ныне положение изменилось. Возьмем для примера десяток наиболее видных современных западных авторов научно-художественных произведений и посмотрим, кто же они: вулканолог Гарун Тазиев, спелеолог Норбер Кастере, океанолог Ив Кусто, этолог Конрад Лоренц, зоолог Джеральд Даррелл, физик Генри Уотсон, писатель Курт Марек (Керам), физик Айзек Азимов, этнограф Тур Хейердал, писатель Роберт Юнг. Я не выбирал специально. Просто взял с полки книги наиболее полюбившихся мне авторов. Из десяти восемь оказались профессиональными учеными и лишь двое профессиональными писателями. Да и об этих писателях можно сказать, что они стали настоящими специалистами в тех областях науки, о которых пишут. О Кераме я свидетельствую это сам как археолог, а о Роберте Юнге, не раз работавшем у нас в Дубне, мне это говорили специалисты.

Несколько иное соотношение между профессиональными учеными (60 процентов) и профессиональными писателями (40 процентов) среди авторов научно-художественных произведений издательства «Детская литература», однако, как мы видим, и среди них ученые составляют большинство. Чем объяснить то обстоятельство, что созданием научно-художественных произведений занимаются сейчас большей частью профессиональные ученые, ставшие писателями? Прежде всего настолько усложнилась и углубилась в настоящее время любая область научных знаний, что для понимания ее, а тем более для того, чтобы сделать ее понятной и при этом не принизить и не исказить, нужно быть ученым, специалистом в своей области.

Дело, однако, далеко не только в этом. Для занятия современной большой наукой,

для работы над значительными современными научными да и инженерными проблемами недостаточно одного рационалистического, чисто логического подхода. Необходимо и воображение и эмоциональный, нравственный, художественный подход. Вот что писал Альберт Эйнштейн: «Идеалами, осмелевшими мой путь и сообщавшими мне смелость и мужество, были добро, красота, истина». Значит, дело, вероятно, и в том, что за последние десятилетия изменилась самая суть научного творчества, а соответственно изменился и тип ученого. Для современного ученого эстетический критерий в его работе нередко не менее важен, чем рационалистический. Сент-Экзюпери писал: «Теоретик верит в логику. Ему кажется, будто он презирает мечту, интуицию и поэзию. Он не замечает, что они, эти три феи, просто перевоплощались, чтобы обольстить его, как влюбчивого мальчишку. Он не знает, что как раз этим феям обязан он своими самыми замечательными находками. Они являются ему под именем «рабочих гипотез», «произвольных допущений», «аналогий», и может ли теоретик подозревать, что, слушая их, он изменяет суровой логике и внимают напевам муз»... Практика показывает, что более верными, перспективными, способными к экстраполяции, долговечными являются теории наиболее изящные, элегантные, красивые, предлагающие наиболее экононое, лаконичное решение («...взять кусок мрамора и отсечь все лишнее»). Построение же таких теорий требует не только рационалистического подхода, но и фантазии, воображения, образности мышления, эстетического чувства, способности выразить свои мысли не только логическими формулами, но и художественными образами.

Конечно, понимание теснейших связей между наукой и искусством существовало и до XX века. Напомним, что произведения Тита Лукреция Кара, Вергилия и других античных писателей, великих мастеров эпохи Возрождения, прежде всего Леонардо да Винчи, и были по существу результатом синтеза искусства и науки. В самой природе, в любой области человеческой деятельности наиболее рациональное решение, наибольшая гармония между формой и назначением всегда были и есть вместе с тем и самое лаконичное и эстетически верное решение. Вот, например, наша археологическая экспедиция, производя разведку в Прутско-Днестровском междуречье, уста-

новила, что места, выбиравшиеся древними славянами в IX—XII веках н. э. для основания городищ, отвечая потребностям наилучшей естественной маскировки, защищенности, обороны, коммуникаций и т. д., вместе с тем были и наиболее прекрасными, радующими глаз местами. И это не было случайностью. После установления этого факта, производя разведку, археологи попадали в какое-либо особенно красивое место, в первую очередь именно здесь начинали искать следы древнего городища и, как правило, находили их. Напомним также, что знаменитый наш авиаконструктор А. Н. Туполев, когда его помощники приносили ему проект нового самолета, не раз, еще не вникая в какие-либо технические расчеты, говорил: «Нет, это некрасиво, значит, это неправильно».

Научное и конструкторское мышление на высших своих ступенях сближается с творчеством поэтов, музыкантов и художников, хотя они и имеют дело с разными «моделями». И, наоборот, подлинная художественная литература и искусство обладают такой достоверностью в создании психологического и эмоционального образов, что адекватны в этом отношении научному исследованию. Достаточно сослаться хотя бы на хрестоматийные примеры психологических наблюдений и образов в творениях Достоевского и Толстого.

Это сближение науки и искусства, развиваясь и углубляясь, обуславливает и дальнейший расцвет научно-художественной литературы и облик ее авторов, среди которых, видимо, все больше и больше будет ученых, и увеличение значения научно-художественной литературы. Для авторов научно-художественных произведений обязательна не просто компетентность в вопросах науки и художественного творчества, но и одаренность в обеих этих областях. Создание образов ученых, описание поисков и открытий, перевод научных проблем со специфического языка той или иной науки на язык общедоступный, язык художественного произведения,— процесс полностью творческий. Он требует не только глубокого понимания описываемой проблемы или науки, не только профессионального владения средствами художественной выразительности, но и сотворения качественно принципиально нового произведения, в котором наука и искусство, наука и художественное творчество будут органически слиты в единый сплав.

Среди действующих лиц и персонажей научно-художественных произведений непременно присутствуют четыре главных: наука, читатель, ученый, автор. Акценты же между ними меняются в зависимости от авторской манеры письма, от задачи книги, но они всегда присутствуют и находятся между собой в некоем динамическом равновесии, в котором смещение в сторону одного из этих главных персонажей, как правило, оправдано и в художественном и в смысловом отношениях. Так, в книгах издательства «Детская литература», в которых речь идет о великих ученых, создавших целые новые области науки, или о ее подвижниках (например, В. Азерников, «Неслучайные случайности» и С. Снегов, «Прометей раскованный»), в центре повествования находится ученый, творец науки, через которого раскрывается и суть научных проблем, хотя присутствуют и остальные главные «персонажи». Когда же речь идет о больших комплексных научных проблемах, решаемых многими учеными разных стран и специальностей, то, естественно, на первое место в качестве персонажа выдвигается сама наука. Так, например, дело обстоит в книге С. Иванова «Схватка с роботом» и в его упоминавшемся уже «Лабиринте Мнемозины». Разумеется, и в этих книгах присутствуют все остальные элементы научно-художественных произведений, однако главным героем является все-таки наука, научная проблема. Авторам настолько увлекательно удается показать само развитие науки как некий хотя и удивительно противоречивый, но единый процесс, что читатель с тем же интересом следит за судьбой той или иной науки, как за судьбой одушевленного существа.

А есть книги, где главным героем является сам читатель, хотя присутствуют, конечно, и все остальные персонажи. Такова, например, книга Г. Башкировой «Лицом к лицу», посвященная социальной психологии, проблемы которой разворачиваются как бы в непрерывном столкновении с ними читателя, в прямом обращении автора к читателю, к анализу поведения и побудительных причин любимых героев литературных произведений, уже давно ставших частью духовного богатства многих миллионов людей.

Во многих произведениях два героя — автор и ученый — сливаются воедино, это в первую очередь относится к книгам, на-

писанным самими учеными о своих работах и открытиях, например академика Ферсмана. Они написаны от первого лица, с прямым обращением к читателю, вне зависимости от того, является ли автор ученым, сделавшим научное открытие, участником научного поиска или лишь наблюдателем и ценителем. Это не просто один из художественных приемов. Такое обращение автора к читателю подчеркивает достоверность описываемых событий, личную заинтересованность, а зачастую и личное участие в них автора, превращает эти события в происходящие как бы именно во время прочтения книги.

Есть одаренные авторы, которые сумели как бы синтезировать все эти направления. Взять хотя бы одного из типичных и в то же время виднейших авторов научно-художественных книг, А. Варшавского. Вот, например, его последняя книга «Жемчужное ожерелье», посвященная значительной проблеме современности — сохранению выдающихся памятников истории культуры, искусства и архитектуры. В книге рассказывается о том, как ученые различных специальностей — историки, археологи, искусствоведы, микробиологи, гидрогеологи, химики, физики, специалисты по автоматике, электронике, кондиционированию воздуха спасали и спасают от разрушения бесценные творения наших далеких предков — палеолитические рисунки на стенах пещер в Испании и Франции и т. д., о том, как соединенными усилиями ученых, инженеров, рабочих был перенесен со дна будущего Асуанского моря на новое место Абу Симбел — один из замечательнейших храмов древнего Египта, об исследовании и консервации дворцов и других сооружений Персеполя — столицы древнего Ирана, Карфагена — знаменитого соперника древнего Рима, Парфенона, храмов и дворцов Ангкора — столицы древней Камбоджи и др. Говорится и об опасностях, угрожающих Венеции, о беспрецедентной по таланту и мужеству работе ученых и мастеров по восстановлению разрушенных фашистами Петро дворца и Павловска, храмов Великого Новгорода, разоренных и оскверненных бандитами из франкистской «Голубой дивизии». Читатель узнает из книги о том, как строились эти замечательные произведения архитектуры, о связанных с ними событиях. Рассказано обо всем этом с таким знанием и пониманием ученого, с таким талантом и проникновенностью писателя,

что, скажем, читая описания походов и битв строителя храма Абу Симбел фараона Рамзеса, невольно думаешь, что оно принадлежит кому-нибудь из участников похода, и ищешь, где поставлены кавычки, обозначающие начало цитаты из сочинения современника фараона. В повествовании раскрываются характеры и судьбы исторических персонажей и ученых, их исследовавших.

Но, пожалуй, самое важное в книге Варшавского то, что она с большой силой снова и снова подтверждает великую ценность памятников культуры и искусства, которые, материализуя связи между поколениями людей, сохраняют человечеству память о его истории. Человечество существует одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, теснейшим образом связанное во всех трех звеньях. Сохранение этих связей — необходимое условие его существования. Все это в книге показано с большой художественной силой и научной убедительностью. Так автор-ученый, научные проблемы, стоящие в центре повествования, и читатель, активно вовлеченный во все события, в ход всех рассуждений, рождают некое художественное единство.

Другой замечательный и также типичный для жанра научно-художественной литературы автор — крупный ученый, доктор математических наук, профессор В. Лёвшин. Его книги о математике, в том числе самая известная из них — повесть «Магистр рассеянных наук», пользуются заслуженной популярностью у читателей всех возрастов, начиная с младших школьников. Это, конечно, не случайно. Обычное для авторов данного жанра сочетание научной и литературной одаренности в книгах Лёвшина нашло выражение и в том, что о сложнейших проблемах математики автор рассказывает с подкупающим юмором, с неистощимой изобретательностью, ввергая читателя прямо-таки в каскад всевозможных приключений. Повествование неудержимо привлекает тебя, ведет легко и незаметно к пониманию сложных математических понятий и законов, заставляет участвовать в воображаемых путешествиях по московским улицам, по волнам океанов и во многих других путешествиях, на собственном опыте не только узнать очень многое о математике и самом современном ее использовании во всех областях человеческой деятельности, но и поражаться могуществу и изяществу этой науки и полюбить ее.

Тиражи научно-художественных книг в подавляющем большинстве довольно значительны — 75—100 тысяч экземпляров. И все-таки купить лучшие книги этого жанра практически почти невозможно. Одно это свидетельствует об успехе научно-художественных книг, об очень широком круге их читателей. Кто же они, читатели? Кое-что можно сказать о них по самим книгам. Ведь мы уже установили, что читатель — один из главных и непреходящих героев книг этого жанра. Герой этот не верит догмам, а ищет закономерности, истина для него не может быть навязана извне, а должна быть продумана, пережита, прочувствована, очищена и закалена в горниле сомнений. Он сознает личную ответственность не только за свою профессию, но и за все окружающее, за саму жизнь на земле. Он непредубежден, пытлив, способен оценить и удивительное открытие и хорошую шутку, бесконечно любознателен, он хочет попробовать и взвесить сам, ненасытна его жажда познания, «жажда вечная неба коснуться».

Воспитание чувства ответственности за жизнь на земле, научного, сознательного отношения к окружающему, воспитания, достигаемое средствами в равной мере и убедительными и увлекательными, — одна из важнейших задач по отношению к тем, кто только вступает в самостоятельную жизнь или готовится к этому. Это едва ли не главная задача всей научно-художественной продукции «Детской литературы» независимо от того, стоит ли на грифе «для младшего школьного возраста» или «для среднего и старшего». Впрочем, как уже отмечалось, грифы на книгах этого издательства отмечают лишь нижнюю, самую раннюю возрастную грань читателей. Верхней не существует вообще. Во всяком случае, научно-художественные книги издательства «Детская литература» встречались мне в большом количестве и у вполне взрослых, даже зачастую бородатых людей и в самых различных местах: в экспедиционных палатках и лабораториях, у туристических костров. Можно не сомневаться: в связи с НТР, со все возрастающей ролью науки в жизни общества круг людей, ею занятых и ею интересующихся, будет все более увеличиваться. Будет, естественно, и возрастать потребность в научно-художественной литературе — эффективным и действенным способом ознакомления широких кругов читателей с наукой и

научным творчеством. Но вот что огорчает: судя по издательским планам и по готовой продукции, выпуск литературы этого жанра за последние годы в «Детской литературе» не повышается, а снижается, хотя он и так составлял примерно всего лишь 7,2 процента всей выпускаемой издательством продукции.

Традиционная великая задача русской литературы пробуждать в людях добрые чувства в наше время не только продолжает стоять в полный рост, но приобретает невиданную остроту. И

в этом отношении научно-художественная литература по своим задачам, возможностям и значению занимает выдающееся и все более заметное место.

Этот прекрасный жанр, таящий в себе истинные огромные, во многом еще не выявленные возможности, невольно хочется сравнить с волшебной лампой Алладина, хотя он строит города и возводит дворцы лишь иносказательно, могуществом слова.

Г. ФЕДОРОВ,
доктор исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



ОЛЬГА ГУССАКОВСКАЯ. *Незабудки на скалах. Повести и рассказы.* М. «Современник». 1976. 301 стр.

Ольга Гуссаковская живет в Костроме, но действие ее двух повестей «Линия опасности» и «Незабудки на скалах», вошедших в сборник, происходит далеко от родных мест писательницы. В первой повести это Колыма, угольные шахты. Во второй — строительство электростанции и золотой прииск на той же Колыме. Многообразие людских судеб, подробности бытовых примет с их специфическими северными чертами создают в повестях ощущение предметной насыщенности, а иногда и недостаточной избирательности материала. Там, где автор касается сферы производственной, деловой, проза становится энергичной и сжатой, появляется и глубина и социальная острота письма. Конфликты, вроде бы локальные, приобретают интерес общественный.

Главный конфликт, или, как говорит автор, «линия опасности», возникает в одноименной повести на шахте, которая числилась в отстающих. Чтобы поднять выработку, требовалось установить в забое вторую породопогрузочную машину. Инициатор установки — молодой шахтер Алексей Куренцов. Его поддерживают руководители шахты и представитель треста: дело ясное, «проходку северо-западного необходимо ускорить». Но начальнику шахты Дроздову многолетний опыт и интуиция подсказывают, что в решении вопроса таится своя опасность (кровля не выдержит). И опасность эта «родилась не из чьего-то сегодняшнего недомыслия или карьеризма, а из давних, впрочем не исправленных ошибок. Людей гнала необходимость, они подчинялись ей». Вопреки ожиданиям Дроздов не вступает в бой, он считает, что «бой в такой ситуации — напрасная трата сил. Решение... диктуют обстоятельства». В конце концов, как и предсказывал Дроздов, кровля действительно не выдержала. Пассивность многоопытного Дроздова, равно как и напористость и, казалось бы, беспорочная правота Куренцова, приводит к аварии.

На локальном этом конфликте писательница ставит серьезные вопросы, связанные с опасностью в век НТР стереотипного мышления, и с необходимостью диалектического подхода к самым разным явлениям жизни.

Страницы повести, на которых рассказано о делах производственных, как уже говорилось, самые интересные. Более всего внимания автор уделяет своей главной героине — председателю поселкового Совета Полине Егоровне. Натура деятельная, активная, Егоровна, как любовно называют ее жители поселка, постоянно печется об их благе. Она и о новых жилищах заботится, и больницами занимается, и о труде шахтеров размышляет. Егоровна трогательна своей неизменной добротой, желанием всем помочь и всюду успеть. Однако образу этому порой не хватает духовной наполненности. Увлеченно, зримо показывая дело своей героини, автор недостаточно, на наш взгляд, раскрывает мир ее мыслей и чувств.

Вторая повесть, помещенная в книгу, «Незабудки на скалах», написана в том же ключе, что и первая. Она и сюжетно близка ей, есть там сходные характеры. Поэтому и авторские удачи и авторские просчеты примерно совпадают.

Завершает книгу небольшой цикл рассказов, объединенных общим героем — рабочим человеком Санычем.

Давно замечено, что для художника изучение и знание жизненного материала — дело, безусловно, важное, но далеко не решающее. Если страдания и радости героев произведения не прошли через сердце писателя, если их жизнь не стала частицей его собственной жизни, то и для нас, читателей, герои не становятся близкими, писатель не заставит нас сопереживать им.

Читая «Рассказы о Саныче», видишь, что О. Гуссаковская умеет передавать тонкие оттенки человеческой психики. Она не только знает дело своего героя, но знает, чем он живет и чем дышит, радуется и страдает вместе с ним. Действие «Рассказов о Саныче» происходит в небольшом городке на Волге, и хотя город не назван, читатель может догадаться, что это родная для писательницы Кострома. Саныч показан в разные моменты своей жизни, в многообразных взаимоотношениях с людьми, его окружающими, — с женой, сыном, с соседями, родными, с его учениками по малярному делу. И как бы не были сложны и порой запутанны эти отношения, в читателе не исчезает чувство доверия и симпатии к главному герою именно потому, что характер Саныча высветен со всех сторон, что логика художественного образа, образа Саныча, нигде не вступает в противоречие с реальной логикой житей-

ских закономерностей. «Рассказы о Саныче» говорят о глубоком художественном осмыслении жизненного материала, об авторской способности вызывать в читателе чувство сопричастности к происходящему.

Г. Койранская.



ЮРИЙ КАМЕНЕЦКИЙ. Возвращаюсь к тебе. Стихи. М. «Советский писатель». 1976. 80 стр.

Наверное, мы никогда не перестанем быть ленивыми и любопытными. Пушкин знал поэтическую братию на столетия вперед, когда говорил о нашей невнимательности и небрежности. Мы весьма осведомлены о тех, чьи имена, как говорится, на слуху; упрекая критиков за их внимание лишь к ограниченному кругу стихотворцев, мы и сами, в общем, поддаемся сверканию бойкой рекламы.

Вот имя — Юрий Каменецкий. Как же, знаю: «Есть у Революции начало, нет у Революции конца!» — отличная песня! Одна из немногих, подлинная романтика нынче как-то исчезла из песенного обихода, все больше туристские поездки за туманом... Еще что знаю о нем? Да, пожалуй, больше ничего. А он автор трех поэтических книг, изданных солидными издательствами, — что-то ведь заставило при жестком лимите бумаги выпустить в свет его сборники. Тем более что автор ни в какой громоносной «бойме» не значит.

Я понял, в чем дело, прочитав последнюю (для меня первую) книгу «Возвращаюсь к тебе». Ларчик открывается просто — Ю. Каменецкий пишет стихи, а не что-либо иное. А коли так, раскрыв книгу, вы знакомитесь с личностью, с характером; то, что он пишет, для читателя, если пользоваться выражением покойного Светлова, «инфекционно».

«В сорок три мемуары? В сорок три мемуары не пишут». Это поэт одергивает себя — в книге много строк о войне. Все дело в том, что Каменецкий «не спешит сдавать... личное оружие старшине». Он говорит о былых боях по-сегодняшнему. Вспоминая первую поверку — «держит строй двадцать четвертый год», — горюя о павших товарищах, поэт знает: «...будет сердце замирать и падать от простого счастья бытия».

Книга наполнена любовью очень взрослой, устоявшейся и одновременно мальчишеской какой-то, словно любят два человека в одном — нынешний пошедший ветеран и давний-давний юноша в солдатской пилотке. В книге много стихов о море — и там оно одновременно восторженно-романтическое, как видится в детстве, и «работающее» или «военное»... Даже в стихах о зарубежных поездках, далеко не информационных, видишь сегодняшнего зрелого мужа с его порой скептически-трезвым взглядом, и тут же с тобой говорит очень молодой человек, как бы захлебывающийся от новизны впечатлений.

Есть у Каменецкого некая первичность

восприятия, о чем бы он ни писал. Может быть, на его счастье, он не слишком хорошо знает правила писания стихов (я говорю не о технике стихосложения), он как-то мало утомлен высшим поэтическим образованием. Отсюда единое дыхание, отсюда порой и «огрехи»: можно было высказаться сложнее и поинтереснее... Но в «огрехах» разбираешься при втором прочтении, сначала захватывает общее настроение, из которого поэт на протяжении всего сборника почти не выбивается.

Вся книга, весьма широкая по времени и географии, несмотря на малый объем, по сути, отвечает на поставленный поэтом вопрос самому себе: так ли живу? Для поэта «он равнозначен: быть или не быть». Ни одно из стихотворений, пожалуй, не является ответом впрямую, но поиск прочерчен отчетливо. Тут легко сбиться на декларативность, что с Каменецким порой и происходит, но его спасает то, что «поэзия бежит из дома в сиюминутность бытия». Сиюминутность — не однодневность, а полнокровное, активное участие в каждом миге сегодняшней жизни.

Я сейчас не рецензию пишу (это, в общем, не мое дело), а пытаюсь объяснить, чем привлекла меня книга Юрия Каменецкого, пытаюсь с надеждой завлечь читателя и с верой в то, что она его тоже порадует. Во всяком случае, не оставит его равнодушным. Я начал с того, что мы ленивы и любопытны. Наверное, все-таки надо быть любопытными — это приносит прелесть узнавания, радость открытия.

Марк Соболев.



САВВА КОЖЕВНИКОВ. Статьи, воспоминания, письма. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1976. 192 стр.

Савва Кожевников — автор широко известных очерков о Сибири: «Белая тайга», «Город на Оби», «В стране Алтай-кижи» и других. Он был руководителем писательской организации, многолетним редактором «Сибирских огней», корреспондентом на полях войны и в Китае. Это он впервые собрал за «круглым столом» новосибирских писателей — бывалых людей: геодезиста Федосеева, инженера Крылова, архитектора Ащепкова, геолога Поспелова. Много их пришло в сибирскую литературу позже, пришло главным образом потому, что Саввой Кожевниковым было заведено приглашать интересных людей на писательские «среды».

В сборник вошли воспоминания о рабочем-поэте Иване Тачалове, о Лидии Сейфуллиной, Григории Федосееве, переписка с М. К. Азадовским, В. Я. Шишковым, В. М. Бахметьевым и другими (публикация Р. И. Линецкой).

Талантливым, зорким критиком и энергичным организатором литературного процесса в Сибири встает перед нами Савва Кожевников со страниц этой книги. Для него

самым главным в человеке были душевная стойкость, непреклонное следование идеалам. Даже если тяжелейшие условия, если болезнь — его герои остаются верны себе. Высокие душевные качества он подчеркивает в характере рабочего поэта Ивана Тачалова, «человека страшной жизни». Несмотря на невыносимую нужду, глухоту, одиночество, Иван Тачалов «до последнего дня своей жизни понимал «пафос борьбы и радость ее, понимал необходимость полной связи искусства с народом, с жизнью».

Идейная стойкость восхищает его и в характере Л. Н. Сейфуллыной. «Будучи в Австрии, она прочитала в какой-то буржуазной газетенке очень похвальные строки о себе... в статье особенно хвалили пьесу «Попутчики», хвалили потому, что пьеса была неудобна якобы «официальной Москве».

— Я вдруг поняла, — говорила нам Лидия Николаевна, — что пьеса плохая... буржуазия может использовать ее против моей страны».

Размышляя о Г. А. Федосееве, уже широко известном писателе, авторе книг «Мы идем по Восточному Саяну», «В тисках Джугдыра», «Смерть меня подождет» и др., Савва Кожевников записывает: «Были и есть такие писатели, голова которых воспринимает только мрачное и темное. Федосеев умеет видеть и запоминать, прежде всего и главным образом — светлое, благородное, возвышенное, сильное». Вот чем дороги ему люди — преодолением трудного, верностью «светлым идеалам. И сам С. Кожевников умел преодолевать тяжелую болезнь, быть верным своим идеалам.

Отличительной чертой С. Кожевникова — очеркиста, критика, библиографа была прекрасное знание действительности, умение проникать в душу своего героя, увидеть и оценить будущее молодого писателя. Н. Н. Яновский, автор вступительной статьи сборника и емких интересных примечаний, пишет, что Савва Кожевников в своей критической деятельности шел от конкретных жизненных обстоятельств, которые определяли материал книги писателя, его внутренний мир.

Во многих очерках С. Кожевникова ялноправным героем является природа нашей родины. Статья «Об Алексее Кожевникове, о его романе «Брат океана» и о сегодняшнем дне Крайнего Севера» пронизана романтикой Севера. Савва Елизарович рассказывает о ребятах из Игарки, которые переписывались с А. М. Горьким, об острове Диксон, о красе Енисея... Он говорит здесь: «Когда-то Алексей Максимович Горький писал, что «старая наша литература была по преимуществу литературой Московской области... Урал, Сибирь, Волга и другие области остались вне поля зрения старой литературы...» Кожевников много сделал для того, чтобы Сибирь вошла в «поле зрения» писателей и читателей.

С горячей любовью вспоминает он в статье «У сибирского костра» о людях, которые помогали поддерживать высокое пламя «Сибирских огней»: Лидии Сейфуллыной,

Михаиле Ошарове, Константине Седых, Павле Кучияке, академике В. А. Обручеве, Салчаке Токе, Юрии Рытхэу. Эти авторы, по образному выражению С. Кожевникова, приносили к общему костру только березу: «...обласканная при жизни солнцем, она горит так, как будто в костре плавится золото. Береза дает больше, чем какое-либо другое дерево, тепла и света».

О том, чтобы дать людям больше тепла и света, заботился всю жизнь и Савва Кожевников.

Н. Макарова.



Ю. КАРЯКИН. Самообман Раскольников. Роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание». М. «Художественная литература», 1976. 158 стр.

Достоевский, пожалуй, единственный классик русской литературы XIX века, в нелюбви к которому можно спокойно, не боясь за свою репутацию, признаваться: «Знаете, он слишком мрачный, что ли...» — и ничего, никто не проводит вас изумленным взглядом. Такое мнение допустимо. Наряду с прочими. И эта свобода суждений о Достоевском, их, если угодно, полифония — символически неизменной «нехрестоматийности» Достоевского. Но как бы то ни было, нехрестоматийный Достоевский оказался в школьных хрестоматиях с романом «Преступление и наказание», и вот возникла настоятельная потребность помочь изучающим роман разобраться в нем, доступно объяснить им его философскую проблематику.

Своей книгой «Самообман Раскольников», вышедшей в популярной «Массовой историко-литературной библиотеке», Ю. Карякин существенно поддержал дело школьного (и не только школьного) просвещения. Эпиграф к книге, взятый из сочинения безымянного школьника: «Читать Достоевского очень трудно, и с первого раза многого не понимаешь и даже понимаешь все наоборот. Особенно насчет Расколькова», — во многом определил смысл и направление работы.

Хочется отметить яркий творческий темперамент Ю. Карякина. Книга написана живо и весьма занимательно. Автор — страстный, взволнованный проповедник нравственной идеи. «Не так уж редко, — пишет он, — ребята склонны оправдать Расколькова». Это «настоящий сигнал бедствия». Слово «бедствие» — не случайно сорвавшееся слово. Оно отражает авторское отношение к теме и эмоциональный настрой всей книги.

Но как предупредить «бедствие»? Ю. Карякин избирает путь нравственного суда над Раскольниковым. Он тщательным образом прослеживает созревание его теории, определяет, пользуясь марксистской методологией, ее социальное содержание («Бесчеловечная, антинародная идея Расколькова является еще не просто несоциалистической, она и антисоциалистична»), критически рассматривает реальный и «фантастические» варианты самого преступления

(«А «подвернись» на место Лизаветы Соня? Убил бы?» — задается вопросом автор и приходит к выводу, не лишенному парадоксальности: «Раскольников не случайно убил Лизавету. Он лишь случайно не убил Соню»).

Возможно, Ю. Карякин иногда излишне увлекается собственными гипотезами. Возможно также, что ставя перед собой цель нравственного воспитания, он стремится извлечь из романа ряд моральных заповедей, разумеется, необходимых и актуальных, но едва ли способных дать точное представление об уровне философских исканий Достоевского. Основной пафос книги заключается в доказательстве (на материале романа) того, что «цель не оправдывает, а определяет средства», а стало быть, «неправое средство и есть выражение неправой цели». Как видим, Ю. Карякин выдвигает важный и благородный гуманистический тезис. Вместе с тем, откровенно дидактический подход к трагедии Раскольникова нередко ведет к конфликту авторской мысли с художественным материалом.

Ю. Карякин не скрывает своего враждебного, бескомпромиссного отношения к Родиону Романовичу, не верит его душевным терзаниям. Такое пристрастное отношение оказывается причиной известной категоричности оценок, одностороннего разоблачительства. Так, автор полагает, что теория «двух разрядов» людей «сама уже и есть преступление», что Раскольников «безгранично корыстен в своем стремлении попасть в «высший разряд», что «между Раскольниковым, Лужиним и Свидригайловым... есть «общая точка» — в формуле «возлюби прежде всего одного себя». Думается, однако, что, «снижая» Раскольникова до положения расчетливого и хитроумного эгоиста, едва ли возможно постигнуть сущность его трагедии. Наконец, говоря о самообмане героя, Ю. Карякин, на мой взгляд, довольно прямолинейно проводит границу между честолюбием и человеколюбием, существующими зачастую в «нерасщепленном» состоянии. Да и обманывал ли себя Раскольников? Ведь чтобы обманывать себя, ему необходимо было верить в незыблемость нравственных критериев. Но именно этой веры не было у Раскольникова.

Можно бы еще по некоторым пунктам поспорить с Ю. Карякиным (например, вряд ли справедливо постоянно сблизать Достоевского с Пушкиным, как это делается в книге), однако вернемся к бесспорным достоинствам исследования. Автор никогда не забывает о нуждах своих читателей, снабжая их полезными сведениями об основных этапах работы Достоевского над романом, приводя наиболее характерные выдержки из писем и записных книжек, рассказывая о двойниках Раскольникова в других произведениях Достоевского, своеобразно сопоставляя идеи Достоевского с философскими высказываниями Гегеля и Маркса и т. д.

В целом, я убежден, для читателей, еще недостаточно подготовленных к восприятию философско-эстетической основы «Преступ-

ления и наказания», книга Ю. Карякина — важное приобретение. Но когда повзрослевшие читатели вновь обратятся к Достоевскому уже не по требованию школьной программы, а по своему собственному хотению, тогда они, по всей видимости, испытают потребность в более глубоком осмыслении Достоевского, и для такого, более зрелого читателя, я полагаю, Ю. Карякин напишет свою следующую книгу о Достоевском.

Вик. Ерофеев.



АНАТ. ГОРЕЛОВ. Три судьбы. Ф. Тютчев. А. Сухово-Кобылин. И. Бунин. Л. «Советский писатель». 1976. 622 стр.

Это не сборник отдельных очерков о трех русских писателях, а единая книга о трех судьбах. Тютчев, Сухово-Кобылин, Бунин — художники, «пребывающие как бы «на отшибе», одинокими вершинами «выламывающиеся» из могучего хребта русской литературы, но чье творчество с какой-то особой трагедийностью вобрало в себя и вопль страдания, и тревожные думы эпохи, ее отчаяние, восторги, ее вопросы... вопросы...».

Художник может и не осознавать глубинных сил истории, ее путей и отдаленных перспектив, но не чувствовать движения времени, не прислушиваться к гулу нарождающихся перемен, оградить свою душу от тревог, боли, ненависти он не волен.

Тютчев, Сухово-Кобылин, Бунин — все трое стояли в стороне от русского освободительного движения. И ошибкой было бы затуманивать консерватизм, подчас реакционность их политических взглядов. Но разве не было в Тютчеве ужаса перед «железной зимой», в Бунине — иступленной любви к России и боли за нее, в Сухово-Кобылине — ненависти к буржуазному укладу? Мир раскалывался, и трещина прошла по их сердцам. Верность самодержавным устоям и подлинное страдание при виде лжи, грязи, насилия, порождаемых царским социальным порядком, — вот острее и болезненное противоречие их сознания. Стоя Сухово-Кобылина: «Богом, правдою и совестью оставленная Россия — куда идешь ты?» — их общий стон.

Горелов не посвящает на всеохватный, монографический анализ их жизни и творчества, и было бы неелепо упрекать автора за некоторую односторонность его книги. Писатель перед лицом истории — вот что в первую очередь волнует Горелова. Есть прямая связь между «Тремя судьбами» и известной монографией Горелова о А. Блоке. Художник и пути России — стержень обеих книг. Не было и не будет русского художника вне родины. Бунин бежал, «рассердившись» на новую, непонятную ему Россию, и написал в конце жизни с чужбины: «Был я богат — теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был «знаменит на весь мир» — теперь никому в мире не нужен — не до меня миру!.. написал недавно целую книгу новых рассказов, но куда ее теперь девать?» И да-

лее: «Я сед, сух, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой».

Горелов ни в коей мере не склонен изобличать, указывать, развешивать этикетки. Он не стремится вывести однозначный, «единственно верный» ответ. Он хочет понять. «Три судьбы» — свободное литературоведческое (и историческое, и философское) исследование, написанное с большим знанием дела и необыкновенно увлекательно. Возможно, специалистами эта книга не будет принята единодушно. С автором скорее всего станут спорить, и это естественно. Тютчев, Сухово-Кобылин, Бунин — художники сложные и противоречивые. И многие суждения А. Горелова о них дискуссионны.

В трактовке исследователя все три художника глубоко современны, «ропот» тютчевского «мыслящего тростника», ничтожество и величие человека, вставшего один на один со вселенной, — все это принадлежит и нашему веку. А Расплюев Сухово-Кобылина, полицейский шулер, готовый всю Россию «посадить на цепуру»? Пройдет время, и немецкий Расплюев XX века будет готов уже не только Германию, а и весь мир «потребовать». А горестный путь Бунина, своей судьбой подтвердившего, что «родину нельзя унести на подошвах своих сапог»?

Поэт, драматург, прозаик... Как отмечает Горелов, «их беспокойные биографии охватывают полтора века русской истории, а между тем психологическое состояние столь разных художников оказалось чем-то сродни Александру Блоку, во мгле реакции услышавшему полный бой Истории...». Их творчество выразило не только напряжение времени, но и неотвратимость, неизбежность надвигающихся потрясений. Потрясений, которых они не желали, которых они боялись, потрясений, грозящих тем самым устоям, приверженцами которых они были.

Книга А. Горелова, передающая напряженность духовных поисков трех крупных русских художников, драматизм их сомнений и остроту веры, — своеобразный вклад в наше сегодняшнее освоение ценностей культуры минувшего века.

А. Василевский.



В. ГРОМОВ. Софья Гиацинтова. («Мастера советского театра и кино») М. «Искусство». 1976. 208 стр.; 31 стр. илл.

Если б эта интересная книга состояла только из заключительной главы, то и тогда ее следовало издать. Последней страницей — запись живой речи народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР Софьи Владимировны Гиацинтовой. Она рассказывает о театре, о «племени актеров» — их дурных и добрых свойствах — с любовью, юмором и с таким знанием «предмета», какое встречается лишь у больших мастеров сцены, талантливых, наблюдательных, интеллигентных. Гиацинтова рассказывает о десяти своих ролях с предельным лаконизмом, но так, что читатель может себе представить огромный масштаб дарования актрисы. Она говорит о том, каким ви-

дится ей театр будущего — «театр большой культуры», и вы понимаете, что перед вами художник мыслящий, тонкий аналитик, истинный патриот, взыскующий то главное и непреходящее, что способно сохранить и умножить славу отечественного искусства.

Гиацинтова посвятила ему жизнь. Впервые появившись на сцене Московского Художественного театра в сезоне 1910/11 года в качестве его скромной сотрудницы, она прошла путь от самых маленьких до самых ответственных ролей. Их было около ста. О большинстве из них пишет В. Громов. Ему посчастливилось видеть все или почти все создания Гиацинтовой. В ряде спектаклей он играл рядом с ней. И если его описания порой недостаточно рельефно воссоздают сценические образы актрисы, то это, по-моему, происходит оттого, что виденное произвело неизгладимо сильное впечатление. Да, так бывает: о том, что очень нравится, о том, что поражает даром перевоплощения, что восхищает сегодня так же (а может быть, и еще больше), как много лет назад, написать трудно.

Первая режиссерская работа Гиацинтовой относится к 1913 году, когда в Первой студии МХТ она поставила водевиль «Два труса». И, конечно, уже в то время сказывалось ее тяготение к комедианности. С подлинным блеском играла Гиацинтова Марию в «Двенадцатой ночи» Шекспира — спектакле, подготовленном под руководством Станиславского и впервые показанном в 1917 году на студийных подмостках. И когда спустя шестнадцать лет коллектив театра МХТ 2-й решил вернуть к жизни шекспировскую комедию, то именно Гиацинтова (совместно с В. Готовцевым) ставила «Двенадцатую ночь» и снова вдохновенно играла Марию...

С тех пор и во Втором МХТе и в Театре имени Ленинского комсомола, где Гиацинтова и сегодня плодотворно трудится, на радио и телевидении Софья Владимировна показала много своих работ, всегда яркотейтральных, всегда глубоких и мысли. Примечательно, что в лучших своих постановках, отмеченных глубоким постижением классической драматургии, она сама исполнила главные роли: Нора в одноименной пьесе Ибсена, Наталья Петровна в комедии Тургенева «Месяц в деревне», Раневская в «Вишневом саде». Столь же содержательно, интересно, современно было ее решение произведений советских драматургов: в «Семье» Попова Гиацинтова первая создала образ матери Володи Ульянова. Как режиссер и актриса она показала высокий образец партийного искусства, волнующего своей правдой и человечностью.

Режиссерские экспликации Гиацинтовой, о которых повествует книга Громова, могут многому научить, заставить о многом задуматься молодое поколение постановщиков. И это отнюдь не декларативное, а смысловое и действенное обращение Гиацинтовой к юности, к будущему нашего театра придает книге В. Громова особую серьезность и значительность.

Авгва Илупина.



Н. СМІРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ. Сорок пять лет на эстраде. Фельетоны, статьи, выступления. М. «Искусство». 1976. 382 стр.

ЛЕОНИД УТЕСОВ. Спасибо, сердце! Воспоминания, встречи, раздумья. М. «ВТО». 1976. 477 стр.

В книге Н. П. Смирнова-Сокольского «Сорок пять лет на эстраде» собраны его статьи, фельетоны, выступления. Здесь же помещена документальная хроника творчества артиста. Книга Л. О. Утесова «Спасибо, сердце!» является автобиографическим рассказом о времени и о себе. Что же позволяет говорить о них как об одном общем явлении в сегодняшней литературной жизни? Не то, вернее, не только то, что авторы — коллеги, что оба достигли вершин в своем общем для них деле, что поистине всеобъемлющая популярность пришла к артистам задолго до нашей щедрой на выпечку знаменитостей эпохи телевидения.

Обе книги посвящены «одной, но пламенной страсти», обе предназначены быть не просто ценным экспонатом в коллекции любителя мемуаров или поклонника песенного ли, разговорного ли жанров на эстраде, а учебниками эстрадного дела. Очень емкими. И достаточно полными. Ибо в обеих книгах личность автора показана в первую очередь через его дело. Именно поэтому в книгах так много полемики, азарта, страсти. О себе так писать нельзя. О своем деле можно. И нужно! Не случайно Всеволод Вишневский писал о Смирнове-Сокольском: «Надо собрать тексты этого товарища, подлинно заслуженного, и сосредоточенным анализом их влить в нашу работу новую порцию опыта. Надо использовать его методологию...» Наконец-то сорок пять лет спустя после написания Вишневским этих строк вышла книга, содержащая эту «новую порцию опыта», книга, где впервые опубликованы многие фельетоны Смирнова-Сокольского и с подлинным уважением к делу, которому отдал артист всю свою жизнь, без скидок на «специфику» мемуаров и сложность восприятия даны его публицистические, острые и совсем не потерявшие своей злободневности статьи.

И не случайно в конце 30-х годов, когда готовилась первая книга Утесова, Бабель в предисловии к ней писал: «Утесов столько же актер — сколько пропагандист... Двадцать пять лет исповедует Утесов свою оптимистическую, гуманистическую религию, пользуясь всеми средствами и видами актерского искусства, — комедией и джазом, трагедией и опереттой, песней и рассказом». А в книге «Спасибо, сердце!», написанной сорок лет спустя, Л. Утесов подытожил: «И с тех пор я живу под грузом ответственности, поверяя каждый шаг, слово, выбор словами Бабеля».

Знаменателен уже сам факт, что выдающиеся мастера советской литературы были заинтересованы в развитии эстрады, понимая ее колоссальное пропагандистское значение. И понимали, что опыт инженерный, врачевный, учительский зафиксировать и передать легче, реальнее, чем опыт артисти-

ческий. Эту гармонию очень трудно «повесить алгеброй». И тем ценнее для нас каждая книга, где лидеры делятся «секретами мастерства», где анализируют ошибки и находки, пытаются обобщить найденное, защитить подлинное и уберечь от дешевого. И различие интонаций в этиж разных по структуре книгах лишь индивидуализирует манеру делиться опытом. Цель одна. И она благородна.

Любовь к эстраде, тревога за ее судьбу, умение, ставшее уже просто чертой характера, думать в первую очередь об искусстве, а потом уже о себе дает счастливую возможность говорить и еще об одном редком качестве, общем для обеих книг.

«Стоит ли регулировать историю и превращать биографию в «житие»?» — спрашивает в своем предисловии к книге «Сорок пять лет на эстраде» старейший советский театровед Сим. Дрейден. И пожалуй, ни один сколько-нибудь серьезный разговор о мемуарной литературе не избежит необходимости ответа на этот достаточно коварный вопрос. И далеко не каждой книге, где автор пишет сам о себе, присуща абсолютная честность самооценки, как не всегда человек, наделенный даже очень большим талантом, наделен еще и мужеством. Тем мужеством, которое и заставило и позволило Николаю Павловичу Смирнову-Сокольскому скрупулезно припомнить в автобиографических записках все свои неудачи, чтобы на их примере учить эстраде. Тем мужеством, которое придало книге Леонида Осиповича Утесова по-одеески ироничный тон. И ведь эта ирония не в адрес времени ли, места ли, действия ли. Это самирония!

На произведения мемуарной литературы часто распространяется гипноз имени автора. Это естественно. Но тем значительнее появление книг Н. П. Смирнова-Сокольского и Л. О. Утесова, что они не просто дарят радость общения с этими удивительными личностями, но говорят о судьбах искусства вчерашнего и сегодняшнего во имя искусства завтрашнего.

С. Овчинникова.



В. П. МОШНЯГА. Всемирная федерация демократической молодежи. М. «Молодая гвардия». 1976. 143 стр.

Рецензируемая книга бесспорно важна и интересна прежде всего для комсомольского актива, для тех, кто следит за развитием международного молодежного движения. Но, думается, не только для них. История Всемирной федерации демократической молодежи, опыт ее борьбы за идеалы мира, национального и социального освобождения народов — неотъемлемая часть жизни всего послевоенного поколения.

«В Уставе ООН записано, — говорится в предисловии, — что войны рождаются в умах людей. И в этой связи, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что борьба за «вечный мир» — это прежде всего за умы людей, за молодежь». Этому, собственно, и по-

священа книга В. Мошняги. Рассказ о ВФДМ — это рассказ о битве молодых за претворение великой мечты о мире в условиях свободы и справедливости. Тот факт, что эта борьба приносит все новые и новые победы, что в нее включаются миллионы людей, говорит о притягательной силе ее лозунгов и идей.

Если сравнить то, с чего начинали, с сегодняшним днем, перемены разительны. Стоит вспомнить хотя бы историю отношения к самому слову «мир». После войны он слыш в многих западных странах едва ли не синонимом нелояльности режиму. Ведь не случайно и Всемирный Совет Мира и ВФДМ, штаб-квартиры которых вначале находились в Париже, вынуждены были в 1951 году выехать оттуда под нажимом политиков «холодной войны». Многие из тех, кто решительно выступал в защиту мира, оказывались за решеткой. А сегодня дети тех, кто тогда соскребал со стен домов слово «мир», сами несут его на полотнищах демонстраций. Со стен и плакатов, со страниц демократической печати это слово перекочевало в тексты официальных коммюнике и государственных посланий. Мир становится единственно возможной формой разрешения спорных вопросов.

Автор показывает, как рождалось и крепло международное молодежное демократическое движение, давшее миру такое беспримерное по размаху и воздействию на умы явление, как Всемирные фестивалы молодежи. «Всемирные молодежные фестивалы по своему общественно-политическому значению, — пишет В. Мошняга, — вышли далеко за рамки чисто юношеских акций, стали одним из наиболее популярных движений современности и превратились в массовые манифестации миролюбивых сил Земли».

Защитниками мира ныне достигнуты немалые успехи в деле перехода от военной конфронтации к ограничению вооружений и международному сотрудничеству. Тем не менее хотя опасность новой войны и отодвинута, она не миновала и судьбы мира по-прежнему зависят от наших действий. Спираль вооружений, несмотря на многолетние переговоры, по вине милитаристских сил Запада грозит достигнуть неуправляемого витка.

Но гонка вооружений не только угрожает миру. Она отнимает у народов ежегодно сотни миллиардов долларов — тех самых, из-за которых миллионы людей даже в богатых капиталистических странах обречены существовать ниже официальной черты жизненного уровня. Миллиардов, из-за которых от жажды пересыхают многие районы нашей земли, отравляется вода и загрязняется воздух.

Чтобы эти факты дошли до сознания широких масс, чтобы действия народов побудили буржуазных политиков к реальным соглашениям, нужны объединенные усилия общественности. А значит, нужен опыт прежней борьбы, осмысленный нами сегодня.

В том, что перспективы для обеспечения прочного и справедливого мира сейчас

благоприятны как никогда раньше, человечество во многом обязано самоотверженности тех, кто шел в первых рядах молодых борцов за мир и десять, и двадцать, и тридцать лет назад. Точно так же как сегодняшней активности молодого поколения в борьбе за идеалы мира и свободы будет обязана молодежь 80-х и 90-х годов.

Нигде это не проявляется так наглядно, как в могучем движении солидарности с борьбой молодежи и народа Чили против фашизма. Автор книги приводит слова заместителя генерального секретаря Социалистической молодежи Чили Эмилио Сантанио из его выступления на VII Неделе дружбы и солидарности советской и чилийской молодежи, состоявшейся в Киеве летом 1974 года: «Мы приехали на эту встречу, чтобы выполнить свой долг: рассказать о нашей борьбе, о судьбах наших товарищей, выразить благодарность вам, советским людям, подлинным интернационалистам. Среди участников этой недели — студенты и рабочие, испытавшие на себе репрессии хунты. На их теле еще не успели зарубцеваться раны — следы пыток, издевательств. Но то, что сегодня они на свободе, — это и ваша заслуга, результат совместной борьбы, интернациональной солидарности с демократами Чили».

Об этой неразрывной связи поколений, о могучей силе солидарности говорит опыт 50-х и 60-х годов, когда родилась и возмужала Всемирная федерация демократической молодежи.

Владимир Ломейко.



А. Е. ЭТИНГЕН. *Человек будущего: облик, структура, форма*. М. «Советская Россия». 1976. 173 стр.

«Какая мать, питая грудью новорожденного, не представляет его себе в будущем большим, красивым, счастливым?.. Я взглянул на человека в перспективе грядущего. А в этой перспективе нельзя не видеть, каким исполином он вырастет и как далеко шагнет» — эти слова Э. Межелайтиса, взятые эпиграфом к книге, как бы очерчивают ее главное направление.

...Человек будущего. Он издавна волновал людей, будоражил их воображение. О нем слагали песни, сочиняли поэмы, создавали научные трактаты. Его изображали ваятели и живописцы. О человеке грядущего, о его будущем как биологического вида много пишут и говорят в наше время. Футурологи не скупятся высказывать свои суждения, порой самые диаметрально противоположные: деградация или неизменяемость, вымирание или полный расцвет.

Прогрессивные ученые, пишет автор во введении, «имеют своей целью представить контуры человека коммунистического общества, а не какую-то уродливую карикатуру, воплотившую в себе все отходы современности, как это делают некоторые реакционные футу, злоги». Человек будущего — это прежде всего продукт социального, а не только природы. Следуя от этой отправной

точки, автор ведет свое повествование. И пусть рисуемый образ человека будущего порой еще расплывчат, пусть предсказываемые изменения в нем не всегда достаточно полно аргументированы, могут вызвать дискуссии — полезность разговора несомненна.

Изложив суть эволюционного учения, дарвинского естественного отбора, мутаций, наследственности, показав роль общественного бытия, автор переходит к разбору особенностей биологического наследия, с которым человек вступил в социальный мир. Оно очень богато. Прямохождение и связанное с ним освобождение передних конечностей, улучшение обзора, повышение надежности защиты мозга, прочная опора для плода в чреве матери и другие виды совершенствования человеческого организма оказали огромное влияние на его дальнейшее развитие. Но самым драгоценным сокровищем эволюции стала развившаяся и усложнившаяся кора человеческого мозга. И все же, по меткому выражению автора, природа — «заимодавец грубый»: она принизила свой дар человеку. Боль, сопутствующая человеку с момента рождения и до конца жизни, хотя справедливо считается «сторожевым псом здоровья», тем не менее остается тяжким наследием эволюции. Имеются и другие анатомические структуры и физиологические процессы, находящиеся как бы в несоответствии с потребностями современного человека. Но можно ли от них избавиться и всегда ли это целесообразно? Есть ли надежда приобрести новые признаки, биологически более совершенные? На эти вопросы книга отвечает наглядными примерами, показывая, что доступно и недоступно человеку нашего времени.

Для успешного освоения космоса, проникновения в пучины океана, борьбы с «болезнями цивилизации», приспособления к растущим скоростям — для всего этого и много другого необходимо дальнейшее совершенствование многих человеческих органов. Например, Жак-Ив Кусто, известный исследователь морских глубин, высказал мнение, что в будущих подводных городах должны жить люди с искусственными жабрами, извлекающие кислород непосредственно из воды (вроде беляевского Ихтиандра)...

А возможно, свое слово скажет акселерация? Соображение веское. Действительно, изменения среды обитания уже привели к некоторым заметным новшествам: широкое голование, рост размеров тела и веса новорожденных, более раннее прорезывание постоянных зубов, убыстрение окостенения некоторых элементов скелета, сокращение сроков полового созревания, увеличение продолжительности жизни и т. д. О причинах и направленности акселерации идут горячие споры, и делать окончательные выводы преждевременно. Пока ясно лишь одно — коренных изменений природы человека как вида даже при очень длительной эволюции не произойдет.

Достаточно подробному критическому анализу в книге подвергаются евгеника, попытки селекции человека, искусственный мутагенез — направленная перестройка наслед-

ственных задатков, замена человеческих органов техническими устройствами (киборгами) и другие средства, предлагаемые для улучшения рода человеческого. Интересны страницы о йогах, причинах феноменальной памяти у отдельных людей, данный автором гипотетический портрет человека будущего, сроки, предсказываемые наукой тем или иным «усовершенствованиям» человека.

«Нам предстоит эволюционировать, — пишет автор, заканчивая книгу. — Причем процесс этот бесконечен. Человек никогда не будет завершен, ибо человечество в своем развитии не знает предела!»

Я. Поварков,
кандидат философских наук.

А. Бурсов,
кандидат исторических наук.



Н. А. ЕРОФЕЕВ. Что такое история. М. «Наука». 1976. 136 стр.

Как известно, древние греки считали историю одним из видов искусства наряду с поэзией, музыкой, танцами. Именно поэтому у истории, единственной из всех наук, была своя муза — Клио, дочь богини памяти Мнемозины, постоянным атрибутом которой стал свиток папируса. Потребовались многие века, чтобы исторические знания оформились в науку, определившую свой предмет, выработавшую свои методы и приемы исследования, нашедшую свое место в системе общественных наук.

Один из моих университетских преподавателей, В. Ермолаев, часто любил повторять, что, в сущности, историк должен уметь ответить на пять основных вопросов: что, где, когда, почему и как? При всей кажущейся простоте такой постановки проблемы историческая наука вплоть до середины XIX века, до становления марксизма, не могла даже определить свое назначение. «Нашу русскую историческую литературу нельзя обвинить в недостатке трудолюбия, — писал выдающийся русский историк В. Ключевский, — она много обработала; но я не возведу на нее напраслины, если скажу, что она сама не знает, что делать с обработанным ею материалом; она даже не знает, хорошо ли его обработала». В большей или меньшей степени это замечание справедливо и в отношении зарубежной историографии прошлого века.

История как наука знала периоды подъемов и спадов, времена широкого общественного интереса или, напротив, пренебрежительного отношения к ней. Тем не менее ее развитие продолжалось неуклонно, поскольку оно было непосредственно связано с потребностями общественной жизни. Что же касается сегодняшнего дня, то ныне наблюдается значительное усиление интереса к исторической науке, что, в частности, находит свое выражение в резко возросшем спросе на научную историческую литературу, с одной стороны, и в значительном расширении выпуска научно-популярной

литературы на те или иные исторические сюжеты — с другой.

Поэтому появление книги известного советского историка Н. Ерофеева «Что такое история» вряд ли может считаться неожиданным или тем более случайным. К настоящему времени советская историография накопила немало исследований по методологическим проблемам исторической науки, имеются работы и по истории исторической науки. Особенность данной книги состоит в том, что она адресована прежде всего широкому читателю, интересующемуся исторической проблематикой.

Первые две главы освещают развитие исторической науки от ее зарождения до наших дней. На обширном фактическом материале, опираясь на исследования античных и средневековых, буржуазных и марксистских историков, автор прослеживает весь многовековой процесс превращения мифологическо-летописных повествований в научную историографию. Успехи исторической науки были непосредственно связаны с материальным и духовным прогрессом человечества. Переломным этапом становления истории как науки явился марксизм, ознаменовавший собой революционный переворот во всех науках об обществе. «История, — отмечает автор, — впервые получила последовательно научную методологическую основу». Марксизм впервые научно разработал учение о смене общественно-экономических формаций, о роли народных масс и значении классовой борьбы в историческом процессе.

Автор раскрывает систему понятий и терминологию, которыми оперирует историк; он доступно объясняет, что такое историография, источниковедение, археология, дипломатика, палеография, геральдика, генеалогия, ономастика и т. п. В книге рассказывается о сотрудничестве истории с другими общественными, а также естественными и точными науками. В последние годы в исторической науке все более широкое распространение получают методы количественного анализа явлений, методы математического анализа и статистики, позволяющие историку создавать те или иные модели. В то же время автор критически оценивает высказывания наиболее горячих поборников количественных методов, призывающих отказаться от изучения всего того, что не поддается количественному выражению, и предлагающих «изгнать» из исторической науки такие понятия, как «классы» и «классовая борьба». «Подобные идеи, — отмечает Н. Ерофеев, — представляют собой реакционную утопию».

Общественный характер исторической науки, как отмечает автор, определяется не только тем, что она изучает общество, но и тем, что, выражая сознание общества, его отдельных классов в ту или иную эпоху, она тем самым принимает деятельное участие в жизни общества.

Велика роль исторической науки в формировании общественного сознания и в воспитании. Подчеркивая особое место истории в системе общего образования,

Н. Г. Чернышевский писал: «Можно не знать, не чувствовать влечения к изучению математики, греческого или латинского языков, химии, можно не знать тысяч наук, а все-таки быть образованным человеком, но не любить истории может только человек, совершенно неразвитый умственно».

Едва появившись на прилавках, книга Н. Ерофеева сразу нашла своего читателя и разошлась в считанные дни. Это ли не лучшая оценка труда автора?

П. Черкасов,
кандидат исторических наук.



Г. МАКСИМОВИЧ. Беседы с академиком В. Глушковым. М. «Молодая гвардия». 1976. 206 стр.

Закрывая последнюю страницу этой книги, с трудом отделяешься от мысли, что посетил какую-то необыкновенную страну, где теснейшим образом переплелось реальное и фантастическое. Порой казалось: вроде бы твердо держишься почвы действительности — и вдруг неожиданно оказываешься в совершенно другом мире, с новыми законами бытия, с непривычными представлениями о сущности вещей. Однако это не огорчает, а побуждает идти все дальше. И вот идешь, радостно балансируя на грани реального и фантастического.

Если бы не были созданы ЭВМ, утверждает академик Глушков, через каких-нибудь десять лет при сохранении нынешнего уровня технической оснащенности сферы планирования, управления и учета в ней пришлось бы занять чуть ли не все взрослое население страны. Ведь уже в восьмой пятилетке общее число задач управления во всем народном хозяйстве страны составило 10^{16} арифметических операций за год. Известно, что опытный работник способен на настольном арифмометре выполнять в год не более 300 тысяч операций. Следовательно, для выполнения 10^{16} операций, даже самых простейших, в тот же срок, понадобилось бы... 10 миллиардов человек, почти в 3 раза больше, чем живет на планете в наши дни!

После таких убедительных примеров трудно не проникнуться особым уважением к ЭВМ. И когда автор и его собеседник рисуют перед читателем грандиознейшую панораму автоматизированных систем управления (АСУ), начинающуюся с АСУ цеха, предприятия и заканчивающуюся общегосударственной системой управления народным хозяйством (ОГАС), то в преимуществе их мы убеждаемся в полной мере. Тем более что эффективность АСУ подтверждается примерами из жизни, из практики работы производственных объединений, заводов и фабрик Ленинграда, Львова, Щекина, Москвы и других городов страны.

Едва ли кто-нибудь останется равнодушным, читая страницы, где говорится о вторжении кибернетики в творческие процессы человека. Ведь на протяжении многих и многих веков их считали абсолютно не поддающимися никакой расшифровке, никакому ло-

гическому анализу. А тут в рецензируемой книге мы вдруг читаем, что, например, архитектор, воспользовавшись компьютером, может «увидеть» готовое здание, ещё не приступая к его проектированию, причём не одно, а столько его вариантов, сколько необходимо испробовать, чтобы выбрать то, которое наилучшим образом отвечает мечте. Нужно лишь менять для каждого варианта составные части будущего здания. По той последовательности, с которой происходит поиск оптимального варианта проекта, и можно судить о творческом процессе, происходящем в голове архитектора.

То же самое относится и к конструкторам самолётов, создателям машин самых разных назначений, различной аппаратуры и т. д. Насколько это облегчает процесс творчества, какие открывает перспективы, как это выгодно экономически, обо всем можно узнать из книги Г. Максимовича. Но вот что поражает: оказывается, что представители не только профессий, создающих, так сказать, осязаемые материальные ценности, как, например, те же архитекторы, но и адепты наук абстрактных — философы, социологи, лингвисты — также в состоянии, воспользовавшись компьютером, во многом расширить возможности своих наук, усовершенствовать сам творческий процесс.

Истины ради следует сказать, что такого рода «фантастика» ещё не стала массовой, что примеры, приведенные в книге Г. Максимовича, — пока лишь достояние лабораторий, однако ЭВМ четвертого поколения, как говорит академик Глушков, уже на пути к тому, чтобы сделать фантастику обыденной. Ученые давно работают над созданием искусственного интеллекта, устройств, способных «мыслить», решать логические задачи, «на равных» беседовать с человеком человеческим же голосом. И успех, как говорится, уже не за горами. Академик Глушков утверждает: «Современные успехи нейрофизиологии создали базу для правильного понимания мыслительных процессов», а это одна из основ создания будущих компьютеров-интеллектуалов».

Читатель, как говорится, из первых уст узнает об ЭВМ различных поколений, о технической стороне их сотворения, знакомится с основными принципами создания программ получения информации, ее обработки и так далее, вплоть до методов «беседы» человека с машиной. Иначе говоря, узнает о кибернетике все или почти все, причём в популярном, живом изложении.

Пожалуй, меня могут упрекнуть, что, рассказывая о книге Г. Максимовича, я слишком снисходительно отнесся к ее, так сказать, фантастичности. Однако думаю, что кибернетика имеет право на «фантастичность», и, может быть, более, чем какая-либо другая из наук. Ведь ее сегодняшнее, в сущности, не более чем эмбриональный период, а вся она там, в грядущем. Именно это качество книги придает ей чрезвычайную привлекательность в глазах молодежи, побуждая стать поклонником одной из самых современных наук — кибернетики.

Вал. Кирсанов.



О. РЕЗНИК. Встреча прошлого с будущим. Воспоминания и статьи. М. «Советский писатель». 1976. 447 стр.

В книге О. Резника «Встреча прошлого с будущим» собраны произведения разных лет. Открывающие книгу «Воспоминания и размышления о Первом съезде советских писателей» соседствуют с публицистическими очерками, со статьями, анализирующими произведения поэзии и прозы, с мемуарами, посвященными писателям, с которыми автор встречался. Через всю книгу проходит тема связи времен, неумирающих традиций советской литературы.

Жанровый состав книги неоднороден. Говоря о Первом писательском съезде, автор обстоятельно описывает предсъездовскую обстановку в нашей литературе, рассказывает о М. Горьком, цитирует выступления писателей и т. п. В очерке «Галитра поэта» — сжатый анализ творчества Ильи Сельвинского. «Талант могучий, неиссякаемый!» — это литературный портрет-исследование жизненного и творческого пути Андрея Упита. В очерке «Красивый человек» автору удалось тонко передать обаяние личности Александра Довженко.

Наиболее содержательными представляются воспоминания об Александре Фадееве «Седая юность». Автор книги в течение многих лет знал Фадеева, работал с ним бок о бок в Союзе писателей. Они обсуждали вопросы усовершенствования структуры Союза, вопросы межнациональных литературных связей, воспитания писательской молодежи. О. Резник рассказывает об организаторском таланте Фадеева, о том, какое большое внимание он уделял мастерству писателей.

В конце войны, когда я работала в аппарате Союза писателей, мне нередко доводилось видеть и слушать Александра Александровича. В памяти остался его интересный доклад о Бальзаке, его выступление на секретариате о том, что такое диалог в произведениях прозы, какова его функция.

По моим наблюдениям, О. Резник весьма удачно пишет о неповторимой индивидуальности Фадеева, его внешности, манере говорить, смеяться, его жесте, его взаимоотношениях с товарищами по перу. Лирично рассказано мемуаристом о совместном пребывании с Фадеевым в маленьком Доме творчества в Ильинском в 1932 году. О. Резник вспоминает, как ездил с делегацией, возглавляемой Александром Фадеевым, в Ригу в 1947 году на Второй съезд латышских писателей, на котором Фадеев делал доклад «Образ советского человека»... В «Седой юности» мы видим Фадеева как политического деятеля, руководителя Союза писателей, талантливого художника и теоретика, яркого, самобытного, обаятельного человека.

На страницах мемуаров О. Резника почти немногими, но выразительными штрихами обрисованы А. Твардовский, Евгений Петров, П. Бажов. В статье О. Резника убед-

тельно говорится о новаторстве советской литературы и о развитии в ней классических традиций. Связь времен удачно прослежена и в статье «Художественная публицистика в годы войны», где автор пишет о блестящих военных очерках А. Толстого, И. Эренбурга, К. Симонова, Б. Горбатова.

В книге немало размышлений автора о советской литературе, среди них есть, на мой взгляд, и спорные. Резник сетует, например, на то, что современная критика мало обращается к наследию Фадеева, в частности, порой недостаточно активно борется с «эстетствующими поборниками усложненной формы с облегченным социальным ее зарядом». Тут упоминается имя А. Вознесенского. Форма на редкость богатых оригинальными образами стихотворений А. Воз-

несенского действительно порой усложнена. Но вряд ли можно одной беглой фразой объяснить А. Вознесенского. Жаль, что опытный критик О. Резник не замечает социального заряда в стихах Вознесенского. Можно сказать и о том, что иные страницы во «Встрече прошлого с будущим» написаны сухо, информативно.

Но ценность этой книги неоспорима. И не только историко-литературная. В ней отчетливо прочерчены линии преемственности между прошлым нашей литературы и ее новым днем. Главное — книга пронизана пафосом единства многонациональной советской литературы, создаваемой уже несколькими поколениями мастеров.

О. Грудцова.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

- В. И. Ленин.** Государство и революция. 160 стр. Цена 25 к.
В. И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. 119 стр. Цена 16 к.
В. И. Ленин. Шаг вперед, два шага назад. 222 стр. Цена 35 к.
М. Суслов. На путях строительства коммунизма. Речи и статьи. В 2-х тт. Т. 1. 495 стр. Цена 96 к. Т. 2. 543 стр. Цена 1 р. 3 к.
В. Бенетов. Если зажигают звезды. Повести о делах и людях партии. 270 стр. Цена 41 к.
Католицизм-77. Совместное советско-польское издание. 182 стр. Цена 62 к.
Р. Пучков. В стороне от автострад. («За фасадом буржуазного «процветания») 215 стр. Цена 45 к.
Устав Коммунистической партии Советского Союза. 62 стр. Цена 3 к.
М. Шатрян. Генерал, рожденный революцией. («Пламенные революционеры») 430 стр. Цена 1 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- Г. Балл.** Трубящий в тишине. Рассказы и повесть. 214 стр. Цена 70 к.
Ю. Гордиенко. Бабые лето. Книга стихов. 102 стр. Цена 33 к.
В. Инбер. Страницы дней перебирая... Из дневников и записных книжек. Изд. 2-е, дополненное. 382 стр. Цена 1 р. 38 к.
Б. Кежун. Дыхание земли. Стихи и поэмы. 127 стр. Цена 38 к.
Л. Левицкий. Константин Паустовский. Очерк творчества. Изд. 2-е, дополненное. 408 стр. Цена 1 р. 21 к.
Б. Полевой. Биографические повести. 320 стр. Цена 1 р. 37 к.
С. Сартаков. А ты гори, звезда. Роман. 719 стр. Цена 3 р. 38 к.
П. Семынин. Дальняя дорога. Стихотворения. 95 стр. Цена 30 к.
Т. Сильман. Заметки о лирике. Послесловие Д. Лихачева. 220 стр. Цена 72 к.
В. Солоухин. Седина. Новая книга стихов. 95 стр. Цена 38 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Э. Бланко.** Сарате. Роман. Перевод с испанского. 310 стр. Цена 1 р. 73 к.

- Зебуннисо.** Огонь и слезы. Перевод с фарси. 158 стр. Цена 24 к.
Н. Ислам. Надежда. Стихотворения. Перевод с бенгальского. 172 стр. Цена 56 к.
А. Лану. Свидание в Брюгге. («Зарубежный роман XX века») 333 стр. Цена 1 р. 98 к.
А. Фелпс. Минус бесконечность. Роман. Перевод с французского. 157 стр. Цена 95 к.
Г. Флорбер. Воспитание чувств. Роман. Перевод с французского. («Библиотечная серия») 430 стр. Цена 2 р. 34 к.
Л. Хьюз. Стихи. Перевод с английского. 271 стр. Цена 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- А. Алдан-Семенов.** Под русскими звездами. Стихи. 111 стр. Цена 35 к.
В. Бахревский. Свадьбы. Роман. 528 стр. Цена 2 р. 19 к.
П. Мовчан. Гончарный круг. Стихи. Перевод с украинского. 94 стр. Цена 32 к.
Л. Платов. Секретный фарватер. Роман. («Стрела») 495 стр. Цена 1 р. 99 к.
В. Португал. Беседы об АСУ. («Эврика») 208 стр. Цена 88 к.
Н. Сафиев. Ночи без причалов. Очерки о самоотверженном труде молодых современников. 159 стр. Цена 52 к.
М. Тиагу. До завтра, товарищи. Роман. Перевод с португальского. 319 стр. Цена 2 р. 50 к.
И. Фесуненко. Португалия апрельская и ноябрьская. Очерки. 192 стр. Цена 36 к.
Л. Щипахина. От мира сего. Стихи. 126 стр. Цена 45 к.

«СОВРЕМЕННОК»

- М. Горький.** Мать. Роман. («Библиотека российского романа») 318 стр. Цена 1 р. 76 к.
А. Калинин. Суровое поле. Повести и роман. 445 стр. Цена 1 р. 73 к.

ВОЕНИЗДАТ

- Н. Горбачев.** Битва. Роман. 431 стр. Цена 1 р. 78 к.
И. Линьков. Высокое звание коммуниста-воина. 183 стр. Цена 34 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин.**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 19/V 1977 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 8/VII 1977 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч.-изд. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 09810 Тираж 180.000 экз. Заказ 1680.

Набрано и сматрицировано в типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак.

В последующих номерах 1977 года и в 1978 году «НОВЫЙ МИР» предполагает опубликовать романы:

- Ф. Абрамова** — «Дом»,
- А. Авдеенко** — «В поте лица...»,
- Ч. Айтматова** — новый роман,
- В. Аксенова** — «Поиски жанра»,
- А. Ананьева** — «Годы без войны», книга вторая,
- Б. Васильева** — «Были и небыли»,
- Д. Гранина** — «Картина»,
- В. Каверина** — «Двухчасовая прогулка»,
- В. Катаева** — «Алмазный мой венец»,
- Ю. Крелина** — «Производственный роман»,
- В. Рослякова** — «Трудная правда»,
- Ю. Рытхэу** — «Конец вечной мерзлоты»,
- Г. Семенова** — «Липа за окном»,
- Ю. Трифонова** — «Избавление»,

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ:

В. Амлинского, В. Астафьева, В. Афонина, Г. Бакланова, З. Богуславской, Ю. Бондарева, Р. Валеева, П. Вегина, И. Велембовской, М. Ганиной, О. Гончара, И. Грековой, Н. Евдокимова, Д. Жукова, Ф. Искандера, Л. Карелина, А. Каштанова, Р. Киреева, Г. Коновалова, В. Лидина, В. Маканина, А. Макарова, Г. Матевосяна, И. Меттера, Ю. Нагибина, П. Нилина, Б. Окуджавы, В. Орлова, А. Рекемчука, М. Рощина, Б. Ряховского, Ю. Сбитнева, К. Симонова, М. Харитонova, Б. Харчука, М. Чернолуцкого, О. Чиладзе, Г. Шерговой.

«Новый мир» продолжит ознакомление своих читателей с наиболее известными произведениями зарубежных прозаиков, поэтов, публицистов.

В разделе публицистики и литературной критики выступят ученые, публицисты, литературоведы: **И. Гронский, В. Зорин, А. Иващенко, Ф. Кузнецов, М. Лаврентьев, А. Овчаренко, М. Стура, Ю. Суровцев, М. Храпченко, Н. Шамота, В. Шубкин** и другие.

Широко будет представлена многонациональная советская поэзия. Вы прочтаете стихи **Г. Абашидзе, И. Абашидзе, П. Антокольского, М. Бажана, В. Бокова, П. Боцу, Е. Букова, П. Бровки,**

К. Ваншенкина, Л. Васильевой, А. Вознесенского, Р. Гамзатова, Ю. Друниной, М. Дудина, Е. Евтушенко, А. Жигулина, С. Золотцева, Зульфии, Е. Исаева, Р. Казаковой, В. Казанцева, В. Казина, С. Капустикян, М. Карима, А. Кешокова, Я. Козловского, В. Коротича, Д. Кугультинова, Ю. Кузнецова, А. Кулешова, К. Кулиёва, Ю. Левитанского, С. Маркова, Л. Мартынова, Ю. Марцинкявичюса, Н. Матвеевой, Э. Межелайтиса, А. Межирова, И. Нонешвили, Л. Озера, С. Орлова, П. Панченко, Р. Рзы, В. Рождественского, Р. Рождественского, Д. Самойлова, Е. Славоросовой, Б. Слуцкого, М. Соболя, В. Соколова, В. Солоухина, В. Сорокина, И. Сотниковой, М. Танка, М. Тарасовой, А. Тарковского, Л. Татьяничевой, Н. Тихонова, В. Федорова, В. Цыбина, О. Челидзе, В. Шефнера, И. Шкляревского и других поэтов.

Цена 70 коп.

70636